Николай ВЕРЕВОЧКИН



Страна без негодяев

Николай ВЕРЕВОЧКИН



Страна без негодяев

ПОВЕСТИ

Рисунки автора

АЛМАТЫ "ЖАЗУШЫ"
1998

ББК
84Р7-44
В 31

Выпущена по программе Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан

516086 К+

Веревочкин Николай.
В 31 Страна без негодяев: Повести.— Алматы: Жазушы, 1998.— 432 с.
ISBN 5-605-01596-6

Сборник остросюжетных повестей, герои которых, стремясь осчастливить человечество, доводят ситуацию до абсурда: деревня, в которой исчезают эгоисты, становится угрозой для всего мира, чудодейственное удобрение, должное раз и навсегда решить продовольственную проблему, порождает монстров, человек, севший в лифт, оказывается на другой планете...

В $\frac{4702010201 - 43}{402(02) - 98}$ Без объявл.—98

ББК 84Р7-44 В-31

ISBN 5-605-01596-6

© "Жазушы", 1998



Жертвенный осел

В одно из весенних воскресений, когда разом обезумевшая природа занимается исключительно вопросами размножения, Ананий Перфильевич Бзвздзиндзский* был сожран львом.

До последней секунды несчастный вёл себя прилично, не выказывал негодования, смиренно наблюдал, как содрогается его собственная, еще живая плоть на желтых зубах хищника и зловонные челюсти крушат кости.

Он был сожран без остатка вместе с костюмом отечественного производства и документами, удостоверяющими личность. Зверь побрезговал только ботинками фирмы "Саламандра".

Они и похоронены на уютном, тенистом кладбище города Тёщинска.

Очевидцы свидетельствуют, что полусъеденный Ананий Перфильевич вскричал в последние мгновения своей жизни: "Пощадите царя зверей, он занесен в Красную книгу!"

---

* Фамилии, имена и отчества героев, названия населенных пунктов, упомянутых в этой истории,—подлинные.

Не могу сказать, точно ли лев, проживающий в тёщинском зоопарке, занесен в Красную книгу, но последняя воля покойного была выполнена. Для людей любопытных сообщу: клетка льва, сожравшего Анания Перфильевича, находится рядом с конторой дирекции зоопарка, сразу за бассейном, где в зеленой, дурно пахнущей воде каждые пять минут печально вздыхает бегемот.

Покойный жил тихой растительной жизнью, и смерть его не принесла никому вреда. Если не считать, конечно, странные изменения, произошедшие со львом. Переварив Анания Перфильевича, он безнадежно загрустил. Стал вегетарианцем. Равнодушен к львице. Дни проводит, забившись в угол клетки, по-собачьи поджав хвост. Его постоянно терроризирует наглый воробей бандитского вида.

Над могилой с импортными ботинками сослуживцы произнесли положенные в подобных случаях слова и об Анании Перфильевиче забыли.

Уже через полгода на вопрос, что он из себя представлял, товарищи по работе мучительно морщили лбы, пожимали плечами и отвечали, смутившись:

— Лысинка у него вот здесь, на темечке намечалась. И ходил он как-то бочком. Все, бывало, к стеночке жался. Никогда не ступал на ковровую дорожку. А чем занимался? Ну, как чем? Работал. Чего-то писал...

Подумав немного, что бы хорошего сказать о покойном, печально вздыхали:

— Безобидный был человек, тихий, безотказный.

И только Лев Бамбукович Опупьев, руководитель учреждения, где трудился Ананий Перфильевич, фигура крупная во всех отношениях, авторитетно заявил:

— Исключительной исполнительности был человек. Титанической работоспособности. Прямо аппаратный муравей. Кристальной моральной чистоты. На таких всё и держится. Я бы о таких прямо книги писал. "Жизнь незаметных людей" под заглавием. А то, понимаешь, совсем разболтался народ. До чего дошло! С иным разговариваешь, а он руку в кармане держит.

* * *

Живым Анания Перфильевича я видел однажды.

Наш общий знакомый — директор зоопарка — пышно отмечал какую-то очередную семейную радость: то ли новоселье, то ли покупку автомашины, то ли тёща померла. Точно не скажу. Помню только, что торжество совпало с

очередным приступом борьбы с алкоголизмом. И пили в ту пору самозабвенно, отчаянно и безобразно, до тараканов в глазах. Впрочем, как и всегда.

Хозяин, похожий на разжалованного дьявола, указав глазами на скромно сидевшего в углу человека без особых примет, шепнул мне на ухо: "Бзвздзиндзский. Из Того Самого Дома".

Честно скажу, людей из Того Самого Дома я представлял несколько иными. Не было в этом человеке должной гладкощекости, самоуверенности и пузатости. Не было побычьи достойно посаженной головы, покровительственного холодка в глазах, авторитетных реплик, подводящих черту.

Напротив, держался он робко, как рядовой-первогодок, попавший в офицерскую столовую. За все застолье произнес всего несколько слов. Случилось это перед первой рюмкой.

— Я, собственно, не пью,— высказал от тихий протест, но чрезвычайно быстро подался на уговоры, смущенный всеобщим осуждением. В дальнейшем он без сопротивления, но и без видимого удовольствия глотал рюмку за рюмкой, дабы не привлекать к себе внимания. И чем больше пил, тем скромнее становился, соглашаясь со всем, в чем его убеждали соседи.

Я подумал, что устроитель торжества несколько преувеличил его общественное положение. Хозяин имел слабость прихвастнуть близкими отношениями с сильными мира сего, растил свой авторитет на удобрениях из знаменитостей. Не самый большой грех. Полагаю, что в тот вечер он и Бзвздзиндзскому шепнул по моему адресу нечто, не совсем соответствующее действительности.

Река застолья все убыстряла и убыстряла своё течение, и наконец закрутилась в водовороте хмельного веселья. Прекрасно сервированный стол превратился в груду пищевых отходов с торчащими там и сям окурками. Турбинным двигателем взревел магнитофон, но его мощные звуки не перекрыли голоса разом заговоривших гостей. Раскрасневшиеся дамы вовлекали потерявших координацию мужчин в опасную стихию танца.

— Прошу прощения,— обратился ко мне Ананий Перфильевич. Было видно, что человек невероятным усилием воли сопротивляется действию алкоголя, но надолго его не хватит.

— Я вижу, вы один среди нас более-менее трезвый.

— Иногда полезно иметь язву желудка. Даже если её у вас нет.

— Увы, такие язвы здесь весьма успешно лечат первой рюмкой. Помогите добраться до квартиры. Боюсь, еще одна рюмка — и я самым безобразным образом свалюсь под стол.

* * *

Жил Ананий Перфильевич в панельном четырехэтажном доме унылой архитектуры шестидесятых годов.

Я ожидал увидеть квартиру, набитую японской аппаратурой, гарнитурами заморского происхождения, хрустальными люстрами — внутренность однокомнатного жилища поразила меня пустотой и скудностью. Голая лампочка с патроном, забрызганным известью, осветила продавленный диван-кровать, черно-белый телевизор музейного возраста, расшатанный письменный стол, единственный стул. У стены на полу за неимением полок был сложен штабель книг, прикрытых от пыли газетой. Уж не помню по какой надобности решил я позвонить домой. Но тщетно пытался найти телефон. Его попросту не было.

Ананий Перфильевич предложил попить чаю. Пошел на кухню и обварил кипятком руку. Но не вскрикнул, не произнес в сердцах слов, которые обычно рождаются сами собой в подобных ситуациях.

— Не обращайте внимания, пустяки,— сказал он и ласково отверг мои попытки заменить его у плиты и оказать медицинскую помощь.

Красной, как клешня сваренного рака, рукой он действовал так же, как и здоровой, наглядно убеждая меня, что ничего особенного не произошло и ему ничуть не больно. И только увлажненные слезной пленкой глаза выдавали адскую боль.

Чай, однако, получился на славу. Аромат далекой Индии заполнил холостяцкую берлогу.

— А Вы знаете, я ведь тоже того, пишу,— задушевно сказал Бзвздзиндзский после того, как мы молча выпили по два стакана крепко заваренного чая и налили по третьему, тщетно пытаясь затушить хмельной огонь, полыхающий в желудках.

— В стол,— сказал я скорее утвердительно, чем вопросительно.

— Да нет. Печатаюсь. И довольно часто.

И он кивнул на подоконник, где была сложена довольно приличная поленница газет, журналов, брошюр и то-

неньких книжек чрезвычайно серьезного вида, за которыми обычно не выстраиваются очереди.

Положение гостя обязывало, и я приличия ради пролистал несколько журналов, но фамилии своего нового знакомого в них не обнаружил.

— Опупьев,— подсказал он, улыбаясь.

— Это ваш псевдоним?

— Это мой руководитель.

Я поперхнулся чаем. Лучше бы он сказал: "Я импотент". Есть вещи, о которых не говорят с первым встречным. Видимо, количество спиртного, выпитого в тот вечер Бзвздзиндзским, превысило критическую массу. Только этим и можно объяснить ошеломляющую откровенность.

— Но, должно быть, гонорары в этих изданиях сумасшедшие,— сказал я лишь бы чего сказать.

— Не знаю. Я получаю зарплату. А это,— Ананий Перфильевич кивнул на стопку журналов,— часть моей работы.

Он явно не находил ничего зазорного в своем положении.

— А для себя Вы что-нибудь пишете?

Лицо Анания Перфильевича вспыхнуло, словно я плеснул в него кипятком.

— Собственно, времени не остаётся,— сказал он, застыдившись, и тем самым выдавая свой грех.

— Покажите,— как можно решительнее произнес я.

Ананий Перфильевич открыл ящик стола, откуда извлек два совершенно одинаковых "Еженедельника". Пролистав первый, он отложил его на стол и протянул мне второй.

... Это были сказки.

Время шло. Чай давно остыл. Отыграв два гимна, замолчало радио на кухне. А я читал удивительные истории, в которых реальность переплеталась с вымыслом, создавая особый поэтический сплав, секрет которого утерян. От аккуратных строк веяло пронзительной, отчаянной добротой и беззащитностью.

— Вы пытались это напечатать?

— Очень давно.

Слова эти он произнес тоном, каким раскаявшиеся мальчишки говорят: "Больше не буду".

Прощаясь, я попросил дать почитать его сказки на свежую голову.

Он как-то растерянно и беззащитно посмотрел мне в глаза, по всей видимости, собираясь отказать, но вежливо сказал: "Да, да. Конечно. Пожалуйста".

* * *

На следующий день Ананий Перфильевич позвонил мне, умоляя вернуть "Еженедельник". Но в кармане у меня лежал билет на самолёт. Я объяснил ситуацию и заверил его, что сразу же после командировки занесу рукопись.

— Я Вас очень прошу: пусть это останется между нами,— сказал на прощание Бзвздзиндзский и подождал, пока я первым положу трубку.

Чудак. Можно подумать, что он всучил мне листовки, призывающие к свержению правительства.

Вернувшись из командировки, я узнал, что возвращать "Еженедельник" некому.

Странная мысль пришла мне в голову: ответственный работник, сожранный львом,— это, конечно, мерзость, но такая смерть для сказочника, поэта — прекрасна. Взгрустнув, я раскрыл "Еженедельник", собираясь насладиться сказками покойного, и то-то был удивлен, не обнаружив их. Страницы были заполнены номерами телефонов, цитатами официального характера, поспешными записями служебных заданий. В недоумении листая страницы, я нашел нечто, похожее на дневник. В записях не было хронологии, системы. Скорее всего заносились они в минуты глубоких личных переживаний, которыми Ананий Перфильевич ни с кем делиться не собирался.

Так вот в чем дело! Я перепутал блокноты. Мне стал понятен странный телефонный звонок.

* * *

Все мои попытки найти "Еженедельник" со сказками оказались тщетными. В квартире Бзвздзиндзского жила чета пенсионеров. Старички долго не открывали дверь, опасаясь ограбления. Опасения эти были напрасны. Ничего представляющего интерес для грабителя у них не было. Как, впрочем, и для меня.

— Ничего не знаем,— отчего-то обидевшись, сказала старушка.— Кто его знает, кто тут жил. И вещей никаких мы не видели. Не нужны нам чужие вещи. Нас это не интересует.

* * *

Обидно. Жил человек. Работал. Страдал. Сказки писал. А остались от него одни изжеванные ботинки. И нико-

му не интересно, зачем он жил, ради чего страдал, что вообще был за человек.

Я дал себе слово во что бы то ни стало найти сказки, выполоть траву забвения на могиле Анания Перфильевича.

Задача была сложная. Все равно, что восстановить по бифштексу бычка. Тем более — по бифштексу съеденному.

* * *

Но прежде чем вплотную заняться Ананием Перфильевичем, хотелось бы немного поговорить о льве.

* * *

В зоопарк города Тёщинска он был завезен несколько лет тому назад.

Лев Бамбукович Опупьев, к тому времени еще не достигший своей должностной вершины, посадил на плечи сынишку и пошел познакомиться с тёзкой.

Львы долго смотрели друг другу в глаза.

Юный зверь не выдержал человеческого взгляда, забеспокоился, отвернулся. "Боится",— с глубоким удовлетворением подумал Лев Бамбукович и приосанился. Ему вдруг захотелось поднять хвост трубой, а затем щелкнуть им, как бичом. Желание было таким острым и непреодолимым, что он даже сконфузился. Как можно хотеть щелкнуть тем, чего у тебя нет? Лев Бамбукович утёр сынишке сопли восторга и подумал: хорошо, что мысли нельзя читать — чёрти какой прокол может случиться в самом неожиданном месте.

В это время и хлопнул его по плечу улыбающийся лысый мужик.

Рожа у мужика была хитрая, красная, борода козлиная. Очень бы украсили эту физиономию маленькие дьявольские рожки. Однако, что за фамильярность?

— Большим начальником стал, школьных друзей не узнаешь, промокашка?— ослепил незнакомец золотом зубов.

Лев Бамбукович не любил школьных друзей. Это плохо, в этом не сознаются, но — не любил. "Еще одному квартира понадобилась",— подумал он неприязненно и напряг зрение и память, пытаясь в потрепанном лице сатира разглядеть детские черты.

— Не узнаешь? А кто тебе на макушку пузырёк чернил вылил? А кто тебе за ворот мышь сунул...

— Хорёк!— заорал Лев Бамбукович на весь зоопарк.

Животные в клетках встрепенулись, а лев вскочил на ноги и утробно рыкнул. Как бы на радостях Опупьев с такой силой треснул однокашника по спине, что у того подогнулись ноги, а внутри загудело. Затем Лев Бамбукович заключил его в объятия и стал страстно душить.

— А помнишь, как ты мне булавку подставил,— приговаривал, пыхтя, Лев Бамбукович,— а помнишь, написал мелом на моей спине: "Плюй на меня", а помнишь...

"Живуч, подлец,— думал он, что есть силы напрягая мышцы.— Жаль, что нет других обычаев выражать свои чувства при встрече с друзьями. Хорошо бы приподнять сукиного кота, как штангу, да с размаху и шмякнуть о землю. Нет, так его не задушишь — сплошное сало в руках. Надо бы подлеца к дереву прислонить и пузом, пузом навалиться".

Но дерева вблизи не росло.

Изрядно помятый, чудом оставшийся в живых Хорьков Павел Дмитриевич растроганно высморкался в огромный, как полотенце, носовой платок.

— В тебе, Бамбукыч, всегда быть СТАТЬ,— сказал он, отдуваясь и ласково сверкая наглыми глазами.— Пацаны эту СТАТЬ не замечали, а я еще когда говорил: "Большим человеком станет Лёва, большим".

"Леща подпускает, подлец,— думал между тем Опупьев.— Туго, видать, с жилищным вопросом".

В это время лев упруго и мягко встал на ноги, бесшумно и зловеще изготовился к прыжку. Он вел себя так, словно не было ни клетки, ни людей. Нервно подрагивали мышцы, в желтых холодных глазах вспыхнула жажда убийства. Лев неотрывно смотрел на зачуханную лошадку, понуро везущую зебрам сено.

— А что, Лев Бамбукович, видели Вы, как охотится эта зверюга?— горячо зашептал Хорьков.

—. Не приходилось.

— Оставь телефончик — организуем. Незабываемое зрелище,— и школьный друг сладострастно причмокнул.

Льву Бамбуковичу не хотелось видеть козлиную физиономию однокашника, но он сердечно улыбнулся, назвал номер служебного телефона и со словами: "Позвони как-нибудь"— хлопнул на прощание Хорькова по плечу, едва не сломав ключицу.

* * *

Утром, проходя мимо секретарши, Опупьев сказал:

— Будет по городскому звонить некто Хорьков — меня нет.

— Нет на сегодня или навсегда?— уточнила секретарша.

— Навсегда.

* * *

Однако в воскресенье Лев Бамбукович был поднят с постели бесцеремонно длинным пением дверного звонка.

Заглянувши в глазок, он увидел улыбающегося Хорькова. Искаженное линзами лицо его было отвратительно. Опупьев хотел было на цыпочках отойти от дверей, но этот наглый тип уже приветливо помахивал рукой: заметил, подлец, тень.

* * *

Зверь кружил по загону, страшно взволнованный отсутствием клетки. Он был рожден в зоопарке от родителей, не помнящих тайги. Мышцы у него обмякли. Грозная полосатая шкура смотрелась больничной пижамой. Это был не тигр — копия, модель тигра. Живой экспонат, наглядное пособие.

— Интересно, а знает ли он сам, что он — тигр?— спросил Опупьев.

Тигр наступил на что-то скользкое и брезгливо потряс лапой.

— Ничего он не знает,— ответил Хорьков,— захочет есть — поступит как тигр.

— Однако ты мне льва обещал.

— Хищников много — ослов мало,— вздохнул Хорьков и успокоил,— дойдет очередь и до льва.

В дальнем углу два крепких паренька открыли металлические двери и втолкнули в загон старого осла.

Осел сделал несколько крошечных шажков, понурил голову и застыл. Даже хвостом не помахивал.

— Это и есть твоя "королевская" охота?— зевнул Опупьев.

В ответ Хорьков только кровожадно и мерзко улыбнулся.

Осёл был настолько стар, что природа лишила его инстинкта самосохранения. Он доживал свой век, как доживает листва на спиленном дереве. И все же он почувствовал ОПАСНОСТЬ и, мелко перебирая ногами, затрусил прочь от крадущегося тигра.

Тигр прыгнул.

Раскатистый, бархатно-грубый рык убийцы и пронзительный крик жертвы слились в первобытный, холодящий кровь аккорд охоты.

Лев Бамбукович тяжело, азартно дышал, ожиревшие мышцы его налились свинцовой тяжестью, глаза пожелтели от желания быть на месте тигра, терзающего судорожно вздрагивающую добычу.

— Ты что — осла помоложе не мог найти,— выговорил он Хорькову.

— Найдём, Лёва,— фамильярно полуобнял его однокашник,— самого резвого осла для тебя найдём. Идём, обмоем охоту.

* * *

Кабинет Хорькова был набит чучелами хищников. От них остро пахло псиной.

Черная пантера застыла над входной дверью, словно собираясь прыгнуть на посетителя. Под потолком, подвешенный на невидимой леске, широко расправив крылья, планировал орёл, кровожадно поглядывая на пепельницу из панциря черепахи. По-над стеной бежала куда-то лиса с чучелом фазана в зубах. Выглядывая из-за кадки с пальмой, её подкарауливал старый волк, видимо, собираясь отнять добычу. Бурый медведь точил безобразно длинные когти о стену. Из-под стола выглядывал шакал.

Ели шашлык, запивая сухим вином.

— У тебя с жилищным вопросом проблемы?— холодно поинтересовался Лев Бамбукович.

— Боишься — квартиру попрошу?— нагло сверкнул золотыми зубами Хорьков.— Я человек прямой, Лёва. Как столб телеграфный. Попрошу. Но не в этом захолустье. В Большом городе попрошу.

Задумчиво жуя сочное, пряное мясо, Опупьев спросил:

— Страусятина какая-нибудь?

— Барашек.

— Так что ты там насчет Большого города, я что-то не понял?

Хорьков посмотрел сквозь наполненный стакан на чучело пантеры.

— Тигру, Лёва, нужно не просто мясо. Ему нужно мясо, добытое на охоте. Живое мясо. Иначе он превратится в полосатую свинью. Или сдохнет от грусти. Тигр, который ловит мышей, это не тигр, а кошка. Тигру нужна большая территория, большая добыча.

— Ты мне на флейте не играй. Не люблю. Хочешь что сказать — говори в лоб. А то я мужик простой — могу и на хрен послать. Развёл, понимаешь, зоопарковскую философию.

— Я чего хочу сказать. Вот ты пуп свой в провинции рвёшь, а кто об этом знает?

— Пуп я не для себя рву. А кому надо знать — знают.

— Все знают, что в клетке тигр, а все равно табличка висит: "Тигр". Понимаешь? Показать себя надо. Ненавязчиво. Мысли показать. Масштаб. Чтобы шепоток прошел: почему так — в клетке для попугая орла держат? Непорядок!

— Мысли, говоришь, показать?— с некоторым сомнением переспросил Лев Бамбукович.

Хорьков сделал большую паузу, в течение которой уничтожил пять кусков сочного мяса. Нанизал на шампур апельсин и, демонстрируя его, задумчиво икнул. Туманно объяснился:

— Есть у меня на примете человечек. Башка — во! Две наших башки сложи — перевесит. И ничего, кроме башки, нет. Октябренок с башкой. Оч-ч-чень правильный товарищ.

— Ну?

— Мыслей много. Все правильные. А высказать не может. Оч-ч-чень закомплексованный товарищ. В газете работал...

— Пьёт?

— Я и говорю — в газете работал.

— Выгнали?

— Ушёл. Написал фельетон, а герой возьми да застрелись. Оч-ч-чень совестливый товарищ оказался.

— Дураков много,— согласился Опупьев.

— После этой истории и ушёл из газеты. Фамилию свою напечатанной не может видеть. Переживает. На морду свою в зеркале смотреть спокойно не может. Как увидит — так и плюнет. А башка даром пропадает. Хорошая башка. С такой башкой только правильные статеечки, книжечки да докладики пописывать. Одна беда, говорю, фамилию свою не может видеть. Ананий Перфильевич Бзвздзиндзский.

Обиделся Опупьев, помрачнел. "Только что безголовым дураком не обозвал, шакал,— думал он,— совсем охамел. Сейчас я его на место поставлю".

Хотя не так уж и не прав был Хорьков. Это сейчас в педагогических целях Опупьев привирает сынишке об успехах в учебе. На самом деле был Лёва троечником, откликался на прозвище Промокашка и страстно мечтал стать невидимкой, когда строго прищуренный учительский глаз пробегал сверху вниз и снизу вверх список фамилий в классном журнале. Да... Лучше всего — самому щурить глаз и держать долгую-долгую паузу, от которой мороз по коже.

Хотел Опупьев с присущей ему прямотой сказать: "...! ...!! ...!!!" Но сдержал себя. Только что и молвил:

— Ты бы лучше осла помоложе подобрал, философ зоопарковский.

... С этого дня и появилось у Опупьева Льва Бамбуковича невинное хобби. Любил он освежить нервы зрелищем естественной охоты, всамделешнего убийства и настоящей крови. Посмотрит — прямо человеком себя чувствует, будто в детстве побывает. Накануне королевской охоты места себе не находил. И очень сожалел, что событие это случается крайне редко — раз в месяц.

Вскоре после встречи Опупьева с Хорьковым ушёл на пенсию директор зоопарка, человек талантливый и разносторонний — ученый, писатель, художник-анималист. Неожиданно для многих в его кресло сел Хорьков — деловой человек без специального образования и особых талантов. Правда, при нём тёщинский зоопарк расцвёл, расширил границы, благоустроился, чему в немалой степени способствовал Опупьев, стремительно взбирающийся по служебной лестнице.

ИЗ ДНЕВНИКА АНАНИЯ ПЕРФИЛЬЕВИЧА

"Сегодня увидел в кабинете таракана.

Меня это потрясло. В Таком Доме — и таракан.

Он пробежал по стенке и скрылся за портретом живого вождя. Наверное, там и живёт. Чем, интересно, питается? Бумагой, должно быть.

Вначале я подумал — показалось. В глазах зарябило от переутомления. Зяглянул за портрет — сидит, шевелит усами.

Мерзкое существо.

В душе моей давно завелись тараканы.

Удивительно, но все вопросы по поводу этого отвратительного насекомого: как он сюда попал, что здесь делает, для чего вообще существует?— с таким же успехом можно задать себе".

* * *

"Странная манера разговаривать с подчиненными по внутреннему телефону:

— Зайди!— и бросает трубку.

Парадоксы — официального языка чинов и чиновников нет, а подчиненные есть.

Сектор наш небольшой: заведующий и я.

Заведующий сидит через стенку и заведует мной.

Здесь вообще не принято представляться подчиненному в телефонном разговоре. Должен узнавать по голосу. Такая манера общения вызывает краткое астматическое удушье.

Беру "Еженедельник", иду.

Зав хмуро сосредоточен, листает блокнот. Сидит на одной ягодице. Только что вернулся от заместителя заведующего отделом, который вернулся от зав. отделом, который вернулся от Опупьева, который вернулся от Самого, которому позвонил... Не знаю, кто позвонил Самому. Некто, зовущийся Руководством.

Записываю то, что диктует, заглядывая в свой "Еженедельник", заведующий сектором. Очень расплывчато. Видимо, заместитель не все уловил из косноязычного бормотания заведующего отделом. А может быть, заведующий не совсем точно понял Опупьева. И естественно, срок исполнения — вчера. А выполнил ли я — долгий шелест блокнота — предыдущее задание? На этом, собственно, его руководящая деятельность и заканчивается: "Действуй!" До конца рабочего дня он будет шуршать газетами, отчаянно борясь с приступами зевоты. Если, конечно, не зазвонит внезапно "инфарктный" телефон.

Подготовленную мной бумагу зав аккуратно скрепит скрепкой с розовым "подхалимчиком", подпишет второй экземпляр, положит все это в розовую папку и передаст через секретаршу зам. зав. отделом. Она вернется ко мне на следующее утро. На полях — жирные вопросы. Переделаю. На втором экземпляре поставит свою подпись и зам. зав. Передаст заведующему отделом. Почеркает. Вернется ко мне. Переделаю. И так по

иерархической цепочке пятый вариант с дубликатом, обросшим пятью автографами, дойдет до Опупьева, чья единственная подпись и должна стоять на первом, отсылаемом в заоблачные выси экземпляре.

И выскажет Опупьев легкое недовольство.

По должностной цепочке вниз всё возрастающей лавиной разносов документ вновь вернется ко мне. Я возьму самый первый, забытый вариант, перепечатаю — и бумага уйдет куда-то вверх, в неизвестность где, скорее всего, никому не нужная, будет дожидаться списания в архив".

* * *

"Сегодня мой непосредственный начальник не листает блокнот. По кабинету тянется густой, тлетворно сладкий запах. Шуршит в кармане фольгой обертки. Голос — словно сквозь воду.

Значит, после обеда в квартире у него прорвёт батарею. Или к нему внезапно приедет друг, с которым не виделись десять лет. У него очень много друзей, и как только исполняется десять лет со дня разлуки, их неудержимо тянет встретиться. Но скорее всего что-то случится с его сыном. Бедный ребёнок. То и дело падает в открытые люки канализационных колодцев, его регулярно сбивают машины. В городе нет ни одного люка, ни одной машины, с которыми бы ему удалось избежать встречи.

— Почему у тебя до сих пор не установлен телефон?

Какая трогательная забота о подчиненном.

— Причем здесь очередь? Вчера тебя всем отделом разыскивали. Дважды посылали машину на квартиру.

Ах, вот в чем дело! Неужели ему самому пришлось СОСТАВЛЯТЬ бумагу?

— При чем здесь воскресенье? У тебя не нормированный рабочий день. Ты в туалет идешь — ставь в известность. Тебя похоронят,— а ты поставь в известность. Или ты полагаешь, если тебя сам Опупьев, минуя руководство отдела, вызывает, можно себе все позволять? Ступай... Да, после обеда меня не будет. Тёща прилетает. Встретить надо.

Странно. По-моему, на прошлой неделе он ее похоронил.

Впрочем, чудо воскрешения — не самое большое из тех чудес, что сходят ему с рук. И воскресил-то он старушку явно с целью похоронить её во второй раз.

Хоронить близких родственников следует лишь в крайних случаях и не более одного раза.

... Звонит инфарктный телефон.

— Зайди!

Это зам. зав.

Гора бумаг на столе. Гора окурков в пепельнице. Пять звонящих одновременно телефонов. Щурится от дыма сигареты.

Сидит на одной ягодице.

— Небольшое заданьице, Ананий.

У меня уже пять небольших и два больших заданьица. И все нужно выполнить завтра. Но не дай бог возразить. Лицо добряка-зама потемнеет, глаза нальются свинцом, бородавка на носу ощетинится белесыми волосками:

— Ты что — плохо слышишь, Ананий? Или больше всех работаешь? Отложи все. Это — в первую очередь.

... Звонит секретарша из приёмной зав. отделом:

— Ананий Перфильевич, ваш завсектором ушёлв поликлинику (а воскресшая тёща, прилетающая из глубинки?), тут для него документик. Зайдите.

На документике виза: "Срочно подготовить справку!"

... Опять "вертушка". Из трубки — патока:

— Ананий Перфильевич, голубчик, где вы бегаете? Я уже трижды звонил вам. Лев Бамбукович ПРИГЛАШАЕТ. Быстренько, быстренько, золотце, наверх.

— Ананий, долго ты ещё будешь мусолить эту несчастную статейку? Редактор все телефоны оборвал. Стыдно, понимаешь,— Опупьев, и слова не держит. Не ценишь ты моего отношения к тебе, не ценишь. Чем ты вообще там занимаешься?

Человек, которому не предложили сесть, всегда чувствует себя неловко. Как бы ты ни стоял — всё неестественно.

— Работаю, Лев Бамбукович. Наслоение, Лев Бамбукович. С анализом торопят, справки...

— А ты думал — здесь Дом отдыха?— Опупьев влит в кресло, врос в него, составляет с ним одно существо — бюротавра. Холеными пальцами барабанит по огромному столу-зеркалу. Интересно, что-нибудь, кроме собственной подписи, пишет он этими огромными лапами с

516086

нежной детской кожей. И щёки у него пухлые, как у молочного младенца.

Поворачивается всем корпусом на вращающемся кресле к столу с десятком телефонов, поднимает трубку, мизинцем нажимает кнопку:

— Я у тебя на денёк Анания заберу.

И бросает трубку, не представившись.

— Машинистку предупредят. В понедельник к 8.00 передашь материал помощнику.

Иду по мягкому газону ковровой дорожки. Подошвы скользят на длинном ворсе. Такое ощущение — под ними трясина.

В спину:

— Как дела с книжицей? Работаешь... Ну-ну. Уплотняйся, Ананий, уплотняйся. Сроки поджимают.

Каким жалким дураком чувствуешь себя в тамбуре, между массивными дверями. Одна дверь бесцеремонно выталкивает, другая не выпускает. Не человек — баржа в шлюзе.

... Инфарктный телефон молчит. Но в дверь просачивается Козоев. Человек, обладающий уникальной способностью стоять на цыпочках с чувством собственного достоинства.

— Ананий, не в службу, а в дружбу — шлифони.

Это означает — заново переписать его справку".

* * *

"Засиделся до глубокой ночи. Болели глаза и виски. Вместо черепа — потрескавшийся, хрупкий стеклянный шар, сочащийся кровью. В голове — ничего кроме боли. Я выдавил свои мозги, как пасту из тюбика, и тупо смотрел на лист бумаги, на котором то исчезали, то появлялись строки.

Вышел из кабинета в коридор — тёмный, пустой и гулкий. С двумя рядами опечатанных дверей. Жутко смотреть с шестого этажа неосвещенного официального здания на ночной город. Черная пантера, свернувшись клубком, смотрит жёлтыми глазами в пустоту, изредка вздыхает, изнывая от желания любить и убивать.

Пытаясь унять боль, я стал медленно вращать головой. Похрустывали шейные позвонки. Я крутил и крутил головой. И вдруг с ужасом понял, что не могу остановиться. Так в замкнутом пространстве клетки,

изнывающий от июльской жары белый медведь бесконечно долго повторяет однообразные движения.

Я смотрел на кретина, отражающегося в оконном стекле.

Кажется, схожу с ума.

Ради чего?

Ради никому не нужной статьи, под которой утром сытый, здоровый, хорошо выспавшийся человек поставит свою подпись.

Я сжал руками голову и долго стоял с закрытыми глазами, пытаясь побороть неотвязное желание по-лошадиному мотать головой.

Что меня здесь держит? Возможность что-то высказать через Опупьева? Чепуха. Вся эта писанина — мерзкое извращение. Тем более, что ни одной стоящей мысли после завтрашней кастрации в ней не останется. Да и есть ли у меня стоящие мысли?

Ради чего плести кружева из колючей проволоки? Ради палки колбасы?

На свете есть много прекрасных и полезных занятий. Какое удовольствие подметать по ночам тротуар! А днём спать. Не читать газет, не смотреть телевизор. Раздавить каблуком авторучку — хрясь!— как мерзкое животное. До конца жизни не написать ни одного слова.

Завтра же уйду! А почему завтра? Почему не сейчас?

... И вдруг я понял, что не смогу уйти, не дописав этой бездарной статьи, этих замшелых справок... Что меня здесь держит? Что?

Я вспомнил грязную забегаловку. Сизый, ядовитый дым дешевых сигарет. Запах пива и мочи. Пьяный гул. Опустившийся алкоголик идет от стола к столу. Разбитые губы, почерневшее лицо, свалявшиеся волосы, засаленные, дурно пахнущие лохмотья.

— Братишечка, стаканчик... Родненький, глоточек... Не могу... Войди в положение...

Его угрюмо гонят, матерят. Надоел. А он униженно и заискивающе улыбается разбитыми губами, кланяется.

— Стакан соплей выпьешь — нальём — кричит ему мужик в ватнике с надписью "Адидас".

Забегаловка взрывается гоготом. Шутка всем нравится. Пьяницы смеются над своим неизбежным будущим. Им льстит видеть человека, павшего ниже их.

— Выпью, родненький, выпью...

Залапанный стакан пускается по кругу, и каждый сморкается в него. И этот опустившийся человек...

... К горлу подкатывает тошнота. Я едва успеваю добежать до туалета. Меня выворачивает наизнанку. Голова перестает болеть.

Иду в кабинет и дописываю статью".

* * *

"Рассказывают о скромном чиновнике, чей кабинет был этажом выше. Вот так сидел-сидел за столом и вдруг без видимых причин — прыг в окно. Удивляются сослуживцы — с чего бы это?

Не потому, что голова болела, не потому, что дома нелады и по службе шершаво. Просто почувствовал себя человек тараканом и содрогнулся от омерзения.

... Если есть у меня хоть капля достоинства — пора стреляться, старик".

* * *

"В приёмной у Опупьева новая машинистка.

Печатает изумительно.

Двенадцать страниц за полчаса и ни одной ошибки.

Этого не может быть!

Перечитал — ни одной. Более того — она исправила две моих ошибки.

— У вас очень разборчивый почерк,— сказала она, равнодушно выслушав моё восхищение, и посмотрела на меня доброжелательно-холодным взглядом врача.— По-моему, вы очень добрый и беззащитный человек.

Я не нашелся, что ответить, и пожал плечами.

— Машинистки безошибочно определяют характер человека по почерку. Правда, правда.

На аскетичном, иконном лице — чувственные пухлые губы. Умный спокойный взгляд. Спортивная фигура. Одежда, прическа и украшения не бросаются в глаза, а лишь подчеркивают своеобразие. Она обладает редчайшим для красивых женщин талантом: быть незаметной.

Очень интересно рассказывала об особенностях почерка. Что бы человек ни писал о себе, почерк выдаёт его с головой. Слова можно писать какие угодно, а почерк подделать нельзя.

— Вы советуете мне научиться печатать на машинке?— спросил я.

— Зачем? Вам не надо скрывать свой почерк. Вы не способны на подлость. Если вы и сможете кого-то обидеть — то только себя.

Она филолог. Впрочем, машинистки с высшим образованием здесь не редкость".

* * *

"Рукопись книги Опупьева готова. Но отдаю её печатать по частям, маленькими порциями. Самым бессовестным образом тяну время. Маленькая хитрость, позволяющая ежедневно встречаться с новой машинисткой. Переписываю всё набело. Во-первых, чтобы не было исправлений, перечеркиваний, осложняющих её работу. Во-вторых, не хочется выглядеть в её глазах человеком ограниченным. Отключив внутреннего редактора, восстанавливаю в рукописи отвергнутое.

Приёмная Опупьева с её появлением для меня — душевный оазис. Особая, поднебесная чистота и тишина. Громадные и торжественные, как памятник, напольные часы отстраненно отстукивают время. Невидимым, холодным ветром власти наполнены белоснежные шторы-паруса. Странное сочетание больничной строгости и дворцовой роскоши. И среди всего этого — очень естественная, умная и красивая женщина. С её появлением суровый "предбанник" все более превращается в приёмный покой.

Сегодня, когда я зашёл к ней с очередной порцией опупьевской книги, она разговаривала по телефону с сыном, который, как я понял, читал своё сочинение.

— Нет, Сережа, здесь не нужна запятая... Ой, как коряво... Да нет в русском языке такого слова... Мало ли что говорят во дворе...

Она улыбнулась мне и показала рукой на кресло, приглашая сесть.

— А вот этого, Сережа, писать не надо... Не тревожь Достоевского, Достоевский в твои годы этого не писал... Знаю, что говорю... Не всё, о чём думаешь, надо писать в школьном сочинении. Ты хочешь поссориться со мной?... А я думаю, что человек должен прилично вести себя в обществе, прилично одеваться и прилично выражать свои мысли... Горе ты моё, есть вещи, о которых тебе рано размышлять... Не двоеточие, а тире...

Я сидел, закрыв глаза. Этот ровный голос погружал меня в странное гипнотическое состояние: я был её сыном, и эти слова были обращены ко мне...“

* * *

На этом месте фраза обрывается. Нарисована некая абстракция, в которую вплетается сюрреалистический образ отвратительного существа с прекрасными тоскующими глазами. Рукой Бзвздзиндзского водило подсознание и нарисован, скорее всего, автопортрет.

* * *

“В ветвях цветущей акации жужжат пчёлы. Тысячи пчёл. Корни у акации узловатые, ствол морщинистый, крона шарообразная, ветви в шипах. Она похожа на моток расцветшей колючей проволоки. Старое дерево стоит, словно задумавшись, и тысячи жужжащих мыслей роятся в его ветвях. Точно так шумит в голове, когда ты в цейтноте и нужно срочно закончить две работы одновременно.

Мы стоим с НЕЙ рядом и слушаем мыслящее дерево.

Старый скверик, где мы прогуливаемся в обеденный перерыв, обречен. На градостроительной карте на его месте — пятно, отведенное под жилой дом. Сквер очарователен в своей гибельной запущенности.

Она стоит, запрокинув голову, лёгкие тени листьев скользят по ЕЁ лицу. Меня потрясает мысль: вот эта акация, эта женщина, этот миг — произведение искусства. Через секунду всё это исчезнет — и ни в одном музее мира, никто, никогда не увидит творение гениального, расточительного художника. Мне легко и больно. Взмах невидимого крыла вечности холодит белки глаз.

— Как в церкви, правда?— говорит ОНА.

Мы медленно идём по тропинке, в зелёном туннеле клёнов, вдоль арычка. Наши беседы просты, как журчание воды, жужжание пчёл.

— Вы талантливый собеседник,— говорит ОНА,— Вам отчего-то хочется исповедоваться, с вами хочется делиться тайнами, посплетничать в конце концов. Вы умеете слушать. Это редкий дар. А я бессовестно пользуюсь этим, тараторю, как сорока. Вы не боитесь стать хранителем ужасных тайн одинокой женщины?

— Я боюсь одного: в один прекрасный день я надоем вам, вы пригласите на прогулку Марию Ивановну и мне придется физически устранять соперницу.

Наши отношения напоминают детскую дружбу одноклассников, уединившихся на большой перемене от школьных друзей и скучных уроков.

Иногда всю прогулку мы посвящаем обсуждению журнальной новинки, иногда сплетничаем о сослуживцах. Но о чём бы ни говорила ОНА, всё мне кажется важным, умным, окутанным какой-то романтической дымкой.

Особенно меня восхищает её способность характеризовать человека по почерку. Она почти безошибочно судит о людях, чьи рукописи видит впервые. Во всяком случае ее оценки совпадают с моими, а этих людей я знаю не первый день.

— Ваш завсектором очень неприятный человек. Раб, мечтающий стать господином. К тому же страдающий тайным пороком. Ужасно, должно быть, работать под его началом?

— О начальстве, как о покойнике, или хорошо или ничего. Я о нём ничего не скажу, кроме разве того, что начальство не выбирают,— уклончиво отвечаю я.

— Ну, с вами не посплетничаешь,— улыбается она и переводит разговор на другую тему:— А вы знаете, что помощник Опупьева уходит на пенсию?

— Да, слышал.

— И что вы по этому поводу думаете?

— Хороший, интеллигентный человек. Но рано или поздно всем приходится уходить на пенсию.

— И вас не волнует, кто займёт его место?

— Нисколько.

— А меня волнует. По роду своих обязанностей больше всего мне приходится общаться именно с помощником.

Она надолго замолчала, разглядывая свои длинные пальцы.

Сколько колдовства и ворожбы в движеньях женской руки!

— А вы не хотели бы стать помощником Опупьева?

Вопрос застал меня врасплох. Наверное, очень глупое выражение было на моём лице,— она рассмеялась.

— Я, признаться, об этом не думал,— промямлил я.

— Не думали о том, чтобы ваше рабочее место было рядом с моим? Это правда? Отчего же вы так покраснели?

Я ощутил себя полигоном, в недрах которого испытали ядерное устройство огромной мощности. Взрыв потряс меня, едва не разорвал сердце: я вдруг понял, что не безразличен этой недосягаемо красивой, умной женщине.

— Хотите, я открою вам секрет?— она подошла к жужжащей акации и погладила её корявый ствол.— Вот на этом месте через год будет стоять дом. Французский проект. Улучшенная планировка. Просторные комнаты, светлые лоджии. А знаете, кто будет жить в этом доме, в квартире 13? Я. Зайдите к Опупьеву. Вам он не откажет. Вы так много для него сделали.

— Неудобно,— сказал я.— Да и не нужна мне квартира.

— Странный человек. Не хотите работать рядом со мной, не хотите жить в одном доме... Зайдите, зайдите. Преодолейте свою чудовищную скромность. К Опупьеву — настоящее паломничество. Но вам, я уверена, он не откажет. Он умеет благодарить.

— Это вы по его почерку узнали?

— Нет,— засмеялась она,— вы знаете, за все время, что я здесь работаю, ни разу не видела что-нибудь написанное им от руки. Мне просто так кажется.

Этот разговор был мне отчего-то неприятен. И она почувствовала это. Больше мы на эту тему не говорили.

На одной из прогулок она спросила меня:

— А вы ничего не пишете? Для себя? Отчего вы так покраснели? В наши годы редко кто из мужчин сохраняет способность краснеть.

Вопрос меня действительно смутил.

— Пишу.

— И что, если не секрет?

— Сказки.

— Что-то в этом роде я и ожидала услышать. И они, разумеется, не отпечатаны? Принесите их мне".

* * *

"Сегодня Опупьев впервые позвонил мне напрямую, минуя помощника.

— Ананий,— сказал он озабоченно,— через пять минут к главному подъезду подъедет Володя. Съездишь с ним в издательство, возьмешь мой гонорар.

Что я почувствовал? А что может почувствовать человек, которому внезапно и беспричинно отвесили пощечину?

А он продолжал ровным, бархатным голосом:

— На обратном пути заедешь в ювелирный. Выбери что-нибудь из украшений и купи на эти деньги. День рождения, понимаешь, у жены.

— Без документа не дадут,— сказал я.

— Что не дадут?

— Гонорар.

— Дадут,— и бросил трубку.

Все правильно, все верно. Унитаз не возмущается, когда его используют по назначению. Если человек соглашается писать за другого человека статьи, почему бы не поручить ему выполнение других мелких услуг? Пора учиться достоинству лошади, гордо вышагивать под седоком. Чему возмущаться ей? Тому, что она — лошадь? Но когда меня объездили? Почему я не ответил Опупьеву то, что должен был ответить?

— Куда едем?— недовольно спросил Володя и просверлил меня глазами человека, которого оторвали от самого приятного дела на этой земле — глубокого сна.

... Я выбрал золотой перстень с янтарём. В капельке окаменевшей смолы просвечивалась странная муха с надорванным крылом. Полная иллюзия полёта. Когда же ты, голубушка, вляпалась? Должно быть, приняла густую сосновую смолу за мёд? Бывает. Сквозь янтарь были ясно видны прожилки на крылышках. На одном из них эти прожилки складывались в буквы и при желании можно было даже прочитать слово: "Ананий". Моя головная боль в итоге отлилась в золото и янтарь и скоро украсит палец жены Опупьева. Есть чем гордиться. Я добавил к гонорару недостающие пять рублей. Не всё ли равно: и то и другое заработал я.

Я уже направлялся к выходу, когда мне пришло в голову, как, должно быть, приятно дарить женщине украшения. Вернулся и долго выбирал цепочку, которая бы понравилась ЕЙ. Просто так, умозрительно. У меня не было такой крупной суммы.

Ночью мне снился сон: я вязну в экскрементах. Просыпался в холодном поту, вздыхал с облегчением, но стоило закрыть глаза — снова погружался в липкое и гадкое.

Опупьев ввинчивал толстый палец, поросший поросячьей щетинкой, в отверстие перстня. Огромный опупьевский глаз внимательно рассматривал меня, заму-

рованного в прозрачном камне, а я смущался оттого, что на одной ноге у меня нет ботинка".

* * *

"Я всё-таки купил цепочку.

Зачем?

Не странно ли дарить подобные вещи женщине в общем-то мало знакомой?

И повод?

День рождения.

А если она скажет: "Извините, Ананий Перфильевич, но такую дорогую вещь я не могу принять".

А она именно так и скажет.

Вот, должно быть, в глупом положении оказывается человек, которому возвращают подарок.

Не знаю, но отчего-то приятно носить в кармане эту вещицу, вечером пересыпать её из ладони в ладонь, слушать тоненькое позвякивание звеньев и вспоминать, что ОНА говорила днём, какое при этом было у неё выражение лица, интонация".

* * *

"Познакомился с её сыном.

В обед она позвонила мне:

— Право, неудобно, но с такой просьбой ни к кому в этом здании, кроме вас, я не могу обратиться. Вы не поможете привезти из магазина стиральную машинку?

От этих слов повеяло домашним уютом. Господи, да что может быть приятнее на этом свете, чем привозить из магазина стиральные машинки?! Это моё любимое занятие!

... Мальчик лет двенадцати довольно сносно печатал на пишмашинке. Он сидел лицом к окну и не обратил на нас никакого внимания.

— Познакомься, Сережа,— Ананий Перфильевич. Займи гостя, пока я приготовлю чай.

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

— Нет, нет — без чая я вас не отпущу.

Мы остались одни, и Сережа холодно посмотрел на меня прозрачно-серыми мамиными глазами. Всё в нём было хрупко, утонченно, женственно.

— Что вы печатаете, Сережа?

— Роман,— ответил он серьезно, с некоторым вызовом.

— О чём?

— О всех вас,— сказал он с лёгким презреньем.

— О всех нельзя написать — люди очень разные.

— Люди говорят по-разному, а живут все одинаково. Все они — бандерлоги.

— Вы не любите людей?

— А за что их любить?

— Конечно, человек — существо несовершенное. Только приговор всегда бывает несправедливым...

— А вот вы — хороший человек?— прервал он меня.

— Я?.. Никудышный я человек, Серёжа, никудышный...

— Не может человек о себе думать, что он плохой. Вы думаете одно, а говорите другое.

— Да, я довольно часто так и поступаю, но сейчас сказал то, что думаю.

— И вы любите людей?

— Одних люблю, других не люблю, большинство — жалею. Понимаете, Сережа, каждый человек с рождения заключен как бы в скафандр. Как бы это точнее сказать... Ну, вот представьте, что человеческий мозг поместили в череп коровы. Выдающийся мозг, гениальный мозг. И тем не менее корова вынуждена будет есть траву, пастись в стаде, жить в сарае. Из себя не выпрыгнешь. Хотя люди давно предпринимают такие попытки. Чаще всего безуспешные. Иногда трагические.

Сережу передернуло.

— Я представил, что мой мозг поместили в голову крысы,— объяснил он, и лицо его исказила гримаса отвращения.— Что бы я делал, если бы родился крысой с человеческим мозгом? Я бы сошёл с ума. А как вы думаете, люди потому и сходят с ума, что не могут выпрыгнуть из себя?

— Может быть.

— А вы пытались выпрыгнуть из себя?

— Я?.. Нет, пожалуй.

— А почему вы мне выкаете?

— А как же я должен обращаться к человеку, которого вижу впервые?

— А вы ответите честно, если я спрошу о чём-то?

Я кивнул.

— Философы, идёмте пить чай,— донеслось с кухни.

— Я не хочу чай,— громко сказал Серёжа и отвернулся к пишмашинке.

О чём он хотел спросить меня?"

* * *

"У меня появился друг.

Каждое вскресенье мы уходим с ним в горы, где ослепляющее сияние белых вершин, чистый свет и наркотически опьяняющий воздух не пропускают к себе затхлую гарь, тяжёлую энергию города и плохих людей.

Его зовут Серёжа.

Он в том возрасте, когда взрослые мучительные мысли и замирающее от восторга детское сердце создают бесценный сплав искренности, когда отчаяние и разочарование через секунду при виде обыкновенной бабочки, банального облачка сменяются буйным приступом радости.

Обычно мы идём по какой-нибудь забытой, давно нехоженной тропе и сочиняем фантастическую повесть, перебивая друг друга, волнуясь и горячась, отстаиваем свой вариант, бурно радуясь неожиданному повороту событий или хохоча до бессилия над абсурдной, но свежей мыслью.

Я любуюсь им, когда он смеётся. В нём так много от НЕЁ.

Мне кажется, я первый человек в его жизни, перед которым он не боится показаться смешным.

И мне страшно.

Страшно отвечать на его вопросы. Но я не могу и не хочу ему врать. Порой долго думаю, прежде чем ответить, и он молча идёт рядом, не торопя и не подстёгивая. Его болезненно интересует засекреченная взрослая жизнь, вызывающая у него брезгливое неприятие.

Я нахожу в нём свои черты. При мысли, что рядом идёт мой сын, сладко ноет сердце. "Это невозможно",— говорю я себе — и горы становятся ниже, превращаются в нагромождение пустых пород, пустотой зияет небо.

— А кем вы хотели стать, когда были таким, как я?— спрашивает Серёжа.

— Богом.

Его это не удивляет.

— А что вы хотели сделать, став Богом?

— Новую планету. Засеять её высокими травами, засадить высокими деревьями. Секвойями. Прочертить чистые полноводные реки, взгромадить горы, устроить моря с удобными бухтами. А потом переселить на неё лучших людей Земли, которые бы жили в согласии с при-

родой, не убивали зверей и птиц, ощущали бы себя частью планеты, её сознанием. Они бы не делали оружия, не уродовали землю ужасными строениями. Люди моей планеты выращивали бы дома, как деревья, не строили бы дорог, а летали, как птицы...

Серёжа криво усмехнулся:

— Зря вы хотели завести на своей планете людей. Ваши "лучшие люди" сделали бы с ней то же самое, что и с Землёй.

— Может быть, ты и прав...

— Вот они смеются: коммунизм — самый короткий анекдот, — разгорячился Серёжа,— а не понимают, что смеются над собой, своей жадностью, подлостью. Не доросли и ни-ког-да не дорастут. Бандерлогами были, бандерлогами и останутся. Из себя не выпрыгнешь.

... Однажды мы стояли на краю висячей долины, над срезанной отступившим ледником пропастью и смотрели вниз на реку, состоящую, казалось, из одной пены. Она перекатывала громадные валуны, которым суждено было добраться до далекого моря мелким, золотистым песком.

— А вы не хотели бы жить вместе с нами?— спросил Серёжа.

И во второй раз меня качнуло от взрыва в сердце.

Не помню, что я ему ответил. Что-то вроде того: да, конечно, но всё не так просто, как посмотрит на это мама...

Я посмотрел ему в глаза и понял, чего стоило ему произнести эти слова. Он преодолел то, чего нельзя преодолеть — ревность. Из него получится сильный человек. Очень сильный.

Оказывается, это правда. От счастья можно умереть."

* * *

"... Купил обручальные кольца..."

* * *

"Сегодня ушёл с работы. Ни у кого не отпрашиваясь. Не закрыв и не опечатав сейф и двери кабинета. Оставив на столе документы с грифом "Сов. секретно".

Впрочем, никаких секретов в них нет.

Пустота.

Падают листья. Густо, как снегопад. Они ещё светятся. Будто падают язычки пламени. Но уже мертвы.

Впервые за несколько лет иду ПРОСТО ТАК по улице. В рабочее время. Бесцельно. Никуда не спешу. Я не узнаю знакомый город. Я отстал от него на несколько лет. Тени деревьев, тени прохожих, тени машин. И ни деревьев, ни прохожих, ни машин. Город невидимок. Тёплый, прозрачный, янтарный день. Такой отстраненный, словно вчерашний.

Ей очень идёт янтарь.

— Вам нравится?— спросила она и протянула руку.

Изящные, длинные пальцы машинистки. Бесцветный лак. Хорошо, что она не делает этот отвратительный, кровавый маникюр.

— Посмотрите. Видите — мушка.

Да, вижу. Крылышко надорвано. Прожилки, которые при желании могут составить слово... Свет преломился, и странная муха словно издевательски подмигнула мне.

ОНА хвастается этой вещицей, как ребёнок новой игрушкой. Я тупо киваю головой и снова чувствую себя полигоном, внутри которого один за другим рвутся заряды.

... Я иду по улице и вдруг замечаю, что в руках у меня папка с рукописью очередной статьи Опупьева. Ударом тока передёргивает меня дрожь омерзения. Я швыряю рукопись в пространство, добавляя свою лепту в обильный листопад, и проходившая мимо старушка долго отчитывает меня, справедливо указывая на урну, до половины заполненную опавшими листьями...

— Нет, нет — вы посмотрите — как живая. Словно летит. Правда? И видите — все прожилки на крылышках видны. Сколько ей веков, тысячелетий...

Сюжет — банальнее не придумаешь. Отчего же так пусто. Так больно. Так стыдно и неловко. Так коробит — словно железом по стеклу. Поздравляю. Я — проститутка и сутенер в одном лице. Проституирую собственными мозгами. Отдаюсь этому жирному борову: на, бери мои мысли, запечатли на них свою надменную подпись. Я бескорыстен и щедр. За собственную головную боль, за необратимо потраченные годы я куплю тебе перстень с янтарём, в котором сам себя и замурую. Подари его, всепожирающий кабан, моей любимой. Растопчи и её.

Как лошадь с заснувшим в телеге пьяным возницей бродил я по каким-то улочкам, обильно устланным листвой, по незнакомым дворам и скверам, по одному и то-

му же кругу мучительных впечатлений. Время от времени останавливался, тупо глядя перед собой, парализованный жгучим стыдом, пока не наступала спасительная пустота...

— У вас сегодня день рождения?

— Только, ради бога, не спрашивайте, сколько мне лет.

— Поздравляю вас.

— Спасибо. Да, я отпечатала ваши сказки.

— Сожалею, что отнял у вас время.

— Ну, что вы! Что вы такое говорите!

— Вы хотите сказать, что они вам нравятся?

— И мне, и Серёже...

— Тогда я дарю вам их.

Она оторвала взгляд от янтаря и посмотрела мне в глаза. Какая мука — отражаться в ее зрачках. Лёгкий румянец тронул её щёки:

— То есть как дарите? Золотой мой, нельзя этого делать. Я не могу объяснить почему, но нельзя...

— Почему? Почему писать книги за Опупьева можно, а подарить сказки человеку, которого... который тебе приятен, нельзя?

... Навстречу мне, потупя глаза, шёл пьяный человек в шляпе, загаженной птицами. Что это были за птицы — вороны, воробьи, банальные голуби, а может быть, синяя птица счастья — никто, и он сам в первую очередь никогда не узнает."

* * *

"Гулко скрежещет по цементному полу ведро, сочно чавкает мокрая тряпка. Тётя Маша моет подъезд и поет.

У тёти Маши нет правой руки. Одной левой она поддерживает порядок в квартире, моет подъезды, шьёт на заказ, подметает двор. И всё это помимо того, что где-то работает. Мужа она давно похоронила. Дочь-пьяница подбросила ей внучат и кочует по необъятным пространствам родины.

При всём этом тётя Маша улыбается и поёт. Бывает, конечно, скажет что-нибудь в сердцах и поплачет. Но ведь даже в Сахаре нет-нет да и случаются дожди. Впрочем, плачущей я видел её однажды, когда блудная дочь исчезла в очередной раз, унеся с собой облигации и

жалкие, с таким трудом накопленные тетей Машей гроши.

— Добрый вечер, тётя Маша.

Она распрямляется с кряхтением. Её потное некрасивое лицо, заштрихованное растрёпанными волосами, озаряется улыбкой. Старость вообще безобразна, а старость злая — отвратительна. Есть лишь одно средство на закате жизни сохранить человеческое лицо — доброта. Неистребимая, героическая доброта.

Я беру её руки и на грязные пальцы надеваю два кольца: то, что поменьше,— на мизинец, то, что побольше,— на средний.

— Ты часом не выпил?— спрашивает она, с подозрением заглядывая мне в глаза.— А ну-ка сними, сейчас же сними.

Тётя Маша зубами стягивает с грязных пальцев кольца. Одно из них падает на пол, подпрыгивая, катится по ступенькам. Она бросается за ним.

Я смотрю на два кольца, лежащих на моей ладони.

— Ишь, чего надумал!— отчитывает меня тётя Маша.— Да что я — нищая? Зарабатываю, слава Богу. Да и дочка не забывает. Опять перевод прислала.

Эх, тётя Маша, тётя Маша, гордый человек! Не присылает тебе дочь переводов. Не присылает... Не в далёкой Сибири живёт отправитель, а на одной площадке с тобой, наивная старушка.

Забытое, жгучее, сладкое чувство обиды пронзает меня:

— Ну, если и вам это не надо...

Кольца, сверкнув, падают в ведро, с бульканьем исчезают в грязной воде. Следом летит золотая цепочка".

* * *

"Небывалое, фантастическое событие: открылась дверь моего скудного, одноокonного кабинета и вошёл Опупьев.

— Ананий,— сказал он весело,— ты почему не переселяешься, Ананий? Я второй день без помощника.

Свежим, первобытным хамством веет от его грузной фигуры. Когда он идёт по коридору, будто два грузчика катят тяжёлую бочку с сельдью — паркет трещит под ногами, по всем этажам начинают гулять сквозняки. Человек-каток: не свернешь — раздавит. Я смотрю на него и думаю о себе: "Вот человек, который сделал

свою скромность средством преуспевания, мощным орудием таранного типа. От его скромности в пыль дробятся крепостные стены, летит щепа от дубовых дверей. Что же ты — благодари. Повышение в должности — достойная награда за поджатый хвост".

Опупьев швыряет на стол книгу:

— Тебе третьему, Ананий, дарю. Цени!

Я прочел дарственную надпись: "Тов. Бзвздзиндзскому А. П. за содействие в работе над данной книгой".

В чем заключалось "содействие", я знал. Но что он имел в виду под собственной работой?

— Да что с тобой, Ананий? Ты что — ежа проглотил?

— Я ухожу.

— Куда это ты уходишь?

— Планета большая, места всем хватит.

— Дур-р-рак ты, Ананий, вот что я тебе скажу. Обидно! Не ожидал я от тебя такой неблагодарности, свин ты этакий. Уходишь — уходи. Держать не буду. Одно пойми — что теряешь. Теперь ты — только мой. Все эти, что на тебе ездили, по струнке перед тобой ходить будут. А уйдешь... Пойми: я — первый, ты — ноль. Вместе мы — десять. Поврозь — сам понимаешь. Замену я тебе найду, а ты, пропадешь. Подумай. Хорошо подумай. Ну и вид у тебя, Ананий! Болел, говоришь? Отдохнуть надо, встряхнуться. А знаешь, Ананий, возьму-ка я тебя на королевскую охоту...

И мы поехали. В зоопарк.

По дороге Опупьев омерзительно веселился. Всматриваясь в прохожих, толкал в бок Володю:

— Ты посмотри; какая пупочка! Да нет же — рыженькая. Ты чего башкой-то крутишь, кобелина? За дорогой смотри! А вон, вон — в белых туфельках, в мини. Не крути головой!

Потом Опупьев рассказывал анекдоты и, запрокинув голову, бешено хохотал. Анекдоты были сальными, старыми и не очень смешными. Этот холеный розовый человек напоминал большую комнатную собаку, которую долго держали взаперти и наконец выпустили погулять. Грузно повернувшись ко мне, он принялся рассказывать о чем, собственно, заключалась "королевская охота". Я с ужасом представлял себе сцену убийства, предвкушение которой доставляло столь острое наслаждение Опупьеву. Чем он так восхищался? Животное убивает, а потом пожирает другое животное. Не понимаю. "Иаков

сказал Ревекке, матери своей: Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий."

Из розового уха Опупьева торчали белесые волоски. Развалившись на переднем сиденье, он шумно сопел носом. И при каждом выдохе из ноздри показывался жесткий, курчавый волосок. Холеный, розовый, изнутри он весь покрыт дремучими волосами. Какое омерзительное существо — самодовольный, ограниченный, никогда не сомневающийся в себе человек. Хотя именно в этом секрет власти.

— Лёвва, осёл сбежал!— этой горестной вестью встретил высокого гостя директор зоопарка. Он готов был пасть на колени, осознавая всю тяжесть своей вины.

Сообщенье разволновало Опупьева крайне.

— Как сбежал? Куда сбежал?

За металлическими прутьями ограды лев тоже недоумевал. Озираясь по сторонам, он стоял в центре загона, по-коровьи отмахиваясь хвостом от мух. При всей своей мощи и величии хищник выглядел глупо, как и каждый, обманутый в своих ожиданиях.

Всем нужен был осел.

Жертвенный осел.

И я знал такого осла."

* * *

И Ананий Перфильевич подробно, в мельчайших деталях и, надо признать, очень образно описал сцену пожирания его львом. Особенно живо представлялось, как лев, "обнюхав меня со всех сторон, фыркнул и по собачьи поднял заднюю ногу..."

Позвольте, что за чепуха! Как может человек рассказать о встрече со львом после того, как был сожран им практически без остатка? Это... это... сюрреализм какой-то...

Чем больше я размышлял над этим странным, загадочным обстоятельством, тем больше запутывался. Стоя над приходящей в запустение могилой Бзвздзиндзского, я начинал сомневаться: а умер ли он? Может быть, просто — исчез.

Хотя, с другой стороны, как может исчезнуть ноль?

Это его естественное состояние.

Он есть, когда его нет. Его нет, когда он есть.

Что-то у меня голова разболелась...

* * *

Прошло несколько лет.

Трижды объявлялся общегосударственный траур, после чего было решено перестраиваться и демократизироваться.

Вначале все подумали, что нужно начинать работать — и испугались. Оказалось — нет. Оказалось — совсем наоборот. Все с облегчением вздохнули, и процесс пошел.

На первых же выборах эпохи гласности Хорьков Павел Дмитриевич объявил себя закоренелым демократом, пострадавшим от режима (он был снят с должности после того, как лев пообедал Ананием Перфильевичем), и баллотировался по одному округу с Опупьевым.

Свои зажигательные предвыборные речи Хорьков строил на разоблачении системы в целом и в частности ее матерого представителя — Опупьева Льва Бамбуковича. Народ, который никогда, ни в чём и ни в ком не ошибается, естественно, предпочёл демократа Хорькова консерватору Опупьеву.

К слову сказать, на следующих выборах не сломленный поражением товарищ Опупьев стал ультрарадикалом и в первой же встрече с избирателями обратился к ним: "Господа!". Ох, как он ругал тоталитарную систему! Народ, который... Ну, Бог с ним, с народом. Сейчас Опупьев возглавляет совместное предприятие, через месяц ездит за границу. Дружит домами с Хорьковым.

В печати довольно часто появляются статьи Хорькова. Их масштабность, философичность в сочетании с удивительной легкостью, ясностью нет-нет да и наводят на мысль: уж не воскрес ли Ананий Перфильевич, земля ему пухом? Хотя, нет. Не может быть. Покойный был рабом, волём, жертвенным ослом, но предателем он не был никогда. Да и унизиться до мести он не мог. Об этом я заявляю с полной уверенностью. Тщательно изучив дневниковые записи Бзвздзиндзского и обобщив чрезвычайно редкие и скудные свидетельства людей, знавших его, я восстановил, реконструировал психологический портрет Анания Перфильевича.

... Ел он один гарнир, потому что был вегетарианцем, но всегда покупал бифштекс, не желая выделяться из среды сослуживцев-мясоедов. "Мне кажется,— записал он в дневнике,— что между поеданием животных и каннибальством нет существенной разницы. И люди это скоро поймут. Впрочем, каннибальство до сих пор полностью не искоренено." Спал, свернувшись калачиком, лицом к стенке. Ходил быстро, но бесшумно. Со всеми здоровался пер-

вым. Не обижался, когда ему не отвечали на приветствие. Никогда никому не возражал. В общественный транспорт входил последним. В часы пик ему удавалось сесть лишь на третий, а то и четвертый автобус. Из-за боязни кого-нибудь потеснить, толкнуть, наступить на ногу, причинить кому-то неудобство, частенько пропускал свою остановку. Всех называл на "вы". Если бы животные могли говорить, он "выкал" бы собакам, кошкам и, возможно, даже воробьям. Лицо без особых примет. Будто нарисовал художник портрет, не понравился — и долго стирал резинкой, но так до конца и не стёр.

Кроме сочинения сказок, была у него еще одна тайна. Свободными вечерами брал он лист ватмана, пузырёк туши, старую ученическую ручку с тонким перышком, о существовании которой нынешние дети не подозревают, и забирался с ногами в кресло. Минуту он сидел с закрытыми глазами в теплом луче-колпаке настольной лампы, вспоминал то, чего никогда не видел. Кольнет в сердце ностальгическая льдинка — и видит он необыкновенное село. Столетние дома построены из гигантских в два обхвата бревен, отполированных руками многих поколений людей, обаятельных и добрых. Тихое село, высокие деревья, домашние животные, люди — всё залито нескончаемым умиротворяющим вечерним солнцем...

Рисовал он по пяти часов без перерыва мелкими штришками, в манере сугубо реалистической. Но вещи получались странными — неправдоподобно гармоничными и оттого попахивали авангардом. Попискивало канарейкой пёрышко, создавая новый мир.

Казалось, рука живёт самостоятельной жизнью. Засни он, склонившись над рисунком, она продолжала бы творить этот мир благодатной грусти. Порой на ватмане сами собой появлялись детали, о которых он ещё секунду назад и не думал. Это был процесс ностальгических воспоминаний забытых детских впечатлений. Вспоминался и тут же появлялся на бумаге луч света, проникающий в отверстие от вывалившегося сучка в дощатой двери сарая, и блик от него на обруче, сковывающем край козел. Из сумрака штрихов вдруг вырисовывался гусак с пером, вставленным в нос, возникали женщины, моющие в большом корыте грузди. И он пытался ученической ручкой и тушью передать запах этих груздей и голоса женщин. Иногда ему это удавалось. Этот мир всё наполнялся — приходили люди, животные, появлялись предметы, нёс по дороге солому ветер. И ему было страшно за тех, кем он его населял, за их самостоятельность и непокорность, нежелание следовать

тому, что он задумал. Прошлое, настоящее, будущее ли было на рисунках? И кто он в этом мире, созданном из хаоса штрихов, в условном, сумасшедшем мире из пузырьков туши? Нивидимый паук, ткущий из ничего материю, невидимое божественное ничто? Или сама картина, создающая себя?

В последние месяцы своей жизни он не смотрел телевизор и не читал газет. Боялся нелюбви к людям, которая неизбежно возникает при этих занятиях. Деятельность людей на этой планете представлялась ему развитием какой-то безобразной, страшной болезни. Вроде проказы. Неприятны были людские скопища — очереди ли, митинги... Людей объединяла взаимная ненависть, которую они принимали за что-то другое — гражданственность, принципиальность... Отвратительно смотрелись зубы людей. Мелкие, острые, частые. Они делали похожими их на хищных насекомых.

Он боялся людей. В общении с ними нужно было, чтобы не вызывать неприязни, притворяться глупым. Большинство людей притворяются глупыми. Привычка эта настолько постоянна, что со временем многим уже нет необходимости притворяться.

Из всех общественных мест он любил лишь музей изобразительных искусств. По причине малой его посещаемости. Любил часами стоять перед чем-то ничем не выделяющимся. Он знал секрет доброжелательности. Простой, доступный. Нужно было лишь представить, что эта серая, дрянная работа — твоя. Ты её создатель. И тогда она слегка увеличивалась, начинала постепенно светиться, наполняться красками и смыслом. Чувствоваться. Ты уже не созерцатель. Ты внутри неё. Каждый предмет, каждый мазок до боли родной, напоминает о чем-то навсегда утерянном.

Если в этот момент кто-то подходил и начинал делиться своим мнением — что, мол, за бездарность и как она вообще могла появиться здесь, Бзвздзиндзский не возражал, а только пожимал плечами.

Он всегда и во всём уступал. Но говорит ли это о том, что он был трусом?

Сослуживцы не знали еще об одном тайном и, пожалуй, самом нелепом пороке. Он был диким альпинистом. С лицом, занавешенным марлей, скрывающей его от солнечной радиации и посторонних взоров, в одиночестве взошёл Ананий Перфильевич на все вершины в окрестностях города Тёщинска. Поскольку о подвигах своих он никому не рассказывал, думаю, не в поисках чувства собственной ис-

ключительности карабкался он по отвесным кручам. Привлекала ли его космическая, жуткая красота запределья? Пожалуй. Он был сказочником. Но главное, что бескорыстно дарили ему горы,— одиночество, гарантию от встреч с самодовольными людьми. Чем дальше в горы, тем меньше их. А те, кто встречался у запределья, не были похожи на людей в городе. Они были похожи на людей из его сказок и рисунков. Но даже из них он ни с кем не сошёлся. Люди, по его мнению, всегда остаются людьми. В этом-то и безнадежность дружбы, мечты, надежды.

* * *

Да, чуть не забыл...

Бывшая секретарша Опупьева сделалась детской писательницей. Недавно у нее вышла книга сказок. Все расходы по выпуску книги взяла на себя фирма Опупьева.

Сказка — жанр несерьезный, но новинка вызвала оживление в среде еще не ушедшей в коммерцию творческой интеллигенции. Даже разбойничающий на литературных просёлках критик Гриб-Мордацкий, твёрдо убежденный, что в Тёщинске нет, не было и никогда не появится таланта (исключая его самого, естественно), расчувствовался и отозвался о книге по-дамски изысканно и жеманно: "Чудо как хорошо!" Разговор, правда, состоялся во хмелю и без свидетелей.

Что я мог ему ответить? Да, умел покойник переплести реальность с вымыслом, создать особый поэтический сплав, секрет которого утерян. А сказки... Что сказки? Это единственное, во что еще можно верить.

Но я промолчал.

В конце концов, если человеку подарили вещь, он волен делать с ней все, что ему заблагорассудится. Странный, конечно, подарок. Некая мазохистская фантазия видеть на своих сказках имя этой женщины?

— Говорят, сын у нее наркоман,— доверительно сообщил Гриб-Мордацкий и опечалился.— Потерянное поколение...

Интересно, жило ли когда-нибудь на этом свете поколение непотерянное?

Кому нужна правда о маленьком человеке, когда рушится мир? Он не может не рушиться. Это его естественное состояние с тех пор, как он возник.

Ограбили покойника. Большое дело. Кому нужны подобные разоблачения в эпоху тотального грабежа?

Ботинкам, что покоятся на тёщинском кладбище?
Неплохие, кстати, были ботинки.
Да и человек, в общем-то, хороший. Был.
Только отчего-то стыдился быть человеком.
Них, наверное...

1984—1989 гг.





Ностальгия для синеглазых

В Новостаровке случилось чудо.

На стенде у конторы коллективно заплакали портреты передовиков.

Служителей культа в деревне не было. Население обратилось за разъяснением к начальству: с фига ль, мол?

Разъяснили: чушь!

Как так чушь, когда натурально плачут и слёзы — лизни-ка — солёные.

А, это?... Так это обыкновенное явление природы. Стёкла отпотели.

А почему в "Светлых вершинах" не отпотевают?

Ну, знаете...

То-то!

Бабка Ваня по прозвищу Наш Корреспондент еще тогда обронила загадочную фразу:

— Ох,— сказала она, пригорюнившись,— хлебнем мы еще горя с Долдон Долдонычем Лобастым, помяните моё слово. Не спроста пердавики плачут, не спроста. Это знамение, бабы, ох, знамение...

* * *

А неделю спустя дед Тит по кличке Глазастый, поскольку имел всего один глаз и был убежден, что два глаза — роскошь, встретил у Бабаева леса незнакомого человечка.

Толстенького такого, лысенького с российской курносостью, ярким иностранным рюкзачком и ОЧЕНЬ ГРУСТНЫМИ ГЛАЗАМИ.

Грустные глаза — не для ради красоты вставлены, а по причине всё той же художественной правды.

Такие они были грустные, такие...

Лошадь сама остановилась, взглянув в глаза странника, и, поднявши морду к перисто-кучевым облакам, тоскливо-претоскливо заржала: иго-го... го-го... го-го...

Да что там лошадь! Сам дед Тит сломался под этим печальным взглядом.

— Ишь, гляделки-то вытаращил,— смутившись, пробормотал он и спросил чужака суровым от неожиданного приступа доброты голосом.— Чей будешь, куда путь держишь?

— Не узнаёшь, дядя Тит? Карасиков я, Петя, по прозвищу Колобок...

И последовала сцена до того умилительная, до того душераздирающая, что просто не описать её шариковой авторучкой за рубль тридцать, а можно лишь отослать читателя к картине на библейский сюжет "Возвращение блудного сына" кисти великого...

...Репина? Нет?

— Ну, будя, будя,— погладил дед Тит Карасикова шершавой ладонью по розовой лысине,— чего ж ты так, пешкодралом? Садись в кошёвку, подвезу.

И поехали они полевой дорогой. Лошадь фыркает. Телега скрипит. Разные сельскохозяйственные вредители звенят в разнотравье. От березовых колков грибным духом пышет.

— Вот, дядя Тит, воздух-то какой на родине вкусный,— говорит Карасиков,— так бы и дышал, так бы и дышал.

— Дыши,—разрешил щедрый дед и полюбопытствовал.— А ты чего это ноги даром бьёшь? К нам, однако, автобус ходит.

— На утренний-то я опоздал, а вечерний уж больно долго ждать.

— А своей машины, случаем, не имеешь?

— Есть. "Запорожец",— кратко ответил Карасиков и, поморщившись, добавил.— Только я его того... Стукнулся.

— Стукнулся!— обрадовался дед и горячо заговорил.— Рано или поздно все стукаются. Возьмём соседа Скрипуна. Мужик день и ночь десять лет кряду деньгу заколачивал. До того дошёл — на еде экономил. Всё, бывало, пустую кашу ел. Всё ел кашу, ел, деньги копил, копил. Накопил — купил. И что ты думаешь? Три километра проехал бац!— в "Камаз" врезался...

— Машину разбил?

— Да чёрт с ней, с машиной! Сам, понимаешь, того... Копил на машину, а вышло — только на гроб. Ну, так разобраться, зачем ему машина?— призадумался дед.— Как козе стеклянные рога. Не охотник, не рыбак. Жену на ферму возить?

Расстроился дед Тит. Достал из кармана районную газету и скрутил из неё громадную "козью ножку". Да как пыхнет! Лошадь в дыму исчезла. Остановилась и закашлялась. И долго-долго поднималось вверх облачко табачного дыма — до самого неба.

— Или того хуже — Васька Тютюн,— снова загорелся остывший было дед.— Ему как передовику "Ниву" без очереди по условиям дали. Так он её в сарае на берёзовые чурки поставил, чтобы колёса не мять, и стоит она на этих чурках, как пианина какая, считай вторую пятилетку. Тряпочкой каждый день протирает. А куда ездить-то? К тёще в Синеозёрку? Так туда автобус ходит. Он же на этом автобусе и работает.

— А Санька!— раздухарился дед.— Тот, правда, свою не бережёт. Всех собак, подлец, передавил в деревне. У бабы Груши гуся разлепёшил, у Сеньки Лысого — петуха. Знатный был петух, горластый, что твои кремлевские куранты. Ни одну курицу в деревне не пропустил.

— И что это у вас, дядя Тит, автофобия какая-то?— спросил Карасиков, глубоко вдыхая бесплатный воздух родины.

— Не знаю такого слова, разъясни,— насторожился дед.

— Ну, машинобоязнь...

— Вот хорошо сказал. Боюсь я их, пукалок бензиновых. Раньше до лесу редко кто на телеге, всё больше пешкодралом добирались. А сейчас — сел в машину, не успел сигарету докурить — слезай, приехали. Все ягодные места повытоптали, долболобы! Вишарники повырубали. Лень, понимаешь, по ягодке собирать. А когда тундровый гусь пролетает, такая пальба стоит — Боро[illegible]о! Поля на два

пальца дробью усеяны. Наградил же Бог ... ровку озёрами да лесами. Спасу от этих ... номерами — нет. Тьфу!

Помолчали, уставившись на кобылий хв... она кокетливо смахивала со своего крупа му... смотрел мечтательно, поэтически, дед Тит ... осуждающе.

— Как подумаю, что у каждого машина буд... ...ше последнего глаза лишиться, чтобы не видеть эту безобразию,— молвил дед могильным голосом и взмахнул рукой, словно раздвигая занавеску.— Да ты сам посмотри.

С вершины холма увидел Карасиков знакомое озеро — голубое с золотым ободком песка. А вокруг, словно грязь под ногтями,— грузовики, бензовозы, автобусы, "Жигули", "Москвичи", мотоциклы с колясками и без. Все озеро в лодках, будто в семечной шелухе.

— А сегодня, заметь, середа,— поднял палец наблюдательный дед,— и когда только люди работают?

— Отпускники, наверное.

— Отпускники, растудыт их в качель!— возмутился дед.— Какой такой отпуск, когда уборка? Кто-то, понимаешь, пыль по двадцать часов в сутки глотает, а кто-то,— он покосился пиратским глазом на рюкзак Карасикова,— прохлаждается...

Карасиков душевно так улыбнулся суровому деду и ласково объяснил:

— Я, дядя Тит, не в отпуск. Я — навсегда.

— Иди ты?— удивился Глазастый.— А как же квартира с сортиром, работа, жена?

— А хрен с ними,— блаженно пропел Карасиков, шумно вдохнул воздух и так смачно крякнул, будто сто грамм выпил.

Дед подозрительно покосился на попутчика: сильно, видать человек стукнулся, когда в аварию попал.

Карасиков, скосив глаза на кончик носа, ласково пел:

— Комарик! Землячок мой дорогой! Соскучился, голубчик, по моей кровушке? Ну, пей, золотце моё, пей...

Дед слегка отодвинулся, нахохлился и надолго замолчал. Но вёл про себя жаркий диспут. И когда мимо, обдав их пылью, промчался "жигулёнок", не выдержал и с места в карьер горячо завыступал:

— Подумаешь — навоз. Навоз — дело полезное! От него урожай повышается! А от твоего мазута какая польза? То-то и оно-то!

Но странный Карасиков не откликнулся на философские размышления деда Тита. Выдрав из-под себя клок се-

на, он смачно нюхал его, обильно поливая счастливыми слезами.

* * *

Выпили.

Закусили солеными груздочками.

Душа большая-большая стала. Вместилась в неё деревня Новостаровка, озеро Глубокое, детство, небо в звездах, запах сена и иногда сдуваемые ветром звуки танго с далёкой танцплощадки, шум тополя, весь мир.

— А ты, Колобок, не шутишь?— спросил школьного товарища Долдон Лобастый.— Хорошая деревня Новостаровка, кто спорит. Только вот НИИ у нас нет. А ты, поди, докторскую строгаешь.

— Эх, пацаны!— обнял однокашников размякший Колобок.— Никуда я отсюда не уеду. Даже если выгонять будете. Ой, хорошо на родине, ой, нет сил как хорошо!

— Хорошо в краю родном,— подтвердил, закуривая и многозначительно переглядываясь с Лобастым, Туфелькин,— пахнет сеном... ну и всем остальным. С бабой что ли разругался?

Карасиков мотнул головой.

— Не хочет, понимаешь, переезжать на родину. На мою родину!

Поднял Карасиков палец вверх. Посмотрел на него с недоумением и заплакал.

— Бывает, — объяснил Долдон Лобастый Туфелькину.— Перенапрягся над диссертацией — малость заклинило.

Выпили для ясности.

Задумчиво похрустели груздями.

И сказал помрачневший Туфелькин:

— Бывает судьба к человеку ластится, как пёс, хвостом перед ним крутит, а он, коз-з-зёл безрогий, возьмет да и упустит счастливый случай. А потом всю жизнь агентом по снабжению мотается, как вещество в проруби,— это он на себя, на Туфелькина намекал.— Так ему, козлу, и надо.

Поиграл Туфелькин желваками и ударился в воспоминания:

— Я же в детстве рисовал хорошо. Углем на стенах. Сикейрос, ядрёна вошь! Бабка поймала — уши хоть на шурупы прикручивай...

А в то лето художник в деревню приехал. Не то что там коврики на клеёнках рисовал, настоящий, с мольбертом. Над ним вся Новостаровка потешалась. Встанет на солнцепеке под зонтом и малюет: то развалюху бабки Шмычихи, то утей в луже. А ещё рыбачить любил с самодельной лодки. Штук сорок футбольных камер, обтянутых прорезиненной тканью. Непотопляемо.

Отец мой (даром что всю жизнь быкам хвосты крутил, а соображал) собрал мои рисунки в охапку — и к художнику. Мол, будет толк или одно баловство? Художник посмотрел на мои промокашки и говорит: пусть это юное деревенское дарование обязательно зайдёт ко мне.

А я, сейчас никто не верит, такой скромный, такой стеснительный в детстве был. Боязно идти — и все. Мужик страшный был: борода клочьями, морда рабойничья, глаза кошачьи. Взгляд спиной чувствуешь. Пристальный такой, изучающий. Колдун колдуном.

Так и не насмелился.

А встреться с ним, может быть, вся жизнь круто, понимаешь, изменилась бы. Это городским пацанам просто — там на каждом шагу или художественная школа, или дворец пионеров. А тут... Пропустил я, мужики, случай. Наливай!

— Если в человеке какой-никакой талант есть — все равно проклюнется,— вступила в разговор сдобная, улыбчивая хозяйка, жена Долдона Лобастого, ставя на стол пельмени.

— Это ты, Верунчик, октябрятам расскажи,— ядовито усмехнулся Туфелькин.— Талант — не цыплёнок в скорлупе. Однако и цыплёнку, чтобы проклюнуться, наседка нужна.

— Не скажи,— вступил в дискуссию Лобастый.— Взять Любку Самохвалову. Какой голос, а? Без всякой наседки. Природный. Что дано, то дано.

— Давай возьмем Любку,— обрадовался Туфелькин.— Тоже, понимаешь, случай. Наши, когда на смотр в область ездили, в парке выступали. На открытой эстраде. А в это самое время приехал на гастроли в Тёщинск знаменитый певец. Как же его звали? Крутится в башке, а не вспомню. Ну, ладно, не важно. Короче — знаменитость.

Вот отдыхает знаменитость перед концертом в номере и вдруг слышит Любкин голос. Говорят, в пижаме прибежал на певицу посмотреть. "Вам,— говорит Любке,— учиться надо. Вы,— говорит,— сто очков Зыкиной дадите"...

— Прямо так и сказал?— фыркнула хозяйка.

— Ну, что-то в этом духе. Ага. И даёт ей визитку. Будете, мол, проездом в Москве — непременно загляните. Я вас в консерваторию сведу и с нужными людьми познакомлю. Ваш голос — народное достояние... Ну и так далее.

А эта дурёха отвечает: то да сё, пятое-десятое, на фиг мне ваша консерватория. Кто, мол, новостаровских коров будет за сиськи дёргать и пятилетку в четыре года выполнять... Д-д-дура!

Петька Гнус в это время в армии служил. Вот она его и дожидалась. Козла. Красив был, подлец, в молодости...

От певца два письма пришло, только Любка на них не ответила. Не то чтобы там кокетничала — боялась над ошибками смеяться будет.

Дождалась она своего Петьку. А тот сразу после свадьбы первым делом и заявил: никаких самодеятельностей. Почирикала — и в клетку. Будут еще на тебя всякие шары пялить.

А тут она еще письмами московского певца похвасталась.

Что тут было!

И до чего приревновал — не только в клубе, но и на гулянках петь не позволял.

Потом дети пошли. Она по этой части тоже шибко талантливая оказалась. Что ни год — то новый гнусенок.

Однажды уговорил её старик Петров выступить. То ли юбилей какой был, то ли космонавт приехал... Не помню. Спела она тогда, в последний раз. Так спела — до сих пор в ушах звенит. Вот голос, а? Может быть, во всей стране, а может быть, и на всей планете такого второго не было и не будет. Слушаешь — выпить хочется...

Затосковавший было Лобастый встрепенулся, поднял рюмку.

Выпили.

Но Туфелькин закусывать не стал, продолжал печальную повесть:

— А Петька на концерт пьяным ввалился. Снял с ноги пим подшитый и этим пимом гнал Любку через всё село. И вот же, скотина, даже пальцы не обморозил. Хотел его участковый на пятнадцать суток в район для профилактики отправить...

— Я бы таких к высшей мере приговаривала. Без суда и следствия,— вставила, не выдержав, хозяйка.

— Это бы ты. А Любка — ну, дура, а?—"это наше семейное дело, я зла не держу, разберёмся сами"... Отмолила.

— Золотая баба,— вздохнул Лобастый, с некоторым укором посмотрев на жену,— а досталась чёрти кому.

— Вот тебе и случай, вот тебе и цыплёнок в скорлупе,— Туфелькин совсем разнервничался, закурил новую сигарету.— Казалось бы прямая дорога в народные артистки. Мировая слава. А она — Петьку-забулдыгу выбрала. И он же её, стервец, за голос — подшитым валенком. Вот тебе и талант. Да плюнь ты на этого сморчка...

— Плюнь теперь,— пригорюнилась хозяйка.— Выволок-то какой. Трёх до матери-героини не хватает. И все сапоги.

— Да ладно бы петь не разрешал,— удивился Лобастый,— он же её, веришь, нет, к газете ревнует.

— Это как же?— встрепенулся Карасиков, мечтательно разглядывающий пельмень, нанизанный на вилку.

— Приехал как-то в совхоз корреспондент из областной газеты, увидел Самохвалову и говорит: "Много видел передовых доярок, много видел доярок красивых. Но чтобы передовая и красивая — так это в первый раз". Всю плёнку на неё истратил. А через неделю — снимок в газете. На первой полосе, с кирпич размером. Как увидел Гнус — взбеленился. По какому такому праву вся область, не спрося разрешения, на его жену шары пялит?! Он её, веришь, нет, ко всей области приревновал. Пришла на работу с синяком. На грабли наступила, говорит...

— Да зачем же она с таким питекантропом живёт-то?— возмутился Карасиков.

— Любовь!— мстительно играя желваками, объяснил Туфелькин.— Любит стервеца. И вот скажи: бабник, пьяница, ревнивец, драчун, расподлец последний, а она за него душу отдать готова. Видно, такие бабам и нравятся. Он же от неё уходил однажды. К Соньке Бульдозеру. Два сапога — пара. Думали — ну, слава Богу, освободилась Любка. Так ведь нет — назад привела... Ты чего, Колобок?

Карасиков, сжав лысину руками, безутешно плакал.

— Какой БЫЛ голос,— заговорил он с тоской, давясь слезами,— а где он теперь? Растаяли песни в небе высоком, утонули в озерах холодных. Всё прошло. Навсегда. Ничего не вернется. Никто их больше не услышит... А сколько людей уехало из Новостаровки! Безвозвратно. Где-то живут, что-то делают, а как бы умерли...

— Правильно сделали, что уехали. Еще Маркс сказал,— Туфелькин наморщил лоб, вспоминая, что сказал Маркс об уехавших из Новостаровки, и продирижировал цитату пальцем,—"идиотизм деревенской жизни". Во! Это вам не Тит Глазастый — сам Маркс заявил! Дураков нет.

Лично я — стариков навестить, порыбачить, с друзьями пообщаться — с удовольствием. Но жить здесь — извините. Родину, её на расстоянии больше ценишь. Ты посмотри: одни дураки в деревне остались...

Сурово посмотрел на него Долдон, и смутился Туфелькин, осёкся.

— Дураки не в смысле дебилы,— туманно уточнил он.

— А в каком таком смысле дураки?— холодно поинтересовался Лобастый.

— В смысле простодырые,— заегозил Туфелькин,— на которых воду возят.

— Эх, Туфля,— захлебнулся слезами Карасиков,— не знаешь ты, что это такое — тоска по родине. Это... Это...

— Давай, Колобок, за Родину,— протянул рюмку для чоканья Туфелькин и, заноза такая, не утерпел, подколол.— Я тебя, кстати, здесь лет десять не видел.

— А правда, ребята, сколько умных голов уехало из Новостаровки,— призадумался Лобастый,— Генка Сопливый, Васька Хряк...

— Светка Приблуденко,— мечтательно добавил Туфелькин и, спохватившись, уточнил.— В смысле красивая.

— Да... Вот где утечка мозгов. Эх, вернуть бы в село мужиков башковитых.— Лобастый машинально чокнулся, машинально выпил и закончил, как бы протрезвев от выпитого.— Легче прошлогодний снег вернуть. Нет в природе такого средства, чтобы человека от тёплого унитаза оторвать...

— Есть!— возразил Карасиков, упрямо мотнув хмельной головой,— есть такое средство!

* * *

— О каком таком ностальгине ты вчера сказки рассказывал?— спросил Лобастый Карасикова, выстукивая пальцами лошадиный галоп по крышке директорского стола.

— Я говорил о ностальгине?— упавшим голосом переспросил грустный с похмелья Карасиков.— Врал, наверное. Трепался.

— Трепался? Ты этим ностальгином Туфелькина угостил.

— Иди ты!— перепугался Карасиков.

— Ну. Вы ещё пари заключили: если после таблетки Туфелькин не переедет на постоянное жительство в Новостаровку, ты ему почти новый, но слегка разбитый "Запо-

рожец" подаришь. Что спьяна не скажешь. Но спор такой был.

Карасиков в полуобмороке отвалился на спинку стула, закрыл глаза и сказал голосом приговоренного к исключительной мере наказания:

— Ищи для Туфелькина работу.

Лобастый хмыкнул, подпер голову кулаком и сказал саркастически:

— А для тебя уже не надо искать работу?

— Для меня теперь надо искать место на кладбище. Приедет Туфелькин — убьёт.

— Он у тебя еще три таблетки выцыганил, кроме той, что водкой запил. На всё семейство.

— Жена у него городская? Дети в городе родились?— всполошился Карасиков, вскочил и забегал вокруг директорского стола, как искусственный спутник.— Звони, Антон, немедленно звони! Может случиться семейная катастрофа. Надо предупредить, чтобы никому не давал эти таблетки. Никому!

— Слушай, а я всегда думал, что с юмором у тебя туговато,— изумился Лобастый.— А ты оказывается веселый мужик. Надо же такое придумать — ностальгин...

— Звони, Антон, это не шутка,— взмолился Карасиков.

Лобастый хмыкнул, пожал плечами, протянул руку к телефонной трубке да так и застыл.

В дверном проёме стоял Туфелькин и смотрел на школьных друзей грустными и счастливыми глазами.

— Мужики,— сказал он проникновенно,— жизнь-то проходит. А ведь ничего хорошего в ней, кроме нашего детства, нашей Новостаровки, нашего озера, если разобраться, не было. Ну с хрена ли мне мотаться по одной шестой земного шара в поисках запчастей? Разве ж для этого я природой предназначен? Что мне на памятнике напишут, когда загнусь? "Снабженец Туфелькин..." А дальше что? А этот кошмарный город! О-о-о-о! Я как к мосту подъезжаю, да если ещё под ним состав с углём проходит, такая тоска — галстуком удавиться хочется. Лобастый, тебе нужен инженер?

— Вы что сговорились? Разыгрываете меня?— поднялся из-за стола Лобастый. Глаза его забегали, как маятники у ходиков — от Туфелькина до Карасикова, от Карасикова до Туфелькина...

* * *

Баба Ваня по прозвищу Наш Корреспондент так рассказывала:

— О ту ночь, бабоньки, приснилось Ульяне будто родила она ежа. Хвостом вперёд. Проснулась — и родила Лобастого.

Ёжик, а не мужик получился. Упрямый, что твой бульдозер. И умный, как утка. Только отруби не ест...

Действительно, голова у Лобастого была большая, а выражение лица умное. Крутой, бодливо наклоненный лоб, насупленные белёсые брови, слегка отвисшая в лёгком презрении нижняя губа — всё выдавало в нём будущего вождя. Чего ему долгое время не хватало, так это живота. Человек без живота в деревне не может рассчитывать на очень большое уважение. А уважение Антону Антоновичу было позарез необходимо. С самого детства мечтал он только об одном — стать директором совхоза, как его кумир — герой труда Петров. Поставь Лобастый перед собой высокую цель — без сомнения достиг бы и её. Но выше этой должности для него ничего не было.

Когда Лобастый отрастил вполне приличный живот и стал-таки директором, легендарное, молодое, бурное и веселое время целины навсегда кануло в прошлое, оставив ностальгический звон в душе да тоску по ковыльным степям.

После директора-героя, умершего как и положено герою на рабочем месте от инфаркта и не накопившего ничего, кроме орденов, выговоров и знаменитой на всю область фуфайки, кто только ни сиживал на его стуле. Этот венский стул был просто волшебным. Не стул, а катапульта для выдвиженцев. Подбрасывал в такие высоты — дух захватывало. Но однажды снесли его в совхозный музей и заменили солидным, обитым свиной кожей креслом. И сразу совхоз перестал быть полигоном для перспективных. Вместе с петровским креслом исчез какой-то особый дух, нечто мистическое, неуловимое, неосязаемое, без чего все начало быстро разваливаться, гнить, оседать, рушиться, приходить в полное запустение. Как-то разом затосковали по родным местам первоцелинники, размечтались о городах и комсомольских стройках молодые новостаровцы.

В общем, когда главный зоотехник райсельхозуправления Антон Лобастый запросился на директорство в родной

совхоз, на него посмотрели как на камикадзе — кто с восхищением, а кто с подозрением.

Мало сказать, что хозяйство было в глубокой, извиняюсь, пропасти. Такой разрухи, такого разора и обветшания, такой беспросветной безнадёги свет не видывал. Все, что еще как-то двигалось в этом самом отстающем в области хозяйстве, все, что как-то уважало себя и о чем-то мечтало, рано или поздно приходило к одной и той же мысли: прочь отсюда, прочь! Начался великий улёт без надежды на возвращение — кто уезжал в райцентр, кто в соседнее хозяйство, кто на БАМ, кто куда глаза глядят. Предшественник Лобастого был уволен с громким, на всю область тарарахом — за пьянство, моральное разложение, корыстные посягательства на общественную собственность. Говорят, даже совхозную печать пропил.

Если бы это было не советское хозяйство, а воинская часть, её бы давно расформировали.

Впрочем, дело шло к полному вымиранию. Еще год-другой — и весь совхоз отправляй на пенсию.

Были проблемы, были...

Но Лобастый не расстраивался.

Не такая у него была нервная система, чтобы расстраиваться.

Особенно по пустякам.

Снял он со стены своего кабинета портрет живого вождя и подарил его главному бухгалтеру, а на вакантный гвоздь повесил фотографию своего кумира — героя-первоцелинника. Умыкнул из музея венский стул, сел на него и стал думать. О чем он думал, никто не знает, только именно о ту пору заплакали передовики на стендах конторы.

Десятки, сотни вариантов проигрывал новый директор, но всякий раз вместо желанного света в конце туннеля перед его внутренним взором возникала дубовая парадная дверь, на массивных бронзовых ручках которой висела табличка: "Нет выхода".

Лобастый не верил в Бога.

Но Бог был и послал он Лобастому Карасикова.

* * *

Разговор шел с глазу на глаз.

Припёртый обстоятельствами и Лобастым к стенке, Карасиков исповедовался.

— ... И вот тогда-то меня и осенило,— заново переживал он волнующие минуты открытия,— должно быть вещество, пробуждающее это неистребимое влечение, спящий до поры до времени инстинкт. Представь себе, чёрти где, на другом конце планеты, у берегов Америки ли, Африки ли плавает существо с холодной кровью, немигающими глазами, практически безмозглое. И вдруг наступает час, когда все оно охвачено неудержимым желанием, властным зовом. Тоской по родине, по маленькому, может быть, уже давно пересохшему ручейку. И плывёт через два океана, тысячи вёрст, а потом рвет своё тело на речных перекатах о каменья да крючья. И всё против течения, против течения. Доплыть и умереть, доплыть и умереть...

Через несколько лет скучной работы я выделил это вещество из рыбьей крови.

Мне не терпелось испытать его действие. И я испытал. На себе.

Ничего более сильнодействующего я никогда не испытывал. Моя воля была раздавлена, сплющена, как муха под асфальтным катком. Я не мог думать ни о чём, кроме Новостаровки. Вспоминал её тальниковые плетни, разбитые гусеницами тракторов, переулки, обычай высыпать золу на дорогу, запах навоза и земляники, грустные завывания буксующей в ночи машины, тарахтенье далёкого движка, вкус паслена и ворованных яблок-дичек — и всё это вызывало слёзы умиления. Не кровь струилась в моих венах — сплошные слёзы. Это было сумасшествие. Веришь нет — я, Карасиков, ночи напролёт, обливаясь слезами, писал стихи о том, что растёт, понимашь, в Бабаевом лесу дикая вишня, а я её давно не ел, а так хочется, а на дворе зима... У-у-у-у, не могу, сердце так и разрывается. А потом невыносимо захотелось лизнуть свежепобеленную стенку в старой избе Солопова переулка, хотя она давно уже сгорела... У-у-у-у... К женщине, понимаешь, так не тянуло. Чувство такое — просто сравнить не с чем. Вот такое чувство — сию же секунду лететь, плыть, бежать в Новостаровку. Иначе — или умру, или с ума сойду. И поплыл Карасиков на нерест...

Слушал рассеянно Лобастый однокашника, ковырял языком в дупле зуба, верил и не верил, а между делом поглядывал в окно.

Вид из окна был довольно унылым. "Дом быта" без крыши, стена из огнеупорного кирпича, искрошенного долгими, скучными дождями. Лужа жидкой грязи и белые утки в ней. Поваленная штакетникова ограда. Покосившийся, растрескавшийся от морозов сосновый столб и жел-

тая табличка с красной буквой "А", прибитая к нему одним гвоздём. И криво, и высоко, и не там, где надо.

Прислонившись спиной к столбу стоял механизатор широкого профиля Лёха Кошкодралко. Руки в карманах, нога за ногу. Рядом — дембельский чемодан. Весь в красавицах, а поперек красочная надпись: "Made in Novostarovka". Был Кошкодралко такой большой и широкий, такой мордастый и упитанный, что, будь природа не так расточительна, из него можно было бы сделать двух нормальных парней и ещё одного маленького телёнка. Лёха стоял не шевелясь около часа, поджидая городской автобус. Лень было двигаться, лень было думать. Если можно было бы не дышать, он бы и не дышал. А вокруг Лёхи вражеским бомбардировщиком кружила зеленая навозная муха. Всякий раз, когда она попадала в сектор обстрела, механизатор широкого профиля метко плевал в неё. Но муха всякий раз увёртывалась и снова басовито гудела над ещё одним новостаровским дезертиром, неотвязная, словно совесть, которой, само собой, у Лёхи не было.

Отвернулся Лобастый от окна, от балбеса Лёхи и долго катал по столу изъятые у Туфелькина таблетки, словно в шарик-малик играл. Маленькие такие, как фасолинки, а ты посмотри какая польза народному хозяйству!

Заходил Лобастый по кабинету, тяжело заходил. Размышлял. Будто по паркету бочки с квашеной капустой катали — так он трещал и постанывал под грузным директорским телом. Трудно думал, долго ходил, но выходил-таки мысль. Сказавши: "А вот мы сейчас проверим",— распахнул форточку и кликнул Лёху.

* * *

— Что же ты, Алексей, бросаешь нас?— с задушевным осуждением спросил Лобастый, ставя перед дезертиром трудового фронта стакан лимонада.

— А что?— нахохлился Лёха.

— Через плечо. Уборка на носу. Чо! Да ты пей.

— Может быть, человек не хочет,— вытирая пот с лысины встрял Карасиков.

— Человек хочет. Человек час на солнцепёке столб подпирал. Умаялся. Пей, Алексей, пей.

Граненый стакан в Лёхиной лапе смотрелся крошечной рюмкой. Бульк — и нет лимонада.

— Мать-то всё хворает?

— А як же — годы,— степенно ответил Лёха.

— На кого ж ты старуху бросаешь?

— Я ж не в Америку еду,— потупил очи Лёха.

— А комбайн на кого оставил?

— Та-а-а-а,— протянул Лёха и неопределенно махнул рукой,— на заринском грейдере стоит. Сломался.

— Что!— подпрыгнул Лобастый.— На заринском грейдере? Так его же на запчасти растащат!

— А як же,— флегматично согласился Лёха,— растащут...

— Ремни снимут,— расстроился Лобастый.

— А як же,— опечалился Лёха,— снимут. И ножи сопрут. И колёсам ноги приделают. Уж больно, Антон Антонович, вороватый народ в "Заре" подобрался.

— Так как же, Микеланджело, ты, Буонаротти, технику-то в голой степи бросил?— рассвирепел Лобастый.

Лёха сделал морду лопатой и занялся маникюром — грязь из-под ногтей выковыривал. Язык от усердия высунул и глаза вылупил.

— На заринском грейдере бросил!— накинулся Лобастый на сидящего с посторонним видом Карасикова и при этом так хлопнул себя по лбу ладонью, что чуть-чуть сильнее — и могло произойти самоубийство.— Ты когда-нибудь встречал таких чудаков? Нет, такого никакой ностальгин не возьмет. Зря только таблетку истратил,— и, обращаясь к Кошкодралко, спросил яростно.— Ну а в Тёщинск какой чёрт тебя несёт? Кому ты там нужен, в Тёщинске?

— Мордастов зовёт, Иван Иванович. Вышибалом работать,— степенно ответил Лёха.

— Вышибалом!— передразнил Лобастый и, схвативши за горлышко графин, сказал с чувством.— Так бы и вышиб мозги. Если б они, конечно, были.

Вот в такой приятной беседе и прошло полчаса. За это время Лобастый успел раздымить полпачки сигарет, отматерить заведующего МТМ, бригадира и подвернувшегося некстати под руку зоотехника — в счёт будущих провинностей.

А Лёха выковырял всю грязь из-под ногтей и любовался своей работой.

— Что расселся-то?— шуганул его Лобастый, забывший в хлопотах о спасении брошенного комбайна, об эксперименте.— Автобус давно пришел. Вали отсюда! И чтобы духа твоего в Новостаровке не было!

— Автобус?— встрепенулся Лёха.

Сонные глаза его налились пронзительной есенинской грустью.

В них появилось то, чего не могло появиться,— мысль.

Достал-таки Лёху ностальгин, достал.

— Чо-то больно рано городской сёдни прикатил,— удивился он, посмотрел на часы и снова удивился.— Спешат чо-то...

Потоптался, потоптался и сказал как-то тепло и задушевно. Искренне так сказал:

— Вы, Антон Антоныч, не думайте, что Кошкодралко всё до фени. У него здеся,— гулко хлопнул он себя по грудной клетке,— тоже, может быть, не пырей в огороде. У него, может быть, тоже душа, едрёныть, за технику страдат. Пойду, комбайн проведаю. Если хоть один болт пропал, гадом буду, всю "Зарю" на уши поставлю.

Повернулся и вышел вон, яростно хлопнув дверью.

В наступившей тишине раздался звук, похожий на клацанье затвора. Это у Лобастого отвалилась челюсть.

* * *

— Будешь у меня, Карасиков, на кадрах сидеть,— решительно хлопнул Лобастый широкой ладонью по столу.— Бери бумагу — кадры обсудим. Пиши: "Возвращенцы". Написал? Подчеркни. Поставь цифру один. А теперь давай думать. Васька Хряк, а? На автозаводе работает. Инженер.

— Хряк исключается,— непреклонно нахмурил брови Карасиков.

— Отчего исключается, когда у меня завгар на пенсию уходит?

— У Хряка голубые глаза.

— Да плевать мне, какие у завгара глаза. Мне без разницы — у меня самого синие.

— На синеглазых ностальгин слабо действует. Так — лёгкая грусть.

— Так ты что — и на других испытал?

Запыхтел Карасиков, заелозил на стуле и тихо сказал, залившись краской стыда:

— Да в нашем институте только и остались, что голубоглазые.

Присвистнул Лобастый. Задумался. А что, собственно, думать над чужими проблемами?

— Не завидую я директору вашего НИИ, Колобок, ой не завидую.

— Он первым и сорвался,— засмущался Карасиков и объяснил.— Брюнет. Кавказец. На таких ностальгин моментально действует.

— А результаты ты обнародовал?

— Не успел — сам понимаешь, пронострадьгировался. Все результаты — в рюкзаке.

— Это хорошо. Жалко, конечно, что Хряк голубоглазым уродился. Завгар позарез нужен. Ну, ладно. Кто у нас там дальше? Мишка Гусь? Кареглазый...

— В футбол хорошо играл...

— Пьёт, зараза...

— Архитектурный кончил...

— Алкаш...

— Так будем Гуся ностальгировать или нет?

— У меня своих алкашей, хоть ЛТП открывай.

— Вычеркивать?

— А архитектор бы нам очень даже пригодился. Поставь вопрос. Вот ещё что. У меня немцев целое отделение. Всей Келлеровкой в ФРГ собрались.

— Понятно. Пронострадьгируем.

— Внеси в список Ваньку Губошлёпа. Нам хирург нужен. И Лёшку Ибраева впиши.

— Дипломат-то тебе зачем?

— Впиши, впиши. В хозяйстве всё пригодится.

— Чеснока вписывать?

— А на фига нам Чеснок? Он же художник.

— Ну, мало ли... Транспаранты к празднику, афиши, портреты передовиков...

— Он же авангардист. Такого тебе передовика нарисует — человек запьёт с перепуга. Не поймет народ Чеснока. Обидится. Да у нас есть уже один художник — Федька Косой. Так по клеткам рисовать намастырился — от живого не отличишь. А два художника на один совхоз — перебор. Это уже не искусство, а сплошная пьянка получится.

— Слушай, а как быть с жёнами?— встрепенулся Карасиков.

— Как — как? Напоить ностальгином — поедут как миленькие.

— Куда поедут?

— На родину — куда?

— В том-то и дело...

— М-да...— задумался на мгновенье Лобастый и рубанул воздух ладонью.— Тем лучше — ностальгин на жёнах сэкономим. Любят мужей — поедут. А не любят — зачем им такие жёны?

— Дело тонкое, деликатное,— засомневался начальник отдела кадров совхоза "Степные орлы имени Н. Н. Петрова".

— А что ты думаешь о Генке Сопливом?— предложил новую кандидатуру не знающий сомнений Лобастый.

— Мужик он, конечно, серьёзный, основательный. Только где в Новостаровке можно использовать секретного физика-атомщика? Что он умеет, кроме как бомбы под землёй рвать?

— Надо подумать, авось, на что-нибудь да сгодится,— полусогласился, полувозразил Лобастый и вдруг весь так и вспыхнул энтузиазмом.— Вот кто нам действительно нужен, так это Ванька Мордастый. Оцени — директор лучшего в Тёщинске ресторана. Будут, Колобок, в нашей столовой цыплята-табака, будут!

* * *

Иван Иванович Мордастов, мужчина в расцвете лет, внешностью соответствующий своей фамилии, сделавший стремительную карьеру с низов, с вышибал, пребывал в лирическом настроении.

— Знаешь, Валюша,— задушевно обратился он к супруге, пышнотелой в два обхвата женщине, но с натурой тонкой, возвышенной,— земляка встретил и вспомнилось вдруг, как ездили в юности в соседнее село. В санях. Закутаешься, бывало, в тулуп. Снежок, понимаешь, морозец. И всё — лесом, лесом... Звёзды так и прыгают...

— Это по какому такому делу на ночь глядя?

— Дело молодое, обыкновенное — на танцы... А снег под луной искрится, искрится. Голубой такой. Берёзы мелькают, мелькают. Лошадь фыркает — пар из ноздрей шарами, шарами. Полозья елозят, елозят... Поедем, Валюша, в деревню жить?

— Ну, мелькают, ну фыркает, ну елозят, а ехать-то зачем?— удивилась рассудительная супруга.— Опять "Наполеон" из горла жрал?

В другое время у Иван Иваныча нашелся бы достойный ответ на необоснованные подозрения, но на этот раз он лишь грустно вздохнул:

— Эх, Валюша, Валюша, что ты понимаешь в тулупах да лошадях...

* * *

Не в одной семье Мордастовых поднялся тихий переполох.

— Ты куда это собрался, Василий?— нервно дёргалась субтильная женщина и звенела украшениями, как новогодняя ёлка во время землетрясения.

— В деревню, матушка, в деревню,— с грустным спокойствием отвечал лысый мужичок академической внешности, расчесывая пятернёй бороду.

— В какую деревню, Василий?

— В Новостаровку, матушка, в Новостаровку.

— Зачем, друг мой?

— Баньку надо срубить, баньку.

— Уж не заболел ли ты, Василий? Какую баньку?

— Из лиственницы, матушка, из лиственницы.

— Что за манера, Василий, повторять одно и то же слово. Раздражает, ей богу! Где ты возьмешь в Новостаровке лиственницу? Что случилось, Василий?

— А то и случилось: не срублю баньку — помру...

* * *

Как справедливо сказал один несправедливый человек, кадры решают всё.

Кадры слетались в Новостаровку косяками, стаями и поодиночке.

На людных вокзалах новостаровца можно было узнать издалека — по вытаращенным от тоски глазам, особой остервенелости при штурме билетных касс, нервному, нетерпеливому вышагиванию в ожидании посадки.

Баба Ваня по прозвищу Наш Корреспондент бегала встречать каждый автобус из Тёщинска. Наметанным глазом определив ВОЗВРАЩЕНЦА, она своевременно подставляла своё массивное плечо очередному блудному новостаровскому сыну, обуреваемому желанием обрыдаться и исповедаться. И какие только душещипательные истории о безмерной любви к полузаброшенной Новостровке не разносила по селу бездонно любопытная баба Ваня.

С появлением тоскующих по родине возвращенцев односельчане стали заметно душевнее. Люди РОДНИЛИСЬ, то есть попросту хорошо относились друг к другу. Такое было ощущение, будто взяли Новостаровку и перенесли на чужую планету. Всё, что оставалось за границами совхоза, было нежизненным, враждебным, вызывало тоску и страх. Не было в мире другого места, годного для проживания, кроме Новостаровки. Как-то разом проснулась деревня от долгого скучного сна, все вдруг в ней стали поэтами и музыкантами. Из чуланов были извлечены забытые гармони-

ки, балалайки и по вечерам Новостаровка превращалась в одну большую певчую душу, в одно задушевное страдание. И летели к звёздам печальные, полузабытые песни о кудрявой рябине и черемухе, которая колышется под окном.

Случалось, вся деревня, закрыв глаза, ЗАХОДИЛАСЬ в одной песне, в одном чувстве, выводила её на тысячу ладов, смакуя и душевно растворяясь в ней.

Пели все без различия пола, возраста, национальности и партийности. Пели — и деревня превращалась в одну большую душу.

Но душевнее всех, выше всех, до самой полярной звезды взмывал редчайший голос долго молчавшей Любки Самохваловой.

— Ишь ты, соловьи новостаровские раскудахтались,— говорили уважительно сторожа из соседних сел и, стесняясь собственных чувств, украдкой смахивали слёзы умиления.

Уж до того, загрызи их комары, пронзительно голосили новостаровцы, аж небо над деревней светилось. Лунной пыльцой осыпались их песни на окрестные озера, поля и леса. Не хочешь, а выпьешь.

Даже Пётр Гнус, душитель талантов, не удержался от общего томления излить свою душу в песне. Нет-нет да и прорвётся из общего хора его пропитый, прокуренный голосок:

Мимо тёщиного дома
Я без шуток не хожу.
То кирпич в окошко брошу,
А то фигу покажу.

Но главным образом переполнявшую душу любовь к родине новостаровцы изливали в трудах каждодневных. Не было на земном шаре людей, с большим удовольствием очищавшим фермы от навоза, убиравшим золу с дороги.

Кому случалось проезжать мимо Новостаровки долго не могли прийти в себя, а только в изумлении раскачивали головами и цокали языком: "Такая, понимаешь, чистота — ну, ваще! Представь себе — улицы метут и взбрызгивают. А чтобы дохлую кошку на дорогу выбросить — что ты! А чтобы шуруп вбить — ни-ни! Всё, понимаешь, вкручивают"... Народ балдел от таких рассказов и сомневался. И то — легче поверить в НЛО, чем в существование людей, которые вместо того, чтобы разом вколотить шуруп, высунув от усердия язык, терпеливо вкручивают его.

А новостаровцы, очистившись от пыли, копоти и грязи, между тем совсем обурели. Им захотелось сделать свою деревню красивой и чтобы — в это трудно поверить, но это так!— чтобы в ней МОЖНО БЫЛО ЖИТЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ.

Этим вредным фантазиям дал ход алкаш от архитектуры Мишка Гусь, привезший в Новостаровку студенческий проект новой деревни. "Крестьянский дом,— говаривал Гусь,— это не только место, где человек работает и спит. Это ещё и зона отдыха, зона душевного, грубо говоря, покоя." Чего только не было в его проекте — дома-терема в три этажа с резьбой и высокими крышами, гаражами и банями с бассейнами, дворовыми постройками, в которых было учтено всё, вплоть до собачьих будок. Буйное, нечеловеческое вдохновение разом избавило Гуся от алкоголизма и заикания, а его бледная, тусклая лысина после бесплодного десятилетия вначале зарумянилась, а потом вдруг закурчавилась рыжими волосами.

В проекте Гуся на берегу озера сверкал граненным алмазом Центр совместного досуга — нечто напоминающее стеклянную пирамиду, где было всё — зимний сад, спортзал, бассейн, кино- и концертный залы, комнаты для различных ремесел и искусств, и — ядрёна вошь!— бар. К центру примыкал яхт-клуб.

Другие бы, нормальные, сельчане сказали: "Слушай, Гусь, ну на хрена нам яхт-клуб?" А новостаровцы только поплевали на ладони и с лозунгом: "Подумаешь пули, нас дробь не берет!" принялись без лишних уговоров и дискуссий за дело.

* * *

Этот бассейн, а особенно яхт-клуб прямо как серпом по сердцу резанули товарища Тюлькина. На фига попу гармонь, размышлял он. Ну, допустим, возьмем скотника Иванова. Вот он напоил крупный рогатый скот, раздал корм, почистил стойла. И что же он после этого сядет в яхту и будет рассекать водную гладь озера Глубокого? Как-то не укладывалась в сознании Тюлькина эта картина, как-то коробило его от такой картины, что-то в ней было не то. А захочется ли скотнику Иванову после яхты снова чистить стойла?

Вызвали Лобастого в район и вставили ежа.

Вернулся Лобастый в Новостаровку мало сказать что грустный.

Ещё бы не грустить: разбазаривание государственного имущества — статья серьёзная.

И спросил Карасиков как бы между прочим:

— А откуда он родом, этот Тюлькин?

— Да, говорят, на Шпицбергене родился,— рассеянно ответил Лобастый и вдруг встрепенулся, вскочил, заходил по кабинету, энергично потирая руки и напевая густым басом: "Широка страна моя родная..."

Походил, походил да и встал, словно в стеклянную стену врезался.

— Однако он, кажется, того... Синеглазый.

— Да что ты!— ужаснулся Карасиков.

— Хотя нет. Скорее сероглазый. Да, точно — сероглазый.

— Уф!— успокоился Карасиков.— Это же совсем другое дело!

* * *

Да, товарищ Тюлькин на свою беду имел довольно-таки бесцветные глаза.

Его неожиданный беспричинный отъезд ни у кого сожаления не вызвал, но многих удивил. Вспоминали загадочную фразу, оброненную товарищем Тюлькиным на хозяйственном активе, посвященном неутешительным итогам уборочных работ:

Белый медведь на белом сугробе
Лапой прикрыл чёрный нос...

Произнёс — и надолго задумался.

Актив перестал шуршать газетами и с изумлением воззрился на трибуну. Стало слышно, как где-то далеко-далеко, может быть, даже в другой галактике, елозит ведром по полу уборщица.

В кладбищенской тишине очень странными показались одиночные хлопки, кощунственными.

Актив — шух!— разом посмотрел в центр зала, где, отвалясь на спинку кресла, с неприлично веселым лицом аплодировал Лобастый.

Встрепенулся Тюлькин и сказал тихим голосом хирурга, только что зарезавшего пациента: "Прервёмся, товарищи..."

Больше его, собственно, и не видели.

... В перерыве к Лобастому пристроился перекурить директор "Светлых вершин" Браев и нежно, деликатно

своим необъятным пузом оттеснил новостаровца от перевозбужденного актива в безлюдный закуток районного дома культуры. Говорил о вещах посторонних, ни к месту хихикал и подмигивал, крутился вокруг да около, всё на что-то туманно намекал. Наконец, собравшись с духом и сделавши наивно-наглые глаза, сказал в лоб:

— Поделился бы, сосед, зельем приворотным? О прошлую зиму я с тобой последней соломой делился.

Поперхнулся Лобастый дымом и долго кашлял, соображая, откуда хитрый Браев пронюхал новостаровский секрет и что бы ему такое ответить. Только и оставалось — вытаращить глаза и переспросить:

— Какое зелье?

— Да ты, не боись, не задаром же. У нас и лес строевой, и кирпичный завод, и глина красная...

— Х-х-ха! Зелье! Самогон что ли?

— ... Из нашего кирпича, хоть кремлёвскую стену строй,— продолжал между тем Браев.— На десять домов? Пожалуйста. Что — больше надо? Договоримся. Дома-то нужны? Нужны дома! Кадр к тебе так и прёт, как карась на пареную пшеницу. А у меня, видишь ли, ненадёжный кадр, хлипкий. Залётный-перелётный. Бежит, понимаешь, кадр из "Светлых вершин", как таракан от хлорофоса бежит...

— Надо же придумать — зелье приворотное,— осуждающе качал головой Лобастый, прижатый пузом соседа в угол, из последних сил борясь с искушением.

А Браев всё вдавливал его пузом, всё наседал:

— Ты Браева не первый год знаешь,— шептал он страстно,— Браев в долгу не останется. А если насчет языка сомневаешься,— не сомневайся. Браев — могила. ТЫ МЕНЯ ПОНЯЛ, А?

— Что за лес?— перешёл на шёпот Лобастый.

— Тюменский. Сосна,— тихо-тихо в самое ухо выдохнул Браев.

Против сосны трудно было чего возразить.

И Лобастый не устоял.

* * *

Так началась эта странная торговля приворотным зельем.

Однако, между нами будет сказано, Карасиков наотрез отказался поить ностальгином помимо особо нужных совхозу новостаровцев остальную часть человечества.

Во-первых, неэкономно, а во-вторых, уже тогда задумывался он о последствиях неконтролируемого распространения тоски по родине.

И внутренне вздрагивал.

Короче, Карасиков сказал: "Нет!"— и хоть ты его на сковороде жарь.

Однако и лес упустить было жалко.

Пришлось в обмен на лес, кирпич, санфаянс и железо отдать весь запас аспирина из новостаровской аптеки.

Предварительно, естественно, выколупав его из упаковок.

Аспирин — не ностальгин, но тоже помогало.

Однажды, подмешав в коньяк таблетку аспирина, Браев опоил им зоотехника колхоза "Светлый путь" и сманил к себе.

А председатель колхоза "Светлый путь" увёл аналогичным образом из "Светлых вершин" агронома. Правда, говорят, обещал продать ему списанный "уазик". Но факт остается фактом.

Да, Браев не был могилой и от желающих получить приворотное зелье не было отбоя. Приходилось засылать лазутчиков в соседние хозяйства. За аспирином.

* * *

Собственно, Новостаровка на аспирине и отстроилась.

На месте развалюх повырастали дворцы. Как бабочки из куколок.

Пронастальгированные новостаровцы как-то разом потеряли интерес к автомашинам и сбереженья свои вкладывали исключительно в жилища. И каждый стремился переплюнуть соседа: чтобы и крыша повыше, и ставни порасписней, и сирень подушистей. Большого труда стоило Мишке Гусю разъяснить землякам мысль о едином архитектурном стиле.

В большой моде были витражи. Пришлось открывать стекольное производство. Невесть откуда среди новостаровских неумех объявились мастеровые — резчики по дереву, инкрустаторы, лепнильщики, кузнецы, гранильщики, печники... Кто-то из железа дерево выкует — от живого не отличишь, кто-то эолову арфу на коньке укрепит — на каждый ветер своя песня, кто-то крышу-оранжерею соорудит и зимой апельсины выращивает. А погреба строили просторные, чистые, со сводчатыми потолками, встроенными полками-бочонками, непременно с круглым столом и

скамьями посредине. Хорошо в жаркий день скрываться в них от зноя, потягивать холодный и слегка хмельной клюквенный напиток.

Многие новостаровцы на мансардах телескопы установили и ночи напролёт выискивали на небе новые звезды. Но, конечно, предпочитали коллективный отдых. Биллиард, знаете ли, кегельбан, парусная регата.

А по вечерам над селом стоял яростный перестук мячей, сопровождаемый тяжелым крестьянским кряхтеньем и уханьем. Очень полюбился новостаровцам большой теннис. Бабы у колодца соберутся посплетничать и непременно кто-нибудь скажет, поджав губы: "Да и что это, кума, за огород без оранжереи да теннисного корта!"

* * *

Конечно, не все так уж гладко и весело шло в Новостаровке. Пошушукивались и косо посматривали на Карасикова.

Из Колобка в Колдунка переименовали.

Кто чего в деревне утаит? Смешно, ей Богу!

Все знали: понравится Карасикову человек — он на него благодать напустит, не понравится — испортит.

Глаза у него такие. Левый — привораживает, правый — отвораживает.

Отозвал как-то раз дед Тит Карасикова в сторонку и сказал с укором:

— За красоту природы, Петро, не болеешь.

Вытаращил Карасиков глаза и губы куриной гузкой сделал: ничего не понимает.

А дед Тит указал кнутом на Глубокое и объяснил мысль:

— Эвон сколько шелухи плавает. Всё озеро загваздали. В нем воды не осталось. Половина — бензин, половина — моча. Кончать эту безобразию, Петро, надо.

— Надо,— согласился Карасиков.— А как?

Уставился дед Тит на Карасикова единственным, но зорким глазом. Долго смотрел — с недоумением и обидой, а насмотревшись, хлопнул себя кнутовищем по сапогу и сказал зловеще и многозначительно:

— Надо, Петро, чужаков от озера ОТВАДИТЬ.

И палец к губам приложил:

— Т-с-с... ТЫ ПОНЯЛ, А?

Карасиков и сам уже давно с нелюбовью посматривал на пришельцев, вылавливающих новостаровских окуней и

язей. Да и кому понравится, если в озере, где ты в детстве коней купал, какие-то чужаки моют грязные машины?

* * *

По берегам озера били три родничка. Серебряный. Белоглинный. Боярышниковый.

Из этих-то родничков и черпали заезжие рыболовы воду. Кто для тройной ухи, а кто просто утолить жажду или того лучше запить водку. До того вкусная, бодрящая была вода, что многие набирали её в термосы и увозили домой. И все, кто её пробовал, так и говорили: "Прямо-таки живая вода. Особенно после водки."

И задумал Карасиков проностальгировать все три источника. Но в меру. Так, чтобы, испив водицы, человек не полностью с ума сошёл от тоски по родине, а лишь ощутил лёгкое беспокойство, беспричинную грусть, достаточную, впрочем, для того, чтобы даже самый заядлый рыбак в самый разгар клёва смотал удочки.

Всё упиралось в нужную дозировку. Тонкое дело. Тоньше комариной струи. Переборщишь — мало ли кто из родника воду пригубит. Ни одних браконьеров жажда мучит. Случится — пройдёт мимо хороший человек, а не известно, где он родился. Опять же новостаровцы... Ну, им-то не повредит родниковая водица. Они и так родину крепко любят. Будут любить чуточку сильнее — только и всего.

Так, примерно, размышлял Карасиков, рассчитывая нужную дозу.

Вроде бы все варианты прикинул, всё, казалось, учёл.

Соорудил три прибора, отдалённо напоминающие микрофоны, подзаправил ностальгином и однажды безлунной ночью глубоко, по плечо, воткнул в горла родников.

Через неделю — перезарядка.

И случился великий драп чужаков.

Выглядело это, примерно, так. Раздаётся лёгкий шлепок. Это сидящий в лодке хлопает себя по лбу. Вроде бы комара убил. А на самом деле в голову человека пришла мысль: "Ё-ма-ё! А чего я здесь делаю? Баня недостроена, корова, поди, не доена и жена не ругана ходит". И выгребает человек к берегу. Да не один. Словно морской десант в атаку пошёл — стремительно несутся лодки, мелькают вёсла, плеск и суматоха, как после первого выстрела в день открытия охоты.

Глубокое обезлюдило и обезмашинило.

Чисто стало на озере, просторно и задумчиво.

Ни одной посторонней собаки, кроме довольно редко встречающихся в природе голубоглазых браконьеров.

Дед Тит при встрече жал руку Карасикову крепко, со значением. И подмигивал. Хотя, конечно, трудно судить об одноглазом человеке — подмигивает он или просто моргает.

* * *

Однако потихоньку-потихоньку, а озеро наполнялось пронзительной тоской по родине. Его солоноватая вода приобрела какой-то особый ГРУСТНЫЙ цвет. Глядя на его безмятежную гладь, в которой отражались облака и птицы, отчего-то непременно хотелось насвистеть песнь Сольвейг или в крайнем случае промычать марш "Прощание славянки".

Случались и вовсе диковинные вещи. Наловишь окунишек, принесешь домой, выпотрошишь и на сковородку положишь. А они — прыг с плиты, за порог и — через дорогу, по переулку, обсыпанные мукой и слегка поджаренные,— к озеру, к озеру...

Люди, конечно, озерную воду по причине её солености не пили, а вот скотину поили.

А она, хоть и скотина, а тоже родину имеет.

Не подумал о скотине Карасиков, не учёл скотину.

А между тем продукция новостаровских ферм отправлялась в Тёщинск на завод сухого и обезжиренного молока. Там из неё делали порошок и отправляли в районы крайнего севера. От ностальгированного новостаровского молока северяне впадали в меланхолию и тяжело задумывались о смысле жизни. Случалось пускали слезу, а порой и рубахи на себе рвали. Многие настолько пристрастились к молоку, что забыли о водке. Бывали и запои. Пьёт, эдак, человек молоко, пьёт, а потом вдруг побросает в спешке в чемодан самое необходимое — и первым же рейсом улетает в неотмеченный на картах населенный пункт, где протекает безымянная речка, в которой не только золота, но и самой воды нет. Усохла.

* * *

Что это за высокохудожественное произведение, земляки, без лирического отступления? Уж лучше водка без закуски.

Ну, то что золотоискатель побежал с севера — это проблемы севера. Нас они не касаются. А вот природоохранная акция Карасикова так и подмывает порассуждать на поэтическую тему: "Не суй свой нос..."

Я так думаю, мужики, что хуже людей, взваливающих свою работу на других, только люди, выполняющие чужую работу.

Если среди вас завёлся такой доброхот, охотно подменяющий других,— гоните его в шею, пока он своей простотой душевной не отравил атмосферу, не загубил общее дело.

Чем больше он работает за других, тем больше плодится лентяев.

Окружающие свыкаются с мыслью, что он за них доделает и переделает, не фига за это не получив, и постепенно отвыкают думать о своих обязанностях, лишь изредка удивляются: "Это почему он не выполнил мою работу?"

Но не дай бог, если этот доброхот что-то когда-то сделает как-то не так. А это непременно случится, потому что один за всех все равно не управится. И тогда весь коллектив бездельников укажет на подменялу пальцами и дружно скажет: "У нас незаменимых нет!"

Так ему и надо, согласен. Но дело в том, что уже поздно — коллектив обречен. Никто ничего не делает, все только критикуют друг друга, дело гибнет на корню, народ разбегается.

Зубной пастой на кумаче, зубилом на мраморе, пенопластом и неоном запечатлите основную мысль этого лирического отступления: "Гоните в шею альтруиста!"

* * *

Но вернемся к новостаровской скотине.

В полночь стадо племенных телок взломало двери фермы и, выставив рога миноискателями, возбужденно мыча и пуская слюни, устремилось в сторону Жанажола. Героический скотник Никифор, вставший, грозно размахивая дрыном, поперёк пути взбунтовавшейся скотине, был сбит и затоптан. По свидетельству немногочисленных очевидцев этого ужасного зрелища, последние слова несчастного были обращены к матери.

А между тем, протоптав дорогу по жанажольским полям и келлеровским огородам, тёлки всё тем же неукротимым буйволиным галопом всё дальше и дальше удалялись от Новостаровки...

Путь их был прям, как полёт пули. Если встречалась река, они, не замедляя бега, бесстрашно бросались с обрыва в воду, если лес — продирались сквозь чащобу, оставляя на сучьях клочья шерсти. Они не свернули даже, наткнувшись на степной пожар — с жутким рёвом пронеслись сквозь огонь. У видивших дымящиеся рога и горящие хвосты всю оставшуюся жизнь бегали по спине мурашки.

Остановить тёлок было невозможно.

Вопрос, куда бегут тёлки, волновал не только новостаровцев, но и учёных, заинтересовавшихся странной миграцией домашней скотины. Конечно, находились шутники, которые утверждали, что тёлки бегут на мясокомбинат. Но с каждым днём событие представлялось всё более загадочным и серьёзным. Маршрут стада тщательно отслеживался, над ним постоянно кружили вертолёты. Было много гипотез, но никто не знал точно, куда бежит стадо.

Никто, кроме Лобастого и Карасикова.

Задумчиво склонились они над школьным глобусом и жёлтый, прокуренный ноготь Лобастого, опережая события, скользил по Европе, пересекая государственные границы, нанизывая как бусы на нитку чужедальные города, пока не остановился в Голландии.

— Где-то здесь,— хмуро сказал Лобастый.— Голландки. Коровья элита. Думал: скрестим с местной, ребристой, свою, новостаровскую породу выведем...

Карасиков делал скорбное лицо и печально кивал головой.

— Что же ты, Колобок, наделал?— спросил Лобастый таким спокойным голосом, что у Карасикова от страха очки запотели.

— Кто же знал,— промямлил он,— что у скотины — и такое вдруг поэтическое чувство, как тоска по родине...

— Я тебе покажу поэтическое чувство!— заорал Лобастый да так громко, что голуби по всей деревне одновременно сорвались с крыш, а все, как одна, собаки завыли.— Это поэтическое чувство хозяйству в миллион обошлось! Чтобы сей же час твой рюкзачок здесь был!

И Лобастый ткнул коротким толстым пальцем в сторону сейфа.

— А тебя я от должности отстраняю,— опять спокойно сказал он,— мне такие дорогие кадровики не нужны.

* * *

Карасиков, несмотря на своё деревенское происхождение, был человеком интеллигентным, и когда на него сильно орали, он терялся. А растерявшийся интеллигентный человек непременно сделает какую-нибудь глупость.

Можно было, скажем, разжечь небольшой костёр и бросить в него рюкзачок с ностальгином? Запросто! Так нет же — приволок его Лобастому, смиренно смотрел как тот запирает тоску по родине в сейф, пломбирует, и всё извинялся, извинялся за племенных тёлок.

Ушёл опальный колдун в рыбинспекторы.

Хорошая работа. Катайся себе на моторной лодке, гони волну вдоль берега да в бинокль поглядывай. Смотри не смотри — ни одного захудалого браконьера не увидишь. Уж больно дурная слава о Глубоком идёт.

А от безделья люди что делают?

Или спиваются, или стихи начинают писать.

Ещё неизвестно, что для общества страшнее.

* * *

Чем хорошо художественное произведение, так это тем, что можно без спроса заглянуть не только в кабинет, но и в мысли человека даже очень высокопоставленного.

Если они, конечно, есть.

Может быть, люди и врут, но в последнее время очень и очень странные вещи происходят в хозяйстве "Степные орлы имени Н. Н. Петрова". Загадочные.

Скажем, отвезли на тёщинский мясокомбинат бычков высшей упитанности, сдали, а через неделю они, исхудавшие, но радостно мычащие, снова вливаются в родное стадо. Подкормят их и снова сдают, но на этот раз на ильинский мясокомбинат. На доступном от Новостаровки расстоянии находилось пять мясокомбинатов. И были среди бычков такие экземпляры, что, побывав на всех пяти и принеся хозяйству небывалую прибыль, в знак особых заслуг перед земляками были съедены ими во время полевых работ практически даром.

Большой доход приносила хозяйству и птицефабрика.

Слава о новостаровских гусях и утках шла по всей Тёщинской области и за её пределами. "Ну такие мясистые, ну такие жирные: не гуси — бараны с крыльями",— говаривали в народе и при этом облизывались и причмокивали.

Большой спрос был на новостаровскую птицу. Машины с нездешними номерами развозили жёлтые пищащие комочки по всему лесостепному краю, за десятки и сотни километров. Проданный молодняк отъедался на чужих хлебах, а к осени вдруг поднимался на крыло и возвращался в Новостаровку.

Буквально с неба падали даровые миллионы.

Иной раз в поисках беглецов и заедет какой-нибудь хозяйственник: так, мол, и так, не залетали к вам наши гуси? Удивятся новостаровцы: да вы что, мужики, это же ДОМАШНЯЯ птица, с чего бы ей летать? А впрочем, скажут с лёгкой обидой, ищите.

Трудно найти белого гуся среди тысяч белых гусей. Тем более, если его уже съели.

Может быть, может быть, и врут люди...

Да что там гадать,— заглянем-ка мы в голову Лобастого, в самые сокровенные мысли, как хозяйка заглядывает в кастрюлю с кипящим наваристым борщом.

Эх, товарищ Лобастый, товарищ Лобастый! Не НАПРАСЛИНУ ВОЗВОДИЛИ на вас люди: рюкзачок-то в сейфе сильно похудел... Эксплуатируете, значит, святое чувство, наживаетесь, понимаете ли, на любви к отечеству... Ох, товарищ Лобастый, джина из бутылки выпускаете... Это кто зануда? Это я зануда? А вот шарами вращать не надо, не надо шарами-то вращать. А ностальгином попугайте кого-нибудь другого. И с чего это вы синеглазых-то не любите? Может быть, какой-нибудь кареглазый бы и промолчал, а я вам так скажу: не надо было вам на последнем активе выступать. Работа с молодежью, всем классом — в родной совхоз, патриотическое начинание...

Что в этом плохого? Да ничего плохого. Только вы посмотрите чуть дальше собственного носа. И что вы там видите? А видите вы повестки из военкомата. Интересно: как ваши проностальгированные патриоты Новостаровки Родину защищать будут? Какая разница — от кого. Воинскую обязанность ещё никто не отменял...

* * *

В штабе Н-ского военного округа служил ВДУМЧИВЫЙ майор Колыяк.

Эпитет "вдумчивый" вовсе не намекает на то, что Колыяк был исключением из правил, и все остальные майоры данного округа были не вдумчивыми.

Эпитет этот поставлен единственно для красоты и связки слов в предложении, как говаривал один каменщик, когда его корили за крепкие выражения.

Внешне майор Колыяк напоминал опломбированный сейф. И не потому, что был тяжёл, квадратен и остро отглажен, а потому, что на всём его облике лежала печать секретности.

Майор Колыяк вёл статистику самовольного оставления частей, побегов, дезертирств. Какая разница? Да есть нюансы, есть. Он составлял аналитические таблицы-гармошки с множеством граф, в которые заносились практически все качества дезертиров. По итогам года сумма этих качеств должна была выявить причины неуставных миграций, что помогло бы раз и навсегда покончить с этим позорным явлением.

Должна была выявлять, но не выявляла.

Иной раз казалось: вот оно, нащупал — побежал сорок первый размер! А на следующий квартал — бац!— побежал сорок второй.

Майор Колыяк учитывал всё: рост, вес, национальность, количество прочитанных книг, объём груди, количество гауптвахт — короче всё. Через эту сеть не могла проплыть даже самая маленькая закономерность. Скажем, два года назад побежала вдруг вторая группа крови. Казалось бы — эврика! А на следующий все группы смешались, но зато повышенную склонность к самовольному оставлению частей проявили белобрысые.

Другой бы давно махнул рукой и сдался, но майор был не из тех хлюпиков, что, пробив головой стену и оказавшись в соседней камере, начинают малодушно размышлять, а стоит ли пробовать ещё раз. Майор был упрям и свято верил, что есть разгадка этого вечного бича всех армий. А если есть — он её найдёт. С каждым годом в его таблицах всё увеличивалось и увеличивалось количество граф.

И вот однажды, в очередной раз подбив итоги годового дезертирства, майор Колыяк подошел к карте страны, повторяя в некотором замешательстве: "Новостаровка, Новостаровка, Новостаровка..."

Населенного пункта с таким названием на карте не было.

И тем не менее это была столица.

Столица дезертиров.

Не столько тот факт, что половина всех дезертиров приходилась на село, не удостоенное чести быть отмеченным на карте страны, взволновал майора Колыяка, сколь-

ко то, что вторую половину составили военнослужащие, посланные за новостаровскими беглецами.

И только прапорщик Водкин, сержант Олькин и ефрейтор Загогуля не дали драпу.

Почему?

Майор Колыяк не был бы майором Колыяком, если бы не выяснил всё до конца, до самой незначительной детали.

Именно в его докладной особое внимание командования было обращено на тот факт, что ефрейтор Загогуля, сержант Олькин и прапорщик Водкин были людьми чрезвычайно синеглазыми.

После этого открытия Майор Колыяк провел несколько месяцев под особым наблюдением психиатров. Впрочем, вскоре его не только выпустили из больницы, но и присвоили очередное воинское звание. С чем мы его сердечно поздравляем и навсегда прощаемся с бдительным май... , извините, подполковником.

Что же произошло за то время, что провёл Колыяк в психбольнице?

* * *

Ехал дед Тит по песчаной дороге вдоль озера Глубокого, рассуждал по обыкновению вслух о преимуществах гужевого транспорта, как вдруг видит: из Белоглинного родника с колен, по-собачьи пьёт воду неизвестный гражданин.

Не наша спина была у гражданина, не новостаровская.

Пил чужак долго. Не то что дед Тит — кобыла притомилась, ожидаючи. Дед Тит деликатно, но громко покашливал, кобыла с негодованием фыркала, а пришелец всё пил и пил.

— Не пил бы, мил человек, из родничка,— не выдержал, изнывающий от жары и любопытства дед,— не ровен час козлёночком станешь.

Нездешний поднялся с колен и оглядел через плечо деда.

Чужак был ослепительно синеглазым альбиносом.

Белые брови, белёсые ресницы, нежная розовая кожа. И на этом младенчески невыразительном пространстве — два северных бездонных озера. Подо льдом.

— Рыбачим или как?— поинтересовался дед Тит.

— Или как,— ответил нездешний и улыбнулся без души. Губы растянул, а глаза так и остались зимними.—

Вкусна у вас водица. Прямо серебро на губах оседает. Так бы и пил.

С этими словами белобрысый без спроса забросил в кошевку дипломат и то ли спросил, то ли приказал:

— До конторы поедем...

— А как жить,— охотно согласился дед и пообещал кокетливой кобыле:— Я на тебе, Машка, шашки нарисую — и будешь ты у меня деревенским такси.

А пассажира спросил с душевной беспардонностью:

— Откуда, куда и зачем путь держим?

— Из столицы, дедуля, за местным фольклором.

— Кто такой? Почему не знаю? Из немцев что ли?

— За частушками...

— И сколько за частушку платить будешь?— спросил практичный дед.

— По рублю,— легкомысленно пообещал незнакомец.

— По деревне шла и пела
Баба здоровенная...—

сходу загорланил Глазастый, загибая палец.

Весело доехали до конторы.

— Это ещё семечки,— скромно сказал на прощание дед, пересчитывая рубли,— ты с бабой Ваней встрень ся. У неё этого добра, как гуталина у кота Матроскина. Однако, девяносто девять. Жалко — дорога короткая. Ладно уж — до круглой цифры допою...

Хорошо тому живётся,
У кого одна нога...

* * *

Неделю разорялся Синеглазый, слушал новостаровские частушки. А между делом заводил посторонние разговоры: о том, о сём, пятое — десятое, где, мол, до этого жил-работал, часто ли бывал за границей, на какую тему диссертацию писал и с хрена вдруг такая внезапная любовь к родине приключилась.

Сразу после бабы Вани, которая знала ВСЁ, и заглянул фольклорист к Карасикову.

— Я частушек не сочиняю,— заскромничал Карасиков и густо покраснел,— я всё больше лирику пишу. Про родную природу.

И с этими словами полез в карман за блокнотом. Все карманы обхлопал — нет блокнота. Только что был — и нет.

— Да ладно,— успокоил его синеглазый,— нет стихов и не надо. Я и так уже от ваших частушек охренел. Ты мне лучше о приворотном зелье расскажи.

И сунул под нос Карасикову красные корочки.

— Да сказки всё это, товарищ капитан,— испугался Карасиков,— сплетни старушечьи...

Белобрысый страшно молчал, не мигая смотрел в глаза Колобку.

— Врут люди...

Арктическая синева была ему ответом.

— Ну, ей Богу, мы же с вами материалисты...

— Если и дальше будешь петь частушки, я тебя,— синеглазый сделал долгую паузу и отрубил безжалостно,— я тебя из Новостаровки увезу. В Тёщинск.

Поник Колобок. Уронил крутолобую голову на хилую грудь: не вынесет его проностальгированное сердце разлуки с новостаровскими акациями, дикой вишней, лесной земляникой...

А синеглазый всё накатывал и накатывал:

— И не пытайся меня своим зельем опоить. Ни хрена у тебя не выйдет. Не возьмёт меня твоё зелье. Меня, если хочешь знать, мамаша во времени и в пространстве родила.

— Это как?— удивился перепуганный Колобок.

— В самолете я родился,— злорадно объяснил капитан,— рейс "Рига — Петропавловск-Камчатский." У меня — полшара родина. Мне что Рига, что Новостаровка — один хрен. К тому же,— сказал он весело,— взгляни внимательно на портрет лица моего,— и подмигнул, подлец, синим глазом.

"Профессионал,— с уважением подумал робкий Карасиков.— Однако, кто же ему частушки-то напел?"

Вздохнул и стал чистосердечно раскалываться...

* * *

Через месяц село Новостаровка стало секретным объектом.

Тёщинск-13— так теперь оно называлось в документах с грифом "Военная тайна".

На дорогах, ведущих в Новостаровку, появились контрольно-пропускные пункты и шлагбаумы с надписью "карантин". Суровые парни в камуфляжной форме с "калашниковыми" за плечами вырастали словно из-под земли перед забредшими в новостаровские леса грибника-

ми. Вежливо, но решительно они советовали возвращаться домой, поскольку грибы в этом году уродились исключительно ядовитые.

А на окраине Новостаровки за боярышниковой рощей у Ведьмина болота в рекордные сроки был возведен коровник.

Коровник как коровник.

Только разве что окружён колючей проволокой.

А внутри — ни одной коровы.

Тут-то и залетали над Новостаровкой спутники-шпионы.

Только накося выкуси: летай не летай, а что там на три этажа под землёй делается — не увидишь.

* * *

А под коровником, на самом нижнем подземном этаже, за свинцовой дверью, в центре огромного зала, заставленного компьютерами, пробирками и прочими легкобьющимися приборами, как ему казалось, по стойке смирно (носки вместе, пятки врозь) стоял Колобок. Был он весь в белом: халат, шапочка на голове, бахилы на ногах, перчатки на руках... И если бы не румянец на пухлых щеках, его можно было бы принять за снежную бабу.

Спутником вокруг Колобка размеренно кружил грузный и, естественно, синеглазый человек. Шаги отдавались гулом в просторном помещении и казались Колобку поступью самой истории.

— ... Ваш препарат, Петр Петрович,— ровно рокотал человек,— это, кроме всего прочего, гуманное, бескровное, но в то же время грозное оружие.

Именно этот аспект, прежде всего, интересует наше ведомство.

Ваш препарат может избавить нас от необходимости физически уничтожать живую силу, а также технику возможного агрессора.

Достаточно, понимаете ли, доставить ностальгин в водоём, из которого черпает воду для приготовления пищи армия противника — и войска, пораженные тоской по родине, разбегаются по домам, бросая технику, оружие, секретные документы и полевые кухни. Бегут все — и генералы, и рядовые, и даже ефрейторы.

Полная виктория!

Без единого выстрела.

Но!

Военный в штатском резко остановился, разгладил ладонью морщины на лбу и печально вздохнул:

— Но дело в том, что наш условный противник преимущественно синеглаз.

А потому, Петр Петрович, ставлю перед вами задачу: в кратчайшие сроки создать препарат, который бы действовал на синеглазых с такой же эффективностью, что и на серо-, жёлто-, зелено,- каре-, чёрно- -и прочеглазых.

Задача ясна?

Действуйте!

* * *

С того дня, как проностальгированные сотрудники НИИ разбежались по своим малым родинам, Карасиков чувствовал себя распоследним подлецом. Тайный грех невыносимой тяжестью давил на его не очень крутые плечи. Порой ностальгин представлялся ему чем-то вроде наркотика. А однажды, когда проностальгированный новостаровец повесился на воротах отчего дома, поскольку любимая жена-горожанка не разделила его чувств к родине, Карасиков сам пытался последовать его примеру.

Но когда грузный человек произнес монументально изящные слова: "приоритет", "государственная важность", "исторический шанс", "гениальное открытие", а особенно —"ответственное задание", Карасиков испытал необыкновенную легкость, будто его надули теплым дымом. Он просто обалдел от головокружительного поворота судьбы, как пёс, спущенный с цепи.

Своё существование на этой планете Карасиков справедливо считал необязательным, случайным и где-то даже вредным делом. И вдруг на его скромной особе сфокусировались интересы всесильных ведомств великой страны. Под этим гигантским увеличительным стеклом значение Карасикова возрастало до невероятных размеров. Судьба планеты, её история зависели от маленького пухлого человечка по прозвищу Колобок. Лестно и жутко было находиться в этом ярком пятне света. Любая его просьба мгновенно включала громадный, хорошо отлаженный механизм: летели шифрограммы, самолёты и чьи-то головы, получали срочные задания конструкторские бюро, институты и заводы, тысячи людей работали, отправлялись в командировки, получали премиальные и выговоры...

Карасиков дневал и ночевал в своей лаборатории. Он всё усиливал и усиливал тоску по родине, доводя её кон-

центрацию до невозможных размеров. А синеглазым — хоть бы хны, не пронимает их ностальгин и баста. Ну, вспомнит какой-нибудь подопытный мокроносое детство или стишок напишет — не более того.

Впрочем, не одни синеглазые живут на свете.

Вдруг ярые антисоветчики и безнадежные невозвращенцы косяками потянулись на Родину, наполняя страницы газет и журналов журавлиным курлыканьем. Закоренелые диссиденты, сделавшие себе имя на очернительстве Отчизны, как-то разом ударились в неудержимое ее прославление.

Да, конечно, взгляды со временем меняются. Но не так радикально.

А эти вечные странники — бомжи — отчего они-то усталыми стадами откочевали к родным пепелищам? Неужели так проняли их задушевные слова вокзальных милиционеров?

А японские браконьеры, промышляющие у наших островов? Отчего они после встречи с пограничниками не только не покушаются на чужую рыбу, но и вообще не выходят в море? Это какие же проникновенные трехстишия читают им стражи морских рубежей?

А с чего это вдруг супердержава-агрессор неожиданно признаёт себя побежденной крохотным, с маковое зернышко, но свободолюбивым государством? Комар поверг слона? И что это за причина —"моральная усталость войск"? Отчего загрустили солдаты и потеряли всякий интерес к такому увлекательному занятию, как стрельба по движущимся мишеням?

Вскоре после всех этих событий Карасикову Петру Петровичу был вручен орден.

За ОСОБЫЕ заслуги.

Между прочим, грузный синеглазый военный в штатском вручил высокую награду Петру Петровичу с глазу на глаз и при этом не рекомендовал делиться радостью с кем-либо.

* * *

Стоп! Что это такое?

Автор глубоко извиняется и, понимая, что современному читателю откровенно наплевать на такие пустяки, как описание природы и высоких чувств, вынужден всё-таки взять ещё одно лирическое отступление.

Нервное это дело, земляки,— художественная литература.

Вроде бы всё определилось, выстроилось, сюжет плавно разматывается, как леска с катушки спиннинга. Герой вознаграждён и обласкан. Ставь точку. Закругляйся.

И — на тебе! Выскакивает, бес его знает откуда, самый что ни на есть второстепеннейший герой и непременно метит в главные. Всё, подлец, перемутит, всё перекрутит. Можно сказать, только-только жор начался, щуки на блесну так и бросаются, а у тебя — сплошные "зайцы", петля на петле. Сиди и распутывай этот клубок.

Ну, вот, скажем, учитель химии Новостаровской очень средней школы — Фёдор Иванович Буб. Вы его знаете? Нет? Чем он таким особым, кроме круглых очков и грушевидной лысины, от других новостаровцев отличается, чтобы в сюжет вмешиваться? Разве что есть у него маленькое увлечение, душевное занятие. Хобби, как говорят у нас в деревне. В свободное от занятий время ходит он по берегу Глубокого, подбирает выброшенные волнами коряжки и внимательно их рассматривает. Так повернёт, эдак, глаз прищурит — ба! да ведь это же товарищ Тюлькин призывает с трибуны хозактив хорошо подготовиться к окотной кампании. Казалось бы — легкомысленное занятие, а название серьёзное — корнепластика. Этими коренья-ми-уродцами у Федора Ивановича весь дом забит. Особенно гордится он пнём как две капли воды похожим на директора школы.

И вот как-то воскресным утром шёл он не спеша берегом озера, ковырял по обыкновению носком ботинка песок. Ковырял, ковырял и выковырял блокнот. В кожаной суперобложке, с бронзовой застёжкой, с пеналом для авторучки. А в корпусе авторучки вмонтирован фонарик: пиши себе круглые сутки.

Хороший блокнот, но слегка размокший.

Раскрыл его Фёдор Иванович и видит надпись "Нашедшего прошу вернуть..." А кому вернуть — водой размыто. Одна красивая клякса, очертаниями похожая на Каспийское море. Пролистал промокшие листы — стихи. И ещё стихи. Типа того, что люблю, мол, родную околицу. Чепуха, короче. А это что? Ба! Да это же химические формулы... Так-так-так, очень, очень интересно...

Казалось бы — какой пустяк: кто-то что-то потерял, кто-то нашёл и обрадовался, а на сердце тревожно.

Глаза-то у Фёдора Ивановича голубые.

И в этой скучной науке — химии — он очень даже хорошо разбирается.

Да и, если на то пошло, вовсе он не Фёдор Иванович, а совсем напротив — Теодор. А папу его звали Иоганом. И хлопочет голубоглазый Теодор Иоганович о выезде на историческую родину, поскольку по причине своей голубоглазости ни малейшего патриотизма к родной Новостаровке не испытывает.

Согласен — дело личное.

Но вот блокнот...

Эх, Пётр Петрович, раззява вы этакий, как можно секретными формулами сорить где попало!

С тяжелыми предчувствиями заканчивает автор это лирическое отступление. Отступать больше некуда. Не получается счастливого конца. И вместо желанной точки вынужден он продолжить это правдивое и всё более печальное повествование.

* * *

Для секретной лаборатории лучше Новостаровки места не сыскать.

Во-первых, по удаленности от культурных центров — глухомань.

И при этом, во-вторых, докторов и кандидатов наук на душу населения в ней больше, чем в академгородке. Никаких проблем с научными кадрами. Ни малейших. Причем кадр очень надежный. Никаких оснований опасаться утечки мозгов и разглашения тайны. Проностальгированные мозги не мыслили себя вне Новостаровки.

И без того новостаровцы жили неплохо, но с тех пор, как синеглазые военные построили коровник, на село полился просто нескончаемый золотой ливень. Совхоз "Степные орлы имени Н. Н. Петрова", окруженный не только шлагбаумами и колючей проволокой, но и невероятной заботой военного ведомства, фактически приобрёл статус удельного княжества. Антон Антонович Лобастый впервые почувствовал себя совершенно свободным человеком. Никто не спускал сверху директив, не вызывал в район и не вставлял ежа. Если порой кто-нибудь из заезжего начальства в общении с ним выказывал надменности чуть больше положенного, Антон Антонович тактично ставил зарвавшегося на место, говоря: "Я ведь парень простой, могу и на хрен послать".

И начальство при этом не обижалось. Оно хоть и начальство, а тоже понимает шутки.

Сколько уж раз пытались завистливые люди повысить Антона Антоновича, и областью и столицей соблазняли, а он на все предложения: "Лучше сразу расстреляйте!" Вот тебе и синеглазый! Такой патриот — ностальгином не корми.

По утрам в контору ходил Лобастый пешком, ненасытно любуясь Новостаровкой. И не было на земле счастливее человека. Каждый раз он думал, с чем бы сравнить родную деревню. С дачным участком миллионеров? Мелко. С тем местом, из которого некогда были изгнаны Адам и Ева? Больше всего тешила его самолюбие мысль о построенном в одном отдельно взятом колхозе коммунизме. Да, конечно, размышлял он, не обошлось без ностальгина, но кому первому пришла в голову идея о таком целесообразном его использовании?

* * *

— Чудная история приключилась со мной в июне,— сказал Лобастый после первой рюмки, закрепляющей примирение между ним и Карасиковым.

Колобок и Туфелькин обратились во внимание, впрочем, не забывая отдать должное пельменям, на которые были приглашены старым другом.

— Отдыхал я в санатории на озере Еловом,— после анонса и интригующей паузы продолжил прерванное сочным пельменем повествование Лобастый.— И вот как-то утром взял на прокат прогулочную лодку и решил порыбачить. Заплыл на середину, заякорился, распустил донку. Сижу. Загораю. Минуту сижу, десять, полчаса. Как в колодце. И только хотел я смотать удочку, кивок — клац-клац-клац! Подсекаю! Чувствую — гиря на паутинке. Здоровенный двухкилограммовый горбач. Как я его через борт перекинул — до сих пор удивляюсь. И вижу: на верхней губе у него — мормышка. Пригляделся — и прямо пот меня прошиб...

С этими словами Лобастый достал из кармана ковбойки маленькую коробочку и вытряхнул из неё на ладонь ту самую мормышку. Золотисто-красную, изящную, как женская сережка.

Колобок с Туфелькиным склонились над ней.

— Удивил,— сказал разочарованно Туфелькин.— И что же в ней такого чудного?

— А то, что это самоделка,— сказал Лобастый шёпотом,— и сделал её я, и у меня её прошлым летом оборвал

окунь. Но случилось это не на Еловом, а здесь — на Глубоком.

Опешили мужики, призадумались. Думали, думали — нет, без ста граммов не разобраться. Выпили для ясности по второй и спросил Туфелькин:

— А, может быть, ты кому-нибудь давал свои мормышки?

— Да ты что!— изумился Лобастый.— Это же самые уловистые. Я таких всего три сделал. Две — на месте, а третья — вот она.

— Выходит...

— Выходит, мужики, одно — и Еловое, и Глубокое, а, может быть, Тарангул и все соленые озера соединены друг с другом подземными руслами.

После этих слов Колобок подавился пельменем.

Пока старые друзья в две руки усердно колотили его по спине, он, выпучив глаза и кашляя, размышлял о переселенных народах.

Жили эти народы аккурат вокруг соленых озёр. А с недавнего времени неудержимо потянуло их на историческую родину...

— А, может быть, кто-то выловил твоего окуня на глубоком, отцепил мормышку, а через некоторое время поехал на Еловое и там её оборвал уже местный окунь?— откашлявшись, высказал робкое предположение Колобок.

— Исключено!— отмел в общем-то здравую мысль Лобастый.— На Еловом окунь светлый. Песчаник. А у нас на Глубоком — темно-зелёный. Камышатник. Что я еловского окуня от своего не отличу?

* * *

Известие о том, что воды Глубокого попадают в другие водоёмы, а следовательно подвергаются опасности неконтролируемого ностальгирования животные и люди, проживающие на довольно большой территории, повергло Карасикова в ужас.

С той самой минуты, когда Карасиков взглянул на тоску по родине с позиций военных, он не мог не думать о последствиях глобального применения ностальгина. Допустим, размышлял он, будет проностальгировано население одной страны. Что из этого выйдет? Выходило нечто до того ужасное, что единственная волосинка на его макушке, свернутая доселе в аккуратное колечко, распрямилась и встала на манер телескопической антенны. Получалось,

что ностальгин, как и яд, полезен только в малых дозах. То, что послужило расцвету Новостаровки, принесло бы стране неминуемый развал, крах. Испепеляющая любовь к родине в масштабах всей страны была бы просто самоубийственна, государство попросту раскрошилось бы на тысячи деревень и городов. Эпидемия любви к родине в масштабах планеты означала бы конец человеческой цивилизации...

Если бы эта мысль пришла в голову Карасикову хотя бы год назад, достаточно было бы бросить в печь несколько листков бумаги, рюкзачок с ностальгином — и человечество было бы спасено. На некоторое время. Увы, с тех пор, как препарат был засекречен, о нём узнали очень многие люди...

Трудно вот так сразу привыкнуть к мысли, что ты — возможная причина гибели человечества. Карасиков почувствовал себя березой, в которую угодила молния и выжгла всё нутро. "Повеситься. Непременно повеситься. Как можно скорее повеситься,— подумал Карасиков в панике,— сию же секунду повеситься."

Вот только на чём ЛУЧШЕ: на подтяжках, галстуке или электропроводе? И почему обязательно вешаться? Можно, скажем, вскрыть вены. Закрыть глаза и — чик по запястью бритвой. Вот только крови он с детства боится... Лучше схватиться мокрой рукой за оголенный провод. Нет, проще всего — яд.

Чем больше способов покончить с собой приходило на ум Карасикову и чем более безболезненными они становились, тем меньше хотелось умирать.

А с чего он, собственно, запаниковал? Ностальгин надёжно засекречен. Препарат принадлежит его стране и будет использован только в целях самообороны. А кто сказал, что на нас кто-то нападёт? Вы покажите мне этих смельчаков, я их хотел бы видеть.

Ностальгин — просто страховка на крайний случай, которого, скорее всего, не будет. Ситуация не так страшна. К тому же,— Карасиков вскочил в крайнем возбуждении, — кто-то должен уже сейчас позаботиться о нейтрализации ностальгина, если катастрофа всё-таки произойдет. А кто об этом должен позаботиться, как ни он — создатель препарата?

"Однако вешаться некогда — надо человечество спасать,— с облегчением подумал Карасиков.— Это мой моральный долг".

Брови насупил и голову благородно откинул. Как и подобает спасителям человечества.

* * *

Такого крупного града, как в тот день, никто из новостаровцев прежде не видел. Словно теннисные шары сыпались с чёрного неба. С глухим стуком отскакивали от земли, оставляя в ней вмятины, с корнем выдирая травы, катились, с треском сталкиваясь между собой, как бильярдные шары, скапливались в ложбинах и у оград сугробами гусиных яиц. Грохотали и сотрясались железные крыши, ломались ветки деревьев, со звоном вылетали стёкла.

Стая голубей, не вовремя покинувшая укрытие, была расстреляна градом влёт. С Глубокого доносились прощальные крики домашних гусей — всё тише и тише, пока последняя птица ни уронила размокженную голову на вспененную волну.

Были и человеческие жертвы. Петьку Гнуса, сладко спящего после обычной дозы на стогу сена, так садануло по темечку, что бедняга уже не проснулся.

Карасиков — поэтическая душа — рискуя жизнью, выскочил под градомёт, набрал ведро градин и — в морозильную камеру.

Мокрый, продрогший, счастливый, с огромной шишкой на лбу и с синяком под глазом, спрятался за стену, а в разбитое окно микрофон высунул. Записывает сокрушительную музыку стихии.

— Веселимся?— спросил грузный человек, поднявшийся из подземелья взглянуть на редкое явление природы. Был он подавлен и мрачен, как туча, из которой сыпался град. Только немного мрачнее.— Зачем вам это?

— Вы пробовали вино с градиной? Нет ничего вкуснее вина с небесным льдом.

— Вот уж чего точно не хочу — так это всего того, что падает с неба. Не дай Бог, подхватишь тоску по родному плетню...

— С вашей-то синеглазостью?

— А вот об этом я и хотел с вами поговорить,— одарил грузный Карасикова взглядом, полным зловещих намёков, и кивнул, приглашая с собой в подземелье на секретный разговор.

* * *

Человек, которого не били обухом по голове, не поймёт чувств Карасикова.

Впрочем, и человек, которого били обухом по голове, вряд ли его поймёт.

Во он стоит, не известный миру изобретатель ностальгина, пялит волоокие, полные тоски и изумления глаза на иноземный научный журнал, который трепещет в его дрожащих руках, как петух с отрубленной головой.

— Как? Почему? Что такое?— в полном отчаянии вопрошает он неизвестно кого, явно не доверяя своим близоруким глазам, поскольку вдруг начинает всё энергично отрицать.— Не может быть! Нет! Бред какой-то.

— Может, Петр Петрович, может,— злорадно утешает его грузный человек.— Вам кажется, что это ностальгин? И вы не ошибаетесь. Это тот самый ностальгин для синеглазых, над которым так подозрительно долго работали вы. Но называется он миграцион. Так его автор назвал — ми-гра-цион. Имеет полное право. На то он и автор...

— Миграцион?— изумился Карасиков, как котёнок, впервые увидевший себя в зеркале.

— Вот именно!— поддержал его недоумение с холодным сарказмом смертника собеседник.— Представляете: автор статьи даже не кандидат наук. Кстати, бывший ваш земляк. Бывают же такие совпадения! Теодор Буб. Вы случайно водку с ним не пили? Не помните?

Запас эмоций исчерпался и Карасиков обмяк, обвис, как матрац под дождем.

— Это всё. Это конец,— сказал он спокойно-спокойно. Так спокойно мог сказать только покойник, если бы, конечно, покойники могли говорить.

— Трудно с вами не согласиться, Петр Петрович, это действительно конец. Конец лаборатории, научной карьере. Да и меня в лучшем случае ждёт отставка. Странным образом рассекречен ваш ностальгин. Странным. Органы разбираться будут. Долго разбираться будут. Разберутся. И за бугром, конечно, поймут, что тоска по родине страшнее атомной бомбы. Да кто его знает, кому этот журнал на глаза попадется. Так что не буду я пить ваше вино с градом, не обессудьте...

* * *

Плохие прогнозы сбываются с наибольшей вероятностью.

Кто кому первым подпустил тоску по родине неизвестно.

Даже очень художественной литературе нет доступа к военной тайне.

Но странная война грустных глаз началась.

Без объявления, без воинственных речей и массовых истерик.

Шли нескончаемые грустные дожди. Падал с хрустальным хрустом ностальгический снег. Отравленные печалью талые воды и источники вливались в малые и большие реки. Тоска по родине, не оседая на фильтрах, попадала в водопроводы. На полях вырастал хлеб с терпким привкусом любви к отчему дому.

Непозволительно сентиментальными людьми овладевало перелётное беспокойство. Они НЕ НАХОДИЛИ МЕСТА, маялись без толку, чего-то хотели, а чего — не понятно. Томился человек, томился и вдруг наступала секунда улёта. Интуитивно ориентируясь по солнцу ли, по звездам — смотря по тому днём или ночью поднялись на крыло,— а то и по магнитным полям, если срывались в пасмурную погоду, откочевывали земляне в неизвестном для себя направлении. И только в пути осознавали, куда вела их тоска.

Они шли днем и ночью, поодиночке, группами, стаями, временно сбиваясь в огромные табуны, в изорванных и запыленных одеждах, с бессонными глазами, алчущими родных пейзажей.

Внезапные массовые инвазии парализовали жизнь больших городов.

Дохлыми осенними мухами на липких лентах застыли на взлётных полосах самолёты, мёртвыми гусеницами стояли на ржавеющих рельсах поезда. На разоренных автозаправочных станциях владельцев автомашин подкарауливали безногие. Машины переходили из рук в руки. Много их, искорёженных и сгоревших, лежало на обочинах больших и малых дорог.

Солдаты срочной службы мчались по бездорожью на танках, сходу форсируя водные и иные препятствия, распихивая бронёй заторы. Боевые машины пехоты и тягачи, транспортировавшие некогда ракеты стратегического назначения, облепленные случайными попутчиками, днём и ночью пожирали пространство, пока не кончалось горючее. И тогда их бросали, как опустевшие сигаретные пачки.

Саранчовые тучи мигрантов, походя, пожирали съестные запасы встречающихся на пути городов и сёл, мимоходом вступая с аборигенами в короткие, но кровавые стычки. Людей не волновала ни чужая судьба, ни чужая кровь. Практически все семьи были взорваны изнутри тоской по родине, поскольку у каждого было своё место рождения. Люди разбегались обезумевшими тенями. На бледных, осунувшихся лицах фанатично горели глаза. Бе-

лесые, как береста, русалочьи, зеленые и оловянные, васильковые и сиреневые, кофейные, свинцовые, выцветшие и густо-чёрные, как сам космос, склеротичные и пронзительно прозрачные — все они до краёв были полны щемящей тоски. Задравши лица, по загадочным траекториям шли слепые, простукивая палками тропы к родовому гнезду. Инвалиды в колясках раскачивались в дорожной пыли, как сумасшедшие маятники. Ковыляли куда-то только что научившиеся ходить дети. Эмигранты, разделенные со своими родинами солёными водными пространствами, пытались пересечь великие океаны на пляжных надувных матрацах. Крохотные соринки в безбрежной пучине, мучимые не столько страхом, жаждой и голодом, сколько невыносимой, никогда не стихающей тоской.

Планета бомжей, охваченная всепожирающим пламенем неотвратимой любви, переполнялась взаимной ненавистью и зарастала сорняками.

Немногим возвращенцам удалось дойти до конца и увидеть затерянные в глуши, разоренные уголки, по которым изнылись сердца. Они появлялись в милом краю, как мифические ласточки, переживающие по преданию лютые зимы на дне озер,— смертельно уставшие, внезапные, с глазами, залитыми слезами, сотрясаемые счастливыми рыданиями. И в ту же секунду они готовились к битве с бредущими к своим бесчисленным родинам чужаками. Даже если и защищать было нечего. Но милее этой опустошенной земли с печальными холмами на месте исчезнувших деревень для них ничего не было.

Скорбнее всех была судьба возвращенцев, чьи деревни лежали на дне водохранилищ. Многие из них, не преодолев нерестового инстинкта, шли до конца и воды смыкались над ними. Сильные духом невероятным усилием воли сдерживали этот гибельный порыв и некоторое время метались по берегу, стеная и ломая пальцы, своим поведением напоминая наркоманов, неотвратимо сходя с ума. И уже безумные, они погружались в рукотворные лужи, пахнущие гниющими водорослями, надеясь увидеть на дне их то, что хотели видеть — милую родину, славную родину, бревенчатый дом, пропитанный уютным теплом летнего солнышка, картофельное поле, окруженное свежим плетнём, словно в корзине, калитка с щеколдой, отполированной родными руками...

Великие города дробились на тысячи и тысячи государств, каждое из которых жило замкнуто и настороженно, подозрительно косясь на чужаков из соседних кварталов. Часто и дома делились на независимые квартиры.

Причём границы проходили как по вертикали, так и по горизонтали. Подъезд враждовал с подъездом, этаж с этажом.

Дело в том, что родиной для каждого человека был некий круг радиусом от нескольких десятков метров до нескольких десятков километров от точки его появления на свет. Естественно, что эти круги пересекались. Реки, леса и поля, попавшие в эти сектора, неизбежно становились причиной раздоров и межевых войн. За каждую рябину, за каждую болотную кочку, за каждую высохшую осину велись священные, героические бои. Случалось так, что крохотная деревушка вела кровопролитные войны сразу на нескольких фронтах. От полного истребления её спасало только то, что противники никогда не выходили из своего круга.

И в то же время огромные пространства планеты оставались ничейными только потому, что здесь никто никогда никого не рожал. Избавленная от угнетающего влияния человека природа потихоньку выздоравливала от тяжелой и продолжительной болезни, высокопарно названной людьми цивилизацией.

* * *

Последним из синеглазых новостаровцев возвращался домой Фёдор Буб.

За его плечами остались тысячи вёрст чужедальной земли. Не переставая ныло истосковавшееся сердце. Днем и ночью крутил он истомившимися ногами педали уворованного в какой-то из европейских столиц и в конец разбитого на родных дорогах велосипеда, теряя порой сознание от изнеможения. Но лишь приходил в себя, он снова вскакивал в седло и рвался вперед — до следующего падения. Великий инстинкт перелетных птиц безжалостно гнал его к отчему порогу. Уже давно не было сил продолжать эту изнурительную гонку, но столь велико было желание увидеть переулок Овражный и Глубокое в просвете между домами, что, и умерев, он ещё долго катил бы по необъятным просторам кратчайшим путём к Новостаровке. Тоскливо скрипел несмазанными железными костями металлический скелет, переезжая государственные границы, покинутые пограничниками, опустевшие города и брошенные поля. Унылый стон изношенного механизма был как нескончаемая молитва.

Фёдор Буб тоже молил Бога, чтобы люди, бредущие в разные стороны по лону земли, не узнали, кто выпустил джина из бутылки.

Нет, он не боялся быть растерзанным случайными встречными.

Он боялся умереть, не увидев Новостаровки.

Впрочем, подхватив тоску по родине, он уже не чувствовал вины, не давал отчета своим поступкам и практически ни о чем не думал, а только смотрел на горизонт в том направлении, где, как подсказывал ему инстинкт, была Новостаровка, и крутил, крутил педали...

И вот однажды Фёдор почувствовал, что мир стал другим. Небо стало другим, воздух стал другим. Его ноздри жадно затрепетали, ловя знакомые запахи.

Ненасытно оглядывался он окрест, ожидая увидеть знакомые приметы, но не узнавал родных мест.

Фёдор ехал по высокому, сглаженному временем грейдеру, сплошь заросшему полынью. Под колесами велосипеда то и дело взрывались коричневой пылью перезревшие грибы-дождевики. Вспуганные надрывным скрипом и дребезжаньем взлетали перепёлки, разбегались в стороны тушканчики, суслики и зайцы. Вдоль грейдера вкривь и вкось торчали бетонные пасынки без столбов. На полях в рост человека стоял перекрученный ветрами бурьян. Сколько ни всматривался последний возвращенец в родные просторы, он не видел знаменитых новостаровских березовых колок. Пугающе пусто и голо, незнакомо расстилалось пространство.

Велосипед рассыпался на вершине холма, с которого открывался вид на озеро Глубокое. И долго катилось вниз колесо, кривизной своей выписывая зигзаги, как бы не имея сил остановиться, пока не врезалось в свалку из остовов автомашин, телевизоров, компьютеров, стиральных машин, кухонных комбайнов и прочего хлама.

Поднялся Буб, отряхнулся от пыли и видит — стоит перед ним Тит Глазастый. В руке у него кнут, а на ногах лапти.

— Фёдор Иванович, ты мою кобылу не видал?— спросил он так, будто и не расставался с земляком.— Сбежала, шалава, растудыт её в качель. Считай, неделю ищу.

— Дядя Тит, родной!— обнял Глазастого последний возвращенец, расчувствовавшийся при виде знакомого новостаровца.

— Отринь!— отстранился суровый дед.— Ну, дядя. Ну, Тит. Лизаться-то зачем? Не теленок, небось.— Но взглянув на давно небритую, осунувшуюся, залитую слезами

физиономию последнего из блудных сыновей Новостаровки, слегка помягчел.— Эге! Да ты, я смотрю, никак приворот подхватил...

— Как живёте, дядя Тит? Как там наша Новостаровка? Всё стоит вверх трубами?

— Какая нынче жизнь,— опечалился Глазастый,— как лампочка горит забыли, как трактор тарахтит уж год не слышали, как бензин пахнет никто не помнит. Намедни бабы колдуна порешили, а жизни всё одно нет.

— Колдуна?— переспросил Фёдор Иванович в замешательстве.

— Его самого. Кол ему осиновый заместо креста! Да ты должон знать — Карасиков, Петька. Его еще Колобком дразнили. Это ж он, подлец, приворотное зелье варил и людей опаивал. И такое это поганое зелье, что никуда от него не скроешься. Вон и тебя черти откуда приворотило. Как там люди-то живут? А то в нашей Новостаровке ни телевизора, ни радио, ни газет, ни телефона. Живём, понимаешь, как второстепенные члены предложения. В полной то есть пустоте и неизвестности.

— Везде, дядя Тит, плохо, где нас нет,— сказал Федор Иванович, вдыхая сладкий воздух родины и щуря глаза от наслаждения.— Нет на земле места краше нашей Новостаровки. Уж я-то знаю. Всю Европу прошёл. На мне, дядя Тит, живого места нет. Один сплошной мозоль. И какой только бес тащил меня отсюда за тридевять земель? Бедная, бедная моя родина! Снова у нас разор и запущение. Но воздух! Какой воздух!

* * *

Долго размышлял автор, чем бы таким особенным заполнить последнюю страницу? То ли со сверхплановым лирическим отступлением выступить, то ли прочитать мораль? Вот, мол, дескать, мужики, на фига весь творог в один вареник сыпать... Ну, и так далее. Чтобы проняло. Достало. На хвост накатило. Дошло.

Нет, подумал автор, не дойдёт. Узнаю-ка я лучше, что там, под коровником, делается. Не для ради художественной правды. Просто интересно.

Вот свинцовая дверь с колесом. Колесо крутишь, а она медленно растворяется. Осклизлые ступени ведут вниз, во мрак. Пахнет погребом — сыростью, плесенью. И знобит. То ли от холода, то ли от страха.

Затеплился в глубине, словно на дне колодца, огонёк.

Лучина горит. Слабо горит: кислорода мало. Из черноты бетонной пещеры проявляется дисплей компьютера, по которому неторопливо, как курсор, ползёт мокруша. Реторта с утонувшей в зеленом растворе мышью. Пробирки, мензурки, всякий стеклянный хлам, большей частью перебитый.

Бородатый человек в лохмотьях, тронутых тленьем, сыплет в колбу жёлтый порошок. А когда из неё вырываются клубы розового пара, он радостно потирает руки, подпрыгивает и хохочет.

Гулко отзывается этот хохот в подземелье. И будто филин мечется в замкнутом пространстве.

В синих глазах человека светятся жёлтые искорки безумия.

Это Антон Лобастый, удельный князь здешних мест.

После дикой смерти друга он спустился сюда в тщетной надежде найти какие-то записи. Но, однажды обжёгшись, Карасиков ничего не доверял бумаге. В отчаянии стал Лобастый наобум смешивать реактивы: авось повезёт и случайно получится антиностальгин.

Теперь он просто забавляется химическими реакциями...

Иногда в подземелье спускается Фёдор Иванович Буб. Он тоже пытается найти лабораторные записи и, не найдя, молча смотрит, как шаманит, хохоча и подмигивая, Антон Антонович.

Каждый день по многу часов подряд рассматривает Фёдор Иванович на просвет страницы найденного когда-то на берегу Глубокого блокнота, надеясь в чернильных расплывах разглядеть еще одну формулу. Несколько символов, которые спасут мир.

Увы!

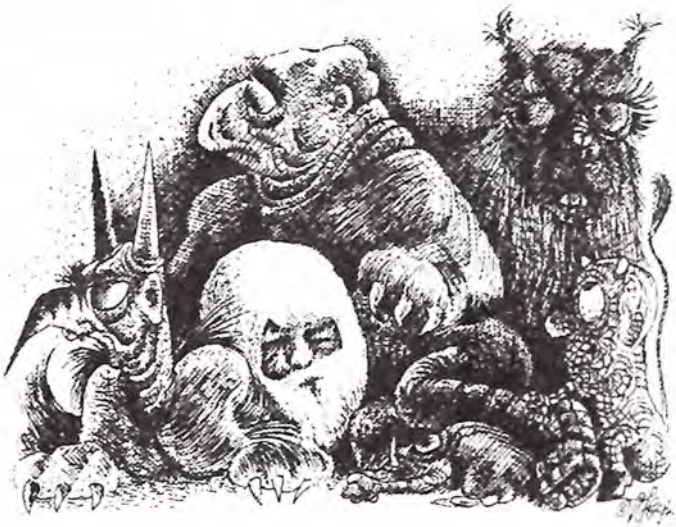
Всякий раз он натыкается на стихи. И не может удержаться снова и снова не прочесть:

Я подкинул родину кукушке.
По стальной дороге в никуда,
В западню общаг и раскладушек
Увезли чужие поезда
Пацана с наивными глазами.
Был осенний перелетный день.
Сколько их, обкуренных мечтами,
Города крадут у деревень.
Улетела светлая дружина
От тоски охрипших журавлей,
А кукушка тихо закружила
Над убогой родиной моей.
И когда стрелою из засады
Тень её коснётся серых лиц,

На душе останется осадок
Бодрого вранья передовиц.
Глухо за околицей кукует
Птица-невидимка, птица-тень.
В дряблых венах городов бунтует
Донорская кровь из деревень.
Город не встречает нас цветами.
Нет для нас у города цветов.
Этот город славен именами
Дерзких деревенских пацанов.
А в деревне ставни забивают.
Ливни льют из звездного ковша.
Вместо нас кукушка натаскает
Толстых, но бескрылых кукушат.
Не держите журавлей на мушке
В первый перелетный день весны
Не бросайте родину кукушке,
Не губите душу, пацаны.

1979—1994гг.





Подзаборные боги

— Степа, выпить хочешь?

Степан вздрогнул и, по-гусиному вытянув шею, огляделся пустую комнату.

Через занавешенное газетой "Вечерний Тёщинск" окно пробивался серый сумрак. Из забрызганного известью патрона с торчащими осколками разбитой лампочки доносился предсмертный гул удушаемой пауком мухи. Тощий таракан сидел на смердящем табаком окурке и грустно шевелил усами.

Показалось...

Тоска, подумал Степа, лучше бы и не просыпаться. В такие утра нельзя жить. В такие утра надо помирать. Ишь как сердце ломит. Отчего умирают чаще всего на рассвете?...

— Степа, выпить хочешь?

Голос был утробный, потусторонний. Нехороший голос.

Все, кранты, испугался Степан, голоса стали являться...

— Степа, ты ещё живой?— не унимался голос.

— Ты кто?— спросил Степан пустоту и таракана.

— Дед Пихто. Не узнаешь?— рассердился голос.

— Дед Пихто? Нет...

— Сосед я твой, дура! Михалыч.

— Здравствуй, Михалыч.

— Здорово. Жена, понимаешь, зараза, заперла. И штаны спрятала,— объяснил ситуацию Михалыч.— Ты бы сгонял за пузырём...

— Денег нет,— печально ответил Степан и спросил, кося глаза на таракана.— А ты где, Михалыч?

— Розетку отвинти.

Степан, шурша "Вечерним Тёщинском", заменяющим ему матрац, с трудом согнул пропитанные алкоголем мощи. Сел и желтым прокуренным ногтем принялся откручивать шуруп. Ноготь мелко дрожал и соскакивал с прорези.

В образовавшуюся дыру заглянул красный, жаждущий глаз соседа.

— А я думал, ты уже помер,— сказал Михалыч.— Шумлю тебя, шумлю, а ты не отвечаешь.

В дыру просунулась засаленная, склеянная папиросной бумагой купюра.

Вид ее напугал Степана.

Синяя, как магазинная курица. Без вождя. С тремя нолями.

— Что это?!— ужаснулся он и руками замахал, открещиваясь.— За это не дадут. Таких денег не бывает.

— Тю, белая горячка,— догадался сосед,— родимую древесину не узнал.

— А, может, у тебя, Михалыч, трёшка есть?

— Чего?— удивился сосед.

— Не дай бог потеряю, это же жизни не хватит рассчитаться.

Долго молчал Михалыч. А намолчавшись, спросил с подозрением:

— Ты хоть помнишь, какой нынче год на дворе?

Подумав, Степан предположил:

— Восемьдесят пятый?

— Кипит твоё молоко!— восхитился Михалыч.— Так ты в запой ещё при социализме ушёл?

— А сейчас что — коммунизм что ли?

— Ага, разевай варежку, коммунизм,— развеял его надежду Михалыч.— Давай, Степа, дуй за пузырем. Опосля побеседуем и проясним текущий момент. Душа, понимаешь, горит.

* * *

Ни в одном из городов мира нет таких заплеванных тротуаров, как в Тёщинске.

Раньше это не так бросалось в глаза Степану. Насколько он помнил, раз в день, остервенело сигналя, по улицам проезжали поливочные машины и мощными струями смывали с асфальта окурки, плевки и зазевавшихся граждан. Особенно неистовали они в дождь. А по вечерам сердитые старухи в синих казенных халатах шуршали мётлами, бурча под нос: "И ходят, и ходят... Чего ходят?"

Куда пропали поливочные машины и дворничихи, Степан не знал, но с их исчезновением стало как-то особенно ясно, что тёщинцам, буквально, на все наплевать. Причем не только в переносном смысле.

Встречные, а также обгоняющие непременно отхаркивались и смачно плевались. Плевки летели, как трассирующие пули,— и сзади, и спереди, и сбоку. Просто ложись и окапывайся.

Первый же прохожий — близорукий интеллигентный старичок — сплюнул Степану на штанину.

— Вы бы, дедушка, смотрели, куда плюётесь,— сделал ему замечание Степан.

— Ишь, интеллиго какое нашлось!— возмутился старичок. И, не снеся обиды, плюнул Степану на вторую штанину.

Может быть, Степан и продолжил бы дискуссию, но в это время взглянул он рассеянно на знакомый киоск "Академкнига" и ослеп от матового сияния женских ягодиц, упругих бюстов и прочей лощенной кучерявости. Календарные красавицы зазывно улыбались обомлевшему, застеснявшемуся Степану, выпячивали прелести, а мимо, не обращая ни на них, ни на Степана внимания, шел угрюмый, словно ослепший, народ.

Будто бы ничего и не произошло.

В это время по растрескавшемуся такыру асфальта пронеслась машина и обрызгала Степана грязью из лужи. Посмотрел он ей вслед с укором и ещё шире раскрыл рот. Ничего роскошнее он в жизни не видел. Не машина — рояль на колёсах. Просто приятно быть обрызганным такой машиной. А мимо — одна за одной, почти бесшумно — и все не наши...

Стал Степан все меньше опасаться плюющих граждан, а все больше присматриваться к родной улице. Откуда столько нищих-то повылазило? Да все в такую рвань и дрянь одеты, что Степан застеснялся роскоши своего за-

мызганного пиджачка. Много, много не наших машин, а наших попрошаек все-таки больше. И дома какие-то не такие. Вроде бы те же халупы, а вывески на них исключительно иностранные...

На бане переливалась радугой "Shop Marusia", а у дверей золотыми буквами на мраморной плите было высечено: "Вход только по предъявлении валюты".

Кто такой шоп и почему в него можно входить только по предъявлению валюты Степан не знал, но ему сделалось страшно.

"Вот тебе и коммунизм,— похолодел от догадки Степан,— оккупировали значит?"

Плечистый военный в форме неизвестной Степану иноземной армии, смотря поверх его головы, неожиданно заговорил по-русски:

— Проходи, мужик, проходи.

На ухе — рация, под мышкой — автомат.

При мысли, что на винном отделе продмага повесили такую же мраморную плиту и поставили громилу с пулемётом, в груди у Степана стало как в холодильнике — холодно и пусто.

Винный отдел, слава тебе господи, стоял на месте. Но внутри у него, кроме продавщицы, ничего не было.

— То есть как нет?— не поверил Степан ни продавщице, ни своим глазам.— Всегда же было...

— В "комок" иди или к бабкам,— сказала продавщица с тяжелым взглядом бойца мясокомбината. И губу презрительно оттопырила. Не любила она алкашей, "комки" и бабок.

— В "комок"?— переспросил Степан, соображая, что бы это могло значить.

Но продавщица сделала властное движение рукой, мол, згинь, не засти. Внимание её привлёк шум в хлебном отделе и, сощурив глаза, она пыталась разглядеть, что же там происходит.

Стриженная наголо, одетая в рваньё старуха прорывалась к стеллажам с батонами.

— Бабушка,— в отчаяньи кричала молоденькая продавщица,— я сама вам подам. Не трогайте хлеб руками.

Синяя голова старухи была вся в язвах.

Помяв нечистыми руками батон, старуха очень громким хриплым голосом сказала:

— Больно твёрдый. Положи назад. Зубов-то, посмотри, у меня нет.

Продавщица шарахнулась от протянутой булки и замахала руками:— Не надо назад, бабушка, возьмите, возьмите...

— Ты мне ещё ржаного подай. Да нет же ниже, ниже,— с досадой закричала старуха, а получив просимое, снова закапризничала.— Черствый. У вас на крошку, утруску сколько отводится? Не отводится? Как же так? Мне девчата с Энгельса всегда три булки оставляли. Сколько с меня? Возьми, голубушка.

Молоденькая продавщица вновь замахала руками, как бабочка крыльями:

— В кассу, бабушка, в кассу...

Но и кассирша вдруг превратилась в бабочку, не желая брать деньги.

— Спасибо, красавицы,— громогласно поблагодарила за бесплатный хлеб хриплоголосая старуха,— только какая же я вам бабушка? Правда, годы уже не те, да и здоровья поубавилось, а так я ещё ничего. Вот кавалера ищу. У вас кавалера на примете нету?

И пошла, шумно разговаривая сама с собой, мимо в ужасе расступающихся перед ней покупателей. У входа она оглянулась и пообещала:

— Я на днях загляну. А вы узнайте, сколько на крошку, утруску отводится. Должно отводится. Узнайте.

— Ну вот дожили,— сказала продавщица винного отдела, внимательно досмотрев всю сцену до конца,— алкашей по домам распустили, сифилитиков. Скоро прокажённые в трамваях все поручни пооблапают.

* * *

Вдоль всей улицы караулом стояли старушки, и каждая, как гвардеец винтовку, держала перед собой бутылку. Старушки вопросительно заглядывали в лица прохожих и тихо, словно прося милостыню, рекламировали свой товар: "Водочка, водочка. А вот водочка".

— Сколько?— спросил Степан первую старушку.

Ответ его озадачил, и он даже пробормотал что-то вроде того, что ему не машина нужна, а всего-навсего бутылка водки.

— Дешевле не найдёшь,— застеснялась бабулька.

Душа у Степана не то что горела, она пылала, хоть звони по 0-1. Некогда ему было искать товар подешевле и торговаться.

Радостно трепыхнулось его проспиртованное сердце. Нежно поцеловал он серебряную головку и бережно опустил бутылку во внутренний карман пиджака.

Ё-моё!

Забыл он о дыре в кармане!

Скользнула холодная бутылка налимом по голому животу и с мокрым хрустом, переходящим в звон, разбилась об асфальт.

Третья мировая война не потрясла бы Степана сильнее.

Убьёт меня Михалыч, обреченно подумал он, застрелит через дыру в стене из двухстволки, если он её ещё не пропил.

Он стоял над осколками, как бы парализованный этим чудовищным происшествием, и глаза его были полны слёз, а губы дрожали.

Подбежала тощая, грязная сука с поджатым хвостом, огромными красными сосками и голодными затравленными глазами. Она понюхала осколки, брезгливо отпрянула, с укоризной взглянув на Степана. И пожалел Степан, что не пёс он бездомный, которому позволительно, не стесняясь прохожих, лакать из грязной лужи.

А-а-а, плевать!

Бухнулся на колени, зачерпнул пригоршню из лужицы на грязном, оплёванном асфальте — и...

— Сэр, рожки не вырастут?

Горные ботинки на толстой подошве. Камуфляжная форма десантника. Рюкзак с алюминиевым каркасом за спиной. Крепкий старик с розовой лысиной, зелёными глазами и разноцветной бородой — волосок белый, волосок рыжий, волосок чёрный — смотрел на Степана сверху вниз, как смотрят на забавных щенят.

— Вот как, значит, выпить-то хочется,— балагурил дед,— но что же вы это, сэр, без фужера?

— Уйди,— не то попросил, не то пригрозил Степан.

— Уйти-то я уйду, но кто тебя похмелит? Чего в луже-то расселся? Встань!

Степан поднялся. Намокшие брючины прилипли к коленям.

— У меня денег нет,— сказал он тихо.

— Да ну?!

— И вещей больше нет...

— А квартира есть?

— Квартира есть,— обрадовался Степан.

— Скоро её у тебя купят,— успокоил его старик.— Только пропить ты её по-человечески не успеешь. А най-

дут тебя по запаху в колодце теплотрассы. И никто тебя не опознает.

— Почему в колодце?

— Ну, может быть, не в колодце. Может быть, найдут твой обугленный скелет в куче мусора. Мусор-то теперь не вывозят, сжигают мусор во дворах. Впрочем, труп твой все равно не опознают. Ну, хорошо, сэр! Что это мы с вами все о поэзии да о поэзии. Не надо, сэр, ни денег, ни вещей. О квартире поговорим отдельно. Мне ты нужен. Я тебя хочу купить.

— Как так?

— Очень просто. Коль скоро у тебя ничего нет, кроме, условно говоря, собственного тела, я за бутылку водки покупаю у тебя тебя.

— Б-р-р,— мало чего соображая сказал Степан лошадиное слово и уточнил с легкой обидой.— Шутишь?

— Какие уж тут шутки. Того и гляди кондрашка тебя хватит. Ишь, как личико-то почернело. Не до шуток. Дело серьёзное. Ну так как?

Ох, горела душа у Степана, ох, горела...

— Две,— решительно сказал он.

— Что "две"?

— Две бутылки.

— Идёт!— согласился веселый старик.— Не привык я торговаться. Две так две.

* * *

— Проблема, Михалыч,— усевшись на полу у дыры в стене, Степан задумчиво разглядывал бутылку.— Я же все расплещу, в дыру вставляя. Руки дрожат. И вообще...

— Тоже мне проблема,— успокоил изобретательный сосед.— Суй, не распечатывая. Я распечатаю. Смотри, чтоб током не шибануло.

Сунул Степан горлышко в отверстие и затревожился: как бы лишку не перелить.

— На сколько бульбочек, Михалыч?

— Тута, Степа, бульбочки ни к чему. Не ночь тёмная. Наполню стакан — и заткну пробкой. Система мипель!

Разлили.

— Вот жизнь!— вздохнул сосед за стеной.— И чокнуться нельзя. Дай бог не последняя. За здоровье моей хозяйки. Чтоб ей!...

Выпили.

Этот кошмарный, сумасшедший, непонятный мир упорядочился. Встал на место. Обрел смысл. Стал даже приятным. Радостным.

Настало время для задушевных бесед.

— Как твоего непьющего товарища зовут?— спросил Михалыч, разглядывая ожившим глазом через дыру розового старика.

— Зови Хароном,— ответил тот.

— Это что ж имя или фамилия?

— Профессия.

— Хеврон так Хеврон,— согласился Михалыч.— Понимаешь, какая невидимая история приключилась, Хеврон. Наш общий друг, между нами говоря, Степа, ушёл в запой в одна тысяча девятьсот восемьдесят пятом году и ни хрена не знает, что такое есть конценсус, импичмент, суеверенитет и брокер. Мы, как люди малопьющие и частично совсем непьющие должны ввести товарища в курс дела. Степа, ты хотел бы стать брокером?

— Сразу обзываться,— обиделся Степа.

— Сейчас все евреями хотят быть,— вступил в разговор розовый старик.— Выгоднее всего сейчас евреем быть. Хотел бы я евреем стать.

— Это почему?— удивился Степа.

— В Израиль можно уехать.

— В Израиль?— ужаснулся Степа.— Мать моя женщина!

— Я же говорил — невидимая история,— объяснил Степин испуг Михалыч.— Пять лет в запое — это стаж!

— Это хорошо,— сказал как бы про себя Харон.

— Что же тут хорошего?

— В мире нет ничего плохого, из чего нельзя было бы сделать что-то хорошее, или на крайний случай извлечь какую-нибудь пользу,— изрек старик с некоей загадочной интонацией в голосе.

Так они приятно проводили время в светской беседе, но после третьего стакана Михалыч очень обиделся на Степу, назвавшего соседа "бесштанной командой". И хотя это было никакое ни оскорбление, а голая правда, беседа плавно перешла в ссору. Использовав весь арсенал дипломатии, состоящий преимущественно из виртуозного, вдохновенного мата, Михалыч в конце концов высунул из дыры последний аргумент королей — свою старую двухстволку. Но узок был сектор обстрела, мала амбразура, да и патроны дорогие, чтобы их тратить на такую мелочь, как Степан. К тому же против Михалыча вскоре открылся второй фронт. Вернувшаяся с работы жена наголову раз-

громила своего супруга. И долго ещё доносился из дыры яростный клич этой женщины: "И когда ж ты от водки-то сгоришь, бесштанник!" На что присмиревший Михалыч отвечал, слабо обороняясь: "Что ж я и штаны не заслужил за жизнь?"

* * *

Ночью, случайно приникнув ухом к дыре, услышал Михалыч странный, малопонятный разговор.

— Произошло большое для тебя несчастье, Степан,— выразил соболезнование Харон.

— Это какое такое несчастье произошло?— не испугался беспечный Степан.— Таракан бутылку перевернул что ли? Все несчастья, которые могли со мной произойти, уже произошли.

— А такое несчастье, Степан, что ты мне понравился. И решил я из тебя человека сделать.

— А,— равнодушно откликнулся Степан,— как буратину из полена? Дай закурить.

— Да ты ж бросил.

— Это когда же?— удивился Степан.

— А только что. Курить ты больше не будешь. Не хочешь ты курить. А хочешь ты с утречка выйти в плавочках во двор, встать босыми ножками на землю-матушку и облиться, начиная с хмельной головушки, ледяной водицей.

— Ага, разбежался,— охотно согласился Степан.

— Так оно и будет, купленный ты мой,— ласково пропел Харон.— А потом пойдем мы с тобой в горы синие, за три перевала пойдем. И попадешь ты в рай для алкашей. Заживешь, как король на пенсии. Три раза в день на мой портрет будешь молиться — вот как заживешь.

— А квартиру я на кого оставлю?

— А зачем тебе квартира в раю? Завтра сходим с тобой к нотариусу и оформим документы на моё имя.

— За какие такие красивые глаза?

... И они ещё долго шептались. И чем дальше, тем интереснее становился разговор, но все тише и непонятнее. Не все расслышал Михалыч, не все понял. Но то, что он понял, заставило его глаза светиться в темноте. "Так, так,— подумал он,— кипит твоё молоко на моём керогазе!"

* * *

Со словами "А пошли вы на хрен со своим Горбачевым!" Родион выключил телевизор и пошел на кухню.

Заглянул в холодильник.

Смотрел, смотрел. Долго смотрел. Ничего не обнаружил и так хлопнул дверцей, что случилось маленькое землетрясение.

— А пошли вы на хрен со своим Ельциным!— сказал он мрачно и выключил репродуктор.

Плюхнулся с "Вечерним Тёщинском" в старое кресло с протертыми подлокотниками, прочитал первую заметку и сказавши "Пошли вы на хрен со своим Крокодиловым!", отшвырнул печатный орган городской администрации.

В это время и зазвонил телефон.

Ух, как его раздражал этот назойливый трезвон. Ну раз не отвечают, значит нет человека дома. Неужели не ясно.

— Ну что ты разорался, скотина, будто тебя режут,— сказал он телефону и, поднявши-таки трубку, рявкнул:— Да!

— Привет, Родик, — услышал он характерно сиплый голос.— Степа тебя беспокоит.

— Привет,— не очень приветливо ответил Родион и сделал кислую мину.

Он не любил, когда его беспокоили. Особенно не любил, когда его беспокоил Степа, бывший коллега и безнадёжный пьяница.

— Как живешь, Родик?

— Трудные вопросы задаешь, старик,— вздохнул Родион.— Скажу хорошо — подумаешь: или вор, или проститутка. Скажу плохо — подумаешь: совсем дурак. Нормально живу. Старею потихоньку.

— Все там же работаешь?

— Как тебе сказать, — опять вздохнул Родион.— Работаю вот только зарплату третий месяц не получаю.

— Да я не к тому,— застеснялся Степа,— не насчет опохмелиться. Дело есть.

— Дело?— удивился Родион.— Завязал что ли?

— Да не,— пуще прежнего застеснялся Степа.— Тут с тобой человек поговорить хочет.

— Здравствуйте, Родион!— голос звучал бодро и бархатно.— Ваш бывший коллега рассказывал о вас невероятные вещи. Это верно, что вы разгадали рецепт приготовления тибетского бальзама, разложили, так сказать, на составные?

— Отчасти,— насторожился Родион.

— Мне нужна ваша помощь.

— Если подпольный завод, то — нет.

— Какой завод? Что вы! Я приглашаю вас на прогулку в горы. На недельку.

— Чего, чего?— спросил Родион таким тоном, что собеседник забеспокоился.

— Не бросайте трубку, Родион! Это, скажем так, деловая прогулка. Если нам удастся осуществить задуманное, вы станете богатым человеком. Очень богатым человеком.

— А если не удастся?

— То это будет просто прогулка в горы.

— И не дальше?

— И не дальше.— Заверяю — никакого криминала. Если Вы согласны, встречаемся завтра в шесть утра на конечной "тринадцатого".

Родион подумал, подумал и согласился, сказавши:

— А пошли они на хрен со своей работой! Так что от меня требуется?

* * *

"Тринадцатый" пел привычную заунывную песнь, преодолевая долгий изнурительный подъем, вызывая у пассажиров жалость и желание помочь старику-автобусу.

Остался позади склочный, шумный, заплеванный город. Было видно лишь тысячетонное ядовитое облако выхлопных газов, закрывшее его. Смог был гуще обычного от чада сжигаемых мусорных куч. Вывезти их было не на что. Все деньги ушли на проведение праздника "Мы любим свой город".

По обе стороны дороги медленно проплывали заросшие смешанным лесом предгорья. Справа сквозь просветы в рекламных щитах временами открывался пенный поток, клокочущий между гладкими, как тюленья кожа, валунами, и толпы ивановцев, простирающих открытые ладони к небесам, погружающимся в ледяную купель.

У ресторана, отделанного грубым камнем, за ажурной металлической оградой толстозадыми тараканами теснилось стадо "мерседесов". Красив был ресторан — островерхая крыша красной черепицы, витражи, открытая площадка, набитая длинноногими девицами, посверкивающими чешуинками драгметаллов, крутыми парнями в бордовых попугайских пиджаках с такими широкими плечами, ка-

них и в природе не бывает. Но назывался ресторан ещё красивее —"Элита".

— Знаем мы эту элиту,— желчно сказал Родион.— Одна извилина. При чем на всех.— И добавил, играя желваками.— В каждой из этих иномарок есть и мой рубль.

— Завидуешь?— спросил розовый старик.

— Дело не в том, что я завидую. Дело в том, что меня ограбили. Говорили — нищая страна. Восьмой год никто не работает. Воруют, воруют, а разворовать не могут.

— Плюнь,— посоветовал Харон.— Накушаются они всякой иноземной дряни, плюхнутся в свои "мерседесы" и поедут по валютным проституткам. Через десять-пятнадцать лет все от гипертонии перемрут. Кто выдержит? А ты сейчас выйдешь из автобуса и пойдешь пешочком, будешь дышать целебным хвойным воздухом. У тебя денег не то что на проституток, на жратву не хватает. Какой плюс! Это же голодание ради здоровья...

— "Горное солнце"!— торжественно объявил остановку водитель.

И действительно — из-за гор выкатилось солнце и ослепило пассажиров.

— Наше ущелье,— сказал старик в полувоенной форме, поднимаясь.

* * *

На воротах пионерского лагеря "Горное солнце" красовалась новая вывеска: "Кооператив "Милосердие". А в бетонный забор был врезан "комок", плотно набитый "сникерсами", "Распутиным" и презервативами. Использованные презервативы и конфетные обертки осенними листьями устилали окрестность, наглядно показывая выгодность бизнеса на человеческих слабостях и пороках. Об этом же свидетельствовала пышущая здоровьем физиономия владельца ларька, с интересом рассматривающего пышногрудую волоокую блондинку. Всего несколько квадратных сантиметров материи прикрывали её шоколадное тело. В черных очках этого чуда природы отражались и горное солнце, и ели, и снеговые вершины, и пузатый мужик в вязаной шапочке, хлопчатобумажном спортивном костюме с пузырями на коленях. В руках мужик держал авоську, туго набитую газетными кульками. Он клеился к красавице, выказывая серьезность намерений, но содержание его кармана явно не соответствовало форме живота. Блондинка курила длинную дамскую сигарету, коричне-

вую, с золотым ободком, мужик — толстую цигарку, скрученную из "Вечернего Тёщинска". Ароматный дым иностранки, смешиваясь с ядовито-сермяжными клубами махорки, образовывали некое свечение вроде радуги.

— Господа, займите сто долларов до получки,— обратился мужик к подходящей группе туристов.

— Михалыч!— удивился Степа.— А ты здесь что делаешь?

— А с тобой, Степа, я вообще не разговариваю. С друзьями так не поступают,— сказал Михалыч с обидой.— Михалыч то, Михалыч сё, а как до дела — так выкуси?

— О чём ты, Михалыч?— расстроился Степа.

— О чем, о чем... Не прикидывайся кирпичом,— ответил Михалыч, любивший ругаться в рифму.— Хеврон, принимай в команду.

— Извините, Михалыч,— официально сказал розовый старик,— я не понимаю, о чем речь? Мы со Степаном и Родионом идем на прогулку в горы...

— Прогулка — в рот тебе булка! Вы, ребята, забыли, что у стен есть дыры?— подмигнул Михалыч.— И я с вами прогуляюсь. Прощай, красавица! Я подарю вам белый "Мерседес"...

Розовый старик задумчиво посмотрел на миниатюрные трусики горного дива, на огромное пузо Мыхалыча и принял решение:

— Ну, что ж, присоединяйтесь. Только уговор — не скандалить и не отставать. Ждать никого не будем.

Плейбойная красавица, красиво отставив пышное бедро и покачивая головой в такт музыке собственной души, долго смотрела вслед живописной группе туристов, уходящей вдоль ручья вверх по ущелью. Впереди шёл старик-десантник, следом энергично семенил пузатый крепыш с авоськой в руке, экономно вышагивал худой длинноногий парень с репортерской сумкой через плечо. Последним, спотыкаясь о корни и камни, слегка пошатываясь, плелся Степа в фуфайке на голое тело и ботинках без носков.

* * *

— Долго ещё?— тяжело дыша спросил Степа, когда группа прошла метров сто.

— Однако, Степан, как я погляжу, не ходок ты,— отметил Михалыч. Его радовала мысль, что от Степы практически невозможно отстать.

— Передохнуть бы, не залезу я на эту гору,— канючил Степан.

— А тебя никто и не заставляет лезть в гору. Твоя задача — после каждого шага сделать ещё один шаг. Шаг-то ты сделать сможешь?— успокоил его старик.

Но Степан прошел ещё метров десять и сел на землю:

— Всё. Не могу больше.

— Сможешь, Степа, сможешь,— с участливым сарказмом сказал старик.

Он сбросил с себя рюкзак, достал из него бутылку "Пшеничной", показал Степе и снова спрятал. Закинул рюкзак за плечи и, не говоря больше ни слова и не оглядываясь, зашагал вперед.

Старик был прав. Степа поднялся на дрожащих, как у новорожденного теленка, ногах и понуро поплелся по нескончаемому, выматывающему душу тягуну.

— А старичок-то — садист,— шепнул Михалыч Родиону.— Ты не знаешь, куда он нас тащит?

— А хрен его знает,— ответил Родион равнодушно.

— А ты чего за ним увязался?

— А хрен меня знает.

* * *

— Так,— сказал розовый старичок через полчаса, взглянув на часы,— на этот раз рекорд не будет побит. Родион, не в службу, а в дружбу — сбегай в деревню. Вот по этой тропе, через седловинку. Её сверху видно. Найдешь Глухого, его там все знают, передашь эту записку. Спросишь у него пакет для философа. И прямо вверх по ущелью до водопада. Там нас и подождешь. А то, если с этим ходоком крюк делать, путь на день длиннее станет. Сумку оставь. Сумку Михалыч понесет.

— Михалыч, Михалыч,— нахмурился тот,— нашли осла.

Но посмотрел искоса на старика и ворчливо добавил:

— Ладно, что уж там. Давай. Навьючивай. Михалыч все стерпит.

— Осторожнее, стекло не побей,— предупредил Родион, вешая на плечо спутника сумку.

— Тяжелая, черт!— удивился печально Михалыч и спросил с некоторой надеждой.— Водка там у тебя что ли?

— Ага, водка. Разевай глотку,— осадил его старик.

* * *

Прогулка налегке была приятной.

Родион спустился в деревню, пчелиными сотами прилипшую к склону, и спросил у первого встречного:

— Скажите, как пройти к Глухому?

— Я не курю,— сердито ответил прохожий и, попыхивая трубкой, прошел мимо.

— Здравствуйте!— перекрывая собачий лай, крикнул Родион через забор пчеловоду с сеткой на лице.— Не знаете, где Глухой живет?

— Не курю,— ответил, улыбаясь, пчеловод, не поднимая марлевой паранджи. То, что он улыбался, было слышно по голосу. И пыхнул дымом, выгоняя пчел из улья. Родион отошел от греха подальше.

— Не кулю,— крикнул пацан, проехавший на скрипучем велосипеде в гору, пыхтя и отчаянно виляя тощей попкой, хотя его никто ни о чем не спрашивал.

"Странные люди живут в этой деревне,— подумал Родион.— Ага, вот кто мне скажет, наконец, где живет Глухой".

И он направился к румяной женщине средних лет и приятных форм, вращающей заунывно скрипящий ворот колодца.

Он подождал, пока женщина, наполнит вёдра, и спросил:

— У вас есть закурить?

— Пожалуйста,— ответила она и вытащила из-за уха беломорину.

— А вы не знаете, где живет Глухой?— обрадовался Родион.

— А вот спичек у меня нет,— обнажила в улыбке белые зубы женщина.

— Эй, ты, Длинный!— раздалось откуда-то сверху.— Я тебя, тебя шумлю.

Родион поднял голову вверх и завертел ею, поскольку склоны ущелья играли этим раскатистым голосом, как волейбольным мячом. Наконец возле дома, взобравшегося на гору выше других, увидел он человека, машущего ему рукой.

— Шо ты шумишь — Глухой да Глухой. Я Глухой. Шо вы все заходите, мимо не проходите. Проходите, проходите...

Расценив эту странную фразу как приглашение, Родион полез по крутой тропинке вверх, удивляясь чуткому

уху Глухого, и жуя сорванное мимоходом яблоко. Пока вскарабкался, три яблока съел.

Обличьем и фигурой Глухой был похож на Тараса Бульбу, каким он нарисован в школьной хрестоматии по литературе. Только вместо папахи на голове его была тюбетейка, впрочем, так же лихо сдвинутая на затылок.

— Поллайоло, Поллайоло,— проворчал он, прочитав записку,— где я ему Поллайолу возьму?

И спросил сурово:

— Как здоровье Пилософа?

— Нормально. Хрен ли ему что сделается,— уклончиво ответил Родион.

— Зайдешь или торопишься?— спросил Глухой не слишком радушно, с логическим ударением на слове "торопишься".— Ну, погоди — вынесу.

— Книги?— удивился Родион.

— Та це ж разве книги — пилософия...— скорчил кислую гримасу Глухой, как бы чего-то ожидая от Родиона, и, не дождавшись, намекнул.— Да тебе, вроде, и без надобности к Пилософу.

Не зная что ответить, Родион сказал:

— Мне один хрен.

— А то смотри, хлопец, я ведь тоже немного того, Пилософ,— и делая глазами странные движения, словно бы указывая на нечто, что находится за его спиной, прошептал в нос,— есть у меня немного этой пилософии. Но дорого... Дело твое, смотри. Можешь и не вернуться.

— Что-то я не пойму о чем речь,— насторожился Родион.

Но от этих слов и Глухой, казалось, оглох.

— До побачиння,— сказал он, сделавши глупое лицо.

— Отчего у вас в деревне так много глухих? Просто глухая деревня,— сказал Родион, поворачиваясь, чтобы уйти.

— Глухих?— удивился Бульба.— Та кроме меня, и нет никого. Ось, видишь на горе мужика? Ты его еле-еле бачишь, а он все слышит, о чем мы с тобой гутарим. Добра здоровья, Ахрам,— сказал он, не повышая голоса.

Мужик на горе помахал им рукой.

— Глухая деревня,— ворчливо повторил Глухой не понравившуюся ему фразу.— Чужаков не любят, от того и глухота. Ну, добрый путь. Скажи Пилософу, найдет ему Глухой Поллайолу.

* * *

Пьянящее настроение гор передалось идущим за Хароном. Настроение вечнопадающих скал на фоне пролетающих облаков. Настроение раскрашенных синими и желтыми цветами склонов, мощнолапых мозолистых корневищ елей, влажных ущелий, высоты и опасности. Высоко в небе, не взмахивая крыльями, кружила хищная птица, словно только что вылетевшая из Красной книги. Энцефалитные клещи раскачивались на сухих травинках у троп, поджидая туристов.

Степан, ослабленный марафонским запоем, от чистого воздуха и эфирных масел, щедро расточаемых травами и деревьями, был на грани обморока. Ноги дрожали и подгибались, сердце колотилось, как буйный сумасшедший головой о стену, глаза отказывались объективно отражать действительность. Небо вдруг набухало красным, вершины начинали дышать и мерещилось черти что.

— Кто это?— спросил он, усилием воли сфокусировав взгляд.

— Огнепоклонники,— равнодушно ответил Харон.

— А чего они делают?

— По углям бегают.

— Зачем?

— Я же говорю — огнепоклонники.

— Уф!— выдохнул с облегчением Степан.— Думал: белая горячка начинается. Думал: черти.

Дальше Степан шел на автопилоте. Разряженный воздух был крепче самогона. Ничего не видел и не слышал Степан, кроме мелькания почвы под ногами и гула в ушах. Лишь однажды увидел он на вершине горы средневековый замок из розового ракушечника со шпилями и башенками. Долго тер кулаками глаза, пытаясь избавиться от сказочного кошмара, но видение не исчезало.

Но не только ему привиделся этот мираж.

— Это что за "отель"—"У погибшего альпиниста?"— спросил, отдуваясь, Михалыч.

— Это майор ГАИ Козоев построил себе загородный дом.

— Как же он на такую верхотуру материал завез?

— На вертолете.

— А где вертолет взял?

— Купил.

— На зарплату майора ГАИ только и строить такие дворцы...

Люди — они завистливые. Им все бы ворчать.

— На хрен ему это сдалось?— удивился Родион.— На такой высоте не то что яблоки — ели тянь-шаньские не растут.

— Яблоки у него на даче растут,— объяснил осведомленный Харон,— а сюда он прилетает восходами и заходами любоваться.

Исчез за горой розовый дворец. Все реже и реже попадались туристы. Исчезли люди — исчезли чудеса. Начались чистые горы.

* * *

Степану казалось, что ноги у него без костей. Вместо костей — одна ноющая боль. А в голове была кузня. Неутомимые амбалы в три молота колотили по наковальне. Он шел и удивлялся, как это он до сих пор еще не умер. Да он бы и умер, если бы не думал о том, что лежало и нежно побулькивало в рюкзаке у розового старика. Ради этого он был готов на любой героический поступок и на любую подлость.

— Привал!— услышал он самое красивое в мире слово.

И упал. А падая, заснул.

Но безжалостная рука растолкала его.

— Раздевайся!

Шатаясь, стоял он, голый, у костра, поворачивался, подчиняясь чьим-то рукам.

Старик искал клещей. Найдя, осторожно перевязал хоботок ниткой и извлек из хилого тела Степана, после чего взял у Михалыча раскуренную цигарку и...

— А-а-а-а!— заорал Степан так, что в ужасе заметалось между горами эхо и где-то далеко-далеко случился обвал.

Упал Степан на фуфайку и заснул.

* * *

— Мужики, кто бутылку спёр?

Как грубо прозвучали эти слова, как не соответствовали они чистым рериховским краскам утра в горах. Розовеющие вершины, подобно лепесткам гигантского цветка, окружили место ночевки. Пестиками и тычинками этого горного цветка тянулись оконтуренные светящимся, золотым туманом ели к еще не видимому солнцу. Они росли на острове, образованном раздвоившимся руслом никогда

не смолкающей реки. И на каждую хвоинку была нанизана бусинка росы...

— Я не пью. Я завязал,— встретившись с подозревающим взглядом Харона сказал, зевая, Родион.— Она мне и на хрен не нужна.

— У тебя не хрен, а шампур какой-то,— осуждающе заметил Михалыч и изобразил на лице своем такую невинность, такое недоумение, что его пришлось попросить дохнуть.

— Извиняюсь, сэр,— чопорно раскланялся Харон и строго позвал,— Степан!

Степан спал, раскинув ноги и руки, как Гулливер в стране лилипутов, облепленный бабочками небывалых эндемических расцветок. За этих бабочек, облюбовавших отчего-то для ночевки именно Степана, иностранный коллекционер мог отвалить столько долларов, что и не пропить до конца жизни. К счастью, ни бабочки, ни люди об этом не знали. Степан спал таким глубоким сном, что мог проспать и конец света.

— Чем от него так несет?— спросил Родион.

— Зизифорой,— распознал опытный Михалыч,— зизифорой, гад, зажевал. Сейчас я ему морду начищу.

— Да на хрен он тебе сдался. Какая радость морду-то бить?

— Это верно. Все нужно делать с радостью,— изрек старик.— Даже морду надо бить с радостью.

— С горя пить надо,— размечтался Михалыч.

— Нет,— возразил Родион,— горем нужно уметь наслаждаться. Вот так вот сесть, уткнуть морду в колени — и наслаждаться.

— Стукнулся,— догадался Михалыч и стал развивать мысль.— Нормальных людей нет. Все стукнутые. Каждый по своему стукнутый. Кто на марках, кто на бабах, кто на бабках, кто на водке, кто на чём... Вот, к примеру, взять нас. Куда мы премся? Тропа давно кончилась, а мы все премся и премся. На третий перевал уже корячимся.

— Тебя кто-то держит?— жестко спросил Харон.

— Все, все, все,— успокаивающе замахал руками Михалыч.— Идем, идем. Я уже иду. А этот алкаш пусть дрыхнет. Зачем в Тулу самовар-то тащить?

— Разбудите его,— приказал Харон,— без Степана наша экспедиция теряет смысл.

Но сколько ни толкали, ни трясли, ни пинали Степана, он не просыпался. И только блаженно улыбался.

С новыми силами возобновили попытки после завтрака — бесполезно. Спит, как убитый.

— Придется тащить на себе,— принял решение Харон,— ну-ка Родион, забрось-ка его Михалычу на плечо.

* * *

Степану снилась родная деревня, затерявшаяся где-то далеко-далеко от гор на просторах лесостепного края. Звали деревню Пьяной. Снилась река в перекатах, огороды в подсолнухах, березовые колки в тумане.

Снился дед Христофор, ветхий старикашка.

Глуховат, слеповат, со слабым нюхом. Но хлопни по дну бутылки ладошкой на другом краю деревни, уши у него запрядают, обернется он со скрипом на знакомый звук, зашмыгает носом-помидором и скажет грустно:

— Водка...

Сощурит глаз и добавит с тоской:

— Пшеничная...

Это был настолько древний дед, что помнил еще столыпинскую реформу и первых переселенцев. Правда, по той же причине, довольно смутно.

Летом дни напролет дед сиживал на бугорке возле дома, заросшем калачиком и шампиньонами, величественно опираясь на бадик. В самую невозможную жару на голове его красовалась некогда пыжиковая шапка с оторванным козырьком, а на ногах — самокатные пимы образца тысяча девятьсот надцатого года. Как подсолнух, от восхода до заката поворачивался дед за солнцем. Но спиной. А к вечеру так накалялся, что от него можно было прикуривать.

Человечество, можно сказать, развивалось, рвалось, понимаете ли, в космос, а между тем сидел себе на солнышке бесполезный дед и грел никому не нужные старые косточки. Сидел он, между прочим, на берегу реки, возле пятистенного домика с дерновой крышей, в котором и доживал век со своей бабкой. Каждые десять лет домик затопляли вешние воды. Но старики мужественно переносили стихийные бедствия и одержали-таки победу над природой: выше по реке построили добрые люди плотину. Правда, река стала пересыхать, и вода в колодцах уходить.

Бабка Варвара была из тех женщин, о которых в народе с уважением говорят: есть на что приятно посмотреть. В девках Варвара была сбитой, в бабах — справной, а в старухах и эпитета, простите за грубое слово, не подберешь. Этакий, знаете ли, арбуз, этакая гондола. Дирижабль то есть.

Если дед дни напролет памятником торчал на бугре, то бабка Варвара, исключая крайнюю необходимость, неделями не выходила из дома. Не без оснований опасался дед Христофор: еще чуточку поправится Вервара — и уже не пролезет в дверь, так навсегда и останется в хате. Лет двадцать как думал дед сделать двери пошире, да все некогда.

Ох, и кругла бабка Варвара. Стоит ей выйти в сильный ветер из дому да споткнуться — катит ее, что твой мяч. Не однажды Христофор догонял женушку у самого обрыва и, подперев бадиком, ждал, когда мимо пройдет добрый человек или кончится ветер.

Надо сказать, что не всегда дед Христофор был столь любезен и галантен со своей женушкой. Как и каждому доброму человеку в деревне Пьяной сильно портила ему жизнь зеленая змеюка. Печень деда Христофора, если объективно посмотреть на нее через научный прибор, называемый рентгеном, представляет собой ярчайшую, как вы догадываетесь, палитру отечественных крепленых вин, полнейший, извините за выражение, спектр свекольных и ячменных напитков домашнего изготовления. Вставить ему пластмассовую печень — он самого себя переживет.

Очень часто в молодые годы, возвращаясь домой, обнаруживал Христофор с удивлением сразу три жены. Это его задевало и с лозунгом: "Я не любовник, я алкаш!" двоих он немедленно принимался изгонять.

"Опять Христофор свою гоняет",— говорили с одобрением соседи и шли посмотреть бесплатный концерт, потому как никакой художественной самодеятельности в деревне Пьяной отродясь не было. В масштабах справной Варвары, которая и на двух стульях не умещалась, Христофор выглядел просто второстепенным членом предложения, или, понятней сказать, таракашкой каким. Прыгает, прыгает, норовит по носу достать, а не допрыгнет. И на табурет влезть не может: больно его хмель шибает. А Варвара стоит этакой печью, руки по швам, и ревет, будто ей обидно.

Умрешь со смеху.

Но вот однажды в это темное царство, где и медведи от скуки вымерли, приехал бродячий цирк. Заблудился, небось. С клоуном, обезьяной, хождением по проволоке и борцом. Ну, клоуна били молотом по башке, обезьяна рожи корчила, толстоляхая деваха дважды с проволоки бабахнулась, шпаги, как водится на голодный желудок глотали...

И вот выходит борец. Пузатый такой мужик с тараканьими усищами. Хлоп на табурет целых сто рублей и предлагает побороться с любым при условии такого же вклада. Победитель получает все. Смотрят деревенские на богатырское пузо и размышляют не спеша: "Нашел дураков, хотя оно, конечно, сто рублей — большие деньги". А между тем другой циркач с дрожью в голосе вспоминает, скольким знаменитым силачам этот выдающийся борец переломал ребер. Большая получалась цифра. Пузатый время даром не теряет — лом на узел с бантиком завязывает. Физзарядка вроде.

— А что,— говорит вдруг тихая Варвара,— я бы с ним поборолась, да вот ста рублей у меня нет.

При этих словах богатые мужики, с трепетом и изумлением взиравшие на громадное борцовское пузо, одобрительно загудели: "Будет тебе, Варвара, сто рублей".

Ага, договорились.

Выходит Варвара в круг, ни слова ни говоря, берет выдающегося борца за бока, поднимает над головой, как пустую бочку, и бросает оземь. Слышится громкий треск — то ли у брошенного ребра ломаются, то ли еще что.

И этот жуткий треск богатырских ребер или там еще чего слышит затесавшийся между зрителями пьяненький Христофор. Видит: Варвара-то к нему направляется, здоровая да румяная. И улыбается. Нехорошо так улыбается. Бежать надо, а ноги не несут, будто корни на метр в землю пустили. Пал на колени Христофор и сказал таковы слова: "Варварушка, прости душу пьяную. Пальчиком тебя не трону. Ни мизинчиком..." Заревела Варвара от таких ласковых слов, подхватила Христофора под мышку и унесла домой.

С тех пор Христофор ни разу не поколотил Варвару. Пари, правда, заключал. На бутылку. И всегда выигрывал. Не было на свете силача, который мог бы одолеть Варвару...

Пропьянствовал Христофор первую мировую, гражданскую, коллективизацию, индустриализацию, проще говоря, всю жизнь и очнулся при социализме — здравствуйте вам!— глубоким дедом.

И очень он невзлюбил современную молодежь в лице соседского Степана по причине его беспробудного пьянства. "Не, в наше время так не пили,— говаривал он с осуждением,— скорей бы тебя, дурака, в армию забрали. Там тебя научат Родину-то любить". Надо отметить, что в армии дед Христофор не служил и дня. Посчастливилось ему уродиться плоскостопым. Степан отвечал деду взаим-

ностью, и проезжая мимо его бугра на тракторе, тарахтел, подлец, особенно громко. "Расчертит твою в пекло!— страшно ругался дед — Вот ведь как заведено: что ни Степан, то балбес. Чтоб у тебя, стручка горохового, рот на пятке вырос: как пить — так разуваться..."

Впрочем, время от времени они сходились на бугре — выпить-закусить и идейно поспорить. Такие убийственные слова во все стороны разлетались — мимо только по-пластунски можно было проползти. Сходились они только в одном: раньше люди с горя пили, а теперь — с радости. В длительных спорах никто никого не мог одолеть. Но был у Степана один коварный вопросик. Очень не любил его дед. Кряхтел, вздыхал и отделывался общими словами непечатного пользования. Не вопросик — нож в печень. "Ну вот прожил ты жизнь,— говаривал с усмешкой Степан, затягиваясь ядовитой беломориной и сощуривши глаз,— какая в этом идея была, смысл-то в чем?" Хорошо ему, балбесу, такие слова говорить: вся жизнь впереди. И цель была большая и светлая — устроиться на Тёщинский ликеро-водочный завод имени первой конной.

... Задумал однажды дед Христофор в огуречнике колонку соорудить, чтобы посредством этого нехитрого технического прибора облегчить жизнь бабке Варваре. Она сама себя-то еле-еле таскала, а тут ещё на бугор с вёдрами взбираться. Состоялись дипломатические переговоры со Степаном. Враги-то они враги, но исключительно на идейном фронте, а в смысле экономического сосуществования у них царили мир и согласие.

Вечером следующего дня сгрузил Степан у бугра кучу ржавых труб и сказал, глядя голубыми глазами в голубое небо:

— Чего-то жара. Прямо в горле пересохло.

— Варвара,— проскрипел дед.

Варвара укатилась в избу и вернулась с запотевшей бутылью веселого зеленого цвета.

— Ну, что вы,— сказал, просиявший Степан,— вот это уж как раз и лишнее.

Бабка Варвара вытащила из огромного, как сумка кенгуру, кармана фартука граненый стаканчик, налила его до краев, протянула Степану и, приятно улыбаясь, досмотрела, как он её, проклятую, всю до капельки единым духом. Тут она снова пошарила в кармане и вытащила огурец — упругий, в пупырышках, желтый с обоих концов.

— Варвара,— жалобно-жалобно заскрипел дед.

— Нечего, Христофорушка, нечего,— ласково пропела бабка,— и так с утречка вылакал. Ниже метки на два пальца-то.

— Несерьёзная ты старуха, Варвара,— обиделся Христофор,— а то не знаешь, что Васька к зелью пристрастился.

— Кот что ли?— полюбопытствовал, хрустя огурцом, Степан.

И пошёл тут разговор о странных привычках некоторых котов...

... Долго ли коротко ли продолжались строительные работы, но настал наконец счастливый день сдачи колонки. Бабка Варвара клопотала в доме, собирая на стол, кот Васька мурлыкал, тёрся о ноги и разными другими способами подлизывался к хозяйке. В предвкушении застолья дед сурово хмурил брови и напускал на себя значительность.

Быстро-быстро закачал Степан ручку. Во глубине земных недр зачмокало, зачавкало, забулькало.

— Из колодца вода льётся,— доложил Степан приёмной комиссии в лице деда Христофора.

Недоверчивый от природы дед приник к кранику и вдруг затрясся всем телом. Долго не отрывался он от колонки. Когда же отвалился, глаза его были выпучены сверх меры, а ртом он жадно глотал кислород.

— Самогон!— вскричал ошалевший дед и пал ниц.

Усмехнулся Степан, но зачерпнул ладошкой воду. Поднес к носу. Лизнул. Ё-моё! Первач...

— Бочку! Бочку!— завопил он дурным голосом.

Дед уковылял, широко расставив ноги и руки. Вернулся с разводным ключом. Махнул на него Степан рукой и такими большими скачками, что, случись это на Олимпийских играх, непременно побил бы рекорд, умчался. Прошло несколько секунд, а он уже стоял у колонки. В одной руке — помятое ведро, из которого бабка поросёнка кормила, в другой — длинный, как анаконда, шланг.

Чистый напиток, пахнущий портянками, лаптями, свеклой, дровнями и навозом, избами, которые топились по-черному, сверкающей на солнце струей хлестанул в ведро. Наполнив сосуд для первоочередных нужд, Степан натянул, матерясь, на краник шланг и, обливаясь потом, качал самогон в пятикубовую ёмкость, предназначенную для полива овощей. Уже давно полна ёмкость, а Степан с вытаращенными глазами человека, внезапно напавшего на дармовщину, все качает и качает. Самогон через край хлещет, ручей образовался. Вот он уже в речку впадает, а

в месте слияния кишит окосевшая рыбья мелюзга. Пескари, пьяные в дым, преследуют щуку. Пьяные воробьи купаются в луже, опираясь для равновесия на крылья, как на костыли. Чирикают, дерутся, кое-кто уже утонул. А один сел на нос деду Христофору и клюёт самый кончик. Дед сердится, но прогнать воробья нет сил, а человеческих слов наглая птица не понимает.

Сине-зеленый, пропахший самогоном мир пищал, смеялся, чирикал, плескался и вращался колесом вокруг колонки. Будь здесь какой-никакой древний грек, он бы сказал, поди: вакханалия! Но эту картину пьяного загула наблюдала одна необъятная бабка Варвара. Она только и сказала, что: "Охо-хо!" Но зато как сказала! И двинулась тяжелым танком на высоту. На вершине её лежали упитый дед с воробьём на носу. Рядом в обнимку с пьяной козой, привязанной за колышек, сидел Степан. Коза и Степан пели "Червону руту". Одолела бабка Варвара бугор, отдышалась и повела носом. А через полчаса сидела она в этом пьяном раю возле козы и громовым голосом тягуче выводила на манер страданий: "Если парень в горах не ах"...

Деду Христофору хочется сделать рогатку. Давно, ох, давно не охотился он на воробьёв. Впал старик в счастливое детство, как река после долгого пути впадает в океан. И хочется ему поковырять пальцем в носу. Есть в этом занятии какой-то глубокий смысл. Может быть, смысл всей жизни...

Степан громко мечтает о самогонном заводе. Не будет он, ёлы-палы, народ обдирать: тридцать копеек ведро — налетай, родные, подешевело! Ладно, уговорили, двадцать копеек, как билет в кино. Меньше не могу. Меньше — себе в убыток. Надо бабке Варваре "Волгу" подарить? Надо! Ей ходить трудно. А этому хрычу он привезет самосвал табака и сгрузит стогом у бугра. Пусть смолит пока смолится. Поди, всю деревню закоптит? А мы ему дымоотвод сделаем. А из дыма — кирпич. А из кирпича — новый дом для деда с бабкой. А ему, Степану ничего не надо. У него и так все есть. Женится на этой симпатичной козе — и полный ажур... А коза ему басом: "Степанушка, соколик ты мой ясноглазый"...

Ах, бабка Варвара, бабка Варвара! Не Варвара ты, а Варварушка. Горят твои щёки молодым румянцем, с золотым шуршанием развевает твои волосы ветерок, стучит молодое сердце. Как ждет она доброго молодца, сильного да ласкового, он любовью не оскорбит, ревностью не оби-

дит. Ревет бабка Варвара, как медная труба на похоронах. От счастья, которого не было, нет и никогда не будет...

А вокруг Христофорова бугра хороводится вся деревня Пьяная, черпая из самогонных ручьев, кто кружкой, кто миской, а кто и по-простому — ладошкой. И такой медовый гул стоит, словно пчелы роятся. Гудит деревня. Весело гудит. День гудит, два, как в розовом тумане. На третий полегла вокруг бугра разноцветным полевым венком.

Ах, как трещит голова!

Ах, как трещат головы!

Как сверчки в ночи.

Приснится же такой дурацкий сон. Хотя... Сует дед Христофор недоклеванный нос в помятое ведро: самогон!

Кинулись к колонке, качают — вода. Сейчас, сейчас, немного сольётся... Но из колонки тугой, веселой струёй льётся обыкновенная вода.

* * *

И в этом самом месте, полном горького разочарования, Степан проснулся от толчка.

Ну, как от толчка...

Просто Михалыч его оземь с высоты своего роста, как мешок с картошкой, сбросил. А сам с громким матом метнулся к скале, в укрытие.

Лучше бы ему быть брошенным и катиться к краю пропасти.

В следующую секунду между глаз у него появилась маленькая дырочка, и он осел на землю проколотым мячом.

А Степан катился себе под треск автоматных очередей к обрыву, ничего не понимая и не очень испугавшись: не все глядеть хорошие сны, пора посмотреть и кошмары. Горы и небо крутились вокруг него колесом, шумел в ушах ветер, камни перегоняли его.

И вдруг так резко встряхнуло, будто за спиной раскрылся парашют. Но это не стропы натянулись, это жилистая рука Харона схватила Степана за ворот фуфайки и поволокла куда-то, как куль с барахлом.

Прибежал согнутый в три погибели Родион, держал на весу сумку, намотав лямку на руку, и шепотом матерился.

— На лбу дырочка... Маленькая такая... Как третий глаз... А затылка совсем нет... Одна дыра... Как яйцо всмятку... Хана Михалычу... Как думаешь, кто стреляет?

— А кто их знает,— также шепотом ответил Харон,— ничейные горы. Может быть, наркоманы плантацию охраняют. Может быть, нас за архаров приняли. Сейчас главное — ноги уносить. Бьют — беги. Вставай, Степа! Ну-ка, подхвати его под руку. Пошли! Сумку, сумку береги. Нам без твоих приборов и без Степы там делать нечего.

И они скачками устремились вниз по крутому склону. Бег этот напоминал падение. Степан вяло передвигал ноги. Ему казалось, что он летает во сне.

С пылью, с градом щебня врезались они сверху в тучу, пронзили почти непроглядное нутро, и выскочили из неё уже мокрые под дождь. Ледниковым сквозняком тянуло по ущелью. Отдышались, укрывшись под скалой. Розовый старик достал из рюкзака скатку полиэтилена. Закутавшись в прозрачную пленку, они двинулись дальше, как некое неземное, аморфное, фосфорисцирующее животное с просвечивающимися внутренностями.

— Пить,— стонал Степа, будто распятый на плечах спутников.— Пить...

— Очухался, родимый,— холодно приветствовал его Харон,— где ж я тебе пить-то возьму. До ближайшей забегаловки четыре перевала, а весь запас ты, мой хороший, ночью вылакал.

* * *

— Затянулась наша прогулка,— сказал Родион, перевязывая кисть руки разорванной на полосы майкой.— Может быть, расскажешь, куда и зачем идем, пока нас не всех еще перестреляли?

— Ты коммерческий канал смотришь?— розовый старик поставил котелок на выложенный из камней очаг.

— Порнуху что ли?

— Рекламу.

— Нет, рекламу не смотрю. Реклама — она для дам и господ, а я не вор и не проститутка. Я инженер-технолог. Зачем мне реклама?

— Конечно, конечно,— успокоил старик собеседника.— Я к чему спросил. Там через объявление: "Продам шкуру барса", "Куплю шкуру барса". Милиция и природоохранники тоже, наверное, одну порнуху смотрят. Зверь-то из "Красной книги".

— Да ну их на хрен,— вставил любимый рефрен Родион.— В "Таракане" каждое второе объявление — приглашение в бордель на дому. Ну и что?

— Ты о Браеве слышал? Должен слышать. Раньше его часто по телевизору показывали, в "Мире животных". Знаменитый барсятник,— продолжал старик, мрачнея.— Сколько он их в своё время переловил, на все зоопарки мира хватит. Я его хорошо знал. Можно сказать, друзьями были. Любил он своё дело и зверюг этих любил. Все с идеей носился создать заповедник. Общество друзей барса организовывал. Если мы люди, говорит, нужно спасти их от полного вымирания. Не спасем — значит не люди.

Старик задумался, вспоминая прошлое, машинально ковырял обугленной палкой в костре. Вздохнул, как бы стряхивая с себя наваждение.

— Да... Спился к чертовой матери. До последней точки дошел. Барсов для этих барыг убивал. Я уже потом от него узнал: барсиху из зоопарка выкрал. Беременную...

— На хрена мне эти проблемы!— вспыхнул Родион.— Думал, хоть здесь без телевизора от этих проблем отдохну. Я от этого сволочизма психом стал. Ты мне, дед, такие вещи не рассказывай. Ты мне просто ответь на вопрос: куда идем и зачем?

— Не перебивай,— посмотрел на него Харон исподлобья. Так посмотрел, что Родион сразу успокоился.— Не люблю, когда меня перебивают. Так вот я и говорю: спился человек. Нечеловеком стал. Против себя пошел, лишь бы денег на водку достать. Попользовались им купчики-перекупщики, всякая дрянь. Он для них зверя из "Красной книги" за бесценок добывал.

— Подонки!— не выдержал Родион.— Мать в бордель продадут из-за лишнего доллара. Элита... Ненавижу!

— Как-то вышел на него иностранец. Их сейчас в Тёщинске, как мух у помойки. Кто с добром, кто с дерьмом, кто просто так от скуки мается. И предложил этот иностранец Браеву приличную сумму. Ну как приличную? Зверь-то вот-вот исчезнет. Ему вообще цены нет. Приличную в сравнении с тем, что местная шпана предлагала. Уж очень хотелось этому иностранцу у камина, или не знаю еще где, эту шкуру под ноги подстелить.

Браев уже не тот был. Руки трясутся. Дыхалки нет. Глаза нехорошо блестят. Весь чёрный, будто изнутри выгорел. Да что я рассказываю? Ты вон на Степу посмотри. Пособие ты моё наглядное. Ишь как его ломает.

Не тот Браев, не тот. А деньги большие. Большие деньги. Помощник Браеву нужен. Одному не справиться. И пришел он ко мне...

Старик насвистел музыкальную фразу из забытого танго. Вздохнул и долго молча смотрел на костер. Первобыт-

но-печален был этот взгляд, как у врубелевского пана. Отзвучала свирель и тоской наполнился холодный безлюдный мир.

— Большие деньги,— ещё раз повторил старик, не то чтобы оправдываясь, а скорее объясняя свой поступок,— попутал меня бес. Думаю: не я — так кто-нибудь другой убьёт зверя. Лучше один раз грех на душу взять, чем остаток жизни в переходах с мятой шляпой на ступенях сидеть. Рядом с урной.

Ушли мы с Браевым в горы. Все дальше и дальше. Нет барса, сильно его повыбили в последнее время.

А Браев на аванс спирт купил и слил его в канистру. А канистру в рюкзаке носил. Сначала не слышно было, а потом бульк да бульк на каждый шаг. Днем он себе не позволял. Терпел. А ночью, не хуже нашего Степы, прикладывался от души. Через неделю канистра у него была пустой. Стал его чёрный хмель душить. Совсем мужик с ума сошел. На луну выл. Я у него ружьё отобрал, так он в пропасть хотел броситься, так его скрутило. Пришлось к себе веревкой привязать, как пса. А что делать?

Черт с ними, с баксами, думаю, надо домой возвращаться.

На обратном пути и встретились нам следы барса. И увел он нас в сторону, в места, где мы никогда не были... Пусть ещё покипит,— остановил Родиона старик.— Соль бросал?

— Нет у нас соли. Она у Михалыча была.

— Нет и не надо. Говорил я ему: не ходи. Не послушался...

— Соли нет. Хлеб кончился. Как бы нам с голоду не подохнуть.

— В это время в горах с голоду умереть нельзя,— успокоил Родиона старик и махнул в темноту,— урюк, малина, барбарис, грибы. Спустимся ниже — роща грецких орехов. Кроме меня о них никто не знает. Не получится у нас умереть с голоду...

... Степан слушал этот разговор, как сквозь воду. Голоса звучали всё глуше, всё расплывчатее. Ему хотелось дослушать историю, узнать, куда увел старика и Браева барс, но густая звенящая тьма навалилась на него, и он отключился.

* * *

— Вставай, пропащая душа. Хлебни-ка нашего варева,— тряс за плечо Степана старик.

Степан открыл глаза.

Он увидел Родиона, сидящего в позе вождя краснокожих. Половина его худого, костистого лица было красной от бликов костра, половина — серебрянной от луны. Родион, не мигая, смотрел на яркий шар, чей свет усиливался отражением вечных снегов, как бы нависших в пустоте над чернотой ущелья.

— Так вот почему мы тащим туда Степана!— сказал Родион взволнованно луне и, помолчав, добавил.— Это не барсов бить. Дело полезное. Вот только дотащим ли мы этот полутруп?

— Дотащим,— успокоил Харон.

— Это же можно все человечество от порока избавить!— торжественно поделился своим удивлением Родион с луной.

— Да хрен с ним, с человечеством,— жестко сказал Харон. От одного порока избавится — десять новых найдет. Я смотрю на это дело проще, как на бизнес. Честные деньги. Большие деньги. Дом с садом. Молодая жена. Обеспеченная старость...

— А я думал, мы мировое сообщество обрадуем...

— Да ни в коем случае!— испугался старик.— Распустил пионерские сопли: человечество, мировое сообщество... С ума сошел? Давай, партнер, на берегу договоримся. Твое дело техническое. И никакой самодеятельности. Коммерческая тайна. К нам со всего света миллионеры поползут. Мы через год весь Тёщинск вместе с тараканами купим. Никакого научного объяснения. Чудо — и всё. И ничего, кроме чуда. Чудо — оно дороже стоит. Его повторить нельзя...

— А что с Браевым сталось?— вмешался в разговор Степан.

— Скоро узнаешь, что с ним сталось. Отдыхай,— повернулся к нему, разгоряченный разговором старик.

— Так вот почему тебя Хароном зовут!— осенило Родиона.

* * *

Сине-зеленая, с пенным гребнем, вздыбившаяся и окаменевшая волна безымянной горы невесомо нависла над спящими у потухшего костра людьми. Далекий шум лавины разбудил старика. Он энергично растер лицо, всклочив бороду, и сориентировался в пространстве и времени.

— Вставай, Родион. Степан исчез.

Родион медленно сел и повторил ту же процедуру, что и старик.

— А где моя сумка?— спросил он.

— У тебя там что-нибудь на спирту было?

— Ну, были реактивы...

— Все ясно: Степан сожрал,— сказал старик с отчаяньем.— Как думаешь, не отравится?

— Да хрен его знает. Чего он только не жрал. Анализ я без этих реактивов не смогу сделать — это точно.

Розовое лицо старика стало красным:

— Мразь! Рванина! Отбросок помойный! Убью скотину!

— Да что ты так разволновался? Возьмем с собой, сделаем анализ в лабораторных условиях...

— В том-то и дело, что взять с собой нельзя. Может быть, не все сожрал. Надо его найти, догнать.

— Где его искать,— огляделся Родион,— тут дивизию можно спрятать.

— Так,— задумался Харон,— куда пойдёт этот подзаборник? Вверх он не полезет. Он пойдет туда, куда понесут его ноги. Идем.

Наскоро собравшись, расслабленным галопом они заспешили вниз, туда, где на склоне в радиальной лощине росли разлапистые урючины. Их было пять, и плоды каждого дерева чем-то отличались от других — по вкусу, цвету, размеру. Одни слегка горчили, другие таяли во рту медом, третьи отдавали холодком мяты, был урюк идеально круглый, был в крапинку, как перепелиные яйца и крупный, мясистый, словно абрикос.

Родион, пытаясь притормозить, схватился за ветку первого дерева и сверху посыпался обильный золотой дождь. С глухим перестуком падали плоды на землю и, подпрыгивая, катились вниз, собираясь в ловушку-углубление, от которого пахло сладкой гнилью и спиртом.

В этом золотом месиве стоял на четвереньках Степа. Руки его по локоть уходили в жижу. Он трясся всем телом и жадно пил из темного оконца гнилостную массу, сладкий забродивший гной. Рядом валялась раскрытая, разоренная сумка.

— Ишь как его жажда мучит,— сказал старик тоном, которым разговаривают с домашними животными, касаясь носком ботинка опорожненных баночек и пробирок.— Нашел-таки рай для алкашей? Оставайся, оставайся здесь. Хорошая жизнь: напился — поспал, поспал — напился. Спать можно прямо в луже.

Степан оторвался от пойла и оглянулся, затравленно и жалко. Тяжёлый альпинистский ботинок зашнурованным подъемом ударил в щетинистое, перемазанное желтой мякотью лицо. Отброшенный ударом, Степан упал в золотое урючное месиво. Старик вытащил его оттуда за ногу.

— Дерьмо, как есть дерьмо,— ласково сказал он.

Не удержался и пнул ещё раз. В живот. Степан свернулся, как раздавленная гусеница, и его вырвало.

— Хватит,— сказал Родион. И встал между разъяренным стариком и Степаном, вымазанным в золотое дерьмо.— Человек все-таки.

* * *

Остаток пути Степан шел по раскачивающейся земле. Он видел только смутные краски и световые пятна. Шум в ушах заглушал все остальные звуки. Разбитое лицо стянуло липкой пленкой. Этим липким, противным он был пропитан весь. Он шел почти без сознания, подгоняемый злыми пинками Харона. А когда падал, те же пинки поднимали его. Потом шел дождь, и ноги в разбитых ботинках скользили по скудному тундровому дерну.

Однажды в этом хаосе цветов, шумов и боли на него дохнуло освежающей прохладой. Он увидел очень высокие, отвесные, почти параллельные красноватые скалы. Расстояние между ними было не более десяти метров. Это была даже не щель, а трещина, дно которой было загромождено шаткими камнями, по которым нужно было подниматься вверх. Невидимый, глубоко под камнями гудел ручей. Синие птицы, похожие на ворон, кричали так тоскливо, как можно кричать только на кладбище в осеннюю слякоть. Он полз по этим скользким камням на четвереньках, сбивая колени и ладони к узкой полоске неба, которая все никак не приближалась.

Потом он полз в полости ледяной пещеры, а сбоку ревел водопад. Потом он уже не мог ползти, от холода ныли и не разгибались пальцы, и его тащили за ворот, тяжело дыша и ругаясь, куда-то вверх, а дотащив, сразу же спихнули вниз. Он долго-долго катился по хрустящему насту, задыхаясь в клубах снеговой пыли, а по бокам его глиссировали смутные тени, вздымая в синее до черноты небо белые фонтаны.

Временами Степан ничего не ощущал, кроме собственного хриплого дыхания и раздирающей боли в бронхах.

На несколько секунд он пришел в себя от вспышки, ослепившей его. Он лежал у огромного тускло блестящего ядра с мраморной прожилкой, среди тысяч таких же камней, на марене, в центре грозового облака и до молнии высветившей этот мрак, казалось, можно достать рукой.

Потом жег сваркой, сверкающий, крупный, как соль, снег и даже когда Степан закрывал глаза, этот невыносимый свет проникал в него через веки, наполняя кровавожгучими кругами. Сверху Степан увидел растрескавшийся язык отступившего ледника, лакающий воду из неправдоподобно прозрачного бирюзового озерка за маренной запрудой.

Это было последнее, что видел и помнил. Дальше была лишь боль и чьё-то тяжелое, простуженное дыхание.

* * *

Степан с усилием разодрал слипшиеся от гноя глаза. Сквозь узкие щели прямо перед собой он увидел стену. Она была накатана из огромных в два обхвата стволов ели. От пола до потолка Степан насчитал всего пять бревен. Похоже, их не обтесывали, а, отмочив, отодрали кору — такими они были гладкими, светло-золотистыми. В центральном бревне выдолблен проем окна — просто дыра, занавешенная чистой мешковиной. На окне сидела большая черно-багровая в охровых разводах бабочка. Крылья ритмично, как часы, складывались и раскрывались.

Преодолевая боль, Степан склонил голову на бок и скосил глаза. Пол, на котором он лежал, уложен плотно подогнанными некрашеными досками, каждая из которых — не менее метра в ширину. Такими же гигантскими досками был подшит потолок. Матицу, разделяющую его на две половины, тоже нельзя было обхватить руками. Все было сделано с успокаивающим душу жителя сейсмической зоны чрезмерным запасом прочности.

При циклопических размерах строительного материала комната была небольшой и пустой: ни стула, ни стола, ни кровати, ни гвоздя в стене. Только очаг, выложенный плиточным камнем, чернел в углу закопченным нутром.

Тонкий солнечный свет без пылинок, падающий на лицо Степана, отдавал горьковатым запахом смолы.

Спина и ноги затекли на твердом, занемели, но шевелиться не было ни сил, ни желания. Степан чувствовал себя расколотым и раздавленным, как мешок с орехами, по которому проехал каток.

Без стука отворилась дверь, сделанная из одной цельной доски, и вошёл светлый человек. Рубаха навыпуск без затей, с вырезом для головы, широкими рукавами и просторные штаны — из той же белой мешковины, что и занавеска на окне. Двумя руками перед собой человек нес чашу, выдолбленную из корневища. Голубые блики отражения играли на бороде и белом, без кровинки, лице. Густые, молочного цвета волосы рассыпались, закрывая глаза, когда он, не глядя на Степана, молча поставил у его изголовья чашу. Так заботливый хозяин буднично ставит миску с объедками у конуры цепного пса. Так же не спеша он выпрямился и вышел, беззвучно ступая босыми ногами.

Ноздри разбитого носа затрепетали, уловив знакомые волнующие испарения. Со стоном перевалился Степан на бок и склонился над чашей, по-паучьи устойчиво стоящей на лапах-корнях.

Напиток был крепким, как удар кулаком в нос.

Степан задохнулся. Защипало глаза и потекли слёзы, травя свежие ссадины на скулах. Холодный пот облегчения выступил по всему телу. Но опьяняющей дурноты, улёта в никуда не наступало. Наоборот, вытесняя шумы и звоны, забытая ясность наполняла голову по мере того, как ноги и руки, все тело медленно заливалось горячей тяжестью, словно расплавленное золото растекалось по суставам. Он так и чувствовал себя, теряя сознание,— расплавленным, светящимся слитком золота, принявшим форму человеческого тела.

Циклопический сруб, весь этот мир превратились в плотный, непроглядный смерч золотых листьев. Вихрь становился все гуще и ярче, горячее. Вспыхнул и застыл, медленно угасая.

* * *

Степан тонул в черной слизи.

Он хотел протереть глаза. Но рук у него нет. И глаз тоже.

Ужас слепоты сводит с ума. И, когда мука от желания видеть становится нестерпимой, переходит грань болевого порога,— лопается оболочка его тела — и появляются глаза.

Мерзкий мир, кишащий белыми, жирными червями, окружает его. Он один из них — студенистая, скользкая тварь.

Ужас немоты рождает в нем крик.

Этот крик разрывает тело безобразным шрамом. И тварь вопит окровавленной раной. Но никто не видит и не слышит её.

Содрогаясь скользким телом в эпилептическом припадке омерзения, выползает существо из клубка себеподобных, пожирающих друг друга, липких тварей.

Слизняком с нежным студенистым телом ползет Степан по раскаленной пустыне, наполняя безмолвный мир стенаниями. Растрескавшееся от ожогов существо уродливо изменяется в череде непрерывных перерождений. Оно само себя рождает и само испытывает родовые муки. С каждым разом они болезненней и все ненавистнее оболочка, в которую заключено существо.

Ужас бескрылости, ужас пресмыкания корёжит и рвет тело. Крылья растягивают, вспарывают кожу — и из неё взлетает в небо прекрасная тварь. Все выше и выше поднимаясь со дна затхлого аквариума планеты, туда, где мерцает и манит открытый мир.

Ужас замкнутого пространства, невыносимая мука планетного притяжения заставляют неистово напрягать слабые силы. Ломая крылья, сгорая и возрождаясь, тварь рвется в открытый мир, как тонущий рвется к глотку воздуха.

И лопается цепь. И падает вниз оболочка обугленного бренного тела.

Неведомое, свободное существо летит в открытом космосе. Живая, трепетная плоть его не защищена ни скафандром, ни одеждами.

Но ни с чем не сравнимая тоска ничтожности, малости, затерянности в беспредельном пространстве изводит его нарастающей болью.

Вселенская тоска не вмещается в крошечное тело. Она взрывает его изнутри, превращая в шарообразный поток света. Существо растет, заполняя собой бездну миров. Но сколько бы оно ни росло — все также ненасытно и жадно устремится за грань, содрогаясь от невыносимого желания настоящего мира, в страшном предчувствии скорого катастрофического перерождения...

* * *

— Вставай, поднебесный.

Это был не приказ. Это было приглашение.

Лежащий на полу человек открыл глаза и сфокусировал взгляд.

Перед ним стояло нечто косматое, звероликое, монголовидное, плечистое, жгучеглазое в белых мешковатых одеждах с огромной коричневой клюкой отполированной до свечения ладонями, и в лаптях.

Человек остро чувствовал боль по всему телу, но голова оставалась ясной, без посторонних шумов и голосов.

— Кто ты?— спросил лежащий звероликого.

— Здешний бог,— ответил тот без улыбки, спокойно и доброжелательно смотря в глаза своими раскосыми очами.

— Где я?

— В селище Поднебесном.

Человек оглядел стены, накатанные из циклопических бревен, напрягся, пытаясь хоть что-то вспомнить.

— Ты хочешь спросить, кто ты?— подсказал звероликий.

— Да,— подтвердил человек, поднявшись с пола и прислонившись спиной к круто выпуклому бревну.

— Ты пришел снизу,— торжественным рокотом наполнил тесное помещение человек с клюкой,— там ты был сосуд с мерзостью. Но ты испил из источника и сжёг в себе грязь и тлен. Ты — дом сгоревший, ты - пепелище, ты — ничто. Отныне ты — лёгкий, отныне ты — чистый, отныне твоя жизнь — покой. Знай же, пришедший снизу, ты — житель селища Поднебесного.

На мощном плешивом черепе гиганта, обрамленном жестким венцом кучерявых волос, играл, словно нимб, солнечный блик.

— Идем,— сказал незнакомец и открыл дверь.

Белые, всклоченные облака пролетали стремительно внизу, заполняя всё пространство от ступеней, выдолбленных из цельного дерева до далекого горизонта. И страшно было осязать ладонями грубую материальную тяжесть сруба, стоящего на этом невесомом, движущемся облаке. Человек чувствовал себя таким же бесплотным, как облако, тело его состояло не из мышц и костей, а лишь из эфира и боли.

Долго пребывал он в торжественном заблуждении на крыльце стоящего на облаке дома, срубленного из тяньшаньских елей, пока в проеме белого тумана не появился массивный пик, как остров в белом океане.

— Я на Земле?— спросил человек, испытывая ужас падения при виде висящей в воздухе каменной громады в ослепительном венце льда.

— Ты на Земле. Но Земля эта — над облаками. Сюда не поднимаются грязные люди и грязные мысли. Сюда поднимаются только высокие мысли. Грязь тяжела, и она

остаётся внизу. Пока ты только тень. Но ты принес с собой труп своей души. Дай срок — и она оживет. И тогда ты узнаешь, что такое свобода. И тогда ты узнаешь, что такое счастье.

Облако внизу колыхнулось, вспучилось, принимая форму человеческой фигуры, и из него вынырнул давешний седовласый незнакомец, принесший в дом чашу с напитком. Он сделал несколько неспешных шагов к крыльцу и остановился по колено в облаке, отрешенно глядя сквозь стоящих на крыльце.

— Ты слаб и немощен, как всякая тень, земная оболочка твоя изношена и побита. Ты не сможешь строить жилища. Для тебя утомительно будет ткать холст. Но ты в силах собирать дань с зеленого брата. Ступай к поднебесному,— сказал великан и, стуча клюкой, сошел с крыльца, медленно погрузился в молоко тумана, словно растворился.

— Идем,— сказал седоголовый.

Держась за плечо провожатого, спотыкаясь о корни, человек, забывший своё имя, шёл сквозь летящее облако, превратившее лес в голубые тени. Они вынырнули из белого облака далеко внизу возле скалы, до половины покрытой зеленым мхом. У её подножья били два источника. Чуть ниже ручьи заполняли вырубленные в гранитной плите подобия двух ванн.

Указав на них, проводник сказал:

— Умойся.

Из одной ванны поднимался пар, и вода в ней была невыносимо горячей. Вода в другой ванне, напротив, была ледяной.

Двенадцать раз переходил человек из одной ванны в другую, из мертвой воды в живую, отдающую привкусом серебра, пока немногословный сопровождающий не сказал:

— Выйди и оденься.

И протянул мешковатую одежду из белой грубой ткани, добавив:

— Грязную одежду оставь. Грязную одежду нужно сжечь.

И они пошли обратной дорогой, через облако.

Просторная чистая одежда приятно согревала чистое тело, и человек улыбался разбитыми губами.

— Дань с зеленого брата?— переспросил седой и объяснил без усмешки.— Ты будешь собирать грибы, орехи, урюк, джусай, ревень, ягоды — все, что растет в горах и пригодно в пищу. Мы едим только растительную пищу, потому что в Поднебесной нельзя убивать живое. Ты бу-

дешь заготавливать запасы на зиму. А когда окрепнешь, построишь дом для того, кто придет снизу, соткешь для него одежду, поднесешь первую чашу, омоешь в двух источниках и будешь опекать его на первых порах.

— Мой дом построил ты?

— Да,— спокойно и коротко ответил опекун.

— Как тебя зовут?

— Нас всех зовут одинаково: поднебесный.

— Я буду звать тебя Седым.

— Это твое дело, поднебесный.

— А как звали меня?

— Не знаю. Пройдет время и ты вспомнишь. А, может быть, не вспомнишь никогда. Не беда. Что имя? Сочетание случайных звуков — и все. Иногда лучше не вспоминать то, что прошло.

* * *

— Пей,— сказал местный бог.

— Не делай этого, Философ,— также спокойно попросил Харон,— я единственная ниточка, связывающая вас с миром.

— Ты не ниточка. Ты петля,— не согласился Философ.— Да, ты связываешь нас с грязным миром, как веревка связывает шею утопленника с камнем. Пей.

— Какая тебе радость, если я выпью?

— Радость. Печаль. Это не те слова. Предосторожность — вот нужное слово. Пусть селище Поднебесное сметет лавиной, засыпет камнепадом, путь оползень накроет наши жилища, но никогда, никогда Поднебесную не затопит сель человеческих нечистот!

— Ты можешь положиться не меня: я нем, как могила...

— Я не могу положиться на тебя. Ты корыстолюбив.

— Квартиры тех, кого я привожу к тебе, все равно пропадут. А мне нужно подумать о будущем. Старость не за перевалом.

— Самое время подумать о душе и стать поднебесным.

— Но там, внизу, тоже свои маленькие радости.

— Свои радости?— удивился Философ.— Стать рабом необходимости, жалким слугой своих страстей — это ты называешь радостями?

— В конце концов,— зло ответил Харон,— каждый свободен выбирать. Даже если я выбираю рабство — это мой выбор.

— Твое право выбора пришло в противоречие с моим правом выбора. Я не могу рисковать Поднебесной... Зачем тебе возвращаться в эту помойную яму, где на каждом шагу соблазн искупаться в грязи, в этот мир навозных червей? Я не вправе судить тебя за грехи нижнего мира, но зачем ты посягнул на источник, зачем ты хотел превратить его в разменную монету для оплаты своих рабских страстей?

— С чего ты это взял?

— Ты не только корыстолюбив. Ты еще и лжец.

— Родион? Дурак... Позови его, я хочу плюнуть ему в лицо.

— Он открыт и простодушен. Но нутро его выжжено ненавистью. Он решил подняться над миром и стать поднебесным, потому что дело, которым он занимается — грязь, газеты, которые он читает — грязь, идеалы, господствующие в обществе — грязь. Он поселился в доме, построенном Барсом. Сегодня утром они вместе ушли в горы охранять слабых. Он ничего не говорил о твоих планах. Твои замыслы написаны на твоем порочном лице, Харон.

— Значит он выпил из источника,— сказал Харон с усмешкой удивления перед глупостью и легкого злорадства,— так знай же, что он не алкоголик.

— Я сказал: он решил стать поднебесным. Я не сказал: он стал поднебесным. Этот человек не пил из источника, но я ему верю.

— Поверь и мне.

— Нет. Пей.

— Палач!

— Ты не только корыстолюбив и лжив, Харон, ты еще и коварен. Не ты ли хотел использовать знания этого человека и уйти в грязный мир с формулой исцеляющего напитка, а его, выдав за раба хмеля, моими руками напоить из источника? Так кто же палач?

Ты говорил о свободе выбора? Вот тебе выбор: или умереть от жажды, или испить эту чашу.

И звероликий философ, сердито стуча клюкой, пошел прочь.

Харон проводил его долгим взглядом, полным холодной расчетливой ненависти.

Он был привязан к стволу ели. Перед его носом на трех, поставленных друг на друга, чурках стояла чаша, выдолбленная из корневища. Голубые блики раскачивались на лице Харона. Он склонился над чашей, посмотрел на свое отражение и плюнул в него с отчаянием человека, озлобленного собственным промахом.

* * *

— Ты уверен, что они идут за барсом?— спросил Родион, разглядывая из-за камня две фигурки внизу.

— Да. Посмотри на их одежду. Это не альпинисты, не туристы и не ученые. Видишь за плечами у первого карабин? А в руках у второго — рогатина. Я сам не раз ходил за барсом и знаю, как выглядят охотники на барса.

— И тебе их не жаль? Все-таки люди...

— Именно потому, что они люди, мне их не жаль,— спокойно ответил Барс.— Но они даже не люди. Они браконьеры. Свиньи с человеческими головами. К счастью, я перестал быть человеком, существом, убивающим ради денег беззащитных. Я стал барсом. Барсом, который произошел от человека, как человек от обезьяны. Они охотятся на меня. Я защищаюсь. Пора. Раз-два... Взяли!

И они столкнули камень вниз.

В грохоте камнепада не было слышно криков. Там, где шли охотники за барсом, вырос курган камней.

— Пять,— сказал Барс.

— Что — пять?

— Я спустил пять лавин и камнепадов. В это ущелье они не прорвутся. Это моя территория.

— А мне нравится эта работа,— сказал Родион, закуривая.

Смял и выбросил пачку, объяснил:

— Последняя.

— Это хорошо,— кивнул Барс,— табак, водка — грязь. Любая человеческая привычка, любая страсть — грязь.

— А ненависть?

— Конечно.

— Но ведь ты же ненавидишь их,— выпустил Родион дым в сторону каменной осыпи.

— У меня нет к ним ненависти. Просто по-другому нельзя защитить барсов.

— А любовь?

— Что — любовь?

— Любовь — страсть. А ведь ты любишь барсов.

— Это не любовь,— сказал Барс,— просто я чувствую себя барсом. Я хожу, где ходят они, я сплю в снегу, как спят барсы, я живу, как они. Единственно, что отличает меня от них,— защищаясь, я могу первым нападать на человека. Я всегда хотел так жить. Но не решался, когда был человеком. Тот человек умер. После смерти я стал барсом.

— Ты сказал, что ты умер?

— Там внизу нет человека без порока. Чем дальше живет человек, тем больше на нем грязи. Но есть люди, опущенные самыми низкими страстями на дно. Я был одним из них, клубком смрадных мерзостей, готовым за стакан водки на любую низость. Того человека больше нет. Он умер.

— Значит, одна чаша этого напитка раз и навсегда избавляет от алкогольной зависимости?— задумался Родион.— Но почему вы не хотите поделиться его секретом? Если на водочных заводах организовать его производство, ты представляешь, что будет? Покупает алкоголик бутылку водки, выпивает — и становится трезвенником.

— Алкоголиком трезвенности,— уточнил Барс.

— Что ты имеешь в виду?

— Не надо тебе пить из источника. Ты ведь не алкоголик. Выпьешь — захочется сделать это ещё раз. И ещё, и ещё... Да, с каждой чашей ты будешь сильнее, трезвее, чище, спокойнее. Но без источника тебе уже не прожить.

— А ты?

— Я был алкоголиком. Источник исцелил меня. Не было выбора. Теперь я не могу без этой ясности в голове, без легкости и покоя в душе. Я алкоголик трезвости. Вот почему, как бы далеко не уходил, охраняя барсов, в горы, каждый раз я вынужден возвращаться в Поднебесное к источнику.

— А что этот ваш местный бог с клюкой, читающий мысли?

— Бог?— переспросил Барс.— Бог — это чистота и покой. А тот, кого ты называешь богом, был внизу школьным учителем. Спился беспричинно и безобразно. Опустился на дно. И сил покончить с собой не было. Решил от позора уйти в горы. Уйти, чтобы не вернуться. Горы в этом смысле надежнее петли. Провидение привело его к источнику. Он был первым. Он создал селище Поднебесное. И в этом смысле он действительно бог. Бог немного сумасшедший. Но все мы, поднебесные, немного сумасшедшие.

— А тебе не хочется вниз?

— Нет,— спокойно сказал Барс,— нет. Кто однажды почувствовал себя свободным, тот никогда не спустится вниз.

— А мне иногда хочется,— сказал Родион. Вздохнул и замолчал.

— Понимаю. Женщина,— посмотрел Барс своими прозрачными кошачьими глазами в глаза Родиона.— Не обижайся, я не имею в виду твою женщину. Но женщины —

это тоже зависимость, несвобода. А там, где зависимость,— всегда грязь. Подняться вверх — очистить себя от всех зависимостей. Только тогда червяк обретет крылья, как говорит тот, кого ты называешь богом. Исцеленному источником просто говорить об этом. И все-таки я не советую тебе подходить к источнику...

— А в Поднебесном нет женщин?

— Отчего же? Есть женщина. Но мы не делим жителей селища на мужчин и женщин. Все мы — поднебесные.

— Понятно,— сказал Родион разочарованно.— Не буду я пить из вашего источника. На хрен бы он мне сдался.

* * *

Женщина стояла под водопадом.

Её седые волосы казались белёсыми струями. Вода одевала высокую фигуру в облегающие прозрачные одежды.

Несмотря на раннюю седину, она была ещё молода и красива. Длинные, по-мальчишески мускулистые ноги напряглись, и вся она вытянулась за поднятыми руками навстречу хлещущему, оглушительному потоку холода.

Когда она вышла из-за бирюзовой, пенной занавеси водопада, её гибкое, стянутое холодом тело янтарно светилось на фоне покрытой изумрудным мхом скалы.

Ущелье разделялось высоким водопадом на две части.

Нижняя его половина представляла собой узкую и отвесную скальную щель, дно которой было завалено глыбами камней и окостеневшими стволами деревьев. Водопад сразу уходил под эту решетку, и невидимая река шумела где-то внизу. Сюда редко заглядывало солнце. Но с появлением женщины дикое, мрачное место обнаружило вдруг неземную, волнующую красоту.

Женщина отжала волосы и завязала их узлом, облачилась в привычные для поднебесья мешковатые одежды, закинула за спину короб, сплетенный из ивовых прутьев.

Лапти и мешковатая одежда странным образом делали ее еще привлекательнее.

Сбоку от водопада в верхнюю часть ущелья вела обрывистая, крутая лестница из влажных от водяной пыли каменных ступеней, выложенных самой матушкой-природой. По ней с привычной сноровкой и поднималась седая девушка. Временами лестница делалась совершенно отвесной, и ей приходилось подтягиваться на руках, обнаруживая мужскую силу и ловкость.

Наверху, выставив из-за края скалы мудрую кошачью морду и вычерчивая длинным хвостом замысловатые знаки обожания, ее нетерпеливо поджидал молодой барс.

— Здравствуй, поднебесный,— приветствовала женщина зверя.— Подожди лизаться. Покажи-ка сначала лапу. Зажила лапа. Вот и хорошо.

Говоря это, она гладила его дикую, крутую голову, почесывала за трепетным ухом, и барс поводил головой, как человек, очарованный музыкой, переживающий в душе вихрь упоительных звуков. Спокойный, ясный и теплый голос женщины сделал из хищного зверя ласковую кошку. Невероятным образом изогнув шею, он лизнул её шершавым языком в лицо, мягкий хвост нежно, как бы в забытьи лег на женское бедро.

— Расскажи, как живешь, поднебесный,— обняла его женщина и, слегка испугав, лизнула во влажный нос,— кого сегодня съел, хищник ты этакий? Почему бы тебе не есть ягоды? Право, они вкуснее, чем сырое мясо. Разве обязательно убивать, чтобы жить?

Зверь находился во власти этого голоса. Словно загипнотизированный, он медленно завалился на бок и вытянул в истоме лапы, обнажив при этом когти. Он предлагал свою шкуру, самого себя вместо подушки.

— Ах ты, лентяй какой,— укорила его женщина,— все бы тебе на солнышке греться. А кто барбарис будет собирать? Не хочешь барбарис собирать?

Но не преодолела искушения и положила голову на мягкий бархатный бок.

Так они долго лежали в блаженной дрёме, убаюканные рёвом водопада. И женщина говорила со зверем, как говорят с младенцем, который не понимает слов, но чутко реагирует на интонацию. Когда она замолкала, барс делал движение хвостом, мол, говори, говори, я тебя внимательно слушаю. В этом общении, взаимных ласках было больше, чем расположенность друг к другу, больше, чем любовь. В этом было родство душ.

Но вдруг барс встрепенулся, чем-то потревоженный, легко вскочил на ноги. Не прощаясь, пёстрым, бесшумным привидением гор он исчез в арчовых зарослях.

За грохотом водопада женщина не услышала шагов Барса и его товарища.

— Не надо приручать, поднебесная,— сказал Барс.

— Почему?

— Придет человек снизу, а он подставит свою шею, чтобы его погладили.

— Что в этом плохого?

— Человеку снизу не ласки нужны. Ему шкура нужна.

— Что же мне делать?

— Отпугни его от себя. Страх — вот что их ещё защищает. Они не должны верить людям.

— Я не смогу этого сделать,— сказала, подумав, женщина,— но я расскажу ему о нашем разговоре.

— Он же зверь, — удивился высокий спутник Барса,— он не поймет тебя.

— Зверь?— переспросила женщина.— Какая разница? Он мой друг.

И посмотрела в глаза Родиону взором, в котором не было ни тайны, ни двойного смысла, а только чистота и ясность. И от этого спокойного взгляда захотелось Родиону подставить шею под её ладонь и рисовать хвостом вензеля обожания. Но ни хвоста, ни барсовой грации у него не было.

— Разреши, я понесу твой короб?— спросил он.

— Возьми,— сказала она просто.

* * *

В центре лесного храма, на поляне, обрамленной узловатыми корнями и красными стволами елей, на острых вершинах которых нанизалось белое облако, опершись на клюку, стоял Философ. Светлым и редким кружком сидели вокруг него на траве поднебесные.

— ... гниение без смысла, взаимопожирание, путь без истины — вот мир внизу,— рокотал Философ горным обвалом.— Мы поднялись за грань этого мира и сожгли свои грязные одежды, грязные мысли и страсти, избавились от тлена и смрада, и гнусные испарения не достигают наших высот.

Но разве мы просто беглецы?

Зачем мы здесь?

Мы ищем Истину.

Мы не знаем, где её искать, какая она. Быть может, когда мы найдем её, она приведет нас в содрогание.

Но мы ищем Истину.

Где она?

В облаке светлых мыслей, окружающих нас?

Закройте глаза, поднебесные, и погрузитесь в него.

Она здесь, Истина.

Она откроется нам.

Истина уже в нас.

Она давно в нас.

Она всегда в нас.

Но мы не сможем её узнать, пока не сольёмся со светлым облаком, пока не достигнем абсолютной Чистоты и высшего Покоя.

Истина откроется нам, и тогда каждый из нас станет Богом ...

Поднебесные погрузились в молчание, сливаясь с облаком чистых мыслей. Тихо и высоко было в лесном храме. Покой снизошёл на души молчащих.

Наконец Философ открыл глаза и ударил клюкой о землю, прося внимания.

— Поднебесные,— обратился он уже не тем торжественным и раскатистым голосом, а приглушенным и будничным.— Я взял на себя страшный грех. Я сделал то, что не должен был делать. Я стал судьёй.

Он опустил голову и сделал паузу, подчеркивая степень собственного падения, и продолжал еще глуше:

— Я взял этот грех на душу, чтобы спасти Поднебесную.

Приходящий человек, вы знаете его, он привел вас сюда, замыслил недоброе. Он опасен и его нельзя отпускать вниз. Он приведет беду.

Можно ли лишить его жизни?

Сможем ли мы его убить?

— Нет,— спокойно выдохнул круг.

— Вправе ли мы ЗАСТАВИТЬ его выпить чашу?

— Нет,— выдохнул круг.

— Да,— печально согласился Философ,— чаша — спасение, а не наказание. Остаётся — отпустить его...

Можем ли мы отпустить его, зная, что он уничтожит Поднебесную?

Круг молчал.

— Барс,— с надеждой промолвил Философ.

— Ты хочешь, чтобы я решил, как поступить с этим человеком?— отозвался Барс.

— Мы хотим этого?— обратился Философ к кругу.

— Да,— подтвердил круг.

— Этот человек там, внизу, был моим другом...

— Мы знаем это.

— Он привел меня сюда...

— Вас привел барс. Барс спас тебя.

— Я отпускаю его,— сказал Барс, поднявшись.

— Нет истории без Иуды, и Поднебесную не минует чаша сия,— пророкотал Философ, опустив голову.

Долго стоял он так, а когда поднял свое дикое и прекрасное лицо, темные глаза его сверкали непролившимися слезами.

— Мы отпускаем приходящего человека?— спросил он.

— Да,— чисто и легко выдохнул круг.

Пятью минутами позже Философ, указав клюкой направление, сказал Харону:

— Уходи и не возвращайся.

Харон промолчал и только усмехнулся в бороду. Он знал этих людей и знал, что этим все кончится.

— Барс спас тебя,— сказал Философ.— Барс проводит тебя до границ грязного мира. Но ты не увидишь Барса.

Харон уходил прочь от селища Поднебесного.

— Алкаши, подзаборники!— ругался он шёпотом,— Благор-р-родно, очень благор-р-родно... Отблагодарили...

* * *

Прореженная временем роща реликтовых сосен цензурой окружала макушку холма. Красно-золотистые, высокие и прямые стволы были обнажены и лишь у самой вершины зеленели хвоей.

Деревья не просто были редкой породы, не просто эндемики, они были единственными. Кроме растущих на этом холме, не было больше на планете ни одного похожего дерева.

В центре круга, на макушке холма стояла громадная, в три обхвата сосна, патриарх вымирающей породы. Её прямой ствол на высоте примерно десяти метров разделялся на пять мощных ветвей, составляющих подобие гигантской человеческой руки, пальцы которой вонзались в почти идеальный шар хвои.

Седая девушка, закрыв глаза, прижалась к теплому стволу дерева. Она стояла так долго, разговаривая с сосной, называя её поднебесной, пока не почувствовала, как золотая, солнечная кровь реликта переливается в её вены, а красная человеческая кровь наполняет капилляры великана. Мягкий гул дерева проник в тело, и девушка растворилась в обворожительном головокружении. Она больше не чувствовала себя. Но она чувствовала весь этот чистый, светлый поднебесный мир. Она была этой сосной и этим холмом, далекими прозрачными горами, небом и свободной птицей, парящей в вышине.

Долго длился этот прекрасный обморок и не сразу душа её вернулась в своё тело, умиротворенная и просветленная.

Нежно слизала она со ствола янтарную каплю смолы и терпкий горьковатый вкус ещё долго оставлял её в заблуждении, заставляя чувствовать себя реликтовой сосной, одной из последних на планете.

Высокий спутник девушки, поставив на землю плетеный короб, полный синих ягод, сидел на переплетении корней, опьяненный сценой целомудренного соития, завороженный ровным шумом кроны. В этом шорохе был некий эффект сверхзвукового полёта. Казалось, шумы столетней давности, наконец-то, догнали выросшее дерево. Светлая, пронзительная тоска туманила его взгляд при мысли, что эта роща — последняя на Земле и скоро великаны исчезнут навсегда.

Он спросил о чем-то девушку, но она ещё была частью светлого мира и восприняла его голос, как воспринимают шум ветра или крик птицы, не распознав в этих звуках человеческую речь. Наконец смысл вопроса дошёл до неё, но она не была уверена, что поняла его правильно.

— Знаю ли я, что такое человеческая любовь?— переспросила она и ответила спокойно.— Да. В той жизни я была проституткой.

— Ты могла бы этого не говорить,— помрачнел её спутник.

— Почему? Ты спросил.

— Мне все равно, кем ты была в той жизни.

— Да,— согласилась она,— и мне все равно. Но я не хочу вспоминать.

— Это не имеет значения,— сказал Родион, кусая губы,— я люблю тебя.

— Ты хочешь спать со мной?— догадалась она.

— Почему только спать?— обиделся Родион.— Не только спать. Ну, и спать, конечно. Если мне хорошо, тебе хорошо, кому от этого плохо? Я хочу быть твоим мужем.

— У меня есть уже муж.

— Кто он?— холодно спросил Родион.

— Солнце, луна, скалы, сосны, ручьи, звери, травы, небо — все это, вся поднебесная.

— Ну, это не любовь, это поэзия,— обрадовался Родион.

— Я не могу любить,— сказала она и повторила то, что однажды Родион уже слышал от Барса,— я могу стать сосной, водопадом, камнем, диким зверем, всей поднебесной. Это хорошо.

Они помолчали.

Родион кивнул головой в ту сторону, где, по его мнению, находился город:

— Там у меня была женщина. Не моя женщина. Чужая. Ну как чужая?... Замужняя. Мы любили друг друга. Ну, не знаю... Я любил её. Она не хотела бросать мужа. Коммерсант. Почти старик. Воздух продавал. Его дело, конечно. "Мерседес", квартира, загородный дом с бассейном... Ну, бассейн ни при чем. Хотя... Может быть, она и его тоже любила. Так ведь бывает, что и тебя любят и другого?

Он говорил нервно, путанно, словно спорил сам с собой, сбивался, надолго замолкал. А она смотрела на него отрешенным взором поднебесной, невозмутимая и спокойная, как детский врач.

— ... Однажды он пришел ко мне. Улыбается. Крутой. Как яйцо вареное. "Знаешь,— говорит,— сколько стоит убрать с дороги такого, как ты? Пять тысяч баксов, с верхом. Но я человек деловой. Зачем мне отдавать деньги какому-то дебилу, который только и умеет, что головы арматурой мозжить? Лучше я эти деньги любовнику жены отдам. Любовник — он же почти как родственник". И бросает на стол пачку долларов. "Бери,— говорит,— и ближе чем на километр к моей бабе не подходи". "Забери,— говорю,— отдай дебилу с арматурой". "Хорошо",— отвечает. Забрал деньги и ушел. В следующую ночь мне в подъезде голову разбили. Реанимация, туда-сюда... Выжил. Встретился с ней. Говорю: или он, или я. А она так усмехнулась и отвечает: "А кто ты такой, чтобы ставить мне условия? Я таких как ты могу просто покупать. Как холодильник или пылесос"...

Он взглянул на неё, сбился и замолчал.

Отчего-то нехорошо стало, будто в церкви выругался.

— Ты не пил из чаши,— сказала она голосом, полным безмятежности и ворожбы,— тебе трудно понять нас. И нам трудно понять тебя. Ты живешь той жизнью. Я могу стать барсом, деревом, камнем, но я не могу стать тобой. Ты не поднебесный. Поднебесные не любят вспоминать то, что забыто. Это все равно, что ударить животное, которое доверяет тебе. Это нехорошо — вспоминать ту жизнь.

Родион встал и прижался к дереву. Он стоял так долго, пока не улеглось волнение, вызванное рассказом. Но золотая кровь сосны не перелилась в его вены. Он не мог раствориться в этом мире, не мог его понять.

* * *

— Ты хочешь испить из источника?— спросил Философ.

— Ты давал мне на раздумье месяц. Месяц прошел.

— Идем,— сказал Философ и, стуча клюкой, величаво-тяжеловесной походкой, огромный и неуклюжий, не оглядываясь, направился вверх по тропинке, став вдруг маленьким и слабым в масштабе вековых елей.

Все жилища Поднебесного были срублены из крупных бревен, но строение, что стояло у отвесной скалы, своей кряжистостью выделялось даже среди них. В нем могли жить только великаны. Но стояло оно без окон. Двери в отличие от других домов запирались на замок, ключ от которого висел, как крест, на шее у Философа.

С трепетом переступил Родион порог, за которым хранилась святая святых страны Поднебесной.

Внутри строения он увидел обыкновенный колодец. Только вместо железного крюка расходились лучами деревянные спицы, а вместо цепи на ворот был намотан сыромятный ремень.

Приставив к стене клюку, Философ открыл крышку колодца — и с этого момента звуки в помещении стали резонировать, повторяться коротким эхом, как бы рекошетируя, двоясь и троясь.

Сплеснув из деревянного ведра в колодец излишки воды, Философ поставил его на приступок рядом с чашей, тяжело опустился в кресло, вырубленное из громады пня, растопырившего десятки ножек-корней.

— Ты можешь испить,— сказал Философ, опершись ладонями о колени.— Но сначала я хочу услышать твой вопрос.

— Можно ли стать поднебесным без источника?— спросил Родион, не удивляясь способности создателя Поднебесной читать чужие мысли.

Склонив голову на грудь, Философ томительно долго думал. В колодце плескалась потревоженная вода. А когда она успокоилась, стало слышно, как тяжело дышит Философ. Он думал, словно ворочал бревна.

— Можно,— наконец сказал он и махнул рукой куда-то за спину.— Там, внизу, крайне редко, но можно встретить поднебесных.

И замолчал. Дыхание его, дробимое коротким эхом, напоминало шумы в сердце.

— Как стать поднебесным без источника?

— Есть путь святых. Путь страдания и мученичества, борьбы с искушениями. Путь самоистязания.

Это ложный путь.

Никогда насилие не ведет к Истине. В том числе и насилие над собой.

Так можно стать святым.

Но так нельзя стать поднебесным.

Большинство же ставших на этот путь делаются желчными аскетами и духовными инвалидами.

Философ поднял прекрасное и уродливое лицо азиатского божества, вдохновленное приближением к истине, и голос его окреп, зарокотал горным потоком, ворочающим камни:

— Но есть и верный путь, тяжесть которого не соизмерима с мученичеством и самоистязанием.

Это путь радости.

Нет труднее этого пути.

Это особая радость. Многие ни разу не испытали ее за всю жизнь. Многие встречались с ней однажды и забывали в суете навсегда.

Эта радость приходит как дыхание Бога, когда человек делает то, что он должен делать, то, что отвечает его божественному предназначению.

Делай то, что приносит эту радость, и не делай того, что её не приносит. Испытывай её каждый день. Когда ты будешь чувствовать её постоянно — ты станешь поднебесным.

Там,— прижал Философ широкую ладонь к груди,— у тебя есть сейсмограф. На любую твою скверность, сколь малой бы она ни была, он реагирует, как разрушительное землетрясение души. Почувствуй его и поступай так, чтобы душа оставалась в покое, чистой и ясной.

Радуйся. Радуйся каждый день и каждый час.

Но трудно, почти невозможно пронести эту радость сквозь грязь необходимости, сквозь плен тлена.

Город, в котором живет хоть один поднебесный,— счастливый город.

Но мало таких городов на земле.

Философ с усилием распрямился и осторожно, чтобы не расплескать, перелил воду из ведра в чашу.

— Прежде чем передать первую чашу,— сказал он торжественно и скорбно,— я хочу задать тебе вопрос.

— Спрашивай.

— Ты испытывал когда-нибудь подобную радость?

Родион задумался.

Чтобы легче было переворошить память, он закрыл глаза ладонями, но ничего, кроме непроглядной черноты, не увидел.

Он уже совсем отчаялся хоть что-нибудь разглядеть сквозь этот мрак, когда вдруг вспомнил далекий летний день, реку и счастливый крик женщины: "Она жива! Жива! Милая моя, посмотри на маму, посмотри!" Он увидел лицо этой женщины и услышал её голос: "Вы не видели мальчика? Бритоголовый, с белым шрамом на затылке? Он спас мою девочку". И голос веселого рыбака-пенсионера: "И где же этот героический пацан, по которому плачет медаль? А, ну, отзовись, неизвестный герой! Народ желает видеть тебя!" Родион стоял в толпе, прикрыв скрещенными на затылке ладонями свою бритую голову и белый шрам. Ему было хорошо от того, что девочка жива, что её мама плачет счастливыми слезами, что все вокруг улыбаются друг другу. И он не откликнулся. Он так и не вышел из толпы. И именно от этого ему было особенно хорошо...

— Да,— сказал он, взволнованный тем давним чувством блаженного спокойствия и удовлетворения, тихой радости, так бережно сохраненным его памятью.

— Ты можешь испить из чаши,— тихо сказал Философ, опустив глаза.

В проём двери падал поток света, и отражения от колеблющейся в чаше и ведре воды рисовали на венцах сруба пересекающиеся, изломанные круги.

— Я передумал,— сказал Родион, пытаясь удержать в себе радость, испытанную однажды.

— Стать поднебесным без чаши почти невозможно,— сказал Философ, одаряя его взглядом одобрения.— Я уважаю твой выбор.

Его голос, бархатный рык, резонируя в колодце, наполнял святилище вибрирующей музыкой, в которой слышался крик чаек, солнечный плеск и приглушенный смех.

— Даже если ты выпьешь чашу, ты не станешь одним из нас. Мы выжгли свои страсти алкоголем ещё там, внизу. Все эти чудовищные страсти. Там мы испытали такое падение, такое унижение, после которых ни капли гордыни не остается. Не остается ничего — ни плохого, ни хорошего. Кроме надежды. На бога ли, дьявола, на случай ли, чудо. В нас не осталось ничего, кроме оцепеневшей души, которая не поддается ни огню, ни тлению. Вот почему исцеляющая чаша сделала нас поднебесными.

Испив чашу, ты станешь просто здоровым и спокойным парнем, навсегда привязанным к этому месту. Да, в этой свободе есть своя несвобода... А нам нужен новый Ха-

рон, проводник душ, знающий тайную тропу в Поднебесную. Хочешь ли ты стать новым Хароном?

— Назови по-другому...

— Это не прозвище. Это работа. Тяжелая работа. Дьявольское искушение. Через месяц ты скажешь о своем решении. А сейчас иди. Я буду пить свою чашу. Тебе не надо это видеть.

* * *

Падал первый снег. Островерхие кряжистые строения селища Поднебесного медленно поднимались вверх вместе со скалами и припорошенными елями.

И эта иллюзия со скоростью, равной невесомому падению хлопьев, наполняла человека, забывшего своё имя и прошлое, таким умиротворением, такой ясностью и таким восторгом покоя, будто мир и душа нашли, наконец, равновесие, слились в одно целое.

Он вспомнил слова Философа: "Ты принес с собой труп своей души, но дай срок и она оживет". Он не мог и не хотел объяснить себе, что с ним происходит, заключить это состояние в мертвую формулу слов. Он был бесконечной светлой вселенной, и эта вселенная сливалась с чем-то высшим, незнаемым, непознанным, может быть, с Богом, в которого он никогда не верил. Может быть, он сам становился богом...

Завороженный падением снежных хлопьев, он не заметил появления из белой мглы людей в ярких одеждах.

Из забвения его вывел приглушенный крик и короткая автоматная очередь.

Он не побежал прятаться, не испугался, даже не изменился в лице. Отрешенно и светло смотрел на приближающихся в хищной спешке людей, не понимая, зачем они здесь и как можно шуметь в такой день.

К нему подбежал маленький человек в черном и ткнул стволом автомата в солнечное сплетение. Человек без имени сел на снег и, сжимая руками живот, задыхаясь, спокойно смотрел снизу вверх на кривоногого карлика с лицом, спрятанным за пеструю косынку.

— Ты Барс?— закричал кривоногий.— Где Барс?— и обернувшись позвал кого-то.— Старик, посмотри — этот Барс?

Подошел коренастый человек в камуфляжной форме. Он тяжело дышал, стирая пот с розового лица и соскребая иней с бороды и усов.

— Степан?— спросил он, с некоторым удивлением разглядывая детски чистое лицо сидящего на снегу.— Степан, где Барс?

— Я поднебесный,— тихо ответил Степан, вдохнув наконец воздух.

Коротышка замахнулся прикладом:

— Ты, придурок, где Барс?

— Погоди,— поднял руку старик.

Но человек со спрятанным лицом не сдержал своей злобы. Удар пришелся в переносицу. По снегу рассыпалась вишня. Степан опрокинулся на спину.

— Оставьте его! А, Харон! Ты пришел, гнусная душа? Я знал, что ты придешь, Иуда.

Широко отставляя клюку, державным шагом спускался с горы великан. Снежные хлопья таяли на неприкрытой плеши. Белое панчо из грубого холста развивалось от быстрого движения клочком метели. Он словно вырастал из снегопада, закрывая своим большим телом селище Поднебесное.

— Что ты стоишь, дурак? Стреляй,— тихо сказал сквозь зубы Харон.

Но бандит-недоросток оторопело смотрел на приближающегося великана в белых одеждах, идущего босиком по снегу.

— Стреляй же!— закричал Харон.

Философ падал, как падает старая сосна — медленно, с долгим стоном, сотрясая своим падением землю и людские души.

Суетливой собачонкой подбежал Харон, опустился на колени и склонился над трупом.

Маленькому бандиту с занавешенным лицом показалось, что старик целует мертвеца. И было нечто до такой степени мерзкое в этой картине, что он, забывшись, сплюнул — прямо в платок. Это его разозлило и он разразился страшными проклятиями в адрес всего, что ещё оставалось святым и чистым на этой грешной земле.

Но это не был поцелуй Иуды, с необычайной щедростью ежесекундно расточаемый на планете. Харон шарил под окровавленной рубахой. Он искал заветный ключ от источника, сулящего ему лавры целителя самого распространенного на Земле недуга-порока, быстрое обогащение, любовь молодой, красивой женщины. Нащупав в кровавом месиве бечевку, он пытался её порвать, сотрясая мёртвое тело. Бечевка была крепкой. Тогда он достал охотничий нож и перерезал её. Спрятал ключ в карман и вытер нож об одежды Философа.

— Добил?

Человек с сорванным голосом и золотой улыбкой на тронутом тленьем лице сунул за голенище унта пистолет. Освободив руки, закурил, в наслаждении первой затяжки запрокинул голову, выпустил в небо долгую струю дыма. Так курят, оторвавшись от любимой работы.

— Убиваешь, как детей — никакого удовольствия,— поделился он впечатлением.

— Зачем всех-то убивать?— спросил, поднимаясь с колен, Харон.

— Я профессионал, дед,— прохрипел золотозубый,— мой принцип — ни одной улики, ни одного свидетеля. Надо будет — я и тебя замочу. Вопросы есть?

— Есть вопросы,— ответил с недовольной гримасой Харон.— Дома-то зачем жечь?

— Для кайфу,— объяснил хрипатый и позвал за собой.— Идем, посмотришь, есть ли среди жмуриков-баптистов твой Барс.

И они пошли мимо горящих жилищ от трупа к трупу, заглядывая в светлые лица поднебесных мертвецов.

— Это все?— спросил Харон, закончив обход.

— Мало?— удивился золотозубый.

— Нет среди них Барса,— жестко сказал Харон и обернулся, вглядываясь в снежную пелену.

— А может быть, ты нам лапшу на уши навешал, дед? Может быть, и нет никакого Барса?

— И твоих ребят камнепадом не накрыло,— в тон золотозубому закончил за него мысль Харон, осуждающе покачал головой:— Зря дома зажгли, зря. Барс увидит дым.

— Что ты заладил: Барс, Барс... Что может сделать нам один безоружный человек?

— Он не человек. Он Барс.

— Как не человек?

— Уходить надо, пока снег идет, следы засыпает. Потом поздно будет. Если уже не поздно...

— Не дрейфь, старик,— бодро сказал человек, на лице которого было написано как минимум пятнадцать лет строгого режима, и оглянулся, напряженно вглядываясь в белую мглу.

* * *

Он услышал легкий скрип снега, почувствовал руки, приподнявшие его голову, услышал тихий голос: "Ты жив, поднебесный?" Он долго их ждал. Долго терпел боль и холод, изо всех сил отталкивая от себя смерть.

— Они спрашивали Барса. Их привел старик. Кроме старика я видел четыре человека,— сказавши это, он разрешил себе умереть.

Родион поднял легкое тело и пошел следом за Барсом в селище.

Обугленные останки домов уже припорошил снег. Из всех строений уцелело лишь святилище. Двери его были раскрыты настежь. Родион вошел, положил на пол Степана. Огляделся. Деревянное ведро лежало на боку, на срубе колодца — тонкая наледь. Лед был и на полу, очерчивая прямоугольник. Кто-то торопливо и неряшливо наливал воду в емкость. Скорее всего, это была канистра. Родион поднял ведро, поставил на приставок, намотал на ворот ремень, заглянул в штольню. На дне плавала медузой чаша.

В проеме двери бесшумно появился Барс.

— Они все убиты,— сказал он спокойно.

Родион с отчаянной надеждой посмотрел в его глаза.

— Все,— подтвердил Барс,— перед тем как убить, они её изнасиловали.

Родион стоял, сжимая кулаки и напрягаясь всем телом, пока мышцы не свело дикой судорожной болью.

— Оставайся здесь,— сказал спокойно Барс,— присмотри за мертвыми и источником.

И он исчез.

* * *

Родион положил голову седой девушки себе на колени, медленно провел ладонью по лицу, убирая снег. Оно было холодным и прекрасным, как мрамор античной статуи, умиротворенным и страстным.

— Пей, поднебесная, пей,— говорил он, прижимая к её губам чашу.

Вода тонкой струйкой стекала по страшно неподвижной шее, маленьким озерцом скапливалась в углублении между ключицами.

Он гладил её седые волосы, высокий лоб.

— Пей,— уговаривал он её,— это живая вода. Пей, родная.

Все также невесомо и безмятежно падал снег. И все также медленно обугленные жилища и их мертвые хозяева поднимались в небо.

* * *

Палатка, приткнувшаяся к склону, светилась изнутри сине-красным цветом, повторяющим раскраску ткани.

У палатки стояли две тени.

— Пошире глаза разевай,— сказала высокая тень.— Этот Барс за нами идет. Хрипатому пол-башки снесло камнем. Старик исчез. Чую я, он где-то рядом. Крадется, зараза.

— Собаку бы,— сказала тень поменьше,— собака бы его сразу учуяла.

— Да где её взять собаку-то? Что зря говорить?— проворчала высокая тень, оглядывая залитые луной снега.— Ну, почаще оглядывайся, через часа два сменю.

Мертвая тишина стояла в горах. Лишь снег скрипел под ногами часового, протаптывающего тропинку-петлю вокруг палатки. Было холодно. И он подпрыгивал, хлопал себя руками по плечам. Пар от его дыхания серебрился луной и тут же растворялся в воздухе.

Из палатки донесся взрыв смеха. Полог её приоткрылся, отбросив на снег треугольник желтого света.

— Эй, Большой!— крикнули изнутри.— Прими для сугрева.

Коротышка, забросив автомат за спину, юркнул в палатку.

Смех вспыхнул с новой силой.

В ту же секунду из-под снега в нескольких метрах от палатки вырос человек. Он сделал несколько прыжков по склону и замер в тени палатки в тот самый момент, когда смех стих.

Коротышка выполз с большим куском колбасы во рту. Он распрямился и принялся застегивать куртку. Замок заедал.

Снова раздался смех. В ту же секунду сильная и жестокая рука впихнула в глотку часовому кусок колбасы, голова коротыша с хрустом повернулась на сто восемьдесят градусов, и мертвые глаза, в которых еще не успел погаснуть ужас, посмотрели на Барса.

Убийца осторожно снял с плеча часового автомат и нежно уложил мертвеца на снег.

Застучала в горах швейная машинка, и эхо многократно повторило её строгую строчку. Пули экономно прошили полотно палатки и тени, колыхнувшиеся и застывшие в ней.

Приоткрыв полог, Барс швырнул в палатку автомат, а следом затолкал коротышку. Оборвав распорки, он подтащил сине-красный мешок к краю обрыва и столкнул вниз.

* * *

Харон, шумно дыша, взбирался на перевал, сгибаясь под тяжестью рюкзака так, что лицо его почти касалось склона. Под каждый шаг он выбивал носком ботинка ступень в снегу. Время от времени он утирал ладонью рот от выступающей пены. Но эта тяжелая работа была привычна ему и не мешала думать "Сто граммов на сеанс — пожалуй, и довольно будет,— размышлял он,— канистры хватит надолго. Если дело иметь только с богатыми, а среди них немало алкашей развелось, пожалуй, неплохой капиталец сколотить можно.

Жалко Барса не застали. Не было бы Барса — не было бы никаких проблем. Кончилась канистра — сходили за новой.

Ну, ничего. Поднакоплю деньжат — найму какого-нибудь профессора-химика. Химики, физики — все они нынче на мели. Он мне эту водицу на составные разложит. Построю фармацевтический заводик. Патент возьму.

Хотя, надо подумать.

Главное дозу, дозу рассчитать. Придется опытным путем. На клиентах. Чем меньше доза, тем лучше. Может быть, и грамма будет достаточно."

Отдохнув немного, он двинулся дальше. Теперь он сочинял рекламу своего лекарства для телевидения: "Излечение безнадежных хронических алкоголиков за один сеанс. Стопроцентный результат. Только для состоятельных людей. Звонить в любое время".

"Тысяча баксов. Не меньше,— твердо решил он.— Больше, пожалуй, и отпугнет. Хотя, если навалится черный хмель на миллионера, почему бы не взять и больше с пациента. Цены, как говорится, договорные.

Хорошо, что от мокрушников оторвался. Вовремя ушел. Черт дернул с ними связаться. Ничего, надо думать Барс о них позаботится..."

Так он шел, погруженный в приятные мысли, по обычаю всех ходоков, не заглядываясь на красоты природы, смотря лишь себе под ноги. Неутомимо и споро шаг за шагом приближался он к дому и обеспеченному будущему.

С особым удовольствием старик мечтал о том, как, быстро разбогатев, он сделает предложение Аннушке. От него

она, конечно же, отказалась бы, но от поездки на Багамы вряд ли. Подъедет он однажды на "мерседесе": "Мадам, пардон, мадмуазель, уже падают листья"... И повезет в загородный дом. Вилла в три этажа с сауной и бассейном, с каминным залом, черт знает еще с чем. Нет, от таких подарков не отказываются. Сколько ей сейчас лет — восемнадцать или девятнадцать? Хорошо бы, если еще девочка. Ноги у нее — не бывает таких ног в природе. От самой шеи. И старик, не удержавшись, дал волю эротическим фантазиям. Его розовое лицо сделалось мечтательно-глупым, слюни текли по бороде. Он улыбался и порывисто дышал.

— Здравствуй, Харон!

В трех метрах выше по склону, на самом перевале стоял Барс. Курчавая шерсть на лице припорошена снегом, прозрачные зеленые глаза смотрят не мигая. Усталые и спокойные. Тело расслаблено и в то же время собрано, готово к прыжку.

— Здравствуй, Барс,— ответил пораженный неожиданной встречей Харон, мысленно ругая себя за беспечность, за нож, спрятанный в рюкзаке. Распустил сопли, старый дурак...

— Я пришел убить тебя,— сказал Барс спокойно.

За его спиной старик видел ядовито-табачную чадру смога, прикрывшую город. Он был почти у цели, почти дома. Губы его затряслись, и глаза набухли влагой. Ему хотелось жить. Почему он решил, что Барс не перейдет границы своих владений и не спустится к черте грязного мира? Обидно... Ах, дурак, ах, старый дурак.

Поворошив плечами, он скинул рюкзак и поставил перед собой, подперев ногой, чтобы не укатился вниз.

Барс стоял не шелохнувшись, спокойно наблюдая за действиями Харона.

— Воду из источника несу,— объяснил старик.— Людей хотел лечить. Хочешь выпить?

Барс молчал.

Харон медленно присел. Развязал рюкзак, втиснул руку в его тесноту, нащупал рукоять ножа.

— Кружку достану,— посмотрел он снизу вверх в зеленые немигающие глаза Барса и подумал: "Нет, не справлюсь я с ним. Не та уже реакция. Но что делать. Ах, Аннушка, Аннушка..." Неловко было засовывать одной рукой нож под рукав, но это ему удалось. Придерживая остриё ножа мизинцем, свободными пальцами он нащупал дужку кружки.

— Налить?— спросил он.

Барс молчал.

"Хоть бы не выпал",— думал он, наливая воду в кружку и расплескивая дорогостоящие капли, сотнями долларов поливая снег. Остриё ножа прокололо мизинец до самой кости.

Харон медленно поднимался вверх, левой рукой протягивая Барсу кружку, а правой подтягивая за лямку рюкзак.

Он встал вровень с Барсом:

— Пей.

Барс молча отвел его руку.

И тогда Харон отпустил лямку. Полукругом блеснуло лезвие.

— Никогда! Никогда барсы не нападали на человека первыми,— сказал Барс, вспыхнув зелеными глазами, и резко выбросил вперед правую руку.

На какую-то долю секунды старик увидел когтистую лапу барса. Через мгновение он упал с разорванным горлом.

Из опрокинутой канистры с равномерным бульканьем, ритмично, как удары сердца, вытекала самая дорогая на планете вода.

Также ритмично из разорванного горла Харона вытекала кровь.

Потухающими, полными слез глазами старик смотрел, как его убийца вынул из себя окровавленный нож и бросил на снег. Не оглядываясь, размеренной упругой походкой Барс уходил прочь, прижимая левую руку к животу.

Он уходил в свое логово зализывать раны.

* * *

— Господин... Товарищ... Мужик, а мужик!

От забора отделился выпачканный глиной и известью коренастый человек со свалявшимися волосами, черным испитым лицом. Страшный нагноившийся шрам, покрытый свежей коростой, шел ото лба по брови до самого уха. Заплывший глаз не открывался.

Торопливыми, трясущимися руками он развернул грязный носовой платок, и на ладони сверкнул позолотой значок лауреата Государственной премии СССР.

— Купи. Редкая вещь. Больших денег стоит. Что, денег нет? А сколько есть? Давай сколько есть. Вообще нет?... Продай. Пятьдесят на пятьдесят. Коллекционеры там, в парке. Большие деньги дадут, большие... Сам бо-

кусь. Руки трясутся — убьют к чертовой матери. А ты, я вижу, человек хороший...

— На хрен мне это надо?— спросил высокий альпинист с аскетичным лицом индейского вождя, но все-таки остановился.— Это твой?

— Мой, мой... Вот удостоверение,— заторопился алкаш, полез в карман и обронил значок.

Высокий поднял его.

— Тут пивнушка какая-нибудь есть? А то, я вижу, разговор у нас не получится,— сказал он и сунул значок в трясущиеся руки.— Спрячь медальку, потеряешь.

— Есть пивнушка, есть,— оживился лауреат Государственной премии.— Тут недалеко. Дворами. Не отставай.

И он целеустремленно и быстро зашагал в подворотню.

... Выбрав столик в углу и загородив спиной человека с гноящимся шрамом от бурно выпивающего и хило закусывающего народа, высокий налил полстакана водки. Рюкзак он снимать не стал: уж больно загаженный пол был в "гадюшнике".

— А что же сам?— спросил лауреат, не отрывая лихорадочно блестящих глаз от стакана и делая множество ненужных, суетливых движений. Он то порывисто вытирал большим и указательным пальцами углы рта, то смахивал со стола крошки, то чесал за ухом.

— Не пью,— устало ответил высокий.

— Уважаю,— сказал коренастый.

Он выпил, исказив лицо гримасой и потревожив этой гримасой рану, застонал. Представился:

— Баратов Сергей Николаевич.

Руки его уже не так дрожали.

— Харон,— ответил высокий на рукопожатие.

— Это имя или фамилия?— спросил Баратов, уже самостоятельно наполняя стакан.

— Профессия,— сказал без улыбки Харон и пододвинул к собеседнику засаленную бумагу с бутербродом.— Не гони лошадей. Закусывай. О себе расскажи.

Сергей Николаевич достал из внутреннего кармана пиджака, надетого на голое тело, грязный обломок расчески и стал приводить в порядок свалявшиеся волосы.

— Что рассказывать,— сказал он, обдувая расческу и повернувшись боком, отчего шрам сделался совсем уж безобразным.— Правду рассказать — не поверишь. А врать не умею. Алкаш я. Вот и вся история. О чем больше говорить?

И он закусил губу. Из гнойной щели заплывшего глаза выкатилась слеза и отправилась в неспешное путешествие по заросшей щетиной щеке, с трудом пробиваясь между жестких седых волосков.

— Лауреата за что получил?

Баратов встрепенулся.

— Гостиницу на Ореховой видел? Вот за нее и получил. Он вдруг развеселился, и лицо его изуродовала кривая улыбка.

— Как думаешь, на что она похожа?— и поманил пальцем, приглашая подставить ухо для секретного сообщения.

— На пенис?— удивился Харон.

— Ручку или карандаш,— властно протянул руку архитектор и, когда получил просимое, быстро с профессиональной сноровкой в несколько линий набросал на засаленной оберточной бумаге схему.

— Смотри!

И он с увлечением рассказал о конструктивных особенностях здания, о том, как, когда и при каких обстоятельствах пришла идея, и о том, как он хохотал, запершись в туалете правительственного здания, после вручения премии, размышляя, получил бы он ее, узнай комиссия, кому он обязан своим лауреатством. Это были счастливые, приятные воспоминания и в обезображенном лице промелькнуло нечто человеческое, располагающее.

— А может быть, выпьешь за знакомство?— спросил он, отсмеявшись.

— Нет. Завязал. Давно. Навсегда.

— Уважаю,— повторил архитектор грустно.

Выпив, он долго стоял с закрытыми глазами, мыча сквозь стиснутые зубы и грозя застольнику пальцем, мол, погоди, сейчас.

Наконец, он открыл глаза. В зрачке все также лихорадочно светился огонек, но был колючим и злым.

— С-с-суки,— обозвал Сергей Николаевич неизвестно кого,— вот с-с-суки!

— С семьей живешь?— спросил Харон.

— Семья... Семья. Было семь я, остался один я. Один я... С жилищным вопросом, как у стрекозы —"и под каждым ей кустом"... Ну, и так далее. Короче приехал. Конечная остановка. Дальше трамвай не идет. Все плохо, все...

— Работаешь?

— Смеешься?

— Нет. Хочу предложить одну работенку.

— Работенку?— криво усмехнулся архитектор.— Работенку... Ну-ну. Предложи. Унитазы под хохлому расписывать? Скворечники проектировать?

— Да нет, не скворечники.— Харон склонился над Сергеем Николаевичем и прошептал.— Деревянный город. Кижи на высоте эдельвейсов. Град Поднебесный для смертных богов...





Страна без негодяев

... Широко раскинув руки, встань поперек хлещущей песком по глазам воздушной массы, излови из ревущих пространств шар-бродягу — и найдешь среди переплетенных колючек испуганного, угрюмого паучка-бродяжку, отдавшего свою судьбу на волю ветра.

Здравствуй, маленький братишка, здравствуй, хозяин.

Я сам — полузамерзший тарантул в центре высохшего перекати-поля, катящегося по осенней нелюдимой равнине.

Их было много за изгородью свинарника — растительных бродяг с перепаханных полей, сбившихся в стог, в громадную кучу-малу. И я лежал внутри свистящего, продуваемого сцепления шаров, в коконе из природной колючей проволоки, коченея в сладкой полудреме. На ничейной полосе — между омутом сна, на дне которого под корягой шевелил плавниками ужас, и осенней, перелетной тоской, избавиться от которой можно было, лишь убив себя.

Ветер истязал голый березняк. Белые стволы стонали и с сухим стуком бились друг о друга. Ни одного листика не

осталось на деревьях. Все, что слабо держалось, что не имело корней, было изгнано с предзимних, продрогших пространств за пределы Великой Низменности.

Этот неистощимый ветер опустошал одинокого, неуверенного в себе человека, рушил хрупкий мир его привязанностей, рвал на части и уносил прочь память, а в опустевшую, продуваемую душу вместе с ненужным хламом влетали все новые цепкие семена неизлечимой тоски.

Пьяный свинарь, чья восторженная поэтическая душа из-за отсутствия высоких устремлений сделала его заполошным деревенским хулиганом, плеснул на колышащийся стог перекати-поля солярки и бросил следом гаснущий факел.

Спасая от пожара ветхие строения, пьяная, но сознательная свинарка разобрала изгородь из жердей и ничем более не удерживаемый горящий ком покатился в ночь, разбрасывая огненные ядра, поджигая по пути все, что могло гореть.

И меня, как заклинившую ось, крутило вместе с огненным растительным колесом с боку на бок и с головы на ноги, пока шар не свалился с обрыва в воду. И поплыл я вниз головой, ногами к звездам по замерзающей налимьей реке меж осыпающихся глинистых берегов.

Погасли пожары. Осенняя ночь незаметно перешла в утро без солнца и надежды. Наступило Великое Время Самоубийств, когда природа заболевает шизофренией, а моя неуютная, печальная родина распинается на грязном кресте распаханных полей...

* * *

Он проснулся от холода и головной боли и, спеленатый по рукам и ногам, долго в ужасе бился, пока рука не наткнулась на замок спального мешка. Освободившись, он оттаял ладонями иней на бороде и бровях, огляделся. Спал он в брошенном селе на охапке гнилой соломы. Прямо на дороге. Под столбом с оборванными проводами и серебристым радиоколоколом, мрачно призывавшим когда-то юношей и девушек не покидать свои затерянные в грустных, бескрайних пространствах села. На столбе сидела непуганая ворона и удивленно каркала. Прореженная территория села просматривалась насквозь. Церквушка без креста. Памятник продотрядовцам без звезды. Осиротевший без вождя постамент. Деревянная догнивающая трибуна. Несколько десятков разоренных изб с обломанными ребрами

стропил, выбитыми стеклами. Множество вызывающих жалость своим одиночеством туалетов из горбыля. Покосившиеся, поваленные плетни, открывающие своими провалами бурьян, лебеду, крапиву и полынь огородов. Заросшие квадраты пустых фундаментов.

Что это за село? Что ему здесь нужно и как он попал сюда?

Но самое страшное (боже, как болит голова!), а кто такой он сам?

Усилием воли преодолев отупляющую боль, человек оглядел и ощупал болотные сапоги, ватные брюки, покрытые поверх брезентом, солдатский бушлат с кожаными латками на локтях. Снял с головы шерстяную шапочку.

Все это он видел в первый раз.

Расстегнул рюкзак. Пакет. Безопасная бритва, кусок мыла, зубная паста, зеркало... Короткая стрижка, крутой лоб, расширенные от боли зрачки. Нет, он не узнавал этого человека.

Пакет с картошкой, хлеб, нож, походный топорик в чехле. Пластмассовая коробка — крючки, свинец...

Спиннинг! Вот что ему было знакомо. Большая, со сковорoду, инерционная катушка. Морская. Голубая миллиметровая леса. Тяжелая самодельная блесна из серебряной ложки. Можно обходиться без грузила. Телескопическое удилище. Очень удобная вещь. В сложенном виде спиннинг умещается в портфеле, в рабочем состоянии вытягивается до двух метров.

Внизу, сливаясь со свинцовым небом, шумело серое пространство воды в белых всполохах пены. С этой зыбкой, растрепанной равнины промозглый ветер нес плач утопленников и запах еще не выпавшего снега.

Озноб. Тревожное предчувствие опасности. Собрать рюкзак. Забросить его за спину. Натянуть на уши лыжную шапочку. Подставить ветру спину и идти прочь, убыстряя шаг, от пугающей тоски...

И вдруг — секундное озарение, крошечный огонек спички, вспыхнувшей и погасшей в абсолютной черноте памяти. Озеро Глубокое. Соленая вода. Лужа от древнего моря. Громадные, как акулы, щуки, пожирающие домашних гусей...

"Я уйду,— пообещал своему страху человек,— но надо подлечиться",— уступил он ностальгии.

Он пошел вниз, на шум осенней воды, загипнотизированный им. Сквозь страх. Сквозь выродившийся в непроходимые заросли парк. Голубые стволы кленов и

одичавшие голуби на их ветках. Домашние предки этих птиц никогда не садились на деревья.

Голова болела невыносимо.

Человек разделся на берегу и медленно вошел в кипящую, мутную, колющую песчинками воду. По шею. Волна накрыла его с головой. Холод обжигал, как кипяток. Он оставался в штормящем озере до тех пор, пока боль не начала сжиматься, отступая от глаз и висков к затылку, и медленно вышел на берег. Постоял обнаженный на ветру, унял дрожь. Не спеша оделся.

По телу растеклось свежее, бодрящее тепло.

Отчего-то боязно было стоять спиной к озеру. Он обернулся и попятился. Нет, этого не может быть, это просто в капле, повисшей на реснице, странно преломился свет. Ну, конечно! Вот он протер глаза — и нет ничего. Только сердце колотится, как копыта напуганного жеребенка.

Человек поднялся на долгий, пологий берег. Снежное пробуждение вернуло странную потерю памяти (бывает — заспал)— и по-новому взглянул он на запустение и разор.

...Какой большой казалась ему в детстве Новостаровка, как долго шел он метельным утром через все село в школу. Вдоль срезанных ножом бульдозера сугробов с навеянными завитками карнизов. Казалось, бесконечно длинная белая волна нахлынула с Глубокого и захлестнула полсела. А какие были бураны! Они заметали дома по самые трубы. Двери дворов открывались внутрь. И первый новостаровец, откопавшийся после ночной метели, завороженно застывал в сказочном безмолвии и сиянии снега. Не было ни одного следа на белых курганах, накрывших дома...

Сейчас, когда от большого, шумного села, осталось лишь несколько обветшавших изб да заросшие коноплей фундаменты, он с болью увидел, какой крохотный лоскуток занимала на планете Новостаровка. А память, словно извиняясь, воскрешала и воскрешала жителей мертвого села. И снова увозили его в кузове грузовика, заставленном скудным скарбом жителей послевоенной деревни. Огромное зеркало прощальным солнечным зайчиком ласкало знакомые дома, деревья, ограды, людей. Прощальной барабанной дробью стучат копыта. Скачет Ермек, размазывая по лицу слезы и сопли, кричит что-то, машет рукой. Солнечный зайчик купается в золотой пыли. Тетя Оля у последнего колодца-журавля смотрит из-под руки вслед. Темное окно. Резные наличники. Дом под тремя соснами. Малень-

кая белая ладошка в окне. И сейчас сжимается сердце, как тогда, когда он впервые был прострелен этим печальным словом — навсегда. И он кричит отстающему всаднику, уплывающему за горизонт селу, безбрежному озеру, робкой ладошке в темном окне, своему детству: "Прощай, друг!" И нет на этом свете горше слов. Качается, залитое его слезами небо, качаются уплывающие в прошлое облака...

Две тысячи верст летел, двести ехал, двадцать шел он к этому озеру, что вот уже больше двадцати лет снилось ему. Чем больше проходило лет, тем неудержимее тянуло оно к себе. Эта необъяснимая, ни с чем не сравнимая ностальгия. Говорят — болезнь. Возрадуемся: немногие ею сегодня больны. Больна ли рыба, которую неудержимо тянет из океанских глубин в маленькую речку-ручеек? Не надо ее, мужики, лечить.

Сослуживцы его не понимали: куда ты на зиму глядя, на север, в слякоть и грязь?

Что вы понимаете, мужики, в севере, слякоти и грязи! Это же какая прелесть, предчувствуя первый снег, брести утром к парному озеру, ломая на подмороженной дороге звонкие оконца луж, храня под старым армейским бушлатом убогое тепло собственного тела. К озеру, где громадные черноспинные щуки с раскрытыми пастями стремительно атакуют из глубины перелетных гусей и уток...

Была и другая, более прозаичная причина. С некоторых пор давило на психику вызывающе уродливое в своей громоздкости и непропорциональности здание онкоцентра, вписанное в единственное окно его холостяцкой конуры. Он продолжал жить так, как будто ничего не произошло. Обманывал он не других. Некого было обманывать. Обманывал себя. Все чаще и задумчивей, однако, разглядывал из окна серую громаду. Нет, он не собирался умирать с помощью специалистов, справедливо полагая, что с этим делом справится и сам. Скверно, конечно, чувствовать себя умирающим осетром в аквариуме. Скверно осознавать, что прожил мало, скучно и бестолково, а работа, которой занимаешься, по-видимому, никому не нужна. Собственно, ради нее он рвал связи, отказывался от комфорта. Она сулила ему свободу и творчество. И вот — шею его стягивает ошейник галстука, занимаетя он рутиной, а на шее сидит взвод посредственных и непосредственных понукал.

* * *

— Я тебе говорю: зря только ноги собьёшь,— не то, что отговаривал, скорее информировал шепелявый водитель попутки.

— Мое дело — наплевать, ноги твои, только не пустят тебя военные на Глубокое.

— А что делают военные на Глубоком?

— Что делают военные? Военные военную тайну охраняют,— исчерпывающе ответил водитель.— А ты ещё придумал — на ночь глядя. Они там, чтобы ты знал, не шутят. Спецвойска. Сначала стреляют, а потом кричат: "Стой! Стрелять буду!" У меня кум Петро, тоже вроде тебя рыбак, ядрена вошь, заядлый, поперся на Глубокое. Ногу прострелили. Он подергался, подергался — в суд, то, сё, бюллетень дайте... А ему и говорят: скажи спасибо, чувак, что в ляжку попали, в следующий раз в башке дырку сделаем. А что? Сделают. Бывает, что и пропадают люди. Девчонка с Ильинки пошла искать корову и с концом. Месяц уже ищут. Вот твой поворот у Бабаева леса. Приехали. Только так договоримся: я тебя не подвозил, ты меня не знаешь. А то, понимаешь, строго у нас.

— Здесь же должна быть дорога на Глубокое. Грейдер.

— А я тебе о чем говорил! Зачем нужна дорога, если и деревни давно нет? Заросла твоя дорога осиной.

— Озеро-то есть?

— А кто его знает... Утки в ту сторону летят. Все-таки идешь? Ну, я тебя предупредил... Смотри, справа болота. Дело к вечеру...

Хлопнула дверца. Исчез грузовик за березами, но еще долго слышался его грустный гул. Чем тише, тем грустнее и безнадежнее. Кругом — солома, солома, солома. Нет более надрывающего душу зрелища, чем это золото соломы, втоптанное в сталь осенней дороги.

До Глубокого он рассчитывал дойти засветло, но движение сильно замедлял молодой осинник. Последние километров пять шел в абсолютной темноте, доверившись интуиции и памяти. Слухи о стреляющих без предупреждения войсках были, видимо, преувеличены.

* * *

Кто приговорил село к выселению? Почему приготовленные к перевозу бревна раскатанных срубов так и остались догнивать кучами дров вдоль улиц?

Следы поспешного бегства были видны повсюду. Ржавая цепь на вороте колодца, прикованное к нему ведро.

Повсюду юртами торчали стога сена. На столбах — провода...

На выезде из села под дорожным указателем лежала кукла. Платьишко на ней истлело, глаза закрыты, одна рука поднята вверх. Маленький пластмассовый человечек, потерянный и забытый. Человек нагнулся и поднял куклу.

Кукла открыла глаза и сказала:

— Мама.

Минут пять он приходил в себя. Ч-ч-черт! Сердце так разогнало кровь, что каждый удар его казался толчком землетрясения.

Человек посадил куклу, прислонив спиной к столбику, и задумался. Инстинкт самосохранения толкал его в спину: прочь отсюда, прочь. А озеро завораживающим шипением, ритмом волн манило к себе. Всего несколько забросов. Ты двадцать лет мечтал поблеснить на Глубоком. Какая опасность может угрожать человеку в твоем положении?

Берега озера сплошь заросли солеросом. Странным красноватым растением, похожим на живое существо. Ни одной дорожки не было протоптано в этих густых кудрях.

Человек шел по отглаженной волнами дорожке прибоя и швырял в огромное озеро маленькую блесну. Вода сливалась с небом. Границу между ними выдавал лишь туманный силуэт Жаман-сопки. Безбрежная котловина, казалось, была наполнена не осенней водой, а темной, отстоявшейся тоской. И волны шуршали, набегая на берег, словно выражали соболезнование.

То и дело человек перешагивал через остовы разбитых штормами, догнивающих лодок, прикованных ржавыми цепями к металлическим столбам, бетонным обломкам, железным колесам, вкопанным в берег.

Скелеты каторжников, умерших в кандалах.

Безлюдье, предчувствие скорого затяжного ненастья, промозглый холод действовали на человека успокаивающе. Тихая искорка радости тлела в душе и трудно было понять ее причину. Просто хорошо быть одному и никуда не опаздывать. Хорошо идти не спеша по берегу и швырять блесну в серое, набухшее снегом небо, в самое нутро ветра, пахнущего прелой соломой и тиной. Успокаивающе долго трещит катушка, долго летит блесна, а когда она исчезает в воде, нужно досчитать до десяти: озеро не зря зовется Глубоким.

За мыском каменистых обнажений — маленькая бухточка. На черном окаменевшем стволе, чудовищном звере, выползающем из озера, сидело, скорчившись, маленькое чучело. Навильником прошлогодней соломы торчали во

все стороны нечесаные и немытые волосы. Губы обметаны коростой простуды. Красный насморочный нос. Дышит открытым ртом. В светлых, пустых глазах — рыбья отрешенность. Из старой фуфайки с торчащими клочьями ваты выглядывает лишь вжатая в плечи голова да синие от холода босые ступни.

— Дай,— говорит оно хриплым от простуды мальчишеским голосом, как бы в пространство, ни к кому конкретно не обращаясь, не просит и не требует.

Странный мальчишка поднимает руку вверх и долго трясет ею, пока из рукава не появляется грязная пятерня. Берет надкуренную сигарету без благодарности и жадности. Суёт горящим концом в рот. Выплёвывает. Лицо его не меняет выражения, и сам он остается неподвижным, только глаза наливаются слезами и синевой.

— Как тебя звать?

— Звать — оборвать,— голосом без выражения отвечает он.

— Оборвать так Оборвать. Ты откуда?

— От верблюда.

— Я не спрашиваю, кто твои папа и мама. Я спрашиваю — из какого ты села?

— Села,— говорит он отрешенно, прислушиваясь к слову,— села...

Сотни раз ощущал Андрей этот рывок, но каждый раз он застигал его врасплох.

В глубине мертвенно серого озера трехъякорный крючок зацепил отчаянно трепещущуюся жизнь.

Леса загудела басовой струной. Какое сопротивление, какая рыба! Просто крокодил на паутинке...

Главное — не ослаблять эту тонкую, грозящую лопнуть нить, обуздать свой азарт.

Новичок, сделав квадратные глаза, тащил бы и тащил эту щуку на берег, пока она не оборвала бы ему блесну. Но Андрей довольно быстро совладал с собой. Он чувствовал: эту рыбу свежей не вытащить. Надо было хорошенько утомить ее, измотать. Он то отпускал щуку на глубину, то проводил вдоль берега, как пса на поводке, и снова осторожно подтягивал к себе.

Это была долгая борьба. Но, наконец, он почувствовал: пора. И повел присмиревшую добычу к берегу.

Крутые буруны заходили на мели. У самого берега щука вскинулась из воды, встав на хвост, на дыбы, и затряслась в смертельном танце. Черноспинная, белобрюхая, с огромной раскрытой пастью и розовыми растопыренными плавниками...

Блесна вылетела из ее пасти, и Андрей инстинктивно пригнул голову. Хлестнуло распрямившееся удилище, со свистом пронесся над ухом трехъякорный крючок.

Сорвалась... Уходит... Досадно...

Чумазый Оборвыш, о существовании которого Андрей забыл в пылу борьбы, не снимая фуфайки прыгнул на спину щуки и обхватил ее руками и ногами.

Андрей на ходу натянул раструбы сапог и в два прыжка был рядом. Такой большой щуки он еще не ловил. Поднимая широким хвостом фонтаны брызг, она вместе с мальчишкой медленно уползала на брюхе в глубину. Ухватив за хвост, Андрей поволок щуку с вцепившимся в нее всадником на берег. Мощными сокращениями мышц она раскачивала его из стороны в сторону.

Как она прыгала на берегу в зарослях красного солероса, взмахивая желто-багровым цветком хвоста, холодная, хищная царица озера, прекрасная и ужасная охотница глубин!

Пока Андрей, тяжело дыша, приводил себя в порядок и любовался щукой, Оборвыш кружил около рыбы. Крадучись ступали босые ноги. С промокшей фуфайки стекала вода, слипшиеся волосы торчали маленьким взрывом. И вдруг он прыгнул на рыбу, крепко обнял ее туловище и с хрустом вонзил зубы в хребет. Щука подбрасывала его, сотрясала, а он лежал на ней и, дико кося глазами, пожирал ее — живую, трепещущую, судорожно извивающуюся. Мордочка пацана была в чешуе и крови.

Андрей сел на ствол топляка, нашарив за пазухой сигарету, закурил и долго, загипнотизированный, смотрел на человеческого звереныша, пожирающего живую щуку.

Трещали под ветром прутья чернотала, шуршала красная трава и накатывались на берег мутные волны. В тоскливом крике, изломанном силуэте пролетевшей цапли было что-то от птеродактиля. Мир провалился во временную яму, когда Глубокое еще не имело названия, когда все было — страх и тайна, а люди не умели говорить.

Утолив первый голод, мальчишка закрыл глаза и тяжело дышал, отдыхая, не выпуская из объятий рыбу. Она не сопротивлялась. Лишь медленно, костенея, водила хвостом, сгибаясь в дугу. Но вдруг резко распрямилась и сбросила своего пожирателя.

Это была агония.

Мальчишка поднял над головой тяжелый камень, подошел на подкашивающихся ногах к уже мертвой щуке и размозжил ей голову. Он продолжил свою трапезу, стоя над рыбой на четвереньках, а насытившись, поволок ее

прочь от берега, ворча и постанывая, как собачонка, уносящая кость, чтобы зарыть ее в укромном месте. При этом он не обращал никакого внимания на Андрея и выказывал ему не больше уважения, чем коряге, выброшенной озером на берег. Вначале пацан тащил труп рыбы по траве. Потом нес, обняв, перед собой, пыхтя и косолапя. Но очень скоро наступил на хвост и упал. Что-то в траве привлекло его внимание. Он пополз за чем-то невидимым. Прихлопнул ладошкой, рассмотрел, попробовал на зуб и выплюнул.

Долго еще возился мальчишка со щукой. Она то выскальзывала из рук и шлепалась на землю, то придавливала его своей тяжестью и он, кряхтя, выползал из-под нее. Несколько раз в этой неутомимой борьбе рукава фуфайки попадали в пасть щуке и трещали, вспоротые, оставляя на зубах вату. Наконец рыба удачно легла на плечо пацана, и он поднялся, пошел, сгибаясь под тяжестью ноши, на тонких, дрожащих ногах, покрытых гусиной кожей.

— Эй, пацан!— крикнул вслед ему Андрей.— Где ты живешь? Эй!

Но он даже не обернулся и вскоре исчез в густой стене черноталa.

Долго еще у Андрея дрожали пальцы. То ли не прошло волнение от первого рывка и получасовой борьбы со щукой, то ли не мог успокоиться от кошмара ее пожирания одичавшим человеческим дитенышем.

Однако, какая громадная щука! И, должно быть, не самая громадная в этом озере с догнивающими лодками, в озере без сетей? Просто сказочная ситуация: такое большое озеро и — ни одного рыбака. Кроме него.

Андрей поднял с земли спиннинг и обдул катушку. Он был взволнован рыбацкими предчувствиями и ему не хотелось покидать это озеро.

* * *

Для ночлега Андрей выбрал развалюху на берегу, к двери которой кто-то давным-давно приколотил подкову на счастье, а под окнами росла черемуха и яблони-дички. Это была единственная изба, сохранившаяся на берегу. И печь в ней уцелела. А за печью отыскались чугунки, ухваты и кочерга — вещи, о существовании и предназначении которых многие и не подозревают. Уходит время, умирает старый мир, забываются и исчезают его вещи.

Глухая стена избы, выходящая во двор, по самую крышу была заложена березовыми поленьями. Расшатанные козлы были приставлены к поленнице. Вместо одного из сломанных рогов вбит трехгранный штык.

Он узнал этот штык. И светлая, печальная волна воспоминаний окатила его: так это же изба Рубцовых!

Жаркий полдень. Безветрие. Гладь озера переходит в безоблачную синь неба. И оттуда — из глубины ли озера, из глубины ли неба — выплывает громадная лодка Рубцовых. На корме у руля — дед, озерный царь. Белая, как пена, борода на коленях, солнечный блик на бронзовой лысине, в глазах — пронзительная пустота сентябрьского неба. На веслах — сын и внук — буграми вздуваются мышцы на потных спинах, выглядывают из-за широких плеч веселые пиратские рожи. А на носу, как украшение древнего корабля, лежит — подбородок на скрещенных руках — светлый отрок с вечно удивленными глазами мечтателя, правнук Васька. На берегу крепконогие (толстопятые — говорили новостаровцы), крутобедрые рубчихи поджидали своих мужиков с ведрами и корзинами под рыбу: опять они пол-озера вычерпали. Бледно-зеленые песчаные окуни, змеевидные щурогайки, золотые лини, серебряные и круглые, как блины, язи. Двор Рубцовых всегда был занавешен сохнущими сетями. А огород у них был красивый! Весь в подсолнухах. "А твоя бабка на базаре семечками торгует!" — не было для Васьки обиднее этих слов...

Оттер Андрей мелким озерным песком рубцовский чугунок и стал он, как новый. И пока растоплял печь, варил густую уху из килограммовых горбачей, предавался он сказочно ярким и грустным воспоминаниям. Все в тех событиях и картинах было правда и будни, просто видел он их еще не уставшими, жадными глазами ребенка. И чувствовал он рядом с собой некие пустоты, что занимали когда-то жившие здесь, но частью умершие, а частью уехавшие отсюда люди...

Красные верблюды приходили из мест, где не растут деревья, а люди живут в глиняных домах.

Шли они степенно, друг за другом.

Между горбов сидели коричневые странники в лисьих шапках с глазами, обожженными солнцем.

Молчаливы и бесстрастны.

Выгоревшие, истертые верблюды, усталы и высокомерны: долго шли, много видели. Их не удивляла деревня Новостаровка.

Деревня потому и деревня, что в ней растет много деревьев — клены, черемуха, акации, яблони-дички, — а дома срублены из сосны и березы.

Скорее всего деревья казались верблюдам уродливыми, потому что ничего совершеннее пустыни они не знали.

Им нравилось озеро с бирюзовой водой, и они этого не скрывали. Церемонно прикасались потрескавшимися губами к соленой воде и долго пили. А потом ели верблюжью колючку, что росла на берегу. И смотреть на это было интересно и больно: все равно что самому жевать колючую проволоку.

Презирая тень, ложились верблюды отдыхать на солнцепеке. Им снилась пустыня, и они улыбались.

Солнечные жители, существа с незнакомой планеты.

Голопузая новостаровская ребятня часами не отходила от странных животных, но только самые отважные подходили к ним близко. Видели они верблюдов в первый раз, но знали о коварной привычке плеваться. Дурная слава впереди бежит.

А хорошо бы уехать на маленьком верблюжонке с горбами-одуванчиками, на лохматом красном солнышке в страну, где круглый год растет земляника и стоят до неба голубые горы, вершины которых покрыты вечным мороженым.

Напились воды красные верблюды и ушли берегом озера туда, где в безоблачное утро синеет горб сопки. Звали ее отчего-то Плохой, а отчего — никто не знал.

Ушли верблюды, унося на своих спинах людей в лисьих шапках и пыльных одеждах. Коричневые люди знали много сказок, но рассказывали их на непонятном языке....

* * *

... Андрея слегка знобило и он решил, что припасенная бутылка как раз подходит к настроению, случаю и уху.

Трещали в печи дрова. Тепло и уютно было в заброшенном доме. Одиночество, глушь, улыбка на губах, слезы в глазах — что может быть лучше? Ночь опустила на Землю космос. Только в такие минуты и чувствуешь себя человеком — существом на маленькой, затерянной планете.

... Вспомнился далекий свист кос. Звон зеленых скрипачей. Летнее утро у озера Ключевого. Оно совсем рядом с Глубоким, только маленькое и вода в нем прозрачная и пресная. Окашивали березовые колки. Нет-нет и валится из-под косы загорелый обабок. По потным спинам ходят

упругие волны мышц. Губы ссохлись. Ритм косьбы завладел телом и нельзя остановиться, передохнуть. Отбери у них косы — и еще долго они с Ермеком будут размахивать руками.

Косарь — весь, как стих. Классический размер ямба — в дыхании, движении, крови. Он заворожен и околдован этим простым и строгим ритмом, который навсегда останется в душе.

А какое, мужики, наслаждение после долгого сенокоса, когда в тебе, кажется, уже закипает кровь, прыгнуть в холодные воды Ключевого!

Вот лежат они с Ермеком на спинах посредине синего глаза озера, и смотрит этот огромный глаз Земли на зеленый, в золотых и багровых вихрях закат, на первые звезды.

И говорит друг Ермек с небом:

— Убей меня, а не могу понять, что такое бесконечность.

Сколько им лет? Двенадцать? Тринадцать? Самое время для таких вопросов. Ни раньше, ни позже.

И так сладко делиться мыслями с другом. Сокровенными, СВОИМИ мыслями.

— Представь: мы с тобой живем на электроне-Земле, который вращается вокруг атома-солнца. А этот Млечный путь — молекула-галактика. Одна из триллионов молекул, составляющих человека. И сейчас он, может быть, купается после сенокоса в своем Ключевом. Представляешь: человек из миллиардов и миллиардов планет и звезд, а мы с тобой — внутри него, на одной из планет.

— А вдруг он сейчас утонет?— испугался Ермек.

— Разница в том, что для нас — одно время, а для него — другое.

— Как так?

— Для нас секунда — секунда, а для него секунда — миллионы наших лет.

— Посмотреть бы на этого человека...

И Андрей (как колотится сердце от этих мыслей!) говорит, заикаясь от восторга:

— Посмотри на себя! В тебе и во мне горят звезды, а вокруг них кружатся планеты. А на планетах живут люди. И кто-то из этих людей купается в озере ночью и смотрит в небо, на звезды.

— Ух ты!— едва не захлебнулся Ермек. Так удивился.

— Только,— печально говорит Андрей,— пока мы с тобой говорим, на тех планетах, что в нас, прошли милли-

сколько лет, столько звезд погасло и загорелось, столько поколений людей сменилось, что ты!

— Это — как матрешки,— говорит догадливый Ермек и сильно переживает.— Жалко, ёлы-палы, людей в наших галактиках.

— А чего их жалеть? Они нормальную жизнь прожили. А в них — тоже космос, тоже планеты, а на них — люди. И так бесконечно.

— А тот — большой — человек, в котором наша галактика, живет в другом, еще больше? И еще, и еще... А вдруг у тех больших людей атомная война начнется,— призадумался Ермек,— как думаешь, что нам-то тогда делать?

— Или на какой-нибудь твоей галактике возьмут да и оторвут планету...

— Вот гады!— возмутился Ермек.— Может быть, на моих планетах этих гитлеров, как блох у Шарика, бабахнут — и привет, никакой доктор Баулькин не поможет.

Они долго молчали, плавая в ночном озере, черная вода которого сливалась с космосом. И вдруг Ермек всполошился:

— А если у меня сейчас ногу судорогой сведет, и я утону? Это сколько же галактик погибнет?

— Бесконечное количество,— убежденно заверяет его Андрей.

— Это... То есть как это?— заволновался Ермек.— То есть я и есть бесконечность?

— Спрашиваешь... А то!

— Чокнуться можно! И в каждой травинке планеты? И в каждой травинке — бесконечность? А когда меня на второй год хотели оставить, знаешь что Гулька сказала? Ты на жизнь смотри с расстояния солнца. Оттуда, говорит, не только тебя, но и Земли невооруженным глазом не увидишь. Оттуда, если смотреть,— так тебя вообще нет.

— Все девчонки — дуры. Особенно красивые. Чем красивее — тем дурнее. Запомни. Что она понимает, твоя Гулька? Если на то пошло, вообще ни большого, ни маленького нет. Есть одна бесконечность. И в солнце бесконечность, и в пылинке бесконечность. Какое солнце не большое, а все пылинка, а в пылинке — бесконечное число солнц. Вот как все на самом деле!

— Да ну тебя! Задурил башку, совсем забодал,— ругнулся Ермек и, плеснувшись, ушел щукой в черную бездну ночного озера.

Он вынырнул и сказал важно:

— Что-то проголодались мои галактики.

На берегу ярко и с каждой минутой по мере наступления ночи все ярче горел костер. Чистое бездымное пламя тянулось вертикально вверх, хлопало крыльями, слышались веселые голоса и смех. Темнели скирды сена, словно жилища первобытных людей. В такую ночь хорошо быть среди людей, но если остаться одному, непонятная звездная тоска высосет душу...

* * *

С долгим скрипом растворилась дверь. В проеме двери высветились две фигуры. Мальчишка-подросток в рваном полушубке и шапке с надорванным ухом, нахлобученной по самые глаза, и старуха в таком количестве рванья, что больше походила на огромный вилок капусты с разлохмаченными и выпачканными в грязи листьями. Острый нос, беззубый, втянутый рот, рыбьи глаза, пакля волос из-под платка. Увидев огонь, старуха издала утробный звук и отпрянула в темноту.

— Кушать хочу,— прошепелявил мальчик.

Он снял шапку и превратился в лысого, беззубого старичка.

Опасливо косясь на печь и показывая пальцем на огонь, старуха бочком прокралась к столу и запустила грязную руку в чугунок. Пошарив в нем, она выловила кусок рыбы и с усилием протолкнула его целиком в рот, с костями.

Старичок тоже обошелся без ложки, но рыбу от костей очистил.

— Она говорить не умеет. Она только кушать умеет,— объяснил он.

— Глухонемая?— спросил Андрей, шокированный поведением нежданных гостей.

— Она слова забыла.

— Как забыла?

— Одно слово помнит: "умба".

— Умба, умба,— закивала головой баба Яга, поперхнулась костью и закашлялась.

— Что такое "умба"?— спросил Андрей, отодвигаясь от брызжущей слюной и крошками старухи.

— Никто не знает,— старичок внимательно разглядывал "Столичную", как бы вспоминая что-то. Пошарив в кармане полушубка, он вытащил ржавую консервную банку и потянулся за водкой. Андрей опередил его и сам плеснул из бутылки в подставленный сосуд.

Старуха все кашляла. Старичок не обращал на нее внимания. Выпил и спрятал банку в карман.

— Страшно,— сказал он голосом без интонации и выражения.— Уходить надо. Зверь выйдет.

— Что за зверь?

Старичок протянул руку в сторону невидимого в темноте озера:

— Зверь. Шуршит.

— А куда уходить-то?— спросил Андрей, все более убеждаясь, что имеет дело с сумасшедшими.

— Ты в тот край не ходи,— неопределенно махнул рукой старичок.— Там Ибраим-людоед живет. Он Безносую съел.

— Тьфу! Гадость какая!

— Почему гадость?— как-то простодушно, по-детски спросил старичок.

— Как — почему? Нехорошо есть людей, плохо.

— А-а-а...

— А вы не боитесь Ибраима?

— Нет, мы его не боимся. Он хороший.

— Весело вы здесь живете... Хороший... Он же Безносую съел! Ты сам сказал.

— Съел, ага,— подтвердил старичок.

— Тьфу ты! Не-хо-ро-шо есть людей, понимаешь? Плохо это, плохо! Ты что — сам видел, как он ее ел?

— Он меня костью манил. А я не таков. А человечину не люблю.

— И на том спасибо. Много вас здесь живет?

— Много...— повторил старичок, прислушиваясь к слову.

— Ну, сколько?.. Пять, шесть, десять?

— Шесть, десять...— эхом отозвался он.

Андрей растопырил перед лицом собеседника пятерню:

— Столько? Больше?

Старичок долго разглядывал руку. Слева, справа, снизу...

— Ты что — совсем считать не умеешь? Кто здесь живет? Ты, Умба, Ибраим... Кто еще?

— Хромоножка-девочка, собака Шарик... Его скушали.

— Еще кто?

— Умба, Ибраим, Гада Лысая...

— Кто такая Гада Лысая?

— Я Гада Лысая.

— Понятно. Значит Ты — Гада Лысая, Умба, Ибраим, Хромоножка. Кто еще?

— Умба, умба,— заухала старуха, кончив кашлять, и полезла в чугунок за новым куском рыбы.

Старичок подумал-подумал и добавил к перечню странных имен:

— Безносая.

— Но ее же Ибраим съел...

— Съел,— охотно согласился старичок.

— А мальчишка в фуфайке, босой, белобрысый, губы в болячках — он с вами живет?

— Он с нами не живет.

— А где он живет?

— Нигде не живет.

— Но ты его видел?

— Не видел.

— А где вы живете?

— В большом доме. Там пшенички много. Мы пшеничку кушаем.

— То есть как пшеничку? Тесто замешиваете, хлеб печете, да?

— Мы пшеничку кушаем,— повторил старик.

— Понятно. Как птички божии... И что же — вы все вместе в одном большом доме живете?

— Вместе.

— Ибраим тоже с вами живет?

— Да, живет, пшеничку кушает.

— А вас он не скушает?

— Когда умрем — скушает.

Андрей присвистнул. Черт! Занесла же его нелегкая. Царство кретинов! А какое славное село было! Какие крепкие дома стояли! Из реликтовых сосен, в два обхвата... Какие красивые, рослые сильные люди здесь жили! Деревней великанов звали Новостаровку. Куда все исчезло? Откуда эта жалкая рвань и отребье?

— Ты всегда здесь жил?— спросил Андрей старичка.— Рыдвановых помнишь? А Шариповых? Бугаевых, Сыромятниковых? Здоровые такие мужики были, Сыромятников еще в телегу впрягался и стог сена на себе возил, а потом всех ребятишек катал. Навеселе, конечно, был... Не помнишь... Сам-то ты откуда родом? Пришел откуда? Где раньше жил?

Старичок не понимал, о чем его спрашивают.

— Уходить надо,— сказал он.— Зверь шуршит. Страшно. Скоро выйдет.

Запах человеческого тления и смрада становился все гуще и нестерпимее и Андрей согласно закивал головой:

— Надо, надо уходить. А то действительно зверь выйдет. До свидания.

Старичок вышел.

— Иди, Умба, иди,— показал Андрей глазами на дверь,—и чугунок с собой забирай.

— Умба, умба,— заухала совиноглазая старуха, пошарила в чугунке и, ничего не найдя, пошла за старичком, облизывая руку. Бочком, бочком — мимо печи.

Андрей вышел следом в ночь — выбросить вон чугунок и проветрить избу.

Невидимое — черное в черном — шуршало внизу озеро.

Невидимое — черное в черном — стояло мертвое село. Ни звука, ни огонька.

На кладбище было бы веселее.

Из темноты доносилось удаляющееся шарканье ног.

С минуту Андрей колебался, боролся с желанием забраться в спальный мешок и забыться. Но в конце концов он должен знать, что за странные люди живут рядом и правду ли поведал не умеющий считать старичок о людоеде Ибраиме или просто пугал его.

Андрей вернулся в избу и пристегнул к поясу походный топорик.

* * *

Спрятав сигарету в рукаве, Андрей крался за сумасшедшими стариками, как слепой нащупывая дорогу выломанной из плетня клюкой.

Исчезнувшее, заросшее бурьяном, догнивающее село по странной прихоти памяти вырастало из черноты таким, каким он видел его в детстве. Вот сейчас они идут по Солопову переулку и справа на углу лежит огромный валун. Андрей ткнул в темноту клюкой, и палка наткнулась на камень. Он смотрел в непроницаемую темноту и ВИДЕЛ дом под соломенной крышей, красную звездочку на свежепобеленной стене. В окнах без ставен — ситцевые шторки. Старики Кузнецовы. Каждый дом в селе имеет свой запах. Этот пахнул прелой соломой, навозом и дымом. Тимуровцы шефствовали над стариками и однажды перепилили и перекололи бревна, заготовленные дедом для строительства бани... Глянули из черноты несуществующего окна на Андрея близорукие старческие глаза.

По мертвому селу от дома к дому шел Андрей, и тени знакомых людей пристально глядели ему вслед, не узнавая, беззвучно лаяли во дворах встревоженные собаки.

Андрей глубоко затягивался, и горьковатый дым сигареты на мгновение возвращал его из мира теней в реальность. Но снова черный омут ностальгической жути смыкался над ним.

... Громадная тень застила редкозвездное, безлунное небо.

Откуда появился этот небоскреб в безлюдье?

Да это же элеватор! Большой дом, где много пшеницы...

Под ногами шедших впереди загремело железо металлической лестницы.

Долго плутал Андрей во мраке, спотыкаясь о звонкий хлам, натыкаясь на холодные углы, ориентируясь по сквознякам и запахам. Давно не слышны были шаги стариков. Где-то гремело, словно стонало, надорванное железо, откуда-то капала вода, посвистывал в щелях ветер. Пахло холодным металлом и плесенью.

Он непременно бы свалился вниз, толкнув очередную дверь, поскольку вела она в пустоту, если бы не слабый огонь костра, горящего внизу. Свет его скупо освещал барханы зерна. По стенам метались тени людей, одетых в лохмотья, сидящих вокруг костра. Они поедали растерзанные остатки щуки. Рвали сырую плоть скрюченными пальцами, как коршуны, и запихивали куски в рот. Вели они себя как животные, но в отличие от животных не дрались и не грызлись между собой. Трапеза проходила без рычаний и криков, в молчании. Было их двенадцать человек. Сидели в этом обществе и мальчишка в драной фуфайке, и ночной гость, назвавшийся Гадой Лысой. Боявшаяся огня старуха расположилась поодаль, обсасывая громадную, расплющенную камнем щучью голову.

Из пирующей компании выделялся косматый человек в армейском камуфляжном бушлате. Из черного кучерявого шара волос торчал лишь мясистый нос да посверкивали глаза. Лба не было, волосы, казалось, росли прямо из бровей. Склонив голову набок, он по-собачьи пожирал хвост. Хруст хрящей на его зубах заглушал коллективное чавканье и потрескивание костра.

Андрей завороженно смотрел на молчаливое, жрущее человеческое стадо и думал о яме, в которую скатываются перекати-поле, сдуваемые обжигающим ветром с осенних полей. Жуток был этот пустынный пейзаж утробы элеватора в неровном свете костра, на который с опаской косилась старуха. Огонь пугал и притягивал бессловесное существо, вернувшееся в первобытный мир.

Бомжи заедали рыбу пригоршнями зерна и запивали сырой водой из консервных банок. Насытившись, они опускали руки и молча глядели на костер в сытом оцепенении. Каждый сам по себе, не оскорбляясь и не умиляясь присутствием других. Была какая-то жалкая гармония в отношениях этих уродов и уродцев. Они засыпали, глядя на костер. Кто-то спал, сидя на коленях, уткнувшись подбородком в грудь, кто-то валился набок, прижимаясь к соседу, как собаки в метель, кто-то закапывался в зерно. Он скрючил их в нелепые угловатые скульптуры, в разлохмаченные корневища. И только мальчишка, так нагло умыкнувший у Андрея добычу, сидел, покачиваясь, у костра и мычал одну и ту же музыкальную фразу. Время от времени он выламывал из кучи наваленных друг на друга плетней прутья и подбрасывал их в костер.

На лице его было то, чего не было у других бродяжек,— выражение. Сама тоска, одетая в лохмотья, сидела у сиротливого костра и пела однообразную нескончаемую песню без слов.

* * *

Андрея разбудил стук в окно.

За окном порхал воробышек. Он пытался склевать муху, сонно ползающую на обратной от него стороне стекла.

Андрей смотрел, не мигая, на неутомимые попытки глупого воробья позавтракать мухой и думал: надо уходить от этого неуютного озера, из этого мертвого села, от странных людей, из зоны серой тоски. Может быть, стоит на недельку задержаться у Ключевого, поблеснить, пожить в палатке и — возвращаться домой.

Вселенской тоской брезжило серое ветреное утро. Чувствовал он себя единственным живым из вымершего поколения, чужим, забытым, ненужным на этой скучной планете. Там, в необратимом невозвратном осталась простая, наполненная смыслом жизнь, здесь — только медленное непрерывное умирание.

Избавиться от изводящего душу настроения можно было только одним способом. Трижды в день, круглый год в любую погоду обливание водой, стоя босыми ногами на земле, стало такой же необходимостью, как есть и пить. Дело не только в элементарном закаливании, а в секундах преодоления. И если случалось, что он изменял привычке снежного пробуждения, весь день был он сонным, больным, раздражительным.

Из озера Андрей вышел бодрым, веселым человеком.

Собрал рюкзак и зашагал берегом Глубокого к реликтовой сосновой роще.

Прошел мимо кирпичного завода, котлована, откуда черпали красную глину и где был раздавлен сорвавшейся вагонеткой его друг Васька. Постоял у болотца с удивительно шелковистой водой и изумрудной травой на берегу. Здесь женщины полоскали и сушили, расстелив на траве, белье.

А вот этой черемуховой рощи он что-то не помнит... Ров. Тополя в центре. Так это же кладбище. Кресты и звезды просвечивались сквозь заросли и высокую густую траву, скрывшую тропинки и дорожки.

...Дети любили играть на кладбище.

Стоит только перебежать кузнечиковое поле и перебраться через ров — и ты попадаешь на необитаемый остров, где много земляники, тишина и никто не мешает. Три зеленых шара, три тополя растут в центре. А вокруг — аккуратные деревянные оградки. В каждой оградке — крест или тумбочка со звездой, черемуха или акации, березка или сирень.

Хорошо здесь играть в прятки.

Забытая считалка:

Аты-баты шли солдаты,
Аты-баты на базар.
Аты-баты, что купили?
Аты-баты самовар...

Стоят ребята в кругу и очень хитрый Лешка растягивает слова, дробит их на слоги, подгадывает, чтобы не ему галить:

Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик из кармана:
Буду резать, буду бить
Все равно тебе галить.

Малыш уткнулся лицом в ладони, прислонился к шершавой коре:

Раз, два, три, четыре, пять.
Я иду искать.
Кто не спрятался — я не виноват.
Кто возле клекалки стоит,
Тому три кона вадить и галить.

Прыснул за какой-то могилкой смешок и стало тихо-тихо.

Бегает малыш между оградок, заглядывает за холмики.

Куда же они спрятались?

Может быть, за оградку дяди Саши? Вот он смотрит сквозь листья. Усатый и сердитый. А был веселым и добрым греком. А жена у него не гречанка. Тетя Оля. Сильным был дядя Саша. Сразу мог пятерых сыновей унести: двое на плечах, двое под мышками, один, как галстук висит, ухватившись руками за шею.

А потом загорелся соседский дом, а в нем осталась девочка Гуля. Дядя Саша вынес ее из дома, а сам обгорел и умер.

И видит малыш — чей-то хитрый глаз выглядывает из-за тумбочки с дяди Сашиной фотографией.

— Вижу тебя, Гуля, вижу!— кричит малыш и со всех ног бежит к тополям — заклёкать.

Очень красиво было на кладбище днем.

Хорошо было играть здесь в прятки...

Отрешенная, задумчивая тишина забытого кладбища, где, казалось, даже ветер дул тише, наполнила Андрея умиротворенной, спокойной печалью. Он бродил, шурша сухой травой, между покосившихся крестов и ржавых звезд, с трудом разбирая знакомые фамилии, и думал, что скоро и ему отправляться в последнее плавание между двух деревянных лодок. Не все ли равно где. Где бы ни зарыли — зароют в планету Земля. Хотя, конечно, он бы выбрал это заброшенное кладбище, где росла дикая земляника, где играл он с ребятами в прятки.

Гладил руками кресты и таблички на тумбочках, искал могилу, которой не было на этом кладбище. И ни на каком кладбище не было. Была у этого человека большая, соленая могила — озеро Глубокое. И был человек его отцом.

* * *

На месте реликтовой рощи торчали обугленные пеньки.

Не то что редкой породы росла здесь сосна. Единственной. Эндемик.

Долго чертыхался Андрей, стоя в центре сгоревшей рощи, вспоминая сосновый шум и сосновый дух, особую прохладу в знойный день, словно стоишь на дне зеленого озера. Может быть, теперь, когда человек по какой-то причине оставил в покое эту землю, сказочная сукцессия

через два-три столетия возродит лес? Носком сапога поковырял человек почву, пытаясь обнаружить спящие до времени семена реликтовой сосны, вздохнул и зашагал прочь заросшим бурьяном полем к березовому леску, в километрах пяти за которым лежало прозрачное, как утренний воздух, озеро Ключевое. Трещали под ногами сухие растения, гудела подмороженная земля, ветер холодил виски, дышалось легко и жадно.

Выходя из березового леса, Андрей спугнул зайца. Природа зло подшутила над косым. Он уже побелел, а снега все не было. Белая шуба не маскировала, а выдавала его.

Заяц припустил в поле.

Короткая пулеметная очередь срезала его в метрах ста от леса.

Оброненным мороженым с земляникой лежал он в бурьяне. Легкая добыча.

Чья?

Андрей прислонился к стволу березы, ожидая охотника.

Вспоминал предостережение водителя попутки о войсках, не пропускающих никого на Глубокое.

Проходило время, но никто не шел за зайцем.

— Эй!— крикнул Андрей в пространство.

Никто не ответил.

Он осторожно вышел из леса.

Застрекотала сорока. Она летела вдоль леса, но, увидев человека, метнулась в сторону.

Короткая очередь. Сороку разорвало вклочья. Остатки птицы упали рядом с зайцем.

Андрей остановился метрах в двадцати от трупа зайца. Влево и вправо от него, приглядевшись, он увидел пунктир из трупов животных. Были они различной давности — свежие, полуразложившиеся, отбеленные дождями и солнцем скелеты. Суслики, тушканчики, вороны, корсаки, журавль...

Андрей швырнул вырубленный в лесу березовый посох, стараясь перебросить его через границу трупов. Очередь. Щепки. Свист пуль.

Андрей долго лежал на земле, придавленный рюкзаком, прислушиваясь к убаюкивающему шелесту сухих трав. Но не крикнул ему бьющий без промаха стрелок, не приказал идти к нему с поднятыми руками. И Андрей, кажется, начал кое-что понимать в странном поведении этого стрелка. Он поднялся и пошел вдоль границы из

убитых зверей и птиц, время от времени крича в пустоту: "Эй!"

Иногда пунктир трупов прерывался и приходилось нащупывать границу, швыряя палки и комья смерзшейся земли. При этом бросать предметы нужно было повыше и в сторону, чтобы самому не попасть в створ невидимых стрелков.

Он шел долго, пытаясь отыскать в этом мертвом пространстве хотя бы узкую щель, какой-то контрольно-пропускной пункт, просто увидеть человека, спросить: в чем дело, мужики, вы что — обалдели?

И он увидел человека.

Женщина в странной одежде, сшитой из нескольких мешков, один из которых служил капюшоном, лежала лицом вниз, ноги вывернуты носками внутрь, руки вытянуты вдоль туловища. Труп был свежий. Грязь, налипшая на резиновых сапогах, не была смыта дождями. То, что женщина не успела вытянуть перед собой руки, свидетельствовало о смерти внезапной и мгновенной.

Из оцепенения Андрея вывела длинная очередь. В метрах трехстах справа от него была расстреляна стая диких уток. Было их несколько десятков и ни одна не пролетела через запретную линию. Ветер сносил в сторону Андрея снег из легких перьев.

"Главное — не дергаться и не бросаться с вилами на паровоз,— подумал Андрей,— за один день этот круг не обойдешь, да и дело к вечеру. Надо вернуться в Новостаровку и все хорошенько обдумать".

* * *

В воротах хлебоприемного пункта, затейливо и безвкусно сваренных из арматуры, под полуистлевшим плакатом, на котором можно было разобрать "Спасибо за урожай", висел на брезентовом ремешке голый мужчина с пустыми глазницами. На голове его сидела серая ворона и долбила окровавленным клювом затылок.

На запястье левой руки мертвого человека было вытатуировано "Оля", на правом плече —"Галя", на левой груди —"Света".

Веселый, любвеобильный покойник.

Андрей хлопнул себя по поясу — на месте ли топорик — и шагнул на территорию бомжей.

Все те же люди, все так же молча сидели у костра. Приход Андрея никого не взволновал и не удивил.

— Это ты Ибраим?— спросил Андрей косматого в армейском бушлате.

— Да, это я,— согласился он, подумав.

— Кто там на воротах висит?

— Человек висит.

— Это его бушлат?

— Это его бушлат.

— Ты его убил?

— Он сам себя убил,— не оскорбившись подозрением, просто ответил Ибраим и, подумав, удивился:— Зачем?

— Зачем себя убивают,— вздохнул Андрей.— Жить не хочется — вот и убивают.

— Голова большая, а дурак,— сказал Ибраим больше костру, чем Андрею.— Здесь разве живут? Здесь все мертвые.

— То есть как мертвые?

— Ты на меня смотришь, думаешь: человек смотрит, говорит, кушает, мала-мала какает — значит живет, да? А человек когда не живет? Когда что было — забыл, что есть — то и есть, что будет — то и ладно. Когда человек не думает, чтобы быть хорошим. Я совсем плохой. Мы все совсем плохие. Это страна совсем несчастных негодяев...

— Послушай, Ибраим, ты знаешь, как отсюда уйти?— перебил Андрей бомжа.

— Отсюда нельзя уйти. Нет такого закона, чтобы мертвецы с того света возвращались.

— Какой к черту закон, какой тот свет! Ты знаешь проход, где не стреляют?

Ибраим склонил набок косматый шар головы — настоящее перекати-поле, из которого торчит мясистый нос,— и посмотрел на Андрея глазами ребенка:

— С чего человек начинается?

— Я тебя не понимаю. Что значит, с чего начинается человек?

— С прямой кишки человек начинается. С червяка начинается. Не надо уходить отсюда. Думай — я такой дрянь, я такой дрянь — совсем спокойно будет. Здесь хорошо. Пшенички много. Зимой холодно немножко. Совсем замерзнуть можно. Но потом лето будет,— сказал Ибраим, будто открыл тайну.

— Понятно. Все вы здесь кретины и психи.

— Ага,— без обиды согласился Ибраим и добавил без злобы,— скоро и ты таким будешь.

Отвернулся и сказал костру:

— На озеро не ходи. Плохо на озере. Голова болит. К нам иди. Царем будешь. У нас царя нет.

— Да, ребята... Царя вам только и не хватает.

* * *

Сняв с пожарного щита лом и лопату, Андрей до вечера копал могилу для самоубийцы. Вот кто мог ему многое объяснить. Скорее всего, был он одним из тех, кто охранял зону. Зачем они ее охраняют? Никаких объектов здесь нет. Значит, какая-то гадость. Радиация? Химия? Очаг какой-нибудь чумы? Очень, очень приятные мысли... А как он сюда попал? Ходил в самоволку, выпил, заблудился... А если что-то посерьезнее? Совершил преступление, сбежал? Значит...

Подравняв и пристукав холмик лопатой, Андрей вернулся в зернохранилище.

— Ибраим, у того, что на воротах висел, были какие-нибудь бумаги, оружие? Автомат, скажем?

— Не было.

Все эти пшеницееды обладали одной особенностью. Было что-то в интонации, что не позволяло усомниться в их правдивости. Они не умели лгать.

Странное самоубийство. Если человек, который охранял зону, не смог найти из нее выхода, то... Или не захотел? Знал что-то такое, чему предпочел петлю?

* * *

Влип!

Вот так влип.

Если до зимы он не вырвется из Новостаровки — ему конец.

Андрей бросался во все стороны света, но всякий раз натыкался на невидимую сеть.

Он надеялся на ночь. Но камни, брошенные в темноту, неизменно были поражаемы всевидящим, недремлющим стрелком.

Андрей все больше убеждался, что в этой ловушке лазейки нет.

Паниковать было глупо. Он и без этой зоны уже был в безвыходном положении. Не было особенной разницы, где умирать — в заброшенном селе или в очумевшем от смога и шума городе.

В пик отчаяния погрузился Андрей в озеро и успокоился. Стал готовиться к зиме.

Сушил на печи яблоки-дички вялил окуней и щук. Снял все уцелевшие стекла и вставил в кухонное окно, а остальные забил досками и соломой. Отремонтировал баньку.

Он не терял надежды вырваться из заколдованного круга, но на всякий случай нужно было готовиться ко всему. К тому же работа успокаивала, придавала какой-то смысл нелепой ситуации, в которой он оказался.

В поисках инструментов и материалов для ремонта рубцовской избы Андрей обошел все сохранившиеся дома. И всякий раз, переступая порог разоренного дома, смахивая пыль с забытых и брошенных в спешке предметов, надеялся найти нечто, что объяснило бы причину исхода. Убогий скарб хранил печальную тайну.

Огромные сострадающие глаза Божьей матери глядели на Андрея из темного угла сквозь серебряную сеть паутины. Иконы не забывают. То, что здесь произошло, было паническим бегством или принудительной эвакуацией. К сожалению, немногие уцелевшие дома были разорены: бомжи основательно обшарили их в поисках одежды и пищи. Инструменты их, видимо, совсем не интересовали.

Но ни пешня, ни топор, ножовка или ножницы, ни даже подшитые самокатные пимы, чудом не замеченные бродягами, больше всего обрадовали Андрея. Растрепанная книжка, без обложки и корешка. Вот чему он по-настоящему обрадовался. Даже не книжка, а полсотни страниц, вырванных из книги. Андрей сдул толстый слой пыли и на посеревшей бумаге проявились слова. Он прочел — медленно, наслаждаясь самим процессом чтения, созерцанием букв:

Плывут облака
Отдыхать после летнего дня,
Стремительных птиц
Улетела последняя стая.
Гляжу я на горы,
И горы глядят на меня,
И долго глядим мы,
Друг другу не надоедая.

За свою жизнь Андрей прочел довольно много книг, но никогда не испытывал он такого потрясения. Эти простые, без ухищрений стихи подействовали на него древним заговором, снимающим проклятье, избавляющим от сглаза. Ему открылось небо. Прелесть простой жизни без тайн, страстей и тщеславия, предсказуемой, как солнце, прелесть постоянных мыслей и березы под окном, посаженной в год твоего рождения и растущей вместе с тобой, видимой каждый день до самой твоей смерти.

Андрей вдруг понял, что ничего страшного с ним не произошло. Наоборот, случилось то, о чем он давно и тайно мечтал, не осознавая этого. Он один. Избавлен от тара-

злых страстей грязного города. Что нужно для отрешенного созерцателя, смирившегося с неизбежным, кроме тысячелетнего шепота соленого озера, кроме шелеста трав и свиста ветра? Зона ли освободила его, болезнь ли, но с души был снят тяжкий камень выбора. Можно было ПРОСТО ЖИТЬ, ПРОСТО УМИРАТЬ, как засыхает трава и замерзает озеро. Достойно и смиренно.

Он нашел то место, где стоял его первый дом.

Густо заросший лебедой провал погреба, холмики над фундаментом. Брошенные дома сами себя хоронят. А над землей, словно взбугренной гигантским шампиньоном,— столб пустоты до самого неба.

Он не был особенно счастливым, этот дом, да и стоял он по дороге на кладбище. Мимо его окон в деревянных лодках проплывали в прошлое, покачиваясь на плечах односелькан знакомые новостаровцы. На лицах их была нешуточная серьезность.

Он всегда был как бы в трауре, его первый дом, хранил печальное предание о смерти отца, которое с годами от многочисленных пересказов превращалось в легенду. Когда он впервые услышал эту сказочно жуткую быль об отце?

... Многие поколения женщин оплакивали свою долю на берегу этого озера, раскачиваемого степными, несдерживаемыми ничем ветрами. Горе растворилось в нем без остатка. Может быть, от женских слез и стало соленым это проклятое озеро.

В день, когда родился Андрей, его отец был в Синеозерке — деревеньке у подножия Жаман-сопки. То ли дорогу расчищал на своем тракторе, то ли сено подвозил. К вечеру подъехал он к конторе, хотел позвонить в больницу, узнать как там, а навстречу управляющий — улыбка на лице не умещается: "Суюнши, Сашка! Сын у тебя родился!"

Снял отец трофейные часы с руки и, как ни сопротивлялся перепуганный Амантай, заставил его взять подарок. Сорвал с головы шапку из ондатры — нахлобучил на пробегавшего мимо пацана, кому-то складной нож подарил, кому-то авторучку, кого-то просто расцеловал.

Взревел трактор, словно от радости тоже с ума сошел, и давай кружиться в вальсе по раскисшей от оттепели улице.

Была весна. Дул ветер, в котором пополам зима и лето, запах земли и снега. И весь огромный мир сошел с ума от счастья: у него родился сын!

Большим крюком огибая озеро, в Новостаровку вела разбитая гусеницами, местами захлестнутая волной последних метелей, дорога.

Но был и короткий путь — через озеро.

Он выбрал короткий путь.

Больше его не видели.

Отец просто растворился в весенней дымке на середине озера, откуда не видно ничего, кроме льда, и кажется, что ближе до звезды, чем до берега.

Но, странное дело, Андрей всегда знал, как это произошло. Стоило ему закрыть глаза и он видел и слышал: с удаляющимся стоном лопнувшей струны прошла через все озеро тонкая трещина. Лед разломился сразу, мгновенно, встал на дыбы из-под гусениц голубыми торосами. Выхлестнулась из пролома поверх льда вода, далеко растеклась правильным кругом и медленно вернулась назад.

Можно было только предполагать, в каком месте провалился трактор под лед. Говорили о теплых ключах, подмывающих лед изнутри, о внезапном почти летнем потеплении, случившемся на следующий день.

Долго искали потом с лодок, но так и не выдало Глубокое своей добычи.

... Рос мальчишка. Двумя крошечными озерами глаз смотрел в этот мир.

Мир был страшен.

Тарантулы в холодные предосенние дни заползали в дом и прятались под кроватью.

Старый кот с желтыми злыми глазами запрыгивал на сруб колодца, шипел и выгибал спину, заглядывая вниз.

Зимой, когда до крыш наметало сугробы, залезал на чердак черный козел с аксакальской бородкой есть березовые веники. Он топал по потолку, а дома никого не было.

Но самое страшное в этом мире — озеро. Огромная соленая могила его отца. Озеро и тракторы — железные, безжалостные звери. Их лязг разрывает уши. А когда они тарахтят вдали, не хочется жить.

А озеро шумит, раскачивает лодки, чтобы потопить рыбаков. "Не заходи глубоко, Андрюша, утопленник за ногу схватит..."

Он верил и знал, что утопленник этот — его отец.

Мальчишка заикался и ни с кем не дружил.

Мама уходила на ферму доить коров. Мальчишка купался в бочке и садился на заваленку — загорать. Смотреть, прищурившись на солнце. Ветер доносил запах озера и шум волн.

Подъехал на машине сосед дядя Витя. Вытащил из багажника большой машины машину маленькую. Из дома, сломя голову, выбегает беззубый Санька и застывает, как вкопанный: он не верит своим глазам, он парализован счастьем. Дикий вопль восторга. Такой громкий, такой истошный, что у всей деревни волосы дыбом.

Мальчишка долго смотрит, как неутомимо катается на новенькой машине соседский пацан. Ему тоже хочется прокатиться. Он идет в сарай, где стоит в углу его конь — палинка и долго скачет на прутике вокруг столба.

... В снежный зимний день пришла к нему светлая девочка:

— Идем со мной в поле.

— Я ба-а-аюсь, там ты-, там ты-, та-а-ам тракторы,— вот как он ответил.

Но девочка не засмеялась. Взяла его за руку и повела за огороды туда, где кроме снега ничего не было. Белый снег и черные тракторы, дым из металлических папирос кольцами.

— За-а-ачем они пашут снег?

— Они сеют белую пшеницу. Из нее пекут белый хлеб.

...Знойное лето. Горячие доски лодок. В зеленоватой воде озера отражаются высокие, пухлые облака. И как клочья облаков, плывут гуси. Белые — аж глаза режет. А клювы у них желтые, как осенние листья.

Девочка стоит по пояс в воде и манит к себе. Мальчишка стоит на берегу — сомневается. Страшно.

Он преодолеет страх. Научится бегать по дну. И однажды он сделает то, что никто никогда не делал. Он переплывет это озеро. Проклятое, любимое озеро.

Пройдет время, и эта светлая девочка вылечит его от заикания.

Но это будет потом. А сейчас мальчишка не решается войти в теплые воды озера, потому что где-то на дне стоит трактор в тине и водорослях, а в кабине его сидит отец и смотрит из глубины на берег и видит его. А в стекла тыкаются носом большие голодные щуки.

Где сейчас эта девочка? Он не помнит ее лица. Все что он помнит — белая ладошка в темной проруби окна.

* * *

Долгими осенними ночами смотрел Андрей в огонь, в жаркую пещеру печи и думал о причине, по которой из зоны не выпускают ничего живого. Где-то здесь была шка-

тулка Пандоры, источник зла. Зона хранит в себе страшную опасность и масштабы ее таковы, что жизнь человека здесь ценится не дороже жизни суслика.

В то же время Андрей не однажды наблюдал, как в зону беспрепятственно залетают птицы, забегают звери. Да и сам он попал сюда без особых проблем.

Все это приводило к мысли о странной и подлой ловушке.

Разгадка была где-то рядом.

В странном поведении людей, живущих в зернохранилище.

Но с большим интересом и тревогой прислушивался он к себе. Чувствовал Андрей себя здоровым. Но порой вместе с головной болью накатывала тоска. Такая неотвязная, что все чаще он подумывал о самоубийстве.

Странные эти приступы начинались всегда одинаково. Перед глазами возникала обыкновенная швейная игла. Она начинала расти. Медленно и неудержимо. Можно было закрывать глаза, смотреть в огонь или на солнце, трясти головой — видение не исчезало, от него нельзя было избавиться. Наступал момент, когда на идеально ровной поверхности иглы появлялись царапины. Они росли, росли — и превращались в рытвины. Игла становилась отвратительно корявой, в ней возникали дыры. И было в этой металлической проказе, в неудержимом расширении, зловещем стремлении к бесконечности нечто такое, что Андрей начинал терять контроль над собой. Возникало желание вращать головой и истошно кричать в разверзшуюся бездну.

Это был порог, за которым начиналось сумасшествие.

В любое время суток, когда этот бред доходил до опасного предела, Андрей срывал с себя одежды, бежал к озеру и погружал тело в обжигающе холодную воду. Только снежным шоком и можно было изгнать этот сатанинский бред.

Это были жуткие минуты.

Приглядываясь к зерноедам, Андрей догадывался, что нечто подобное в свое время испытали и они. И это нечто опустошило их, высосало мозги, лишило лица выражения. Зона на всех одела одну и ту же маску. Он никогда не видел их злыми или веселыми, они не смеялись и не плакали. Но лица их нельзя было назвать и серьезными. Он затруднялся определить, что это была за маска. Странное

выражение — вот и все, что можно было сказать об этих лицах.

Оставалось впечатление СОРВАННОЙ РЕЗЬБЫ.

Были эти люди совершенно инертны. Они оживлялись лишь только при виде пищи. Бросались на нее жадно, но тут же успокаивались, увидев, что ею завладел кто-то другой.

Чаще других Андрей видел Пацана.

Пока шла щука, он спиннинговал каждое утро, делая запасы на слякотное межсезонье, когда всякая рыба перестает браться и уходит на глубину, дожидаясь льда. И всякий раз за его спиной появлялся босой Оборвыш. Как прикормленная собачонка следовал он за Андреем на некотором расстоянии. Первая рыба доставалась ему. Он брал ее без благодарности и, прихрамывая, уходил. Все попытки заговорить с ним были тщетны.

Как дикий бельчонок в парке, он брал из рук, но в руки не давался.

Вот у него, единственного из всех обитателей зернохранилища, на лице было какое-то выражение. Такая грустная, симпатичная мордашка. Чрезмерно, однако, чумазая. С остальными зерноедами было легко общаться. Они всегда подчинялись приказу. Даже страшноватый Ибраим. После общения с ними оставалось жутковатое впечатление: у них вообще отсутствует понятие о собственном "я", они вообще не осознают себя людьми и готовы подчиниться кому угодно, даже говорящему попугаю. Их эго, их "я" находилось как бы вне их...

Мальчишка же сохранил свое маленькое "я". Не то что он активно защищал свои интересы, но иногда делал вид, что не слышит то, чего бы ему не хотелось слышать. Одно то, что он каждое утро приходил за рыбой, отличало его от зерноедов. У них, видимо, и мысли не возникало заботиться о разнообразии рациона, им было достаточно той пищи, на которой они сидели, зарывшись в которую, спали.

Однажды ударил первый ночной морозец. Схватил ледком лужи, выпал снежок. Но мальчишка все так же пришел на берег. Был он бос и по-гусиному, стоя на одной ноге, другую поджимал. Каким бы ярым сторонником закаливания ни был Андрей, видеть синие мальчишеские ноги на снегу было выше его сил. Пришлось подарить ему хэбэшное трико, запасные носки и старые, подшитые самокатные пимы — находку, которую он хранил на случай, если придется зазимовать в Новостаровке. Пимы для па-

цана были велики. Они, собственно служили ему не только обувью, но и штанами. Ходил он теперь, как на ходулях, и при каждом шаге шуршало сено, набитое в пимы для заполнения объема.

* * *

С севера на Глубокое прилетали тысячи уток и гусей.

Зона беспрепятственно впускала их. Но Андрей знал, догадывался, что ни одну из птиц она не выпустит. Новостаровка стояла в самом центре заколдованного круга, и радиус циркуля, которым очертили этот круг, был не менее 15—20 километров, поэтому не было слышно выстрелов. Но Андрей представлял, какая там, у Жаман-сопки, мясорубка, какие валы из трупов лежат на давно не засеваемых полях.

— Хочешь, подстрелим утку, Оборвыш? Ты ел утку? Жареную, начиненную яблоками-дичками?

Пацан посмотрел на Андрея восхитительно пустыми глазами и сказал:

— У тебя утки нет.

— Да, но у меня есть спиннинг.

Они стояли за стеной чернотала, на перелете. Стая крякашей, шурша крыльями, шла на снижение.

Андрей снял катушку с предохранителя и с силой бросил тяжелую самодельную блесну в стаю, нарушив слаженный полет птиц.

Он не надеялся на удачу. Скорее всего, это была шутка. Может быть, с крошечной надеждой. Но блесна зацепила одну из уток. Она оказала неожиданно слабое сопротивление.

Это было потрясающе острое чувство — стаскивать с неба хлопающую крыльями добычу...

... но как хорошо, что рыбы молчат, когда их вытаскиваешь на берег.

В глазах пацана загорелся интерес. Андрей понял, что этот звереныш сожрет сейчас эту утку живой, с потрохами.

Утка была приготовлена старым охотничьим способом. Обмазанная глиной, была она закопана в землю, а над ней разожжен костер. И пока он горел, пацан, как гвардеец, на карауле, ходил вокруг огня на негнущихся в коленях пимах.

То, как он ел свою половину дичи, можно было назвать одним словом — вдохновение.

Опасаясь возможной инфекции, Андрей дал себе зарок избегать близкого общения с обитателями зернохранилища. И он быстро отвадил Гаду Лысую от визитов. Удивительно послушный народ. Скажешь: не приходи — и их словно на свете нет. К тому же странный этот народец боялся озера. Ко всему равнодушные, почти лишенные чувства самосохранения, зерноеды испытывали панический страх перед Глубоким, а точнее перед его мифическим обитателем — ужасным и безжалостным Зверем.

Но для Оборвыша Андрей делал исключение. Он умилял своей звероподобностью. Андрей подкармливал его, как комнатную собачку, выброшенную какой-то сволочью на улицу. Впрочем, через него перепадало и другим зерноедам. Парадоксальная вещь: пацан, единственный из старожилов зоны, мог драться за добычу, вырывать ее из рук других, но он же был единственным, кто мог поделиться добычей с другими, проявить какую-то заботу.

Андрей после удачного броска в стаю соорудил насадку из трех блесен, каждая на отдельном поводке, и, если отчего-то не бралась рыба, "блеснил" уток. Иногда ему везло. Не потому, что он был уж очень искусным спиннингистом, просто отсутствие охотников на озере, тишина притупляли бдительность уток. Если ему не везло, он долго выпутывал из зарослей чернотала лессу.

Пацану так понравилась жареная утка, что он стал прибегать на берег трижды в день.

* * *

Нет, в его положении были свои преимущества.

Это, оказывается, такая прелесть — жить без телевизора и газет!

Как приятно каждое утро, погружаясь в озеро, осознавать, что ты не в городе, что не надо тащить свое вялое, невыспавшееся тело на надоевшую работу, втискивать его в автобус, переполненный людьми и ненавистью.

Никому не завидовать и освободиться от зависти других. От зависти без особых причин, зависти как состояния души, когда завидуют даже твоим болезням.

Просто приятно осознавать, что наконец-то ты никому не мешаешь.

Оборвались эти прочные нити, связывающие его с миром. И порой он был просто благодарен зоне за то, что она лишила его выбора — возвращаться или нет.

Другое его тревожило — начинали лопаться нити внутри него. Он ловил себя на мелочах. Сварил уху из неочищенной от чешуи рыбы, не вымыл после обеда ложку, давно не стриг ногти...

Андрей натягивал узду, не позволял себе расслабляться. Трижды в день входил в стекленеющие, покалывающие невидимыми иголками воды Глубокого, избавляющего от тоски и апатии, от нестерпимого желания курить.

Он понимал: попытки вырваться из зоны бесполезны.

Но он также понимал: с той секунды, когда он смирится с этим, мышеловка захлопнется навсегда, и он придет в большой дом, сядет у костра, тупо уставится в костер и будет медленно жевать пшеницу. Он свободен только до тех пор, пока может отказаться от свободы.

Ночью, лежа в спальном мешке, как гусеница в коконе, он изобретал десятки способов побега из зоны.

Хорошо бы найти нечто пуленепробиваемое, поставить на колеса и толкать впереди себя.

В детстве он втискивался в круг автомобильной камеры и мальчишки скатывали ее с берега. Небо — трава — небо — песок и — белый взрыв брызг. Прокатиться в бочке через простреливаемое поле.

Вариант этот, конечно, никуда не годился. В памяти всплывала рельса, продырявленная бронебойной пулей. Да и в бочке, даже если он найдет пуленепробиваемую, всю жизнь не проходишь, когда-то придется вылезать.

Хороший способ подсказывала речка Веснянка, дважды пересекающая границу зоны. Можно проплыть простреливаемое пространство с камышинкой в зубах. Но речка не зря звалась Веснянкой. Речкой она была только весной. Мутная и бурная, рушила мосты, отрезая Новостаровку от райцентра. Сейчас она представляла собой глубокий овраг с отвесными берегами и вереницей луж-омутов.

Этот вариант был неплох, но его надо было отложить до весны, или — до зимы. Вдоль берегов непременно наметить сугробы. Можно прорыть туннель. В детстве у мальчишек было любимое занятие — рыть ходы в сугробах вдоль плетней.

Правда, этот туннель будет довольно длинным...

Зимняя метель — вот что могло помочь. Встречная метель с нулевой видимостью.

Хотя ночные попытки убедили его: неумолимые стрелки видят в практически абсолютной темноте, как днем.

Он отвергал один способ за другим и тут же выдумывал новый. Должен быть какой-то простой путь. И он найдет его.

Но почему с ним не идут на контакт?

Вот что было самое странное и самое оскорбительное в этой ситуации.

Он заставит хотя бы поговорить с ним. План был прост: швырять и швырять в одну точку все, что попадется под руку, пока ТАМ У НИХ не кончится боезапас или терпение.

Он устроит им тарарам.

* * *

Утром следующего дня он направился берегом озера к Жаман-сопке.

На то было несколько причин. Там он еще не был, и теплилась надежда на оконце в заколдованном кругу. Именно в том краю протекала Веснянка. И наконец у Жаман-сопки стояла когда-то деревня Синеозерка.

Утренние волны разбивали ночной ледок. Неуютно было идти под этот неумолчный холодный перезвон маленьких осколков льда. Чем дальше уходил Андрей от развалин села, тем неуютнее становилось на душе. Мир казался пустой квартирой с перемерзшими батареями отопления и выбитыми стеклами. И сквозь эту бесхозность, ненужность пробивался давно забытый детский страх. Ему казалось, он давно научился глушить его. Достаточно было взглянуть на себя со стороны как на постороннего. Но на этот раз вид одинокого существа, бредущего берегом странно покинутого озера, не успокоил. Он чувствовал опасность. И исходила она от Глубокого...

Ему казалось — он научился владеть собой, и не боялся за себя. Умирают не от холода, жары или голода. Умирают всегда от страха.

К нему возвращался беспричинный парализующий страх.

Андрей не верил в белиберду. Он знал, что в основе сложных, мучительных чувств и переживаний всегда лежит какой-нибудь пустячок. Человеку кажется — он страдает от несправедливости мира, от непонимания

окружающих, от столкновения своей тонкой, поэтической души с грубой действительностью. Он изливает свои особенные чувства в философских, авангардистских стихах. И очень бывает удивлен, когда выясняется, что причина его высокого неудовольствия — элементарный, извините, запор.

Именно от озера исходила ОПАСНОСТЬ. Страх был так велик, что хотелось, как в детстве, закрыть глаза, чтобы озеро исчезло. Андрей остановился, сбросил рюкзак и долго смотрел на свинцово-розовую линзу утреннего озера. И он понял, что его беспокоило. Странный прибой, похожий на прилив и отлив в течение минуты. Озеро сжималось и расширялось. Пульсировало. Дышало...

Ритм его порой сбивался. Ждешь очередной волны, а ее нет. Будто там, в глубине, кто-то затаил дыхание.

Он чувствовал на себе внимательный, немигающий взгляд. Из соленой могилы смотрел на него отец. Начинался приступ головной боли. Возвращался бред: росла и корявилась швейная иголка. Он вспомнил то, первое, видение. Нет, не свет преломился в капле на реснице. Сквозь толщу вод он видел затонувший трактор.

От любви, насморка, тоски, желания курить и чертовщины у Андрея было одно лекарство: просветляющий удар холода по нервной системе, снежное пробуждение. Он разделся и вошел в ледяное крошево, испытывая невыносимое наслаждение от обжигающего холода вод враждебного озера, от укола тысячи игл, вонзившихся в тело одновременно.

Прошло наваждение. Озеро как озеро. Прибой как прибой.

* * *

У Жаман-сопки Андрей ожидал увидеть горы трупов. Именно на этот ориентир летели несчитанные стаи гусей и уток. Представлялась жуткая картина: груды птиц с изломанными крыльями, изодранными пулями телами, а рядом — огненные пятна корсачков, позарившихся на легкую добычу.

Он все дальше удалялся по открытому пространству от озера, но стрельбы не было слышно, хотя то и дело по ходу его движения пролетали стаи.

Росла надежда и колотилось сердце. Это было окно. Вне всякого сомнения — окно.

— Стой!

В метрах ста перед ним словно из-под земли выросли три человека. По бокам мешковатого гражданского — статные, высокие военные. На гражданском тоже была камуфляжная форма, но сидела она на нем так, что было ясно — этот человек к армии не имеет никакого отношения. На голове у него была яркая лыжная шапочка с помпоном, пол-лица занимала партизанская борода, а все остальное — огромные очки.

— Здорово, мужики!— обрадовался Андрей и ринулся вперед.

Автоматная очередь от живота.

Андрей присел:

— В чем дело, мужики?

— Назад!— энергично махнул рукой один из военных.— Назад!

— Вы что, опупели или в войну играете? Куда назад? Долбанулись что ли? Лучше стреляйте. Назад я не пойду: так и так подыхать.

И он сделал шаг. Правда не очень широкий, но решительный.

Пули взбили пыль перед ним.

— Стой,— спокойно сказал очкастый.— Еще шаг — и тебя убьют.

— Пленных не берете? Убьют-то за что?

— Как ты забрел в зону?— проигнорировал шутку и вопрос очкастый.

— Как то есть забрел? На рыбалку.

— Не откуда?

— От верблюда.

— Ты помнишь?

— Отчего же не помню? Помню. Только вы мне, мужики, что-то не внушаете доверия. Психи вы с автоматами. Стрелять-то меня за что? Я не военный преступник и не казара перелетная. Человек.

— Ошибаешься,— с холодным сочувствием сказал гражданский,— ты не человек. Ты СУЩЕСТВО ИЗ ЗОНЫ.

— А ты мудак в очках,— комплиментом на комплимент ответил Андрей.

— Давно ты здесь?— пропустил оскорбление мимо ушей очкастый.

— Двадцать третий день...

— Странно...

Маленький, пузатенький очкарик скрестил руки, склонил набок голову. Думал. Помпон раскачивался в такт его мыслям. Плечистые военные не принимали участия в раз-

говоре, стояли молча. Правые руки на автоматах. Как на дамских сумочках.

— А скажи, что ты чувствуешь сейчас: злость, досаду, страх?— тоном воспитательницы детского сада спросил гражданский.

— Что ты! Какая досада! Я испытываю огромную радость при мысли, что меня сначала едва не продырявили, а потом пожалели и решили закопать живым в могилу. Ну, что за дурацкие вопросы! Иди сюда, а эти орлы пусть разок пальнут в тебя. То и испытаешь, что я испытываю. Что происходит, мужики? Война, что ли? Как человек может стрелять в другого человека только потому, что тот, скажем, заблудился?

— Я так понимаю, это не первая попытка вырваться из зоны? Так чтобы ты знал: люди могут и ДОЛЖНЫ стрелять в других людей, если те представляют угрозу, опасность. Хочу тебя предупредить: стреляют не люди, а самонаводящиеся автоматы. По любой движущейся цели, без промаха.

— А что здесь — автоматов не хватило?

— Здесь один из основных миграционных путей перелетной дичи. Оставлено окно.

— Я сейчас прослезюсь, мужики. Это так гуманно, так гуманно,— умилился Андрей.— Только я что-то не пойму вашей избирательности. Гусей и уток стрелять нельзя, а зайцев, ворон, сорок, ну и, естественно, человека, извиняюсь, существо из зоны — их можно?

— Зайцев, ворон и сорок — тоже можно не стрелять. Но самонаводки бьют по любой цели. Опасность представляет только человек.

— И в чем же эта опасность?

— Тебе это будет трудно понять.

— Я попытаюсь.

— Ты, конечно, видел людей из зоны?

— Конечно.

— Человек в зоне перестает быть эгоистом...

— Какой ужас! За это действительно надо убивать. Что же вы, мужики, сразу не сказали. Больше вопросов нет.

Очкастый закурил. Выпустил струю дыма вверх.

— Дело в том, что ЭТО передается другим...

— Половым путем, естественно?— не удержался Андрей.

— Увы, механизм пока не изучен,— опечалился очкастый, страдающий, видимо, клиническим отсутствием юмора.— Если бы очаг не был блокирован вовремя, про-

произошла бы катастрофа. Страшно представить: миллионы, миллиарды (!) людей, которым наплевать на себя. Когда человеку плевать на себя — ему плевать на все. Деградация. Хаос. Конец цивилизации. Планета бомжей...

Пора, пора эту планетку посадить на карантин,— согласился Андрей и спросил уже без ерничества.— Где сейчас новостаровцы?

В жизни Андрея еще не было такой долгой красноречиво зловещей паузы. Тот самый вопрос, что имеет обыкновение порой зависать в воздухе, все рос и рос, он был больше воздушного шара, а очкастый молчал. Он докурил сигарету, тщательно затоптал окурок и мрачно сказал:

— Не знаю.

Человек этот умел врать. Андрей понял одно: его считают кем-то вроде прокаженного и живым отсюда не выпустят. Он содрогнулся от внутреннего инея. Зябко стало на душе, неуютно. Бесполезно было о чем-то разговаривать, что-то просить. Его просто вычеркнули из списка людей. Нужно было повернуться и уйти. Но уходить не хотелось. Всего несколько десятков шагов отделяло его от привычной человеческой жизни. А если сейчас броситься вперед — и будь что будет. Неужели убьют? Убьют.

— Мужики, угостили бы вы существо из зоны сигаретой.

— Не жалко. Только, извини,— ближе подойти не могу.

Андрей снял рюкзак, вытащил спиннинг. Настроил. И швырнул блесну. Военные вскинули автоматы, сопровождая полет сверкающей ложки. Блесна упала у ног очкастого.

— Цепляй!

... Андрей снял с крючка пачку "Столичных", закурил и сказал не без злорадства:

— Мужики! Я этого типа в очках сразу бы застрелил. Он же только что контактировал с существом из зоны. За блесну цапался.

— А ты шутник,— хмыкнул очкастый.

— Нет, ребята, это вы шутники. Объясните, как я мог попасть в зону, если ее так тщательно охраняют, что и заяц не пробежит?

Военные молчали. Надежные парни. Почти как самоводящиеся автоматы.

— Объясню, почему не объяснить,— сказал очкастый.— Понимаешь, какое дело: выход из зоны охраняется более тщательно, чем вход в нее. Вход охраняют люди, а выход — автоматы. А огонь они открывают только по ми-

шеням, движущимся из зоны. Задача автоматов — не выпускать, задача людей — не впускать.

— Понятно. Передайте им, что они хреново выполняют свою задачу.

— Ну — люди...

— Мужики! Я нормальный человек. Я эгоист. Я такой страшный, такой безнадежный эгоист — просто кусок дерьма. Вот я какой эгоист. Выпустите меня отсюда...

Молчали военные. Молчал очкастый. Тихо было в поле. Мир оглох.

— Я должен тебя предупредить: ночью этот проход охраняется в автоматическом режиме,— сказал наконец очкастый.— Не в моей компетенции решать твою судьбу. Приходи сюда через неделю. В это же время. Постарайся не наделать глупостей. Знай, что ты — исключение из правил. Возможно, в тебе — ключ от зоны. Все. До свидания.

Военный слева махнул рукой: ступай.

Андрей не спеша сложил спиннинг. Взвалил на плечи рюкзак.

— Да,— сказал он отрешенно,— сержант ваш в зону забрел. Повесился.

И пошел к озеру.

— Эй, лови!

Андрей обернулся. Военный справа коротко разбежался и метнул в него гранату.

Это была фляжка. Со спиртом.

* * *

Пограничная между осенью и зимой неделя тянулась бесконечно долго. Перестала брать щука. Ушла на глубину. Зона притихла, сжалась в тревожном ожидании холодов и снега. А потом зарядили нудные, нескончаемые дожди. Озеро внизу, озеро вверху, а между ними — слякоть и беспросветность. К чему бы ни прикасался, на чтобы ни смотрел Андрей — все вызывало брезгливость.

Каждое утро к озеру приходил пацан. Ждал, когда Андрей выйдет со спиннингом. Не дождавшись — уходил, хлюпая по лужам разбухшими пимами.

Выпустят, уверял себя Андрей, непременно выпустят. Осмотрит, обстукает его какая-нибудь ученая шишка: нет, скажет, ребята, это не существо из зоны, человек это, нечего ему делать в вашем вонючем загоне для прокаженных.

Снились ему удивительно яркие, насыщенные сны. Их даже нельзя было назвать снами. Скорее — воспоминания. И проснувшись, он еще долго хранил чувство первого, свежего впечатления. Он просто на время возвращался в прошлое.

... Он открывает окно. С подоконника перелезает на ветвь клена. Клен в белом известковом чулочке. На нем растут кислые вертолетики, похожие на стрекозиные крылья. Он набирает их полную горсть, бежит к колодцу, вытягивает над срубом руку и разжимает пальцы. Золотые круги опускаются по спирали к темному дну. Солнце высоко, свет пересекает шахту колодца наискосок. Из света в тень, из тени на свет кружатся вертолетики. Дно уже усыпано ими, а он все не может наглядеться на этот короткий полет. И снова бежит к клену.

К колодцу, позванивая ведрами, идет женщина-весы. Она пахнет свежевыстиранными простынями и свежеиспеченным хлебом. Женщина прогоняет его от колодца.

Он ждет, пока она наберет полные ведра холодной влаги, сплеснет на землю зачерпнутые вертолетики и уйдет, грациозно сохраняя равновесие.

И снова бежит к колодцу с зажатыми в кулаке семенами клена.

Нет на свете важнее дела, чем выпускать в темный колодец золотые вертолетики...

... Окно (почему-то все сны начинались с окна), большое школьное окно, с чистыми, только что отмытыми стеклами растворено в сад, белый от цветущих дичек. На подоконнике сидят, свесив ноги на улицу, девочки. Белые блузочки, красные галстуки, цветы из папиросной бумаги на веточке с только что распустившимися почками.

"Утро красит нежным светом..."

Острое чувство счастья и грусти.

Первое мая.

Робкая и чистая зелень.

Пахнет землей. Тропинка в саду. На каждой травинке нанизана сверкающая капелька...

Было страшно, что, вспыхнув, они будут вычеркнуты из памяти.

Прошлое, думал он, это то, чего нет. Лишь, неверное, искаженное отражение в памяти. Не все ли равно было это или не было? Свое прошлое можно придумать. Однако отчего мы так дорожим этими никому не интересными, кроме нас воспоминаниями? Потому что, кроме прошлого, у

человека ничего нет. Ничего нет, кроме ностальгической, неверной памяти. Будущее — это то, что никогда не наступит. Человеку дана одна летящая секунда, и он живет этой секундой всю жизнь, вцепившись в нее, словно в гриву скачущей лошади. Не успеваешь ни разглядеть, ни полюбить ни лиц, ни мест — все уже в прошлом, в твоей ненадежной, слабой памяти. Кладбище дней.

Его память вышла из-под контроля, она просто затопила настоящее, уничтожила его. Стоило закрыть глаза — и он снова жил В ТОМ СЕЛЕ. Порой он отправлялся бродить по мертвым улицам. Ностальгия душила его. Он видел одновременно два села: то, что сохранила память, и то, что от него осталось.

... Он никогда не видел ее под крестом, эту церковь.

Для него она всегда была клубом.

Но что-то от церкви всегда сохранялось в этом здании. Особые сквозняки и особые звуки. Настроение. Всегда казалось: на тебя кто-то смотрит, одобряя и поощряя.

В полуобрушившийся потолок лил дождь. Струи разбивались о сцену. Ровный, гипнотизирующий шум.

Прошлое ли наслоилось на осенний ливень, дождь ли захлестнул память, ностальгия ли перемешала прошлое, настоящее и будущее,— но стоял на сцене рыжий человек с лысиной в веснушках и наполнял зал рокотом своего голоса. Словно три пророка проповедовали разом.

— Вы не тени, ребята, вы — актеры. Сыграйте так, чтобы в зале смотрели на тени, а видели людей. Сыграйте так, чтобы даже завхоз Петрович слезами залился.

Это был местный композитор, изобретатель летательных аппаратов и колодцекопателей, художник, скульптор, поэт, драматург, режиссер, актер и, что естественно при стольких талантах в глухой деревне, горький пьяница Веня Крупов. Подвижный, как язычок пламени, жил он в постоянной экзальтации, вечно блестели его глаза, а говорил Веня, захлебываясь от детского, захлестывающего изнутри восторга. И как только вмещались циклопические страсти и левитанский бас в это тщедушное тело! Одареннейший был мужик. Все, за что он брался, получалось у него легко, с первого раза. Родись он в интеллигентной семье, в большом городе — вся страна, возможно, знала бы его и гордилась им. Но угораздило родиться седьмым ребенком в семье новостаровского пимоката — и звали его односельчане балаболкой, а также простодырым вертопрахом. Сам Крупов в одном из своих лирических стихотворений так описал эту ситуацию:

Театр теней Вени Крупова потряс Новостаровку и окрестные села. Волны этого потрясения докатились даже до столицы. Молодежная газета опубликовала портрет красивого спортсмена Феди Сыромятникова, уверяя, что это Вениамин Новостаровский из деревни Крупово, сочинивший музыку к балету и сам исполнивший заглавную партию. Заметка называлась "Тракторист на пуантах".

Театр теней — это луч проектора, направленный из глубины сцены на изнанку экрана. Это набор разноцветных стекол. Красное — пожар, красное с желтыми, зелеными и голубыми полосами — восход и закат, красное с царапинами — утренний ветер, желтые пятна на синем — листопад. Это силуэты деревьев, плетней, колючей проволоки, домов на стеклах цвета штормящего озера. Пианино, такое же благородное и старенькое, как играющая на нем старушка-ссыльная. Нечто седое, бодрое с дымящейся папиросой "Север" в уголке рта. Это львиный рык Вени с вибрирующим мычанием в паузах, и мальчишки и девчонки в луче проектора. Они скачут на плоских картонных лошадях, рубятся деревянными саблями, умирают, сраженные пулями, сеют хлеб, проезжают в кузове машины, обнимаются и дерутся, рубят дрова и развешивают сети, несут плоские лодки и гробы, играют в футбол и сидят на собраниях...

И из этих разноцветных стеклышек, звуков старенького пианино, раскатистого баса, сопровождаемого как бы подземным гулом, грубых силуэтов и мельканья теней на экране проявлялась как бы новая реальность, ее отражение в знакомом окне.

Неизбалованный зрелищем, неискушенный деревенский зритель домысливал ее для себя, из намеков, плоских теней создавал свой трехмерный мир, наполнял его красками и живой кровью.

И плакал-таки старый матерщинник Петрович, спрятав нос в отворот телогрейки.

Это был странный спектакль, гениальный в своей наивности и прямолинейности. Пьеса рассказывала об истории села Новостаровки, дети и внуки героев, сами герои сидели в зале — с затуманившимися глазами и комом в горле. Это была коллективная, очищающая душу исповедь.

С тех пор, как с нее сняли крест, ничего подобного церковь не знала.

После первого спектакля в Солоповом переулке отрицательные герои — какая же пьеса без злодеев!— встрети-

ли пьяного от славы и самогона Веню и крепко его покритиковали без слов. Стал после той ночи Веня шепелявить и прихрамывать на одну ногу.

По просьбе новостаровцев спектакль был поставлен еще однажды. Августовской звездопадной ночью, при большом стечении народа, на берегу озера. Огромное полотно в пролете телеграфных столбов слегка колышется от ветра, луч автомобильной фары. Ровный, как дыхание спящего существа, шум озера. Тени, всколыхнувшие память и душу. А пьеса так и называлась: "У соленого озера".

... Осенний дождь лил в провал крыши, струи разбивались о пустую сцену. И печально думал Андрей под вороний грай: может быть, он — последний новостаровец на планете. И уже никто и никогда не спросит его: "Ну как там Новостаровка — все стоит? Вверх трубами?" И никого не взволнует, не огорчит вид этих развалин.

Разбудите, ребята, память, а она, голубушка, сыграет в каждой голове свой спектакль...

ЧЕЛОВЕК — ЭТО ПРОШЛОЕ. СОТРИ ЕГО ПАМЯТЬ — И НЕТ ЧЕЛОВЕКА. ЗАПИШИ НА ЕГО ПАМЯТЬ ЧУЖИЕ ВОСПОМИНАНИЯ, ФАНТАЗИИ — И СОЗДАШЬ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. Религиозный фанатик станет ярым атеистом, садист — святым, святой — негодяем. Вот возможная цель эксперимента, который на каком-то этапе вышел из-под контроля. Если, конечно, такой эксперимент проводился.

... Андрея все так же преследовали странные сны-воспоминания. Но вспоминал он то, что не должен был помнить, то, что происходило до его рождения. Он выходил за границы своего я. На его память наслаивалось прошлое его отца. Но чувствовал он себя не сыном, не отцом, а неким третьим существом. Этот новый человек помнил две своих жизни, по-своему оценивал ситуацию. "Для кого-то это зона,— думал он,— чумной очаг, заразный барак. Но я действительно существо зоны. Я создан из вещества этой земли, этого озера. И нет здесь никакой метафоры. Плоть моих родителей была взращена хлебом и рыбой этих мест, я слеплен из элементов дикой земляники, парного молока, из элементов животных и растений. Это запретная зона. Но это моя зона."

* * *

Пришел пацан за рыбой, сообщил:

— Из леса зверь вышел.

На вопрос, что за зверь, объяснил, как умел. Приставил два пальца ко лбу, изогнувшись, изобразил рукой

хвост, погладил себя по лицу, груди, ногам: "Черный. Страшный."

— Понятно. Черт. А что еще было у зверя?

— На шее звенит. Идем, съедим зверя.

В зоне появилась новая пленница: грустная, голодная корова.

— Есть мы этого зверя не будем,— остановил кровожадного пацана Андрей,— мы его кормить будем.

— Рыбой?— спросил пацан с некоторой ревностью.

Корову пригнали в селище и она, наверное, подумала, что попала в коровий рай: столько здесь было ничейных стогов. Многочисленные попытки извлечь из нее молоко привели к весьма скромному результату. Дважды корова била копытом по чугуну, с укоризной смотрела на Андрея, и, если бы не стог, давно бы сбежала. И вот тут-то пацан удивил Андрея. Видимо, в той жизни, жизни до зоны был он хозяйственным деревенским пареньком, маминым помощником. Он не помнил, что такое корова, но его руки помнили, как ее доить.

— А где твои... товарищи?— спросил Андрей осоловевшего от выпитого молока пацана.

— Холодно. У костра сидят. Пшеницу кушают.

Когда нормальный человек смотрит на бездомную собаку, он испытывает чувство вины, хотя не он причина ее бед. Андрей смотрел на пацана, и совесть просто пожирала его. Но что он мог сделать для него? Взять с собой на встречу с очкастым? Тогда уж точно его отсюда не выпустят. Как бы он ни относился к пацану, но Оборвыш — действительно существо из зоны.

* * *

— Ты все также хочешь уйти из зоны?— спросил очкастый и хитро прищурился.— А зачем?

— Я понимаю, земляк, ты большой ученый,— Андрей пытался скрыть раздражение,— но даже для большого ученого вопрос идиотский.

Очкастый обрадовался и посмотрел на грузного, седого человека: ну, что я говорил? Тот одобрительно кивнул головой: вижу, коллега, вижу.

— Видишь ли, люди, попавшие в зону, очень скоро теряют всякий интерес к жизни,— разъяснил очкастый.— Они забывают все, что с ними было до зоны, в том числе и себя...

— Подозрительно много, мужики, знаете вы о зоне...

— Увы, не так много. Но ты бы мог помочь нам в ней разобраться.

— Ни хрена, мужики, помогать я вам не буду.

— Почему так?

— Я — нормальный человек. А нормальные люди ничего даром не делают.

— Что ты хочешь?

— Выйти из зоны. Неужели так трудно определить: нормальный человек перед вами или...

— К сожалению,— вздохнул седой,— мы еще не разобрались в природе этой ... э-э-э ... аномалии и не располагаем надежным тестированием. Это не тот случай, когда можно рисковать. Придется немножко подождать.

— Немножко — это сколько?

— Ну, трудно сказать... Это и от тебя зависит. Чем быстрее разберемся, тем скорее примем решение... Ясно одно: в тебе некое противоядие, нечто, что сопротивляется зоне. В наших и твоих интересах выяснить, что это... будем регулярно встречаться, будешь отвечать на вопросы.

— Вот вам повезло, мужики,— обрадовался за собеседников Андрей,— не каждая лабораторная крыса умеет разговаривать. Спрашивайте.

— Прежде всего анкетные данные — как зовут, где родился, кем работал...

— Мужики, вы действительно принимаете меня за идиота?

— С чего ты взял?

— Рассказываете, можно сказать военную тайну и просите сообщить, где меня можно найти, если я все-таки вырвусь из вашей ловушки...

— Ну, хорошо,— сказал седой,— я думаю у нас еще будет время приглядеться друг к другу и мы научимся доверять.

— Мужики, я самое доверчивое существо на свете. Я всем доверяю. Кроме одного человека.

— И кто же этот человек?

— Я.

— Понятно,— оскорбился седой и спросил сухо:— Поделитесь впечатлениями об обитателях зоны.

— Вряд ли я сообщу вам что-то новое,— задумался Андрей.— Они в общем-то безобидны. Вот только им постоянно надо разъяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Это жующие растения. Они не плохие и не хорошие. Они — никакие. Они могут отдать последнее, могут пройти мимо придавленного бревном товарища, но бессмысленно хвалить и ругать их. Совершенно лишены

агрессивности. Тихие, послушные... Вот почему, мужики, я вас умоляю — свято храните эту военную тайну, не рассказывайте о зоне учителям начальных классов...

— Не отвлекайтесь,— одернул его седой. С тех пор, как он вступил в беседу, очкастый стушевался и помалкивал.

— У них нет понятий: мое, чужое, нет явных симпатий и антипатий. Очень похожие лица,— отрывочно излагал свои впечатления Андрей.— Да какие там понятия — в зеркале себя не узнают. Слова забывают. Есть среди них особи, что вообще перестают говорить.

Не знаю, мужики, кто их такими сделал. Но если этот кто-то решил, что обладает средством усмирения, он шибко, мужики, просчитался. Не только, потому, что это безволие передается, как зараза, как грипп гонконгский, и никто не знает, если вам верить, как это происходит. Может быть, через какие-то еще не открытые биоизлучения, а может быть,— через мысли... Там, в зернохранилище, сидят у костра и кушают пшеничку камикадзе. Стоит среди них появиться не то что волевому, а просто нормальному человеку, они будут беспрекословно подчиняться ему. Представляете, если эта зона расползется по планете?

Седой остановил его жестом.

— Мы не обязаны отчитываться перед тобой. Но поверь: нам не в чем оправдываться. Природа этого явления для нас во многом загадочна, а причины его нам до конца не известны.

— Я не думаю, мужики, что вы единственные ученые на земле...

Разговор длился долго. Андрея просили вспомнить, какими болезнями он переболел, какие операции перенес, чем его лечили, имел ли он дело с расщепляющимися материалами, рацион питания до зоны и в зоне... По разбросу вопросов было ясно: поиск шел вслепую. Наконец, притомившись, седой буркнул: "Спасибо. На сегодня хватит." Очкастый шепнул что-то военному. Зашумела и стихла рация.

— Сейчас к тебе придет ... э-э-э ... товарищ. Зовут его Федор,— сообщил очкастый.— С ним передаем тебе пищу, одежду, спички, курево. Приведешь его сюда же через неделю.

— Этот Федор — доброволец или кого-нибудь зарезал?— спросил Андрей.

— Он не доброволец,— хмуро ответил не умевший врать очкастый. И добавил многозначительно.— Очень важно, чтобы ни с кем, кроме тебя, он не контактировал.

Подъехала, раскачиваясь на кочках, машина. Из нее выскочили солдаты, помогли спрыгнуть человеку. Была на нем тоже солдатская форма, но без погон. Руки за спиной. Его подвели к невидимой черте, за которой начиналась зона, повесили на каждое плечо по рюкзаку, слегка подтолкнули.

Человек медленно шел к Андрею. Издали были видны его большие, полные ожидания глаза. Чего он ждал — выстрела ли в спину или еще какой пакости? Ясно было одно — ничего хорошего.

— Куда я попал, корешок? Рудники что ли?— спросил он. Голос его дрожал. Говорил с предыханием. В темных глазах тлели сумасшедшинки.

— В чистилище ты попал,— угрюмо пожалел его Андрей и снял с плеча смертника один из рюкзаков.— Пошли.

Чем дальше уходили они, тем реже оглядывался и все веселее становился Федор:

— Слышал анекдот? Двоих на расстрел ведут. Ага... Один говорит: "Давай слиняем?" Ага... А другой ему отвечает: "А хуже не будет?" Га-га-га...

И запел басом, закатив глаза, с умилением и слезой:

— В мор-р-рге свет-тят зуб-бы золот-тыя...

Они прошли половину пути, когда Федор внезапно перестал веселиться. Он остановился и молча протянул руку, указывая на озеро.

Андрей посмотрел на кровавые от заката воды, но ничего не увидел.

— Плывет сюда,— прошептал Федор и лицо его исказила гримаса ужаса.

— Кто плывет?

— Зверь...

— Закрой глаза, Федя. Нет никакого зверя. Не смотри на озеро. Отвернись.

Всю ночь смертник мычал и выл, забившись в угол, беспрестанно покачивался вперед-назад, обхватив голову руками. Когда Андрей пытался его успокоить, страшно пугался и, заслонившись по-детски руками, дико кричал.

К утру он забылся обморочным сном, а очнувшись, не помнил, как его зовут. Лицо его застыло в спокойной маске, а выразительные глаза опустели. Погасла в них хулиганская искорка. Он уже ничего, кроме озера, не боялся и ничего не хотел. Зона сломала его мгновенно, как спичку.

* * *

Они сходились по первому, пахнущему яблоками снегу, как дуэлянты к барьеру. Там, где должна была торчать сабля, обозначающая крайний рубеж, лежал туго набитый вещмешок. Причем, на свежевыпавшем снегу не было видно следов, оставалось только догадываться, каким образом пролетел он с полсотни метров и при этом не лопнул по швам от удара.

Андрей остановился возле вещмешка, не поздоровавшись с очкастым. Молча ждал вопросов.

— Где наш общий знакомый?— спросил очкастый.

— Наш общий знакомый сидит у костра и кушает пшеничку. Ты об этом знаешь лучше меня.

— Что ты имеешь в виду?

— Часы с микрофоном.

Очкастый промолчал.

— Этот эксперимент ни о чем не говорит и ничего не объясняет,— заговорил первым Андрей.— Да, Федор ни с кем, кроме меня, не общался. Да, он стал существом из зоны. Но это не значит, что он заражен мной. Зона — вот причина. На кого-то она действует, на кого-то нет. Вот и все.

— О каком звере говорил Федор?

— Ему почудился зверь, выходящий из озера. Другим он тоже чудится. Это единственное, чего они боятся. Поэтому редко кто из них осмеливается приходить к озеру.

— А ты видишь зверя?

— Нет. Я нормальный человек.

— Ты уверен в том, что зверь — галлюцинация?

— Я уверен в том, что не вижу зверя.

— Способны ли те, в зоне к продолжению рода? Как, скажем так, у них с сексуальной жизнью?

— Сходи посмотри, если интересно.

— А что в этом плане скажешь о себе? Испытываешь ли какие-то влечения?

— В этом плане мне хотелось бы сказать, что я испытываю огромное влечение лично к твоей маме.

— Напрасно ты на меня злишься. Я тебя в зону не загонял. Выпустить из нее — не в моей власти. В твоих интересах сотрудничать с нами — отвечать откровенно на вопросы, помогать.

— Помогать?— насторожился Андрей.

— Да. Намечена серия экспериментов. В зону будут засылаться люди. Ты должен будешь проследить за тем, чтобы аппаратура, доставленная ими, была расставлена в

определенных местах. Они будут одеты в различные костюмы, скафандры. Нужно будет проследить за тем, чтобы они не снимали их с себя в течение определенного времени...

— Вы понимаете, на что обрекаете людей?

— Мы никого не обрекаем. Все они обречены.

— А я обречен быть тюремщиком на общественных началах? Нет, мужики, я не Харон...

— Мы это знаем, Андрей Иванович,— улыбнулся очкастый и, выдержав паузу, спросил то, что должен был спросить Андрей.— Как мы узнали?

— Да плевать мне, как вы узнали,— оборвал его Андрей,— и на ваши эксперименты плевать.

— Андрей Иванович, не надо горячиться,— испугался собственной промашки очкастый.— В конце концов, кто позаботится об этих людях, кроме вас?

То, что с ним разговаривали как с покойником, можно было терпеть. Но когда покойнику начинают лицемерить...

— Тоже мне гуманисты нашлись!— Правильно: раз есть зона, она должна быть как-то использована. Новый тип пенитенциарного заведения! Можно отменять смертную казнь! Молодцы! Прекрасная идея — этот загон для убийц... Мало убить человека, нужно, чтобы он и после смерти страдал. Прекрасная, прекрасная идея! Только, извините, без меня. Если ты нормальный человек, я лучше буду существом из зоны. И знай: у меня нет никакого желания бежать отсюда. Там у вас та же зона. Только побольше и пострашней. А с планетки этой все равно никуда не выпрыгнешь...

— Андрей Иванович! Куда же вы? Вернитесь! Вы продукты взять забыли. Это глупо! Вернитесь!

Но Андрей уходил, не оглядываясь, в ослепительно белое, безжизненное пространство зоны.

* * *

Они появлялись из белой мглы в неземных одеждах, пришельцы из большого мира, навьюченные странными механизмами, и растворялись в белой мгле.

Космические одежды не спасали обреченных от губительного влияния зоны.

Большинство из них, закрученные водоворотом зоны, с лишенными мимики лицами оседали на барханах пшеницы у днем и ночью горящего костра. Многие, гонимые несуществующим зверем, взламывающим лед, бежали прочь от

озера, плутали по скованной морозом зоне и в конце концов засыпали в мягких сугробах или натыкались на пулеметную очередь.

Бессистемно разбросанная по зоне аппаратура передавала информацию, словно с чужой планеты.

Ставя петли на зайцев, пробивая пешней лунки на озере, Андрей встречал парализованных страхом людей и, как не тяготили его обязанности паромщика подземного царства теней, провожал их до элеватора. Он давал зарок не замечать эти экспедиции в никуда, но в день очередного десанта смертников поджидал их на полпути.

Впрочем, вскоре поток пришельцев иссяк. То ли меньше стало в большом мире преступлений, достойных смерти, то ли изменилась программа исследований зоны.

* * *

Жил Андрей по ледяным часам. Трижды в день расчищал бассейн-прорубь и погружался в воду, испытывая нечеловеческое наслаждение. Особенно стылыми, глохнувшими от мороза утрами, когда обморочное просветление от обжигающего холода было сродни наркотическому опьянению.

Все остальное время было занято добыванием и приготовлением пищи. Озеро, избавленное от человека, просто кишело рыбой. Невероятной величины окуни наперегонки атаковали блесну, переделанную из летней в зимнюю, и нередко попадались такие горбачи, что не пролезали в лунку.

Андрей ловил столько, сколько мог унести. После обеда прибегал пацан с неким подобием санок, сооруженных Андреем из спинки стула и таза, и увозил отваренную рыбу зерноедам, делая по пути несколько длительных остановок, в результате которых груз заметно уменьшался.

Но однажды он не появился.

Пришел Гада Лысая в дырявом от прожегов полушубке и проинформировал:

— Кушать хочу.

Рыбу ел он, как когда-то его спутница — заталкивая ее в рот кусками, не выбирая костей. Словарный запас его заметно оскудел.

— А где Умба?— спросил Андрей, когда старичок насытился.

— Это погасло,— сказал старичок. Веки его медленно по-птичьи закрывались. Жизнь его была проста: он утолил

голод и теперь мог спать, пока голод снова не разбудит его.

— Костер погас?— догадался Андрей.

— Да, погас.

— А почему не разожгли?

— Не умеем.

* * *

Среди пшеничных барханов на месте потухшего костра лежал припорошенный пеплом стог человеческих тел. Живое сгрудилось, сохраняя крохи тепла. В стороне лежали одинокие окоченевшие трупы.

Стог из человеческих тел молча следил за Андреем множеством тусклых глаз.

Биомасса. Куски живой материи.

В бетонной пещере с закопченными сводами жили люди, которые, однажды получив огонь, могли его только поддерживать. Но в отличие от людей первобытных, потеряв огонь, не осознавали трагичности ситуации.

Нарубив прутьев из плетней, Андрей разжег костер. Дал безымянным как следует согреться. Отобрал более-менее одетых и отправил за бревнами в село. Остальным велел вынести на улицу трупы.

Их выволакивали за руки. Шуршала пшеница. Пугающе спокойны были лица, на которых не отразился ни страх смерти, ни радость избавления от нее. Одно и то же выражение у мертвых и живых.

Последним поволокли на мороз маленький трупик в разодранной фуфайке и огромных самокатных пимах.

И впервые Андрей прикоснулся к существу из зоны. Лоб пацана пылал, будто в голове его горел костер.

Оставшиеся в живых расселись вокруг огня. Смотрели, не мигая, в костер и медленно жевали пшеницу. Молчали.

* * *

Андрей не был очень хорошим парикмахером. Он не был даже очень плохим парикмахером. Он вообще не был парикмахером. Стать парикмахером его заставил страх перед насекомыми, несомненно, скрывающимися в соломенной копне на голове пацана.

Техника стрижки была проста, но эффективна. Волосы сгребались левой рукой в сноп, подрезались и выбрасывались на снег.

Андрей стриг пацана и ругал себя за самоубийственный акт милосердия, в результате которого в его избе оказалось умирающее существо из зоны.

Впрочем, любая сердобольная старушка пришла бы в ужас от того, как проявлялась забота о больном. Стриг пацана Андрей на улице, усадив на березовый чурбан. А методы лечения были таковы, что старушкам лучше о них и не знать.

Через полчаса голова пацана приобрела вид плохо ощипанной курицы. Не сказать, чтобы очень красиво, но жить, в принципе, можно и с такой прической.

В последнее время Андрей жил между двумя барьерами: тем, что не выпускал его из зоны, и тем, что он установил для себя, избегая общения с БЕЗЛИКИМИ. Он переступил этот барьер, преодолев брезгливость и страх, и теперь чувствовал себя тем первым ваятелем, лепящим из глины первого человека.

Жизнь в Оборвыше едва теплилась. Но Андрей был безжалостно милосерден. В его планы входило жестокое лечение морозящей жарой и обжигающим холодом. Другого лекарства он и не знал, и не признавал.

Но какой неожиданный конфуз ждал дилетанта-демиурга: вместо пацана-бродяжки, пожирателя живой рыбы, под рваной фуфайкой и полуистлевшими лохмотьями обнаружилось существо противоположного пола. Сгорели в печи лохмотья, как кожа сказочной лягушки. С той лишь разницей, что Оборвыш не стал царевной. Жалкое, исхудавшее тельце напоминало кадры кинохроники об узниках гитлеровских концлагерей. На тонкой шее девочки на сыромятном ремешке висел прозрачный шарик от погремушки. Внутри него шевелил ножками паучок.

Подивился Андрей столь странному украшению и повесил на гвоздь, вбитый в стену, на котором когда-то висело зеркало.

Полтора часа Андрей подвергал Лягушонка зверской пытке воскрешения, попеременно погружая в густой пар бани и в ледяное корыто проруби. В мертвую и живую воду.

* * *

С тех пор, как он вынужден был заботиться о больном ребенке, жизнь приобрела смысл. Другими словами, наполнилась новыми хлопотами, которые не оставляли места для праздных размышлений. Из теплого белья, переданно-

го очкастым через забывшего свое имя Федора, соорудил Андрей одежду для Лягушонка, из сена и палатки устроил отдельную комнатку на печи. Трижды в день больную нужно было окунать в проруби и, закутав в теплые одежды, поить молоком.

Изба наполнилась живыми звуками. Трещали дрова в печи, завывало в трубе, шуршали в подполе мыши, бредил на печи Лягушонок. За дверью в соседней комнате хрумкала сеном и тяжело вздыхала порой корова.

Ни одна корова в мире не пользовалась таким почетом и уважением. Она не просто жила в одной избе с людьми, но в самой просторной комнате, в то время как хозяин ютился в кухне и спал на полу.

* * *

С наступлением зимы в мертвое село из лесов пришли одичавшие собаки. Разнокалиберные, лохматые, злобные существа с разодранными ушами, держались они стаями и не боялись людей.

Ко многому привыкший в зоне, Андрей содрогнулся, увидев драку озверевших дворняжек. Не оскаленые пасти, не шерсть, стоящая дыбом, не раны, которые они наносили друг другу желтыми клыками, ужаснули его, а то, из-за чего они дрались.

Полуобглоданная кисть руки — вот что это было.

Мерзкие трупоеды, они могли напасть и на живого человека, причем побуждающим мотивом служила бы не столько защита своей территории, сколько элементарный голод.

* * *

Как-то утром, когда Андрей выводил на водопой корову, а она заупрямилась, не желая идти в метель из теплой кухни, с печи свесилась общипанная голова Лягушонка и девочка произнесла первое после болезни слово:

— Чернушка!

И показалась Андрею улыбка на ее источенном болезнью лице.

— Ты знаешь, как зовут этого зверя?

— Это не зверь, это корова,— поправила она его и, утомленная столь долгим разговором, забылась.

К ней возвращалась память. Проблесками, обрывками, медленно.

Однажды, вернувшись с рыбалки, Андрей застал ее склоненной над растрепанной, без обложки и корешка, книгой стихов неизвестного Андрею поэта. Показав ему пальцем букву, она сказала с радостью узнавания:

— Р-р-р...

Зимними вечерами у горящей пещеры печи Андрей помогал ей вспомнить азбуку. Память возвращалась с трудом, девочка быстро утомлялась, и тогда на лице ее вновь появлялась маска зоны. Эта Печать существа из зоны пугала Андрея. Он убирал книгу, интуитивно чувствуя: можно сорвать резьбу.

Удивляла и трогала забота Лягушонка о паучке в стеклянном шарике. Повесив на шею странное украшение, время от времени она проталкивала в крошечное отверстие муху.

— Он спит,— говорил Андрей.

И она соглашалась:

— Спит. Потом проснется. Захочет кушать.

Он не замечал у других безликих и безвредных поедателей пшеницы заботы о ком-то или о чем-то. Эта странная дружба с паучком казалась ему порой ключом к разгадке зоны. Но простой и ясный ответ скрывался в тумане интуиции.

* * *

Остервенелый яростный лай стоял в мертвом селе.

Вооружившись обломком жерди, Андрей, предчувствуя недоброе, побежал в эпицентр ярости и злобы.

Они — убийцы, воры, бродяги — стояли маленькой тесной толпой в кольце озверевших шавок. Время от времени одна из взъерошенных зверюшек бросалась к окруженным и рвала чьи-то ноги. Пострадавший не то что не пытался ее пнуть, но даже не вскрикивал от боли. На снегу, возбуждая дворняжек, алели пятна и капли крови. Круг сужался. Собаки не сомневались в своем праве на эту добычу.

Поедатели пшеницы вышли за новой порцией топлива, и на улице их уже подкарауливала стая потерявших уважение к людям пожирателей человеческих трупов.

Увесистая жердь обрушилась на мохнатые куски злобы. Визг, лай, рычание собак и собственный крик оглушили Андрея.

Это были собаки, многие поколения которых не знали хозяина. Но березовая жердь довольно скоро вернула генную память о жестоком двуногом существе.

Освобожденные зерноеды молча продолжили свой путь до ближайшей кучи бревен, а нагрузившись, так же молча понесли их к элеватору.

Андрей шел рядом, а чуть в стороне, сопровождая процессию, трусили собаки. Печальное это было зрелище: шествие придавленных, согбенных тяжелыми бревнами людей в жалком тряпье, разучившихся защищать себя. Но все-таки какой-то инстинкт самосохранения, какое то желание жить у них было. Иначе что их погнало в мороз за топливом?

* * *

После долгих попыток удалось разъяснить Лягушонку назначение ложки. Это была большая и трудная победа. Но были и поражения. Верный принципам закаливания, Андрей и после выздоровления девочки настаивал на обязательном утреннем купании в проруби. Увы, она не разделяла его взглядов. Легче было волчонка приучить есть сено.

Встав на ноги, Лягушонок взял часть забот по дому на себя. С удовольствием подбрасывала дрова в печь. Спрашивала при этом: "Еще кушать хочешь?". Огонь был для нее живым существом. Разговаривала она и с коровой. И Андрей, и огонь, и корова, и спящий паучок — все они были для нее одинаково разумными существами, никого из них она особенно не выделяла.

У Андрея появилось свободное время. Он не пытался больше выходить на контакт с очкастым, оскорбленный ролью, которую ему отвели, а задался целью найти причину, породившую зону. Это, полагал он, кратчайший путь из нее. Собственный опыт, необъяснимое возвращение памяти у Лягушонка подсказали нечто новое: освободиться из зоны можно и не выходя из нее. И если бы ему удалось разгадать причину... Он был уверен, что это нечто материальное. Он знал, где это находится. Он даже мог предсказать, как это выглядит. Центр невидимой паутины, собственно самой зоны, находился где-то в акватории Глубокого.

С каждым днем уходя по льду все дальше от берега в поисках мест клева, он почувствовал, что водяной паук не хочет подпускать его к себе. Вдруг резко начинала болеть голова. Его единственный, но чуткий прибор сигнализировал: стой — граница. И он останавливался. Долбил лунку и, преодолевая боль, блеснил. На следующий день зона

как бы слегка сжималась, пропуская чуть дальше. Так медленно, шаг за шагом приближался Андрей к шкатулке Пандоры, к причине. К разгадке.

Но однажды он подошел к пределу. К границе, которая уже не отодвигалась, и боль за которой становилась невыносимой. Дальше — или сумасшествие, или смерть.

Он решил обурить эту новую запретную зону лунками, вмораживая в них вехи из нарубленных на берегу прутьев черноталa. Он долбил лунки по границе предельной боли, в метрах ста друг от друга. Поблеснив, вставлял в очередное отверстие талину и присыпал ее снегом.

Через неделю невыносимых страданий на льду был заколблен круг диаметром приблизительно в километр. Андрей окружил "зверя". Он стоял у его логова. Но что было делать дальше?

Он рискнул прорваться через болевой барьер, представляя его чем-то вроде невидимого шара с прозрачными стенками. Его бег был остановлен страшным, ослепляющим и обезволивающим болевым ударом.

Вытолкнутый вон из зоны, Андрей долго лежал на снегу, глядя в налившееся темной кровью небо, боясь коснуться руками головы. Казалось, мозг был взорван, а черепная коробка расколота на мелкие острые осколки, как хрупкая яичная скорлупа.

Мир был наполнен оглушительным хрустом, треском, звоном и скрежетом. Андрей контролировал себя. "Это происходит только в моем мозгу,"— думал он отстраненно. И когда увидел расходящиеся от центра запретного круга радиальные трещины и разломы, отрешенно повторил: "...только в моем мозгу". А недоверчивые пальцы гладили острые края трещины. Раздираемый болью мозг осознавал, содрогаясь,— в этом белом кругу, подо льдом не просто лежит треснувший контейнер с никому неизвестной гадостью, там скрывается нечто живое.

Он медленно шел к берегу и так же медленно отступала боль. Мир делался ясным, небогатые краски зимы — сочными. Полуобморочная, почти наркотическая радость избавления от боли вытеснялась странным, глубоким спокойствием — умиротворением вечности. Нечто подобное испытывал Андрей когда-то давно, спускаясь с гор в ущелье, полное густого, опьяняющего воздуха, где вместо реки течет между белых валунов хрустальная пена.

Дыхание Бога...

* * *

С тех пор, как Андрей попал в зону, он забыл о своей смертельной болезни. Точнее сказать, мысли о ней не пугали его, не заставляли внутренне сжиматься. Но в последнее время возродился страх. Это был совсем другой страх — боязнь разочарования. Он пытался не замечать очевидного факта: опухоль исчезала. Зона, которая убивала других, излечивала его. Он был обязан зоне.

С каждым днем зона сильнее привязывала его к себе.

Лягушонок.

Человек из глины.

Все попытки вернуть ей память в полном объеме были тщетны. Она могла вспомнить что-то, лишь визуально соприкоснувшись с предметами, существами, деталями из прошлого.

Она вспомнила Чернушку. Вспомнила азбуку.

Андрей питал надежду на радикальный эксперимент. Что вспомнит Лягушонок, увидев в зеркале свое отражение? Вспомнит себя. А вспомнив себя, вспомнит все.

Но что произойдет с ней? Как переживет она шок?

Андрей все не решался на этот эксперимент.

С удивлением наблюдал он, как легко формируется ее характер, манеры, речь, взгляды. Из нее можно было лепить все, что угодно. Это была ответственность, от которой холодело сердце. Это была задача, от которой холодел рассудок.

Он пытался наметить схему. Записать на белом листе нечто совершенное. Но его представления о совершенстве были безжизненны и отвратительны в своей завершенности.

Тогда он стал вспоминать свое детство и своих учителей, задаваясь вопросом, почему одних он любил, других не любил, а третьих как будто бы и не было в его жизни.

Он удивился, как мало значили в его жизни учителя — и любимые и не любимые.

В конце концов он пришел к очень простой мысли: воспитание — это не внушение, а подражание. Вот почему воспитателем может быть лишь тот, кого выберет сам воспитуемый, кто ему просто больше нравится. И не обязательно он должен быть человеком. Лягушонку, например, нравился огонь, корова Чернушка, паучок...

И еще: никогда не надо приказывать. У человека должно быть право выбора. “Кто сегодня будет доить корову — ты или я?”, “Ты пойдешь купаться в прорубь?”

Что такое подражание? Мне что-то нравится в другом человеке — и я хочу быть таким же, чтобы и я кому-то нравился. В подражании всегда есть доля зависти, эгоизма, соперничества. Процесс воспитания, если без лицемерия,— умение сделать объектом зависти нечто положительное и направить эгоизм самоутверждения в нужную сторону. Учителя проигрывают дворовым хулиганам лишь потому, что проявляют некоторое насилие, толкая детей на праведный путь; в то время как шалопай с окурком в зубах на робкую просьбу: "Дай потянуть", отвечает, презрительно сплевывая сквозь выбитый в драке зуб: "Отстань, малявка", тем самым усиливая желание подражать.

Эти педагогические размышления успокоили Андрея, сняли непосильный груз ответственности. В принципе нельзя воспитать другого лучше, чем ты есть на самом деле. А раз так — надо оставаться таким, какой ты есть. Он научит Лягушонка тому, что умеет и знает сам — уважать себя и свое здоровье, не вилять хвостом, научиться стесняться самого себя, как чужого человека, и не думать, что о тебе подумают другие, жить на этой планете, не принося ей больше вреда, чем это неизбежно, относиться к другим так, как бы ты хотел, чтобы другие относились к тебе, знать необходимый набор навыков и ремесел, чтобы однажды не умереть от холода в лесу со спичками в кармане. Конечно, у него масса недостатков и именно недостатки передаются в первую очередь. Но что поделаешь. К тому же это не самые большие недостатки.

Эта простая мысль о естественной, спонтанной педагогике избавила его от необходимости лепить из Лягушонка царевну, быть воспитателем. В любом случае из нее получится то, что получится. Это будет не самый плохой человек из живущих вне зоны, куда рано или поздно он ее выведет.

Одно не то чтобы тревожило — смущало Андрея: Лягушонок рос мальчишкой, копируя его походку вразвалку, его манеру ерошить волосы и шмыгать носом. Из всех домашних забот она питала особую склонность к чисто мужской: ей нравилось рубить дрова, широко расставляя ноги и ухая при ударе. Но что было делать: он не знал, как и чему учить девочек.

По вечерам у полыхающей пещеры печи он рассказывал ей о планете, на которой они жили. О морях, лесах, реках, о растениях и повадках рыб и зверей. О человеческом мире вне зоны, городах, машинах, железных дорогах и самолетах. Лягушонок жадно слушал эти странные истории и бог весть что представлял его незагруженный обра-

зами мозг. Да и сам Андрей, увидев порой в морозном ночном небе над омутом зоны сигаретный огонек спутника, испытывал странное чувство. Чувство чужой планеты.

Ночами в мертвом селе выли одичавшие собаки. Но вой их уже не наводил тоску, он только оттенял убогий уют избы, освещаемой прыгающими бликами пламени. Андрей привыкал к жизни на другой планете.

* * *

Начались первые оттепели. Голубел лед. Безудержно шел окунь. Каждое утро Андрей уходил к границе болевой зоны и возвращался к полудню с полным рюкзаком рыбы. Улова хватало и ему с Лягушонком, и зерноедам.

Отваренных окуней он относил в зернохранилище сидящим в безмолвии у вечногорящего костра, не позволяя заниматься этим Лягушонку, оберегая ее от контактов с безликими. На всякий случай.

Он научился самому рациональному способу общения с существами зоны, "закладывая в них программу". Программа была проста и касалась поддержания огня и жизни безликих. Подчиняясь гипнозу приказа, при встрече с собаками они размахивали палками, без которых, в соответствии с заложенной программой, никогда не выходили из своего убежища, прыгали на месте и имитировали атаку. При желании облегчиться срабатывала другая программа — и они выходили на мороз. В слабой памяти зерноедов эти приказы держались недолго и всякий раз их приходилось повторять, поручать следить за огнем и ходить за топливом.

Что они видели в огне костра, пленники зоны, поедающие рыбу с костями, лишенные страстей и желаний, беззащитные убийцы и негодяи, забывшие свои имена и преступления, не знающие прошлого, не ведающие будущего? Мертвецы, тела которых продолжали по инерции двигаться и поглощать пищу, загнанные, как чаинки в стакане, невидимым смерчем зоны в бетонную пещеру с закопченными сводами.

* * *

Скользя по мокрому льду с рюкзаком за спиной и пешней на плече, Андрей возвращался с рыбалки.

Когда между льдом и небом появилась кромка берега, что-то насторожило его. Он ускорил шаг, пристально вглядываясь в едва различимый дом.

Над трубой не вился дым.

Сердце выплеснуло в вены холод.

Андрей ускорил шаг.

Потом он увидел собак, сгрудившихся над чем-то и дерущихся между собой.

Сбросив рюкзак, Андрей побежал, скользя и падая, размахивая пешней и дико крича на неслышащих его зверей.

На ноздреватом, потемневшем снегу лежало окровавленное, изорванное тельце Лягушонка. Недалеко отбежавшие собаки облизывали пасти и глухо рычали, свирепо морща носы. Ублюдки, помесь волков и дворняжек, они не очень-то испугались существо, отбившее у них добычу, хотя два пса с раскроенными черепами остались лежать у молодого вкусного мяса. Огненно-рыжая собака трусила вдоль берега, искоса поглядывая на стаю. В зубах она держала человеческие внутренности. Прожорливые и завистливые собратья бросились в погоню. Завертелась яростная драка, невидимый смерчь закружил лохматые шары вокруг кровавого куска.

* * *

В тупом безразличии долбил Андрей мерзлую землю, временами отключаясь и надолго забывая, для чего он это делает. Порой, парализованный непереносимой тоской необратимости, он подолгу стоял с закрытыми глазами и сжатыми зубами. Это оцепенение сменялось яростью, и он со стоном исступленно крошил пешней окаменевшую глину, оглохнув от ударов сердца, и вдруг отшвыривал от себя пешню. Мука досады корчила его тело, медленная иезуитская пытка вины, как игла под ногти... Он и не подозревал, насколько привязался к маленькому беззащитному существу, сколь нежно любил этого человека без имени с его трогательной, не истребленной зоной, заботой о паучке и зерноедах. Сколько надежд было связано с ее возвращением из забвения, из странного сна мертвецов, ее превращением из Лягушки в царевну.

... Ночью выпал снег. Его белизна, перемешанная с сиянием утреннего солнца, слепила, растворяла в себе очертания, тени и оттенки. Это был сверкающий, совершенный мир света.

С Лягушонком на руках Андрей постоял над запорошенной снегом ямой и не смог пересилить себя — забросать это тельце липкой, рыжей глиной. Он выбрал это

белое, без начала и конца пространство, где не было теней и не было границ между небом и землей. Он шел долго, задумавшись, пронизанный этим белым светом, не слыша скрипа снега под ногами. Он шел к центру озера, в запретную зону боли и страха. Бесконечно долгий путь без цели, путь по снежной планете в снеговые облака. Зона расступилась, перед ним и он не заметил этого.

Там, где, как спицы в колесе, сходились трещины, голубым глазом зоны из середины озера смотрела в сверкающее от морозных игл небо незамерзающая полынья.

С легкой ношей на руках Андрей опустился на колени. В контурах его отражения из голубой бездны на него внимательно смотрел человек. Сострадание и легкая укоризна были в его глазах. Мягкая опостольская борода слегка колыхалась, тревожимая течением теплых родников. Лицо дробилось и множилось и вскоре из глубины смотрело тысячеглазое существо, а память Андрея вбирала слой за слоем память всей цепочки умерших поколений. Он глядел вниз с вершины пирамиды смерти — единственный живой этой вереницы людей — и дух замирал от высоты. Печален и темен был срез тысячелетий. Он уходил в отстоявшийся мрак времен, где угасало сознание и начинались тоска и тайна. Глаза тысяч и тысяч отцов и матерей печально смотрели из бездны на неведомый мир и родного незнакомца — неосознанную цель этих светлых мертвецов, могила которых — его память.

Андрей опустил трупик в воду и разжал пальцы.

И вспыхнул из бездны свет навстречу мертвому ребенку, невесомо опускающемуся в тысячеглазую пропасть, растворяясь в печальной и сострадательной глубине этих глаз.

Умиротворяющий свет шаром термоядерного взрыва поднимался из проруби, просвечивая и растворяя тело, мысли и тысячекратную, дробящуюся эхом память. В этом белом, отрешенном мире он был больше, чем просто мыслящим существом, он был больше, чем рой тысяч мыслящих существ. Он был этим светом, этой бездной и ослепительной высотой. И в этот миг прозрения неудержимо потянуло его в тысячеглазую печальную бездну родных незнакомцев. Но острые края льда сомкнулись, как диафрагма фотоаппарата, а над тысячеглазым богом могил рос белый шар, насыщаясь тоской и болью. Он медленно выталкивал его прочь, глуша неоформившееся в слова прозрение, отнимая только что раскрывшуюся тайну.

Андрей уходил медленно, сопротивляясь, но боль заставляла его ускорять шаг. Не выдержав, он побежал,

сжимая голову руками, наполняя этот ослепительный запретный мир стоном.

* * *

Похоронив то, что осталось от Лягушонка, Андрей надолго потерял интерес к зоне и к самому себе. Странные похороны он вспоминал спокойно, понимая, что не сможет отделить в этом событии то, что происходило на самом деле, и что происходило только в его мозгу. Он не понимал ни своего поступка, ни странного смысла этого жертвоприношения, да и нелепо было бы искать смысл во внезапном сумасшествии, в одной из бредовых шуток зоны.

Он был опустошен и бездеятелен. Однажды весь день простоял у окна, уставившись на ледяное поле, отдавшись случайным мыслям обо всем и не о чем, забыв об остывающей печи. Ослаб внутренний стержень, возвращалась обволакивающая вселенская тоска — и он увидел Зверя, взламывающего лед. Он не испытал страха. Скорее — отвращение. Он ясно видел Зверя и также ясно понимал, что это лишь бред. Так пьяный человек понимает, что пьян, и удерживает себя в рамках приличия. Голова Зверя была похожа на обнаженный, покрытый коростой, мозг на паучьих ногах. Видение длилось доли секунды. Только что взломанный на огромных пространствах лед разом сомкнулся и по-прежнему отсвечивал зеленым перламутром. Внезапно двумя слепящими ножами через глаза в мозг вонзилась сводящая с ума боль. Шатаясь, сжав голову руками, Андрей побрел к проруби. Он бросился в нее в одежде и долго стоял в спасительном холоде, мечтая навсегда быть вмороженным в прозначную глыбу льда, чем стать пленником зоны.

* * *

Недалеко от места, где собаковолки растерзали Лягушонка, лопоухий беспечный щенок играл прозрачным шариком.

Андрей отнял у него игрушку.

Невероятно, но пролежавший в своем гробике всю зиму, паучок ожил. Это рядовое чудо, которыми полны леса, озера, огороды и жилища людей, обрадовало, как откровение.

Заблудший щенок звонко тявкал, задрав голову вверх и подпрыгивая, требовал вернуть игрушку. А человек

смотрел на крохотное, страшное и жалкое существо, заключенное в свою зону, и не мог подавить удушающий приступ сострадания, не мог избавиться от навязчивой мысли: в этом крошечном существе — душа Лягушонка. Девочка смотрит на него из тела паучка, не понимая, кто она, не узнавая его...

Он занес шарик в избу и, вставив кончик лезвия в небольшое отверстие, осторожно расколол его. Паучок сделал несколько шагов и замер. Он не знал, что такое свобода и что с ней делать.

Кто-то скреб дверь. Часто дыша, вывалив розовый язык, на пороге стоял щенок. Он крутил хвостом и, склонив голову набок, смотрел на Андрея доброжелательно и ожидающе.

— Есть хочешь?— спросил Андрей.— Заходи, Лягушонок.

* * *

Андрей строил лодку.

Он не знал, зачем он это делает.

Просто нашел на чердаке заготовленные кем-то доски.

Просто наступает такой момент, когда новостаровец должен делать лодку.

Просто больно было смотреть на берег — кладбище лодок.

Просто ему нравилось делать лодку.

... Была война. О ней рассказывал засыпанному снегом селу репродуктор, что висел на сосновом столбе возле обезглавленной церкви. Старик слышал холодные слова, доносившиеся из овдовевшего села, когда сидел одиноко над лункой в снежном городке. Слова проносились дальше в снежную, стылую пустыню озера и исчезали в ней без следа.

Старик развязывал тесемки и поднимал ухо шапки, чтобы лучше слышать, но радио ничего не говорило о его сыне. Последнем из сыновей, на которого еще не пришла похоронка.

Ранним утором старик уходил на озеро, волоча за собой на обледеневшей веревке пешню. Под вечер тащил к берегу мешок с заледеневшими окунями. Этой рыбой кормился сам и кормил соседей.

Когда начались метели, старик заболел. Не то чтобы слег пластом — занедужил. У каждого было свое горе, и

на недомогание старика соседи не обратили внимания. Да он и не жаловался.

Нечем стало топить печь — старик сжег плетень. Клены, росшие в палисаднике, старик не тронул. Их посадили сыновья, а кто какой — он не помнил: срубит дерево и убьет последнего сына.

Однажды серым вьюжным вечером к старику заглянула почтальонша. Принесла похоронку. Но пожалела больного старого человека, взяла грех на душу. Оставила похоронку у себя.

Все, что можно было сжечь, старик сжег, а весна не наступала.

Он взял топор и пошел к озеру, где на берегу припорошенная снегом, днищем вверх лежала лодка.

Лодка сгорела быстро, оставив в избе еле уловимый аромат озера. Старый рыбак сжег надежду на выздоровление. Но однажды, лежа в пимах, тулупе и шапке на остывшей печи, он подумал: сын вернется с войны, ему нужна будет лодка, а он ее сжег. Нехорошо.

И старик не умер, потому что ему нужно было построить новую лодку.

И он ее построил, выменяв у соседа на самовар доски, заготовленные на гроб.

Среди желтых, пахнущих летом стружек, как в озерной пене стояла она посреди пустого двора, остроносая, четырехвесельная, широкобедрая, устойчивая на волне.

Завтра он осмолит лодку. На будущий год, по всему видно, кончится война. Придет сын. Найдет себе жену. Пойдут внуки. Так думал старик, сидя на борту новенькой лодки и покуривая цигарку.

На следующее утро он умер...

Андрей делал лодку. Жить на озере и не иметь лодку? Зачем тогда жить?

Занятый своими мыслями и работой, он не заметил, когда и куда улизнула Чернушка. Не заметил побега и шалопай Лягушонок, без устали игравший со стружками.

Следы беглянки обнаружились на берегу, где она попила солоноватой воды, да тут же и исчезали: потянуло Чернушку на свежую зелень. Но Андрей не испытывал особого беспокойства. Направление было известно. Он взобрался на кручу и осмотрелся. Только лес мог укрыть корову. Лес, куда с наступлением тепла ушли одичавшие собаки. Вот что его встревожило.

Лягушонок увязался следом. На предложение остаться дома он так негодующе тявкнул, посмотрел с таким осуж-

дением и так строго, что Андрей не нашел, что возразить. Щенок вообще чувствовал себя хозяином зоны.

В лужице на лесной поляне Андрей увидел следы копыт и испугался за Чернушку: она шла прямо на пулеметы. Андрей побежал, не выбирая дороги, прикрывая руками глаза от хлещущих веток.

Чернушка паслась в мертвой зоне за границей трупов, и пулеметы молчали.

Открыли ли зону, не исправен ли автомат — не все ли равно. Дорога была свободна. Ему только казалось, что он не думает о побеге. Только об этом он и думал. О чем еще может думать муха под перевернутым стаканом? И вот раскрылась запретная завеса, но отчего радость внезапного освобождения так похожа на страх, отчего чувствует он себя мухой с оборванными крыльями, цыпленком, только что проклюнувшим скорлупу, озером, промерзшим до дна?

Его спас Лягушонок. Звонко тявкая, он побежал к беглянке.

Они были убиты почти одновременно.

Выстрелы, сразившие щенка, напугали Чернушку. Резкого движения было достаточно. Короткая очередь — и животное рухнуло набок. Шлепки пуль по живому. Утробный звук падения большого тела.

Еще секунда, и третьим был бы Андрей. Выстрелы остановили его у самой границы трупов.

* * *

Он, кажется, понял, в чем дело.

У самонаводящихся автоматов, охраняющих зону, много преимуществ перед людьми. Они никогда не спят, видят в темноте, стреляют без промаха. Но реагируют они на движение предметов из зоны. На определенную скорость. Скорее всего, они не заметят ни полета пули, ни улитки. Чернушка, занятая сочной травой, двигалась медленно и автоматы не срабатывали до того момента, когда она превысила допустимый рубеж скорости.

Андрей на сантиметр продвинул вперед левую ногу. Постоял.

На сантиметр — правую. Постоял. Сердце колотилось до боли в ушах.

Он миновал границу смерти — пулеметы молчали. Прошло полчаса и он, продвинувшись метров на десять, поравнялся с продырявленной Чернушкой.

Сколько так ему идти — день, сутки?

Главное — не споткнуться, не сделать резкое движение.

Скорее всего, ему повезло. Чернушка набрела на какой-то дефектный автомат. Возможно, завтра его починят и все, щель исчезнет.

А может быть, зона отпускает его.

И он подумал: зона — это только то, что внутри человека.

И застыл, пораженный внезапной догадкой.

Наконец-то он понял, как он не позволил проникнуть ей в свой мозг. Ну конечно же! Это так элементарно!

Вот почему она превращала убийц в говорящих кукол, но не смогла до конца овладеть сознанием полуребенка.

Дело здесь совсем не в силе воли.

Разрозненные факты укладывались в стройную систему, все находило свое объяснение — и страх перед озером, и паучок в прозрачном шарике, и маска на лицах зерноедов, и животные, на которых зона не действовала.

Он знал, как сделать безликих существ зоны снова людьми.

Он приведет их к очкастому и скажет: "Вот люди и они нормальны, потому что полны эгоизма, готовы на подлость и задушат любого, кто станет на их пути к удовольствиям".

Андрей сделал шаг назад. И застыл. Досада закипала в нем.

Шаг в зону — это шестьдесят шагов из зоны.

Зачем ему возвращаться в ловушку? Никто не выпустит их из этого капкана.

Вперед, улитка! Сантиметр левой — замер, сантиметр правой — замер. Интересно, куда уткнулся невидимый луч — в лоб, в грудь? Луч, по которому полетит пуля.

Его вдруг пронзила неожиданная мысль: страх перед зоной, её неусыпная охрана, изоляция от остального мира — во благо. Никто не помешает ему из этих ходячих мертвецов создать новых людей, новый народ, миниатюрную страну на очищенной от людской злобы, зависти и подлости территории. Страну праведников, страну святых, страну без негодяев.

Он все стоял и стоял в сомнении. Кому нужна новая Утопия? Вправе ли он на подобный эксперимент? Куда приведет эта дорога, вымощенная благими намерениями? Переборет ли он соблазн сделать из людей с вытравленным сознанием рабов? Не захочется ли заполнить пустующую память биографиями великих мертвецов? Ведь

чем-то ее заполнить надо. И уверен ли он на все сто процентов, что нашел ключ?

Сантиметр левой, сантиметр правой...

А что его ждет там, в суете грязного города? В городе, где у большинства людей одинаковые лица, где думают не головами, а телевизорами и газетами. Из той большой зоны уже никуда не убежишь, с планеты не спрыгнешь. Они знают о нем все. Они сумеют обезопасить себя от возможных опасностей. Даже если никакой опасности нет. А если есть?

Он обернулся.

На краю леса стоял маленький человечек и махал ему раскрытой ладошкой. То ли прощаясь, то ли приглашая вернуться.

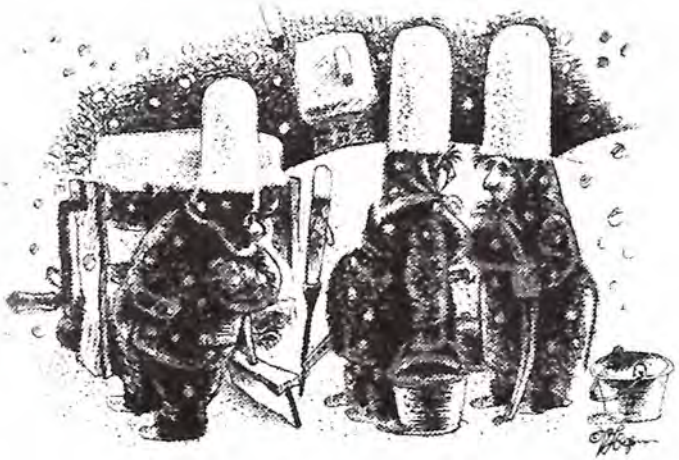
Это был Лягушонок.

Андрей не удивился и не обманулся. Он только подумал: зона не хочет выпускать его. Она не приказывает, она просит остаться. Зона избрала его. Она открыла ему свою тайну и верит, что он не предаст ее.

У него было три выхода: вернуться в мир, остаться в зоне и сделать резкое движение вперед.

Человек, задумавшись, стоял в середине мертвой полосы между двумя зонами.

1988 г.



Грибной дождь в Новостаровке

Человек вошел в мой номер, не постучавшись.

Ондатровая шапка, растрепанная, неухоженная борода, овчинный полушубок, унты из собачьей шкуры — все было густо припорошено снегом.

— Это ты из газеты?— спросил он простуженным голосом.

Я кивнул.

Не дожидаясь приглашения, человек уселся на застланную кровать, шумно вздохнул и сказал, как бы размышляя про себя:

— Оно, конечно, лучше бы попом был. Ну, да ладно.

Я не придал этой фразе никакого значения. Слишком много мы всего говорим, чтобы каждому слову придавать какой-то особый смысл.

Все в непрошенном госте — фигура, черты лица, манеры — были медвежьими, грубыми. Кроме глаз. В них светилась такая тоска, такая мука, что хотелось спросить: "Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?"

Между тем человек неуклюже порылся за пазухой и извлек из овчинного тепла общую тетрадь, весьма обтрепанную, потертую, с сальными пятнами на обложке, и небольшую железную коробочку из-под чая, крест-накрест перемотанную изолентой.

Некоторое время он хмуро рассматривал свои сокровища, тяжело вздыхал.

— Похож я на сумасшедшего?— спросил он наконец.

— Есть немного,— осторожно ответил я.

— Значит, ты думаешь, что я сумасшедший?

— Не думаю. Сумасшедшие об этом не спрашивают.

— Угу, я тоже так думаю. Раз человек сомневается в своем уме, значит, он еще не окончательный псих.

С этими словами он положил рядом с собой тетрадь, коробку и, не спрашивая разрешения, принялся скручивать цигарку. Задымив, пояснил:

— Я-то вообще не курил. Так получилось под конец жизни.

Помолчал. Спросил:

— Как думаешь, можно доверять незнакомому человеку?

— Нет,— ответил я.

— И тебе нельзя доверять?

— И мне.

— Если так говоришь, значит, можно,— заключил он.— Дай клятву исполнить то, что я попрошу.

— Не могу.

— Почему так?— искренне удивился он.

— А вдруг вы попросите меня сделать что-нибудь противозаконное.

— Тоже верно,— промолвил он и надолго задумался, стряхивая пепел прямо на пол.

— Хорошо,— наконец прервал он молчание,— обещай никому из местных не говорить, что я был у тебя.

— Обещаю.

— Поклянись, что не откроешь коробку, пока не прочитаешь тетрадь.

— Клянусь,— не чая избавиться от вечернего гостя, сказал я.

— Самыми близкими людьми поклянись.

Я поклялся Александром Сергеевичем, Николаем Васильевичем, Федором Михайловичем, Львом Николаевичем и Антоном Павловичем.

— Запиши для памяти.

Я записал в блокнот: "Не открывать коробку, не прочитав рукопись".

— Поклянись не заглядывать в тетрадь, пока не уедешь отсюда,— сказал он и как-то странно, по-птичьи посмотрел на меня одним глазом.

Выслушав мои заверения, он поднялся и поспешно, не прощаясь, вышел. Будто оставил у меня мину с взведенным часовым механизмом.

Не успел я с облегчением перевести дух, дверь снова без стука отворилась.

— Когда прочитаешь, сам решай, что делать.

На этот раз он исчез окончательно.

Я закрыл дверь на ключ.

"Непризнанный гений? Графоман? Сумасшедший?"— гадал я, разглядывая лужицу от растаявшего снега с унт странного посетителя.

Время было позднее. Повертев в руках коробку и тетрадь, я бросил их в портфель и лег спать.

Утром я был разбужен скрежетом ведра и ворчанием гостиничной уборщицы тети Маши, особы бесцеремонной и циничной. Старушка долгое время работала в мужском отделении районной бани и, видимо, это обстоятельство испортило ее характер.

— Спитя? По радиву два раза гимны играли, а вы все спитя,— не очень ласково приветствовала она меня.— Как вырвутся в командировку, так и сплят и сплят. Да не дергайся ты, ляжи уж пока не подотру. А то еще моду взяли — вешаться. И чего вешаются? — ожесточенно орудуя шваброй, рассуждала уборщица.

— О чем вы, тетя Маша?

— И главное — не мог он в своей Новостаровке повеситься? Нет, ему надо в райцентр ехать вешаться,— не отвечая мне, философствовала старушка, потерявшая веру в командировочных.— Да они там, в Новостаровке, все чокнутые. Одно слово — запретна зона.

— Тетя Маша, что за запретная зона, кто повесился?

— А я тебе, милок, не справочно бюро. Мое дело не отвечать, а за вами поломоить. Ишь, сколько табачищу наобтряхал...

Табачище? Какой табачище? Я же не курю. Ах, да! Вчерашний посетитель. Странный человек с тоскующими глазами...

Через полчаса я сидел в кабинете начальника РОВД.

— Не думаю, что этот случай представляет какой-то интерес для вашей газеты,— майор Асылханов выразительно посмотрел на часы.— Скорее всего — самоубийство, человек психически ненормальный. Представьте себе — в предсмертной записке он просит прощения у всего челове-

чества. Не больше и не меньше. Личность самоубийцы установлена. Кузнец из Новостаровки. Некто Коренищев. Вы можете себе представить, какой грех может совершить кузнец из Новостаровки, чтобы раскаиваться перед всем человечеством?

— А далеко ли эта Новостаровка?

— Километров семьдесят от райцентра. Но я не советую вам туда ехать.

— Почему?

— Карантин. Вспышка какой-то страшной инфекции.

Майор забарабанил пальцами по столу и, глядя мимо меня в разрисованное ледяными узорами окно, задумчиво сказал:

— Между нами, не для печати. Я мог бы вам этого и не говорить. У нас, конечно, нет зон, закрытых для гласности. Но это особый случай. Откровенно вам сказать, я и сам не знаю, что там происходит. Говорят, я подчеркиваю, го-во-рят, что там побывали гости оттуда,— и майор показал глазами на потолок.

— Откуда оттуда?

— Из космоса.

— Постойте, постойте! Лет пять тому назад я что-то об этом читал. Признаться, не очень-то верил всей этой чертовщине.

Майор посмотрел мне прямо в глаза и усмехнулся:

— Я понимаю, что теперь-то вы непременно постараетесь попасть в Новостаровку. Предупреждаю: напрасные хлопоты. Зона оцеплена войсками — мышь не проскочит. Ни туда, ни тем более оттуда.

— Однако этот, как вы сказали...

— Коренищев...

— Да, Коренищев. Он ведь проскочил.

— А вы не проскочите. Тем более после того, как проскочил Коренищев. Тем более, когда районные власти знают о ваших намерениях.

— Понятно,— сказал я.

— Когда у вас кончается командировка?

— Уезжаю сегодня вечерним автобусом.

— Наши товарищи вас проводят.

— Не стоит беспокоиться.

— Что вы, что вы. Это наш долг. Дальше самолетом, поездом?

— Самолетом.

Вернувшись в гостиницу, я долго кружил вокруг портфеля. Нет, я не нарушил клятву, данную незнакомцу. Я прочитал только первую страницу:

"П. Ф. Коренищев.

Объяснительная".

И еще потряс над ухом коробку. Машинально. Но это спасло меня от больших неприятностей. Этот своеобразный жест я мгновенно вспомнил во время предполетного контроля.

Что у вас в маленькой коробке?— спросила девушка, устало всматриваясь в экран, где просвечивалось убогое содержимое моего портфеля.

Секунды три я соображал, о какой маленькой коробке идет речь.

Холодный взгляд девушки, казалось, рентгеном просветил мою черепную коробку.

– Ах, да! В коробке сахарный песок...

Слава тотальному дефициту!

Лет пять назад этот ответ, несомненно, вызвал бы у бдительной девушки подозрение.

* * *

Я прочитал рукопись Коренищева в самолете.

То, что вы читаете сейчас, естественно, пришлось слегка причесать, вычеркнуть крепкие, образные, но, к сожалению, не очень литературные слова. Кое-где пришлось прибегнуть к пересказу.

* * *

"Каждую ночь мне снятся осколки глиняного горшка, комья земли на полу и вздрагивающие, словно в припадке, корни алоэ.

Видел я вещи и пострашнее, но такого ужаса никогда не испытывал.

Не один я плохо сплю по ночам.

У нас вся деревня нервная.

А все этот чертов тополь. Ладно бы как на юге — пирамидальный. Так нет — настоящий, северный. Ствол в три обхвата, и огромный шар из листьев. В его кроне вся моя изба уместилась бы. Напрочь огуречник от солнца застил, а пуху с него — весь огород, бывало, как в снегу.

По-человечески говорил ведь своему соседу Никанору: "Спили". Так нет же, на принцип пошел сосед.

И вообще, если бы я был Президентом, то первым же указом запретил бы дуракам делать добрые дела.

Не думаю, однако, что это заявление вызовет особую панику среди дураков. Во-первых, Президентом я никогда не буду. Не хочу А, во-вторых, встречали вы человека, который бы считал себя круглым дураком? Вы ведь себя не считаете? То-то.

Особо опасен умный дурак, озабоченный мыслью, как бы ему побольше людей осчастливить.

Извините. Ругаюсь, ругаюсь, а представиться забыл.

Фамилие мое Коренищев. Петр Фомич. Не слышали? Ничего, скоро вы этой фамилией детей пугать будете. Настроение мое вы поймете, если скажу, что живу я в Новостаровке. Да, да, в той самой. Навели, однако, ужас на планету. "Монстры Новостаровки", "Мутанты появляются после дождя", "Неразгаданный феномен". И хотя в последнее время я газетам не очень-то верю, а прямо сказать, совсем не верю, но на этот раз скажу с прискорбием: все как есть — правда.

Не одному профессору наши чудеса извилины переплели. Только им ни за что этой тайны не разгадать.

Я бы и сейчас не высовывался. Но уж очень оскорбительно читать, что весь этот бедлам устроили инопланетяне. А у нас что — тыква вместо головы? Не отдам приоритета чудикам из летающих тарелок. Да по части безобразий мы любого гуманоида переплюнем.

Короче, желаю публично покаяться перед человечеством.

* * *

В слухах о внеземном вмешательстве в наши новостаровские безобразия повинен местный дурачок Федя.

Задолго до печальных событий он грозился дразнившим его мальчишкам:

— Погоди, погоди! Вот Маська прилетит,— при этом он показывал грязным пальцем в небо,— он тебя в нору-то затащит.

Потом, когда его пророчество сбылось, для Феди настали блаженные времена. Он сидел на завалинке, положив ногу на ногу, курил импортные сигареты и отмахивался от надоевшей стаи репортеров. Это, конечно, было до того, как нашу деревню оцепили представители отечественной и зарубежной прессы. Особенно полюбился Феде цветом лица своего журналист с Берега Слоновой Кости. По десять ряз на дню Федя слюнил палец, проводил им по упругой щеке африканца и, не обнаружив сле-

дов макси, счастливо вздыхал. Усаживал его рядом с собой и посягавшим на это место давал полный и окончательный отлуп.

Разноязыкое племя журналистов пытало Федю, что такое Маська, как он выглядит и откуда прилетел. Но Федя, накурившись до головокружения "Кембелом" и объевшись до икоты шоколадом "Вдохновение", отвечал одно:

— Ты дурак, а Маська умный. Маська Федю любит. Маська стра-а-шный. Не обижай Федю. Маське пожалуйста, Маська тебя в нору утащит.

Говоря о Маське, пятидесятилетний Федя неизменно указывал пальцем в небо.

А после очередного интервью, оседлав талинку, скакал в сторону Глубокого озера.

Многие из репортеров, чтобы втереться в доверие к Феде, тоже скакали с ним рядом на талинке вдоль плетней, чем очень смущали деревенских старушек.

— Конец света приходит,— говорили они,— глянь-ко, все с ума посходили.

Один из репортеров — француз, между прочим, месяц с фотоаппаратом наперевес ни на шаг не отходил от Феди, пытаясь подкараулить момент контакта с Маськой. Но Маська был не дурак, чтоб так глупо попасться в объектив журналисту, хотя бы и иностранному.

Впрочем, французу все-таки повезло. Познакомился с преподавательницей английского языка Айгуль Байгазиевной и увез ее в Париж. Уезжал он счастливый, с очаровательной восточной красавицей и менее очаровательным синяком под глазом. Только тут Маська ни при чем. Тут очень даже при чем Нурлан Ибраев — тишайший парень и передовой комбайнер с пудовыми кулаками. После отъезда Айгуль он пил без отдыха неделю самогон, а при встрече как-то сказал мне:

— Ты меня знаешь, Петро! Я интернационалист. Но эти французы мне очень не нравятся.

Но это к слову.

* * *

Да, с тех пор, как все это началось, большие потери понес не только Нурлан.

Сдается мне, что как только опубликуете вы мое раскаяние, не жить мне больше в Новостаровке.

Жаль, конечно, деревня у нас — ни на какой Париж не променяю. Во-первых, сразу за моим огородом озеро Глу-

бокое. Рыбы в нем было, как в тройной ухе. А главное — рядом. Лодка, можно сказать, к плетню привязана. Опять же лес за околицей. Грибы, ягоды, охота. Красота была...

Вот так подумаешь, нет, не хочу я быть Президентом. Хоть ты мне миллион давай — не хочу. Допустим, карп на пареную кукурузу пошел, а тут тебе непременно на какой-нибудь брифинг надо. Ну уж, извините, карп ждать не будет.

Опять же Президент — самый разнесчастный человек в нашем государстве. Всяк-то себя первым человеком считает. "Надо бы так, а он, вишь ли, эдак..." И живет он, как под микроскопом, в который вся страна смотрит.

Извините, отвлекся.

* * *

Когда Сашка приехал, мы на эту тему много разговаривали.

Ну, вот взять хотя бы его, Сашку, и сравнить со мной. Тоже человек вроде бы не последний, а посмотреть не на что. Тощий, щека со щекой слипаются. Едва хватает сил очки носить. Ну, кандидат наук, ну, в городе живет. И что из этого? Что он видит в своей жизни, кроме формул?

А у меня морда... извиняюсь, лицо — красное, как помидор. Захотел на рыбалку — пожалуйста. Всего и делов, что через плетень перешагнуть. Захотел за вишней, грибами — заводи мотоцикл. Места-то у нас грибные, ягодные. Были... Опять же вопрос с питанием. Картошка в лунке — по ведру. Розовая, чистая. И себе хватало, и для поросенка, да еще и в совхоз сдавали. Опять же — воздух. Да я если больше недели городским воздухом подышу, меня же первый милиционер арестует. Меня от такого воздуха качает.

Не видались мы с Сашкой лет десять. Он-то у нас башковитый был. Сразу после десятилетки в институт поступил. Химик, чтоб его... Ну, ладно. А я в армии отслужил, вернулся, женился, ребятишек настругал и живу. А Сашка не живет. Он постоянно думает. Все время думает. Как он еще до сих пор под машину не попал. Голова у него так туго набита формулами, что для другого в ней уже места нет.

Затащил я его к себе.

— Не пью,— говорит,— язва.

Однако выпил.

И такая у нас задушевная беседа пошла, что ты! О пользе жизни на земле. Я ему так и сказал:

- Вот ты кандидат, ученый человек, а я простой кузнец. А от кого государству больше пользы?

Опустил он свою лохматую головушку и говорит:

— В чем-то ты прав, Петр. Понимаешь, ты своим молотом постукал — и пожалуйста, пользуйтесь. А моя работа имеет отдаленные результаты. Кто знает, может быть, при жизни так ничего существенного и не получу. Но лет через сто мои изыскания, возможно, помогут решить человечеству продовольственную проблему. То есть вообще никакой проблемы с жратвой у человечества не будет.

— А чем ты занимаешься?

Посмотрел он на меня задумчиво печальными глазами. И выпили мы по второй.

— Скажу тебе, Петя, по секрету,— говорит,— что я на пороге великого открытия.

И стал он сыпать фразы и формулы, из которых я ничего не понял, кроме одного — изобретает он какое-то удобрение, которое воздействует на гены растений. Причем так — одного грамма на гектар достаточно, чтобы, допустим, картошка выросла величиной с арбуз. Мало того, захочешь, чтобы она вкус яблок имела — пожалуйста. Или, к примеру, в наших краях большой дефицит лесоматериалов имеется. Плевать. Сыпани в почву этого удобрения и сажай сосенки. Через год можешь пилить. Причем, лес, по твоему желанию, может вырасти в виде брусков, досок и даже наличников.

Раскраснелся Сашка, руками машет. Болтай, болтай, думаю, мы сказки любим. И после третьей я его вопросом срезал:

— Это мы понимаем,— говорю,— перспектива. А скажи-ка, вырастил ли ты хотя бы одну картошку с арбуз и чтобы она яблоком пахла?

Сник Сашка, стал очки протирать:

— Результат имеется, но обратный.

— Как так обратный?

— А вот так, вместо того, чтобы увеличиваться, растения, понимаешь, уменьшаются.

— То есть, как это уменьшаются?

— Не хватает, понимаешь, одного компонента.

И рассказал он мне удивительную историю о том, как столетний дуб на опытном участке в течение двух лет сжался до крошечного саженца.

— Послушай, Сашок, не дашь ли ты немного этого удобрения?— загорелся я.

— Зачем?

— Понимаешь, у соседа во дворе тополь растет. И как раз тень на мой огуречник. Я его по-человечески уговариваю: "Спили, пока я из себя не вышел". А он уперся: прапрадед, мол, сажал, под ним папа с мамой меня смастерили, он мне дорог, как память. Все мое детство под его пышной кроной прошло. Короче, пограничный конфликт. Вот-вот дело до вооруженного столкновения дойдет. Не допусти кровопролития, дай мне твой порошок.

Сашок стал серьезным, насколько это возможно после третьего стакана.

— Не могу,— говорит,— мне еще самому не ясен механизм действия. К тому же возможны побочные явления...

А Сашка, между нами говоря, человек такой, что слово из него клещами не вытянешь. Но если вытянул — все, что обещал, сделает.

Короче, уломал я его после пятой.

* * *

Об этом разговоре я на следующее утро забыл. А о Сашке, виноват, так и подумал: трепло. Однако с кем по пьянке не бывает. Я и сам не без греха.

Кончился у него отпуск, уехал в свой НИИ, увез сушеных окуней, которых мы вместе наловили.

А через неделю пришла от него посылочка. Маленькая такая — размером с сигаретную пачку.

В посылочке — письмецо-инструкция. А в письмеце обернут спичечный коробок, обклеенный плотной бумагой. А в коробке — порошок белый, как сода.

Сказать откровенно, не верил я ни в Сашку, ни в его порошок.

Так, на всякий случай, решил попытаться уладить конфликт мирным путем.

Подружился я с соседским Полканом. Он, подлец, охотно принимал от меня кости, а за забор позволил перелезть только через неделю.

Короче, подрыл я под корень ямку, сыпанул в нее порошок по инструции и прикопал.

* * *

— Утром говорю соседу:

Что-то твой тополь как будто меньше стал. Видно, совесть в нем заговорила.

— Вот с ним,— отвечает,— и беседуй.

— И поговорю. Слушай, тополь, у тебя же мозгов больше, чем у хозяина, ты-то должен понять, что огуречику солнце нужно...

Сосед в дом побежал. Выводит жену, тещу и все свое семейство.

А я на колени перед тополем бухнулся и задушевно так прошу его слегка ужаться.

— Чокнулся,— говорит сосед с некоторой радостью в голосе.

— Да у него и раньше не все дома были,— поддакивает супруга,— помнишь, небось, как он пальму в огороде вырастить хотел.

— Рехнулся, как есть рехнулся,— вторит им старуха,— как бы дом не поджег, с дураков взятки гладки.

Поднялся я, отряхнул колени и отвечаю:

— С вами, граждане, я всякие дипломатические отношения прерываю. Отныне говорить буду только с деревом. Думаю, толку будет больше.

И гордо так пошел в туалет. Ну, разные слова, конечно, вслед полетели. Только я — ноль внимания.

* * *

Проходит месяц и замечаю, что порошок начал действовать.

У соседей легкая паника и скандал. Повесила старуха, скажем, белье сушить. Один конец веревки к застрехе сарая привязала, а другой за нижний сук тополя. А на утро край пододеяльника — в корыте для уток очутился.

Вот тогда-то и развернул Федя-дурачок свою агитацию и пропаганду. Бегал от двора к двору и радостно орал:

— Маська прилетел! Маська прилетел!

Старухи крестились, мужики чесали затылки и изъяснялись между собой: время, мол, такое, что только дуракам и верить остается.

Я, конечно, про себя улыбаюсь. Вот, думаю, и пригодился Сашкин порошок. А то: "Нет практического применения". Да если покумекать как следует, всему применение можно найти.

Ну, а тут параллельно битве с тополем открылась у меня война на втором фронте.

Приволокла жена кусты алоэ и заставила ими все окна.

В доме — вечные сумерки.

— Зачем тебе эти кактусы?— спрашиваю.

— Сам ты кактус,— отвечает.— Это же столетник. Очень полезное растение. Его к чирьям прикладывают.

— Да для этих джунглей по всей деревне чирьев не наберется. Освободи подоконники!

Куда там! "Не тронь,— говорит,— уйду вместе со столетником и детьми к маме".

Живем в потемках, как в погребе.

После очередной ссоры с женой вспомнил я о Сашкином порошке. Нашел коробочку. Пообтрепалась она в кармане. К тому же я в нее положил... А вот что я в нее положил — убейте, не скажу.

Там-то этого порошка было — только дно припудрено. А то, что я в него положил, истлело и высохло. И образовалась серая труха. Знаете, как крылышки у моли.

Сомневался я, конечно, сохранил ли порошок свои свойства, но надоело жить в потемках.

Высыпал я этот порошок в кактус, что стоял на подоконнике в горнице, и обильно полил водой.

Жена очень удивилась.

— Это чего ты здесь делаешь?— с подозрением спрашивает.

Я прямо-таки вздрогнул: не заметил, как она вошла.

— Да вот,— говорю,— полил немножко, а то что же это он неполитый стоит.

А коробочек — незаметно в карман.

Жена, конечно, бдительность проявила, землю понюхала.

— А ну-ка,— говорит,— долей чего у тебя там в кружке.

И только тогда успокоилась, когда я эту просьбу выполнил.

— Эх,— говорю,— Маша, Маша, для тебя кактус дороже мужа.

— Не кактус, а столетник. Большая разница.

Спустя три дня я с удивлением обнаружил, что удобренное трухой алоэ, вместо того, чтобы уменьшиться, заметно прибавило в росте.

Жена повеселела, я загрустил. В доме воцарился мир.

Прошло некоторое время, и вот однажды ночью нас разбудил глухой стук.

* * *

... Не могу, граждане. Как до этого места дойду — ру-и дрожат, сердце в ушах стучит. Волнуюсь. Век бы вам не видеть, что я в ту ночь увидел. Погодите, пока я отды-шусь и себя в руки возьму.

Ну вот, значит, стукнуло, треснуло, рассыпалось. Же-на мне шепчет: воры, мол, в окно лезут.

Я как был в чем, хватаю утюг для самообороны без оружия — и в горницу.

Включаю свет.

Нет, не могу. Отдышусь маленько. И вы, граждане, на всякий случай валидол под язык положите.

Короче — на полу осколки от горшка, комья земли. И куст алоэ. Корни у него толстенные, как бы в волосках — и шевелятся. Да так, знаете, будто в припадке. И он от этого ползет в припадке по полу. Как тарантул.

Ну, кто в деревне вырос, знает, наверно, овсюг. Его семя имеет такой усик. Стоит его слегка намочить — на-чинает раскручиваться и ползет.

Но это алоэ было совсем как живое и ползло прямо на меня. Я утюг обронил. Он, конечно, мне на ногу. Но я да-же не почувствовал.

Жена у меня баба, извиняюсь, женщина деревенская, но как увидела ползущее алоэ, так сразу, будто худосоч-ная горожанка,— бух в обморок. Ребятишки крик подняли. Ну пока я наводил в доме порядок, растение угомонилось.

Долго я не мог взять его в руки. Однако преодолел се-бя. Взял. А оно в моей руке затрепыхалось. Знаете, как петух с отрубленной головой.

Всю ночь просидел над ним. Положил на кухонный стол и наблюдаю. И смотрю, что такое — корни прямо на глазах вытягиваются. Оно, понимаете, растет. Уже без земли. Самостоятельно.

Тут-то меня и осенило. Положив в Сашкин коробок..., а чего положил, режьте меня — не скажу, я-таки нашел недостающий компонент.

И так у меня на сердце весело стало. Ну, думаю, Петр Фомич, дрыхнет сейчас человечество и не знает, какое ему счастье привалило. Это же картошкой с арбуз мы всю планету завалим, из каждого пшеничного колоска можно свободно буханку выпекать. Это же надо...

Ну, о чем я еще тогда думал, вспоминать не буду. Скажу только, что долго прикидывал размер Нобелевской премии и в конце концов решил, что на новую избу ее хватит.

* * *

Что меня тогда остановило, чтобы на следующий день не разболтать о порошке? Скажу откровенно: боялся, что открытие перехватят другие и Нобелевская мне не обломится.

И жене, и ребятишкам строго наказал, чтобы ни-ни, никому ни полслова.

Собрал я землю из горшочка и рано утром рассыпал по крохам в огороде. На всякий случай. А сам стал думать, как бы мне выпросить у Сашки немного его порошка.

* * *

А между тем, соседский тополь заметно уменьшился в объеме и высоте. Соседская теща, боясь сглаза, избегала встречаться со мной. Сосед стал задумчивым и хмурым. Пропал наш кот, который часто бегал на свидание к соседской кошке. Прямых улик у меня не было, но сердце чуяло: началась кровавая вендетта.

По деревне прошелестел шепоток. Со мной здоровались особенно ласково, но в продолжительные разговоры не вступали. И только Гришка Придорожный, прозванный Шнобелем, зазвал меня к себе, угостил самогоном и, помявшись, сказал:

— Слушай, Петро, ты бы это, того, нос бы мне немного подсократил. А то, понимаешь, никакой возможности нет чай пить. Особенно горячий.

И действительно, он когда стопку пьет, интеллигентно так двумя пальцами свободной руки нос отводит слегка в сторону.

Ну, я ему, конечно, сказал слова, идущие от сердца. Психанул, короче. Ну, поговорили. Нос у него после этого хотя и не сократился, но несколько свернулся набок.

Впрочем, и у меня тоже.

Одно меня утешало. Неотвратимая благодарность всего человечества.

* * *

Началось это после обильного дождя.

Вдруг поперла ботва в огороде. А сухой старый плетень зазеленел свежими листьями.

Старушки крестились на плетень, меня называли батюшкой и просили прикладывать руку на больные места.

Ну, там разные места. Были бы помоложе — с превеликим удовольствием. Но уж больно ветхие старушенции.

Этот зеленый плетень очень мне не понравился. Тут-то я и вспомнил Сашкино предупреждение о возможных побочных явлениях.

Действительно, боком мне вышел этот порошок.

Ну, ладно, дойдем по порядку.

Подкопал я как-то куст картошки. Мама-мамочка! До сбора урожая еще месяц, а клубни — величиной с пудовую гирю. Оглянулся я вокруг, быстренько прикопал лунку и — на почту. Отбил Сашке телеграмму.

"Нашел компонент тчк. Приезжай срочно тчк. Твой соавтор Коренищев тчк Доказательства высылаю посылкой".

В посылку, между прочим, вошла всего одна картошина.

* * *

Да, после происшествия с алоэ жена все кусты с окон убрала. В доме светло стало, уютно. Только недолго это продолжалось.

Обедали как-то всей семьей. Разговоры разговаривали. И вдруг — только это жена пельмени ставит — стол как подпрыгнет. Посуда с полки покатилась — бац, бац, бац!— все фарфоровые тарелки вдребезги.

— Дети, на улицу,— кричит жена,— землетрясение!

— Ты чего паникуешь?— говорю я ей, а у самого ноги ватные. — Какое землетрясение? Не бывает у нас землетрясения! Чего стоишь, разиня? Выводи скорее детей на улицу.

А между тем наша бревенчатая изба поскрипывает, покачивается, портреты родственников со стен падают, за печкой кочерга с ухватом гремят.

Выскакиваем на улицу, не доевши пельменей: действительно домик наш слегка пошатывается, собака воет и рвется с цепи, куры разлетаются. Конец света.

Но, обращаю внимание — у соседей через дорогу полное спокойствие. Должно быть, соображаю, эпицентр прямо под нашей хатой, а до них волны еще не дошли. И так, знаете, минут пять покачало, чвакнуло и все стихло.

После этого необъяснимого случая началась страшная засуха.

Глубокое на глазах высыхало. Вода из колодцев уходила.

А я в огороде — не хвастаюсь — сам персональный колодец себе вырыл. В первый год женитьбы. Для удобства жены. И для собственного спокойствия. У нас с нею медовый месяц лет десять длился. Она у меня когда под ведрами-то идет — заглядеться можно. Было... И очень, понимаете, не любил, когда не нее другие глазели.

Вот, для того, чтобы она по улицам с ведрами не ходила, и вырыл я колодец в огороде. Сил много было, с чувством рыл — глубокий колодец получился. И что главное — во всех колодцах вода солоноватая, а у меня словно в серебряной чаше — чистая, вкусная. Знаете, березовым соком отдает.

И вот, когда с водой перебои начались, вся деревня ко мне в огород зачастила. Оно, конечно, воды не жалко. Однако, знаете, если всей деревней огород топтать — не каждому понравится.

Говорю жене:

— Привяжу к колодцу Полкана.

— Не страмись,— отвечает,— скажут, вот какие Коренищевы — воды им жалко.

— Так ведь весь огород вытопчут.

— Пусть лучше потопчут, чем худые слова говорить будут.

Ну, баба... извиняюсь, женщина, что с нее возьмешь.

И вот как-то вечерком, только мы собрались ужинать, слышу крик в огороде.

Выбегаю и вижу — стоит у колодца соседская теща. Ровно так стоит, без движения. И кричит:

— А-а-а-а...

Я ее за плечи трясу, спрашиваю, что случилось, а она знай свое:

— А-а-а-а...

И замечаю я, что цепь-то размотана и как-то неправильно себя ведет. Как-то не так раскачивается.

Заглядываю в колодец — и:

— А-а-а-а...

В колодце, граждане, извивается хобот. Толщиной с бревно, но очень гибкий.

И вот на моих глазах запутывается в цепь, начинает скручиваться в кольца, биться о стены и — дзинь — рвется в цепь. И хобот — чавк — вместе с цепью исчезает в черной воде.

На следующий день завалился колодец. Убейте меня, но пить воду из колодца, в котором извивался этот, покрытый слизью хобот, я не стану.

* * *

А потом началась сплошная чертовщина.

Сбылось предсказание Феди-дурачка. Его главный обидчик — Сенька Косой — на ровном месте, а точнее сказать на футбольном поле провалился сквозь землю.

В тот день к нам приехала футбольная команда из соседнего совхоза. Зрителей собралось — скамейки свободной не было. Правда, скамеек на стадионе всего три. Но длинные. В начале второго тайма в пределах штрафной площадки у Косого оторвали рукав футболки, стянули трусы и немного поколотили. Короче, пенальти.

И вот Косой приводит себя в порядок, ставит мяч на одиннадцатиметровую отметку, предварительно уверяя судью, что она находится в шести метрах от ворот. Договорились на девяти. Разбегается. Поднимает для удара ногу. И — проваливается вместе с мячом под землю.

Не успели зрители вскрикнуть от ужаса, как вдруг футболисты, сгрудившиеся у штрафной, один за одним стали падать на землю. И мы замечаем, что футбольное поле начинает слегка бугриться, по нему ходят зеленые волны. Надо сказать, что ребята во время засухи обильно поливали поле водой, чтобы трава не выгорела, благо их вратарь на водовозе работает, а Глубокое рядом.

Тут, конечно, началась паника!

Один Федя-дурачок был очень доволен.

— Маська прилетел, Маська прилетел!— радовался он, прыгая на одном месте, как сумасшедший. Впрочем, что я говорю. Он действительно не в себе. Медицинский факт.

Косой, выкарабкавшийся из-под земли без бутса на левой ноге, полностью подтвердил слова Феди. Объяснил невнятно, так как после несостоявшегося пенальти стал страшно заикаться.

Минут десять, выпучив глаза, он лепетал: "Ма... Ма... Ма..." Но все поняли, что он хотел сказать: Маська. С этого дня люди из деревни стали постепенно уезжать на БАМ.

* * *

А между тем соседский тополь, уменьшившийся до допустимых размеров, вдруг снова стал разрастаться. Он рос так стремительно, что все это походило на взрыв. Нагло

раскинул ветви, порвал провода. Я не успевал обрубать его корни, которые прорывались в мой огуречник, погреб. Это уже был не тополь, а секвойя какая-то.

Но самое ужасное — стали расти телеграфные столбы.

Несмотря на засуху, вдруг тучно заколосились пшеничные поля. В ближайшем лесу вырос небывалых размеров груздь, величиной в зонтик.

Прибежал кум, раскинул руки и заорал:

— Во! Во такой! На пареную пшеницу! Сорвался! Петро, у тебя была миллиметровка. Дай миллиметровку!

Сейчас, разбежался.

— Нет у меня миллиметровки,— говорю.— Где рыбачил?

— У камышей, за песчаной косой.

* * *

Проводил я кума, а сам стал сооружать удочку. Оно, конечно, вещи творятся непонятные, но если клюет большая рыба, меня дома не удержишь. Я вам так скажу: ничего важнее на этом свете, чем рыбалка, нет.

Отплыл я затемно. Часам к пяти бросил якорь у камышей за песчаной косой.

С первой же поклевки — подсек. Я на Глубоком всю жизнь. Но такого язя еще не видел. Не рыба, а настоящая свинья в чешуе. Братья по разуму, не поэт я. Не могу вам описать, как эта рыбина ворочалась в темной воде, сверкая чистым серебром. Каждая чешуина — размером со столовую ложку. Губы толстые, как у негра. Вспотел, пока втащил ее в лодку. Переваливая через борт рыбину, порядком-таки черпнул воды. Промок с головы до ног. Упарился. Сижу — не могу отдышаться.

На озере тишина. Розовое небо, розовая вода. В камышах утки крякают. Сижу и чувствую, что вот они и наступили — лучшие мгновения моей жизни. Сбылась мечта и большего желать нечего. В лодке ворочался самый большой язь в мире. Время от времени он шлепал хвостом по дну, окатывая меня брызгами. А хвост! Во-первых, широкий, как совковая лопата. А во-вторых, черно-красный, как небывалый цветок.

И вдруг из камышей, с шумом, как маленькие торпедные катера, выплыла утка с выводком.

Потом затрещали камыши, и в прозрачной воде я увидел темную извивающуюся тень. Это была змея.

Но только очень большая и очень толстая. Она буквально летела под водой. В мою сторону. Я успел размахнуться веслом, когда змея, словно слепая, тупым носом врезалась в борт. Лодка перевернулась. Язь и я полетели в воду. Вынырнув на секунду, я увидел над головой кроваво-красную кольчатую дугу змеиного тела. Инстинктивно нырнул под лодку. В следующую секунду затрещали ее борта. Выбравшись из-под обломков, я увидел зрелище, которое уже никогда не увижу. Невидимый путь змеи отмечался серебряным фейерверком выпрыгивающих из воды огромных рыб. Будто невидимый сварщик варил свой шов, направляясь к середине озера.

* * *

Через день разразился небывалый ливень. Он лил сутки напролет, и вся эта чертовщина полезла из земли.

Это были черви. Обыкновенные дождевые черви. Толщиной в два обхвата и длиной от пятнадцати до тридцати метров.

Несчитанное количество слепых тварей бесцельно ползло по земле, оставляя глубокие колеи, ломало плетни, дырявило глубокими норами почву.

В эти дыры долго потом проваливались кошки, собаки, прочая домашняя живность, люди. И не всех, к сожалению, удалось спасти. Одним из первых сгинул под землей Федя-дурачок.

Не осталось ни огородов, ни дорог. Было сплошное черное месиво грязи, среди которого стояли измазанные, перепачканные дома. Почти все они осели, покосились.

Жители деревни, закрывшись в домах, с ужасом смотрели на извивающиеся, переплетающиеся тела гигантских червей.

Время от времени в домах раздавались вопли. Это означало, что одна из тварей проникала в подполье и, ломая половицы, просовывала свое безглазое мурло в человеческое жилище.

* * *

Потом, когда дождь кончился и черви уползли в свои норы, обнаружился такой разор и такое опустошение, что приехавший Сашка поседел на моих глазах. Сашка успел проскочить в Новостаровку за день до того, как прибыли военные.

Он сел прямо на землю, обхватил голову руками и раскачивался около часа. И когда я решил, что он окончательно помешался, Сашка поднялся и спросил голосом мертвеца:

— Так что ты добавил?

Я поскрипел зубами и ответил:

— Забыл.

— Вспомни. Это очень важно. Нужно найти противоядие. Понимаешь?

— Забыл,— повторил я и добавил.— И никогда не вспомню. Тоже мне, благодетель человечества.

— Не время ссориться, Петр, ты разве не понимаешь, что это — экологическая катастрофа! Ты видел, во что превратились леса? В завалы бревен, перемешанные с грязью. Ты видел поля?

Он достал из кармана микрокалькулятор и защелкал клавишами.

— По моим подсчетам, черви успели разнести землю из твоего огорода на территорию радиусом в пятнадцать километров. И на всей этой территории имел место взрывоподобный рост растений. Той мизерной дозы, которую я тебе выслал, для этого явно недостаточно. Ты понимаешь, что это означает?

— Что?

— Что черви вырабатывают это вещество. Можно с уверенностью утверждать, что до начала морозов зона экологического бедствия может распространиться на три области. Понимаешь? И никто не может предсказать, что будет следующей весной. Понимаешь?

— Понимаю. Нобелевскую премию — пополам.

— Ты что, с ума сошел?! Какая премия? Это же преступление! Преступление против человечества и природы. В лучшем случае мы можем рассчитывать на пожизненное заключение. Впрочем, тебя скорее всего оправдают как интеллектуально неполноценного. Это еще счастье, что состав действует столь избирательно. Что было бы, если бы он спровоцировал взрывоподобный рост не безвредных дождевых червей, а хищников вроде тарантулов? Или воробьев? Да они бы за день переклевали все население района... Скажи, что ты добавил в состав?

Что мне осталось делать?

Я сказал.

Сашка не поверил.

— Клянусь,— сказал я,— хочешь я землю съем?

— А вот этого делать не надо,— мрачно предостерег Сашка.— Я верю тебе. Впрочем, у нас в запасе нет времени. Остается один выход. У тебя мотоцикл на ходу?

Он снова защелкал на калькуляторе. Присел на корточки и щепкой стал рисовать маршрут.

— Мы должны окольцевать деревню моим составом, создать непроходимый барьер для червей, локализовать зараженную землю. Необходимо соорудить специальную емкость с распрыскивателем. Это твоя задача.

Он снова защелкал на своей машинке, после чего нарисовал на земле схему аппарата.

И вдруг швырнул на землю калькулятор, обхватил голову руками и замычал.

— Нет, это не выход! Нельзя одно преступление исправить другим. Да и не успеем мы. Времени нет, не хватит состава. Боже мой, что делать, что делать?

* * *

Большую часть рукописи занимали батальные сцены. Возьму на себя смелость изложить их в коротком пересказе.

На следующее утро оставшиеся в Новостаровке жители проснулись от грохота взрывов и рева моторов. Части регулярной армии окружили деревню и с ходу вступили в бой с дождевыми червями.

Канонада гремела, не смолкая.

Но чем больше было удачных попаданий, тем больше становилось червей. Это напоминало битву со Змеем Горынычем, у которого вместо одной отрубленной головы вырастали две.

Более того, черви перешли в наступление, прорвали оборону в нескольких местах. На вооружении армии не было средств, способных эффективно вести борьбу с подземным противником.

Возникла идея выселить из зоны людей и произвести подземный взрыв ядерного устройства огромной мощности.

Но в это время из одной дыры, пробуренной червем, хлынула нефть. Случился пожар, для ликвидации которого были отвлечены большие силы. Это и не позволило осуществить проект уничтожения червей с помощью ядерного взрыва.

Военные и гражданские власти были в полной растерянности. Именно в это время, по настоятельной просьбе

ученого друга Коренищева виновники катастрофы были доставлены в штаб.

Охрипший генерал кричал в трубку:

— Единственное более-менее эффективное средство борьбы с противником — огнеметы. Однако их недостаточно. Кроме того, применение их сдерживается двумя факторами. Во-первых, они эффективны лишь в тех случаях, когда противники выползают на поверхность. Во-вторых, мощный выброс нефти не позволяет применять их без риска вызвать новые очаги пожара...

Отрапортовав, он тем же сорванным голосом обратился к друзьям:

— Кто такие?

Кандидат Сашка представился. Сказал, что он знает причину катастрофы и стал сыпать формулами.

Генерал прервал его:

— Отставить! Сейчас меня интересуют только средства борьбы с противником.

— Есть такое средство, но...

— Никаких "но". Прошу коротко доложить.

Сашка доложил. Через пятнадцать минут генерал ставил задачу перед вертолетчиками, поступившими в полное распоряжение Сашки.

На следующий день над Новостаровкой затрещали винтокрылые машины. Квадрат за квадратом они опыляли Сашкиным порошком зону.

В течение недели с противником было покончено.

Обошлось без особенных жертв. Если не считать единственной в своем роде авиакатастрофы. При взлете самолет столкнулся с внезапно вылезшим на поверхность земляным червем. К сожалению, в этом самолете находился решительный генерал.

На земле, продырявленной, как сыр, вспаханной червями, прокопченной нефтяным пожаром и огнеметами, наступила тишина.

Но рукопись на этом, к сожалению, не заканчивается.

Вот как описывает последующие события покойный Петр Коренищев. Судя по сильно изменившемуся почерку, вернулся он к своим записям через продолжительное время.

* * *

— Слава богу, кажется, предотвратили катастрофу.

Это были последние слова, которые сказал Сашка.

Тот самый тополь, из-за которого и случился весь сырбор, рухнул. Видать, корни были подточены червями. Я

успел отскочить в сторону и отделался рубцами на том самом месте, которое никогда не загорает.

А Сашка...

Хороший все-таки был человек, хотя и стремился во что бы то ни стало облагодетельствовать все человечество.

Я-то попал под ветви, а он — под ствол.

... Вот так и получилось, что только я один на всем белом свете знаю причину Новостаровской катастрофы.

"Предотвратили" ... Как бы не так!

На землях нашего совхоза картошка растет величиной с горох.

Ее и не садят.

Пшеницу не сеют пятый год.

Бесполезно.

Вместо светлых наших грибных да ягодных колков — выросли тщедушной карликовой березы.

Кстати, черви вообще исчезли.

Так же, как птицы и звери. В Глубоком пусто, как в колодце.

Возможно, говорят ученые, лет через пятьдесят плодородие почвы восстановится.

А, возможно, и не восстановится.

Но это еще не все.

Сторона у нас степная. Ветренная. Раздувает во все стороны Сашкин порошок. У соседей, по слухам, урожайность из года в год снижается.

Огородили нас трехметровым забором, только не очень он помогает. Со временем думают накрыть стеклянным колпаком.

Где они столько стекла наберут?

Жителей Новостаровки в первые дни хотели эвакуировать из опасной зоны.

Однако ученые обследовали население и обнаружили, что в нас после опыления какой-то опасный для человечества вирус завелся.

Одно их порадовало: опыленные не способны к продолжению рода.

Очень равнодушно смотрят опыленные мужики на женщин.

А вот женщины — те наоборот...

Ну разве не конфликт? Еще какой конфликт!

Давненько не оглашали Новостаровку крики новорожденных, давненько.

Правда, спустя несколько месяцев после опыления, у молодоженов Черноталовых родилось дите...

Как и назвать, не знаю. Обезьянка не обезьянка, а только с хвостиком и вся как есть покрыта синей шерстью.

В общем, за забор нас не выпускают.

Продукты, как полярникам, сбрасывают с самолетов. Кормят хорошо. Грех жаловаться.

Раз в полгода у клуба приземляется вертолет. Выходят из него ученые. Одеты как космонавты. Анализы у нас берут.

Что с нас еще взять?

Вот такая жизнь. Ешь, пей, спи. Ни тебе работы, ни тебе рыбалки, ни тебе охоты.

Женщинам в глаза боязно смотреть.

Очень, понимаете, агрессивные женщины в Новостаровке. Ничего им не стоит обидеть мужика словом и действием. Иначе как трутнями они нас и не называют.

Соберутся мужики, выпьют, а поговорить не о чем.

— Эх,— скажет кто-нибудь,— найти бы того гада, который нам такую жизнь устроил!

И все хором начинают скрипеть зубами. Обильно текут скупые мужицкие слезы.

Я, конечно, сижу да помалкиваю.

* * *

А надо сказать, что я-таки припрятал толику Сашкиного порошка.

По привычке. Хозяйственный мужик завсегда чего-нибудь да припрячет.

Сначала-то я хотел его сжечь, как улику. Но потом стал думать да размышлять: нельзя ли этот самый компонент так добавить в порошок, чтобы, значит растения увеличивались, а черви оставались в прежних размерах?

Крепко во мне эта мысль засела: найду нужный состав — и все эти побочные явления после опыления исправлю. Клин клином...

Я уже писал, что после опыления в Новостаровке исчезли дождевые черви.

Исчезли-то исчезли, да только не у меня.

В бане под потолком поставил я пластмассовую емкость с землей. Червей в ней разводил. Зимой все на мотыля да бармаша, бывало, рыбачат, а я — на червя. И секрета своего никому не открывал. Набирал я эту землю в емкость и запускал в нее червей до всех этих событий.

А тут как раз сбросили нам с самолета свежую картошку.

И вот расставил я в кузне ведра с червивой землей, посадил в нее картошку, заперся изнутри и стал производить опыты.

Что я только с этим компонентом ни делал, в каких только пропорциях ни смешивал с Сашкиным порошком — ничего не получалось. Только подсыплешь состав в ведро, глядь — а уж из него чудо-юдо лезет. Понятное дело — землю в огонь. И по новой.

Я уже говорил, что новостаровские мужики для своих «сп никакого практического интереса не представляли. Им, женщинам, то есть, было глубоко наплевать, где мужик шатается, чем занимается,— лишь бы не путался под ногами да не раздражал своей бесполезностью. Так что я дни и ночи пропадал в кузне. Отощал, бородой оброс, отчаялся.

И оставалось земли в пластмассовой емкости на ведерко, несколько дождевых червей, да и компонент был на исходе.

Подпер я голову руками, сижу, смотрю на компонент. Час сижу, другой сижу, ничего придумать не могу. Ток я через него пропускал? Пропускал. В солярке вымачивал? Вымачивал. И сушил, и крошил, и перетирал, и морозил...

И такая досада взяла, что плюнул я в сердцах в этот самый компонент.

Но потом успокоился. Дай, думаю, еще одну пропорцию испытаю.

И только состав в ведро высыпал — стук в дверь.

Я ведро за горн спрятал, открываю. Жена. И ну меня отчитывать.

— Никакой,— говорит,— пользы от тебя в доме. От кошки и то больше толку. Крыша прохудилась, а тебе и горя мало. Али ты уже и крышу не можешь покрыть?

Много, в общем, она мне разных обидных слов наговорила.

* * *

Дом, конечно, за время моих опытов пришел в большое запустение.

Перекрыл я крышу, заменил половицы на кухне, печь подремонтировал, новую дверь в сарае поставил. Недели две по хозяйству хлопотал.

И такое на меня отупление нашло, такое безразличное настроение, что и думать забыл о ведре, оставленном в кузне. К тому же по вечерам мы с соседом Никанором шибко стали прикладываться к самогону. Спрячемся где-нибудь за плетнем и отводим душу. Сдружило нас общее несчастье. Он как выпьет, так и загорюнится:

— Ты помнишь, Петро, какой у меня тополь рос? Во всем свете такого тополя не было. А теперь и повеситься не на чем. Живем, понимаешь, как в пустыне. Ни тебе деревца, ни травинки. Не на чем глазу остановиться, душу порадовать. Баба совсем озверела... Эх, найти бы того гада! Как думаешь, откуда они прилетели — с Марса или Венеры?

Молчу я, а сам думаю: и чем мне помешал соседский тополь? Рос бы себе да рос. Красивое дерево было. А как пух с него полетит — заглядеться можно. Что твой снег...

Зарыдал сосед Никанор. Уж больно слезливый мужик в Новостаровке пошел после опыления. Чего о женщинах не скажешь. Те, наоборот, что твой кремень стали. Чуть что против скажешь — сразу дерутся.

Высморкался с чувством Никанор, утер слезы и спрашивает:

— Как думаешь, черви эти совсем пропали? А, может, глубоко в землю ушли? Не ровен час, вернутся...

От этих слов я и протрезвел. Память ко мне вернулась. Как представил, что у меня сейчас в кузне творится, волосы дыбом встали.

* * *

Только открыл я дверь, меня по лицу так ботвой и хлестануло.

Не употреби мы с Никанором самогон, никакая сила не заставила бы войти меня в кузню. Мало радости быть задушенным земляным червем.

Однако хмель делает человека не только глупым, но и храбрым. Может быть, это одно и то же.

Вначале я продрался сквозь хрупкие заросли ботвы к керосиновой лампе. Зажег и стал пробиваться к ведру.

Пробился.

Из него так и выпирали розовые клубни.

Пахли они яблоками.

Зачерпнул я руками землю и вижу — червяк. Живой, красный, нормальных размеров.

Тут-то меня радость и захлестнула. Сижу на полу, обливаюсь слезами и чуть не целую этого червячка.

"Получилось,— думаю,— конец всем побочным явлениям! А с чего это вдруг получилось? Что я такого с компонентом сделал?"

А лампу-то на бочонок поставил. То ли с пьяну, то ли с радости забыл, что в ней солярка была. Повернулся ли неловко, ботвой ли зацепил, крышка ли опрокинулась, только лампа бултыхнулась в бочонок. Как полыхнула моя кузня! Еле-еле успел выскочить, прихватив Сашкин порошок. Подкалился, конечно.

* * *

Это уже потом я вспомнил, как плюнул в сердцах в компонент.

В этом-то все дело и было.

Только вот повторить эксперимент я уже не мог. Всех червей израсходовал, и последние при пожаре сгорели.

На следующий день пошел к забору, отделяющему нашу Новостаровку от остальной планеты.

Только метров на сто приблизился, сирена загудела.

— Назад!— кричат мне.

— Еще шаг и стреляем без предупреждения.

Поговори с ними. Люди военные. У них слово с делом не расходится.

Делать нечего, вернулся.

Дождусь, думаю, ученых, что за анализами прилетают. Люди они умные, поймут.

Дождался.

Объясняю: так, мол, и так — плюнуть надо.

Смотрят на меня через стекло, как на говорящего кролика, кивают головами.

— Совершенно с вами согласны,— говорят,— плюнуть — и никаких проблем. Это действительно великое открытие.

А тот, что постарше, объясняет остальным:

— Как я и предвидел, коллеги, начинается деградация личности. Это первый, но уверен — не последний случай.

Если человек в чем уверен, ему уже ничего не докажешь.

* * *

Которую ночь не сплю, думаю, что мне делать.

Приготовить состав да рассыпать в своем огороде: будь что будет.

А что будет?

Вдруг, как сказал Сашка, тарантулы величиной с "Кировец" появятся. Или еще какая-нибудь чертовщина... Или вирус какой...

Один раз уже исправили ошибку.

Прорваться через забор?

Допустим, прорвусь, допустим, доберусь до настоящих ученых, а не этих — со стеклянными банками на головах.

Кто его знает, в какие руки попадет этот состав и что из этого получится? Сашка тоже ведь ученый был, а вон как все вышло.

А может быть, сжечь этот порошок? Пусть идет как идет. Через лет пятьдесят вся Новостаровка вымрет, обработают чем-нибудь зону и все дела.

Все, решено. Сожгу от греха. Эдак ведь не выдержишь, рассыпешь по огороду, а Сашки-то нет, противоядия нет. Останется от земли труха, как крылышки от мертвой моли.

Сяду перед печкой. В руках этот злосчастный порошок. А бросить его в огонь сил нет.

Смотришь на пламя — и видишь земной рай. Огромные деревья. Заросли лесной земляники выше человеческого роста, листья, как лопухи, ягоды, как детские шары. Белый гриб с холодильник. И тот язь, что был в моей лодке. Каждая чешуина — с серебряную ложку. И люди — красноморд... извиняюсь, ...лицые, веселые, счастливые.

А вдруг никаких побочных явлений не будет?

И опять по новому кругу — рассыпать в огороде... прорваться за забор... сжечь... рассыпать... прорваться... сжечь..."

* * *

Да, удружил ты мне, покойный кузнец Коренищев.

Переложил бремя выбора на мои плечи. Нашел выход.

Ты-то хоть был виноват. По глупости, по неведению, но виноват.

А я здесь при чем?

Ты даже не знал моей фамилии. Доверил решение проблемы случайному человеку. Окажись на моем месте в районной гостинице кто-то другой...

Сидел бы этот другой бессонной ночью, глядел, не мигая, в огонь и проклинал бы и тебя, и ту командировку, и все на свете.

А может быть, поступить так же, как ты — предоставить выбор другим?

Отнести эту коробку с запиской: "Недостающий компонент... Перед употреблением плюнуть. Смешать один к двенадцати" — к какому-нибудь яйцеголовому профессору-химику, и пусть он ломает голову.

Но в какие руки он попадет? Исключен ли неудачный эксперимент? Не воспользуется ли порошком какой-нибудь фанатик?

В конце концов я тоже житель планеты и мне не безразлично, что будет с ней, а значит, и со мной, с моими близкими...

Сжечь — и дым в небо. И голова не будет болеть.

Но, возможно, в руках у меня спасение для несчастных жителей Новостаровки. Было бы преступлением перед ними бросить чудодейственное средство в огонь.

Как, впрочем, и не бросить в огонь...

Я закурил. Да, после командировки, я снова начал курить.

Сигаретный огонек высветил в зеркале мое лицо. На меня с тоской и мукой смотрели чужие глаза. Это были глаза кузнеца Коренищева.

Да, человек из Новостаровки, ты ошибся во мне. Тебе казалось, что я найду правильное решение. А я, как и ты, вращаюсь по тому же замкнутому кругу.

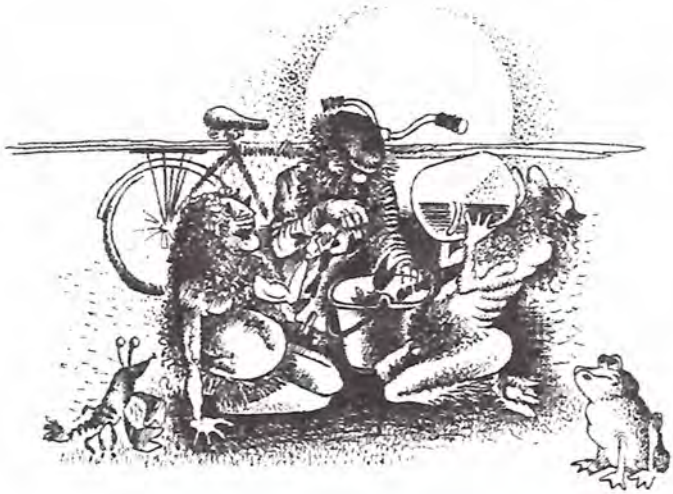
Какой бы выбор я ни сделал, все равно он будет чудовищным.

Завтра я поеду на дачу. Разожгу камин и буду, не мигая, смотреть в огонь, сжимая в руках металлическую банку с белым порошком и запиской.

Это так просто — швырнуть в огонь. Но снова и снова мне пригрезится то же, что и тебе: деревья, в кронах которых запутались облака, пудовые ягоды спелой земляники...

А что, если опубликовать повесть? И назвать ее фантастической. Возможно, найдется человек, который подскажет правильное решение.





Парик для черта лысого

(Дневник новостаровского лешего)

I. КАК МИТРИЧ С ЛЕШИМ ДА ВОДЯНЫМ ПИВО ПИЛ.

Однажды Нахимыч, водяной, что за третьим бродом у Полынной сопки живёт, гнал из своего омута на Кривое озеро стадо раков. Голов, поди, с сотню.

А навстречь ему леший Амантаич лягушек гонит. Зеленые, упитанные, горластые.

Позарился Нахимыч на лягушек.

— Махнём,— говорит Амантаичу,— не глядя?

А тому, проказнику, раки тоже приглянулись. Откормленные, клешастые, лупоглазые... Только думает: "Знаю я этого дедушку речного, обсчитает, обдурит коряга ишимская".

Стоят, торгуются в тумане. Договариваются, договариваются, а договориться не могут. Ни тот, ни другой в школах не обучались, считать только до двенадцати и могут.

А в это время Митрич по-над кручей на лисапеде хиляет. Лисапед скрипит, спицы блестят, в заднем колесе "восьмёрка". Впрочем, и в переднем тоже. Удилища друг о друга брякают и по дороге гибкими концами хлещут. Спешит Митрич, боится на утренний клёв опоздать.

Видит — вот-вот леший с водяным подерутся.

Водяной весь в зелёной тине, на лешем коричневая шерсть топорщится, как мох. На лбах бугорками рожки проклёвываются. У водяного из осоки что-то навроде плавок сплетено, леший вообще без ничего.

— Об чём толк, мужики? Что за шум, а драки нет?— спрашивает Митрич, тормозя.

Так и так, отвечают, бартер, мол, наметился, да, вишь, дележ не получается. Оммануться боимся.

Ну, Митрич хоть и сам в арифметике не особенно силен, лисапед к одиноко стоящей осине приставил, на корточки присел и давай обмен вершить: лягушку — сюда, рака — туда, лягушку — сюда, рака — туда...

Получилось десять раков лишних.

А их куда?

— Вот вам ведро,— говóрит Митрич,—вы, мужики, пока раков варите, а я мигом в райцентр за пивом смотаюсь. У нас в райцентре, чтоб вы знали, пивзавод по ненашей технологии построили. И такая там заковыристая техника просто беда: чуть не дольёшь, не доложишь — дрожжей там или композиции — она сразу останавливается. Не разгадали еще наши пивовары её секрет, никак не могут в процессе производства пиво водой разбавить. Вот народ этим и пользуется.

Сгонял Митрич, привёз трехлитровую банку пива.

И в родничок её, пока раки на костре доспеют.

Ну, пошла беседа!

Пивцо холодное пьют, раками закусывают, байки травят. Леший — про водяного, водяной — про лешего, а Митрич всё больше про Петьку с Чапаевым.

Хорошо сидят.

Солнышко эдак ровненько припекает, травяной дух с дымком перемешивается, утренний жаворонок звенит. Чего не сидеть? Тем более пиво вроде бы и не кончается.

И вот принялись водяной с лешим похваляться — чего у кого больше.

— Да у меня,— говорит водяной,— в омуте двенадцать русалок — одна другой краше.

— Это точно,— говорит леший, отирая пивную пену с бороды,— двенадцать...

— А ты, дедуль, знашь откуль?

— Да они кажну ночь в моем лесу табунятся, бесстыдницы. Все ветки на березах пообломали, понимаешь, толстозадые.

— И чего им в омуте не сидится. Гнал бы их из лесу-то...

— Зачем их гнать-то. Они, если хошь знать, все от меня забрюхатели. С чего бы иначе у тебя рожки-то повылазили?

— Ах ты хрен старый! Да я твою лешачиху...

Видит Митрич, дело крутой оборот принимает. Надо тему сменить.

— Вы бы, мужики, вместо того, чтобы хреначиться, лучше про клады рассказали. Меня интересует, у кого из вас кладов больше.

А сам подливает мужикам пиво.

У пьяного лешего рот на замок не закрывается:

— Индо,— говорит,— набысь куралесомо, кабы опричь онагды порато ендома, вишь...

Всё и выболтал.

— Да ты, дедуль, по-нашенски, по-нашенски изъяснись.

— Лежит бел-горюч камень в Бабаевом лесу за восьмой бригадой. Аккурат возле белых мхов, чёрных грязей, игде с прошлой уборки канбайн сломанный брошен. А под тем бел-горюч камнем горшок с деньгами заначен. Да только камень тот откатить можно лишь 17 августа, в день, понимаешь, военно-воздушного флота, в безветренно утро. Надыть осину, что опричь растет, срубить, чтобы вершиной на восток пала. На пень встать, посмотреть на бел-горюч камень между ног и заговор сказать... А вот что сказать — забыл...

— Ну, это и без заговора можно,— успокоил страдающего склерозом лешего практичный Митрич, скручивая из районной газеты цигарку,— ежели, скажем, "касемьсотом" зацепить, то и слов никаких не надо. А чего в этом горшке-то лежит?

— Деньги.

— И много ли?

— Не счесть.

— И в какой же валюте?

— Керенки.

Митрич к этому кладу интерес потерял и к водяному обратился.

— У меня,— хвалится тот,— у Каменного острова колесо резиново от "Беларуся" лежит, а в ём налим живёт...

— Пущай его живет, батя, ты от темы не отвлекайся.

— ... а в налимью нору под корягой во время кулацкого восстания один, понимаешь, кулак бородатый, сапог с золотыми монетами запихал. Запихать-то запихал, да сам, понимаешь, бородой в коряге запутался. Так и не всплыл.

— Так, так, так,— заинтересовался Митрич,— золотые, говоришь, монеты?

— Золотые. Полный сапог. Только просто его не возьмешь. Обязательно чем-нибудь о корягу зацепишься и потонешь.

— Так вот обо что я блёсны обрывал!— поддакнул Митрич.

— А взять его можно только в середине января в день рождения товарища Тюлькина. В этот день по льду две трещины проходят и аккурат над кладом пересекаются. Тут-то и надо пролубь рубить. Завязку от шапки в зубах держать и приговаривать: "Долбать не передолбать да поддалбливать". Продолбил и ныряй. Тут-то тебе сапог и достанется. Только золото это счастье не принесет.

— Это почему?

— Помрёт сердешный. От двухстороннего воспаления легких.

— Неужто средства нет, чтобы и золото взять, и живым остаться.

— Почему нет? Есть. Целый год нужно пальцем ни на кого не показывать, на землю не плеваться, не сморкаться, по матушке не ругаться.

— Ну тады, конечно, как тут не помереть,— согласился Митрич.

Допили они пиво, стали прощаться.

Митрич, было, по привычке хотел банку в кусты забросить.

Только водяной его остановил.

— Посуду-то с собой забери.

— Да зачем она мне порожняя?

— А ты возьми, возьми. Хозяйке для солений, варений. А то и для чего другого сгодится.

И разошлись.

Водяной в свой омут лягушек погнал. Леший — раков в лес.

Митрич видит — солнце высоко, утренний клёв прошёл — домой поехал.

Приезжает. Банку из ведра достаёт. А она полна пива. Отхлебнул — густое, неразбавленное.

И на хрена, думает Митрич, мне теперь клады сдались, ежели у меня таковая банка имеется.

Вот клад так клад: сколько из неё не пей, а она всё полная.

2. КАК МИТРИЧ УДИЛИЩЕ ВЫБИРАЛ, ДА НЕ ТО ВЫБРАЛ

Конечно, кто спорит, складное бамбуковое удилище удобное, легкое и гибкое.

Только Митрич к березовому привык.

Оно и дешевле, и длиннее. Да и почему бы из него складное не сделать? Вон старую раскладушку на трубки распили и делай на здоровье.

К тому же любил Митрич раз в год ездить на велосипеде в лес вырезать новое березовое удилище. Знал он заветное место, где березки таким частоколом росли — боком меж ними не протиснешься.

И надо ж такому случиться, как раз к тому времени, как надумал Митрич вырезать новое удилище, к местному лешему Бабаюнычу в гости жердяй приехал. Как звать — забыл, а прозвище "Хлоп да об лоб". Ну, такой шалун, балун, по лбу хлопотун! Во дворе у Горлановых жил. Притаится в углу, прикинется граблями, старика Горланова ждёт. Дождётся — хрясь по лбу! Старик эти грабли — куда подале, возвращается, а они опять же на этом месте и — тресь по лбу! Опять двадцать пять.

Хорошо, что порода у Горлановых твердолобая, спокойная, уравновешенная.

Ну, надоело жердяю над стариком потешаться. Это ж никаких нервов не хватит до десяти раз на день по лбу стучать — и никакого отклика. Вот он в гости к Бабаюнычу и припёрся. В отпуск вроде. От невозмутимого деда Горланова отдохнуть.

Ага!

Ну, с лешачатами поиграл, на ветру покачался, лесным воздухом надышался.

А тут — гляди-ко!— и Митрич на лисапеде дребезжит.

Вот, думает жердяй, с ним-то я и позабавлюсь. Возьми и прикинься березкой. Тонкой, ровной, метров, на глаз, все пятнадцать. Причем гибкости небывалой: хоть в три круга сверни, не то что не ломается, даже не потрескивает.

Митрич эту березку издали увидел — с лисапеда упал. Нож-складешок из кармана вынимает и за ней. Только пока меж стволов продирался, глядь — а её и нет.

Это жердяй забавляется, в прятки играет, а Митричу и невдомёк.

Ну, пошла потеха!

Митрич все ноги прохудил, весь об стволы пообтёрся, как мешок с мукой стал. Ну, вот же она стоит! Но только глазом мигнешь, а её уже нет. То ли за ствол схоронилась, то ли ещё за что.

Надоело жердяю баловаться, вот он и думает: "А чего бы мне в Новостаровку за бесплатно не съездить?" И перестал от Митрича прятаться.

А Митрич глядит и глазам не верит — да вот же она — удилишка. Видать, кто-то ее приготовил, к осинке прислонил, да за другой отправился, а потом и потерял. Вишь ты, и конец затесан, и сучки пообрезаны. Взял в руки — веса не чует, покрутил — гибкость необыкновенная. Лучше удилишки и не бывает.

Прикрутил ее алюминиевой проволокой к раме и поехал домой.

А утром Митрич у омута за первым перекатом рыбачил. С правого берега, где старая мельница была. Сидит на треснувшем жернове, удилища выставил, что твой паук, полреки поплавками занял, не подступись. А перед собой новое удилишко воткнул. Метров на двадцать пять, однако, забросил. Никакой лодки не надо. Сидит, цигарку смолит, щурится, на поплавки смотрит. Поплавки самые чуткие из гусиных перьев, стоят, как солдатики, а на каждом — по речной, голубой стрекозе.

А жердяю, что удой прикинулся, страсть как побаловаться захотелось. Ну, думает, сейчас-то я тебе клёв организую, всю рыбу распугаю.

Только Митрич за пареной пшеницей полез, прикормку бросить, а жердяй — шлёп об воду.

Что такое!

И пошла забава: только Митрич отвернется или от дыма прижмурится, удилишка — хлесть да хлесть. Час сидит — ни одной поклёвки. Как тут не заматериться. А жердяю только того и надо, он пуще прежнего старается.

Случилось тут Митричу в сторонку отойти. То ли по малой нужде, то ли просто ноги размять: всё одно рыба не идет. Короче, оставил свои снасти без присмотра.

А в это время к жердяеву крючку здоровенный язь подплывает. У жердяя рыбацкий инстинкт да проснись. Только язь червя в рот, жердяй чпок!— и подсек его. И, значит, самостоятельно, без Митрича тащит добычу на берег.

Ага! Язя отцепляет, в садок бросает, червя наживляет и снова самозакидывается.

Зацепила жердяя рыбацкая страсть, зацепила. Аж дрожит.

На что Митрич серьезный мужик, а тут видит, такое дело, подивился. За ивняк спрятался и выглядывает, что дальше-то будет?

А жердяй самозакинулся и кивок в воду погрузил: там у него самые глаза и есть. Смотрит, где какая рыба плавает, и самой крупной прямо ко рту червя и подводит. Не заказывали, мол? Не хочешь, а клюнешь.

За полчаса, веришь-нет, ведро язей натягал.

Такая вот уда-самоподсечка.

Ну, догадался Митрич, кого это он из лесу вместо удилища привез.

Так, бывало, на ночь оставит жердяя на Ишиме, а сам с утречка не спеша катит. Приезжает, а язей — хоть в мешок складывай.

Почитай, всё лето жил жердяй у Митрича. А как рыба на глубину ушла, заскучал по деду Горланову.

Вернулся на старое место и прикинулся граблями.

Дело к зиме, решил дед Горланов пимы подшить и пошел в сарай за дратвой. Наступил на грабли — тресь промеж глаз! Аж светло стало. Поставил их в угол зубьями вверх. Возвращается, а они на прежнем месте — хлоп да об лоб!

3. КАК ОБДЕРИХА ВАСЬКУ НА СЕБЕ ЖЕНИТЬ ХОТЕЛА

В бане у Митрича жила одинокая обдериха. Не было у нее банника. Вела она, не в пример некоторым новостаровским вдовам, скромный образ жизни. Никто ее не слышал, никто не видел. Почитай, что и не шалила.

Да и то сказать, с чего ей шалить? Никто после двенадцати ночи не парится, ничего такого лишнего в бане не позволяет, считай, что и не матерится. Чего бы ей народ зря пугать?

А тут случилось: под святки собрались у дочки Митрича Насти подружки. Хихиньки да хаханьки — решили погадать, какой кому муж достанется — гладкий или волосатый?

Узнать-то просто. Надо после двенадцати ночи, не зажигая света, войти в парилку, встать на пороге, обнажить мягкое место и, заглянувши между ног, спросить: "Обде-

[illegible] обдериха, какой мне муж достанется — волосатый или плешивый?"

Шушукаются девки, а того не знают, что притаился на полатях племянник Митрича Васька, шалапут и балаболка. Затыкает лапищей хмельной рот, посмеивается про себя и думает: "А вот я вам, девки, ужо устрою гадание!"

А надо сказать, этот Васька был такой атеист, что не только, скажем, бога, но даже нечистую силу не боялся. Что с него взять, с футболиста.

Погалдели девки, пошушукались, похихикали и разбежались, договорившись встретиться к двенадцати у бани.

Вот время и пришло. По радио гимн отыграли и наступила великая тишина. Только собаки и воют. Добрые люди спать легли. Темнотища. От мороза лед на озере трещит. И вроде никого не видать, а снег — хрум, хрум... Страшно.

Первой в баню пошла Людка Симонова. Она среди девок самая бедовая, а к тому же — комсомольский секретарь. Открыла дверь, заголилась, как требовалось, да и спрашивает: "Обдериха, обдериха"... Васька мац её за это место вывернутой наизнанку овчинной рукавицей.

От визга все собаки в Новостаровке перебудились.

Выбежала Людка сама не своя.

— Ой,— говорит,— девки, чо было, чо было! Муж у меня мохнатый будет. Видать, богатый.

А ей:

— Врешь, небось?

— Ей богу не вру! Честное комсомольское!

Пошла в парилку Валька Киселева.

— Обдериха, обдериха...

А Васька к-а-а-ак шлёпнет ее голой ладошкой. Неделю красная пятерня не сходила.

Развеселился, проказник!

До чего, подлец, додумался — кое-кому это место сажей измазал. С таким намёком, будто бы замуж за негра выйдет.

Все терпела обдериха, а этого стерпеть не смогла.

Девки отгадались, ушли на улицу хохотать, а Васька думает: пущай только на безопасное расстояние отойдут, как выскочу, да как посмеюсь во весь голос, а на завтра все парням расскажу, на всю деревню ославлю.

Торк в дверь. Куда там! Не отворяется. Васька плечом навалился. Всё зря. Ну, думает, должно быть, девки дверь бревном привалили.

Вдруг слышит — плеск и шуршание. То ли мышь, то ли крыса. И кто-то его за плечо хвать!

Конечно, Васька струхнул, но не до упора. Посмотрю, думает, кто это надо мной шутки шутит. И зажигает спичку.

Видит: стоит перед ним голая баба. Справная. Бедра значительно шире плеч, ямка, где пуп,— кулак влезет. Вместо волос — как бы веник березовый. Глаза зеленые-зеленые. А ногти, как у курицы, давно не стрижены, аж загибаются.

Дальше ничего не разглядел: спичка пальцы обожгла и погасла.

— Ты кто?— спрашивает Васька.

— Дед Пихто,— отвечает баба.— А то не видишь, фулюган? Обдериха я. Ты почто девок сажей мазал?

И ногтями в плечо так и впилась. Через шубу и то больно.

— Пусти,— просит ее Васька,— я больше не буду.

А она в ответ ехидным голосом:

— Сейчас — разбежалась! Ты зачем, дурак, спичку зажигал? А то не знаешь — не могу я таперича тебя отпустить. Не в обычай. Раз ты обдериху на свету увидел, должон навсегда в бане остаться. На мне жониться. Вишь ты какое дело — одинокая я. Мой-то шалапут банник о прошлу осень к обдерихе в солопову баню ушёл. Так что скидай шубу — зараз и жониться будем.

— Как так жониться?— испугался Васька.— Я же ещё и в армию не ходил...

Но тут она его на полок и бросила. Только пуговицы в разные стороны полетели.

— Ну, фулюган,— грозит обдериха,— ежели ты до первых петухов не сдюжишь — на век здесь и останешься.

Да как вспрыгнет! Доски-то и затрещали.

Но парень крепким оказался, на домашнем молоке воспитанный. Как ни скакала обдериха, как ни прыгала — дюжит. Аж сама упарилась, хоть и одинокая.

Однако под само первопетушиное время чует Васька: ай, не сдюжу, ой, допекла! Да как заорёт в обдерихино ухо: "Ку-ка-ре-ку!"

Обдериха и обозналась, переполохалась.

Лежит Васька — весь в березовых листьях, весь исцарапанный да ободранный,— живого места нет. А одежда — на мелкие кусочки изодрана. Да ладно хоть сам спасся.

После того случая Васька в баню к Митричу ни ногой.

Всё, бывало, в обчественную ходит. В обчественной обдерихи не водятся. Не положено.

О КАК МИТРИЧ КЛАД НАШЁЛ, ДА ОН ЕМУ НЕ ДАЛСЯ

А то ты не знаешь, что в солоповом плетне заплетун кривулин живёт. Затаится и ждёт, когда по переулку пьяный мужичок пойдёт. Тут-то он покуражится, тут-то он и потешится. Ногу за ногу заведёт, язык узлом завяжет, все извилины в одну косичку заплетёт.

Бывает, что и сорокой обернется. Сплетни с плетня разносить.

Дело после получки было. Получил Митрич получку и домой возвращается. Довольно весело шел, с песней. Он пел: "Когда б имел златые горы и реки, полные вина..." Слуха у Митрича, между нами, не было. Но что делать человеку без слуха, ежели петь хочется? Не петь? Так выходит, если человек жить не умеет, ему и жить не надо! Шел Митрич прямой улицей от столба к столбу. Постоит в обнимку с одним столбом, грязь с сапог отбряхнет, и намечает кратчайший маршрут до следующего столба.

Как случилось, что Митрич в переулок на окольный путь свернул, не понятно. Должно быть, мимо столба прошел. Промахнулся.

Солоповский заплетун кривулин видит — человек с прямой улицы сошёл, обрадовался. Шасть ему под ноги и ну давай докучать Митричу, давай его стращать да с понталыку сбивать.

Митрич было сориентировался да назад повернул. Да не тут-то было! Из соседского плетня вдовин заплетун выскочил, что твоя собачка.

Ох, они его закружили! Митрич по кривой дорожке от плетня к плетню шарахается, мечтает столб обнять. А столба-то и нету. Так заплетуны и вытолкали его из Новостаровки.

Тут у Митрича провал случился, полное то есть затмение.

Очнулся, глядь, а он уже не Митрич, а конь стреноженный в диком, понимаешь, месте. Оборотили его-таки заплетуны. По право копыто — болотце, по лево — лесок, пообщипанный на веники, прямо — свалка, а сзади — ровное поле. Где такой паскудный пейзаж в окрестностях Новостаровки находится, убей Митрича — он не помнит. И все как бы в тумане, как бы сквозь мелкий, представляешь, дождь. А почва под ногами податлива, вроде бы покачивает. Шибко грибами пахнет.

Смотрит Митрич жеребячьими глазами и видит: посреди ровного дикого поля холм вздыбился. А на том холме что-то светится и переливается.

Побрёл стреноженный Митрич на огонёк.

А это, представляешь, не огонёк, а золотые шампиньоны из земли повылазили. И грибов этих на том холме — до ядреной матери. Куда копытом ни ступишь — там и гриб. Их бы, понимаешь, собрать. А как соберешь, когда рук нет, одни копыта кругом? Стоит Митрич над этим богатством и плачет крупными лошадиными слезами. Обидно ему. Еще бы не обидно! А тут помимо всего вокруг холма девчушка-заманушка бегает и язык кажет. Дразнится.

Не век же мне жеребцом стреноженным скакать, думает Митрич, как оборотили в коня заплетуны переулкины, так и разоборотят. Вот тогда я на это самое место и наведаюсь. И давай копытом землю бить. Вырыл яму и ну давай в неё шампиньоны сгребать. Полну яму золота нагрёб, да землёй и привалил. А сверху большую лошадиную лепешку оставил. С одной стороны, чтобы клад приметить, а с другой вроде бы замаскировать.

Что с ним дальше делалось, по каким бурьянам бродил, какую солому жевал, зачем за пегой кобылой гнался, Митрич не помнит. Только под утро очнулся. Лежит в соломе под солоповым плетнём, а в головах вместо подушки верный пёс Унтя. Зубы скалит и в нос лижется.

Оборотясь в человека, Митрич все ноги исходил по новостаровским околицам. Так и кружил спутником вокруг деревни. И болотце нашел, и свалку, а холм с золотыми грибами так и згинул. Не зря, видать, девчушка-заманушка возле хороводилась. Долго еще Митрич высматривал лошадиные котяхи. Может, думает, под этим схоронены золотые шампиньоны? Перевернет — нету. Обознался.

5. КАК МИТРИЧ ЧУЖОГО ДОМОВОГО ПРИЮТИЛ

С этим псом Унтей тоже история вышла.

Из дома напротив хозяева в Тюмень на заработки уехали, а хозяйство без присмотру бросили.

Дом возьми да сгори. Поди, ребята тайком курили, с чего бы еще?

Сгорел дом, домовой без двора и остался.

Сидит на головешке, горькими слезами плачет, причитает. Весь в сажу перепачканный, неухоженный. Последние пимы сгорели, борода подпалена. Куда сироте податься?

Мимо Митрич проходил. К соседу за пилой "Дружбой" направлялся. Дрова к зиме напилить собрался. Дело, вишь, осенью было. По теплу уж соскучились.

Видит Митрич: погорелец сидит на пепелище, страдает.

Идем,— приглашает,— ко мне жить.

Не ко двору я,— отвечает домовой.— Да и хозяин у тебя больно строг. Он меня приревнует и на порог не пустит. Всю бороду повыдергивает.

И то верно. Кому как не Митричу знать характер своего домового.

А пойдешь ли,— спрашивает,— заместо собаки жить? У меня намедни собака пропала. Околела, должно быть. Отпустил на ночь, да не пришла. Стара, вишь, собака. Видно умирать ушла. А с хозяином я поговорю. Неужто общего слова не найдём. Думаю, против собаки хозяин возражать не будет.

Конура-то теплая?— спрашивает домовой-погорелец.

Спрашиваешь! Войлоком оббита. Подстилка из тепогрейки.

— Поди блох много?

— Потравим блох.

— Кормить чем будешь?

— Со своего стола, что сам ем.

— Пойду в собаки,— вздохнул домовой,— в моем положении выбирать не приходится. Всё, какая ни есть, крыша над головой. Только ты меня на цепь не сажай.

Договорились.

— А какой масти собаки ко двору-то тебе?— спрашивает сирота.

— Знамо дело — рыжей.

— Звать-то как будешь?

— Знамо дело — Унтей. У нас уж какой век только Унти и водятся.

Вздохнул домовой и оборотился рыжей собакой.

Родной хозяин, правду сказать, сперваначала ревновал. В трубу гудел. Ночью по полу шаркал, дверьми хлопал. Дурные сны насылал. Раза два, ты гляди, Митрича душить принимался. Видит, пришельца со двора не гонят, на крайнюю меру решился: взял да и одел шапку Митрича.

— Да ты, дедушко, смотрю опупел,— напустился на него Митрич,— Разве ж этим шутят? Сейчас же сыми и боле не балуй!

А он новое дело затеял. Кошкой оборотился и ну давай перед собакой урчать да спину выгибать.

— Совесть-то у тебя есть,— корит его Митрич,— сироту забижать? А с нами случись что, а? Опять же даром хлеб не ест, твой же двор и сторожит...

И правду сказать, погорелец свое место знает. От конуры далеко не отходит. На чужое не зарится. Службу не-

сёт бдительно. Такого случая не было, чтобы кто мимо прошёл, а он его не облаял.

Особенно не любил тех, кто с огнем балуется или папиросы курит. Бывало так весь лаем и изведется, аж охрипнет. Соседи все знали: если дымом изо рта смердит — к Митричу ни ногой. Больно у Митрича пёс строгий до табака.

В сентябре случилось у Митрича пробно печь затопили, а на чердак давно не наведывались, невдомёк, что труба прохудилась. В дыру-то искры и полетели. Домашние по хозяйству хлопочут, беды не чуют. Родной домовой в старом пиме прохлаждается. А погорелец, что собачью должность исполняет, не дремлет, честно службу несет. Как унюхал беду, такой вой поднял, такую полундру организовал — Митрич без сапог во двор выскочил.

Хорошо, ты скажи, солома после дождя сыровата была, сразу не вспыхнула, а только тлеть занялась. Печь загасили, искры затоптали, водой залили — тем и спаслись от пожара.

Вот, скажи, и чужой домовой! Свой-то в тёплом пиму дрых.

Но с того случая старый хозяин с примаком и помирился. Не однажды Митрич замечал: в конуре пегий кот похрапывает, а пёс возле стоит и хвостом крутит. Так понимать: сон сторожит. Об эту пору только и можно было мимо двора не облаянным пройти.

6. КАК МИТРИЧ В ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ ЛЕШАКА С ПОЛИЧНЫМ ИЗОБЛИЧИЛ

Есть в году тридцать три черных дня, когда ничего делать нельзя. На работу пойдешь — непременно ногу подвернешь, дрова рубить станешь, гляди-ко, так палец и оттяпаешь. Всё в эти дни из рук валится, шиворот-навыворот получается. В эти дни как раз нечистая сила и погуливает. Только и остаётся сесть лицом в тёмный угол и сидеть, глаза закрывши.

Митрич про чёрные дни знал, но относился к ним легкомысленно. Другими словами, не считался.

И вот в один из чёрных дней, а сказать точнее, чёрта не побоявшись, 14 марта, обул Митрич подшитые валенки и пошел в совхозную кассу за авансом. Аккурат понедельник случился.

Приходит и видит среди народа большое волнение. Новое дело: главбух Ерофей Ерофеич по прозвищу Стакан Подстаканыч пропал. Пропал и пропал — хрен бы с ним,

беда небольшая. Только вместе с Ерофеичем, беда какая, аванс пропал. На что теперь мужику похмелиться?

Вот и не верь после этого в чёрные дни.

Ерофеич пропал, зато объявился черный козел премерзкого вида. Держит это животное за рога участковый Тарара и, строго обращаясь к широким массам населения, спрашивает раскатистым голосом:

— Чей это козёл будет?

Никто козла не признаёт. Незнакомый козёл. Приблудный. Не местной, однако, породы. Таких лупоглазых в деревне сроду не водилось.

Осмотрел Митрич козла со всех сторон и говорит:

— Так, так, так... А вы обратили внимание, товарищ старшина, что этот премерзкого типа козёл очки носит?

— А чо на них внимание тратить,— отвечает Тарары,— очки как очки.

— А не такие ли очки были у нашего главбуха?

Оглядел старшина улику и отвечает:

— Похоже... Вишь, дужка медной проволокой перемотана.

— Видно, зря мы главбуха подозревали,— призадумался Митрич.— Надоть к Благодырю сходить.

Пошли. Митрич впереди. За ним козел, очи долу. А следом за козлом и Тарара, рука на кобуре.

Пришли. Изба из осиновых бревен накатана, крыша земляными пластами крыта, в палисаднике куст волчьей ягоды, на дверях объявление: "Сглаз снимам. Порчу отводим. Пропажу угадывам. Постылых изводим, милых привораживам."

Валенки, сапоги, копыта пообтряхнули, стучатся.

— Это кого нечистая в ТАКОЙ день несет?— спрашивает Благодырь в дверную щелку.

Откашлялись и представились.

Как представителю власти не откроешь? Открыл. Входят: Митрич, козел, старшина. Разъясняют: так и так, помоги — поворожи, заговор скажи, может быть, причина и откроется.

Только Благодырь глаза отводит, а рот ладошкой прикрывает.

— Бу-бу-бу... Вижу... Ясно вижу...

— Чего же ты ясно видишь, ясновидящий? Не томи.

— А марево ясно вижу.

— А покажи-ка зубы,— говорит ему Митрич.— Э-э-э... Да у тебя не все зубы целы! Как же ты заговариваешь, коли самому себе зубы не заговорил?

Что возьмешь с гнилозубого? Руками махнули да прочь пошли.

— На кого последняя надежда — так на бедуна в трубу вещуна,— говорит Митрич,— идём-ка к Нашему Корреспонденту.

Так в Новостаровке бабку Шмычиху величают.

Шмычиха, правду сказать, в положение вошла. В дом пригласила, заслонку открыла. У печи сели, ждут.

И часу не прошло, бедун завещал:

— Бе-е-ес попу-у-утал...

— Ты нам мозги особенно не компансируй,— говорит Тарара,— а отвечай подробно — какой бес, как тово беса звать-величать, где в данное время проживает, привлекался ли ранее по статьям уголовного кодекса?

— Вы-ы-ыполоск,— отвечает бедун.

— Уж не тот ли этот бес, что в поганом болотце за обчественной баней живет?— спрашивает Митрич.

Но то ли бедун участкового испужался, то ли обиделся, а только боле вещать не стал.

Делать нечего — пошли к болотцу. Вот Митрич, подойдя, и сказал громко:

— Ишь от банных ополосков каковая антисанитария развелась! Надыть это болотце осушить.

Тут одна кочка и похилилась. Глядь, а из-за неё сам выполоск и показался. Борода, как пена, белая и обмылок в ней торчит.

— А как же екология?— спрашивает.

— Ты екологию с помойкой не путай!— строго отбрил его Митрич.— Есть у нас уполномочия ету заразу сёдни же и ликвидировать.

— А малинку где добывать будете?— отговаривается перетрусивший выполоск.

— Мало ли болот вокруг Новостаровки. Да и малинка у тебя, к слову сказать, от малярийных комаров.

Ну, короче, довёл беса до оморока, а настращав, спрашивает:

— Отвечай, где совхозна касса? А не ответишь — зараз бульдозером в твое поганое болотце землю сгорнём. Ликвидируем твою среду обитания.

— Не виноватый я, гражданин полномоченный,— захныкала эта застиранная нечистая сила.

— А кто виноват? Пушкин?

— У Машки Лукашихи спросите. Будет отпираться, так не верьте,— с этими словами выполоск за кочку и спрятался, только булькы пошли и болотным духом запахло.

Шурши ли вам, как говорят в Новостаровке.

Эта Машка хуже бзыка! Бездетна вдова, аморально живущая на отшибе села. Избушка — гнилушка без сада огорода, угол покосился и лесиной подперт, скворечник вниз головой висит, шифер на крыше потрескался, окна побиты и подушками заткнуты. Как ночь, так у ней пьянка, драка, свободна любовь и сексуальна революция.

— Надо Машку на испуг взять,— говорит Тарара.

Только Митрич возразил:

— Как же, возьмешь Машку на испуг. Сомневаюсь. Она пострашней нашего козлов-то видела. Надыть засаду устроить.

И спрятались они в осиновый лесок, что рос около.

Ждут-пождут, глядь: откуда ни возьмись объявился в леску мужичок плюгавый в мешок одетый. Препоганая наружность у мужичка. Крадётся да оглядывается. А на плече, представляешь, железный ящик несёт. Сейф по научному. Остановился, кору от осины отодрал и грызёт. Да жадно так. Глаза под лоб закатил, изо рта — кровава пена. Нравится ему кора осиновая.

— Так, так, так,— шепчет Митрич Тараре,— это же братан лешего Амантаича с Кривого, Машкин полюбовник. У него, вишь, лес на дрова повырубали, вот он и шатается неприкаянным. Видать, нехороша баба его на преступление и подбила. Теперя совхозный аванс захапает да в город Злокиряйск и подастся. Иностранцев смущать.

— Будем брать?— спрашивает Тарара.— А то я козла не удержу. Так и кидается к лешаку.

— Погоди,— успокаивает участкового и приблудного козла Митрич,— лешего голыми руками не возьмешь. Исхитриться надо. Пущай лешак к Машке взойдет, а я под видом выпить-закусить с немёком попозже загляну. Тутто вы с козлом не зевайте, поспешайте. С поличным и изловим.

Так и сделали.

Только Машку разве за рубль-двадцать возьмёшь? Крашеными губами улыбается и бровями играет.

— Первый раз,— говорит,— этого лохматого гражданина с жалезным яшшыком видю. Видимо, случайный мимопрохожий, сиречь странник.

Братан лешего тоже не лыком шит. Он от поруба, прострела, пропила, прокола, пристука заговоренный. Чего ему бояться? Вот и скалит зубы.

— Яшшык,— говорит,— случайно на дороге нашёл, козла этого в первый раз вижу. Чего это он у вас вроде как белены объелся и на посторонних бросается? Вы его,

товарищ милиционер, покрепче за рога держите. Что же касается ваших обвинений, то вовсе я не леший, а совсем наоборот — гражданский человек, а то что паспорта нету, так он у меня дома в комоде лежит.

Следствие в полный тупик зашло. Козел, видно, что-то знает, только сказать ничего не может.

— Значит так,— говорит, подумавши, Митрич.— Нука дай-ка мне, Марея, серьгу с правого уха. А вы, товарищ старшина, одолжите на мгновенье ваше табельное оружие системы наган.

Берет он серьгу да в ствол пистолета и заталкивает. И говорит с усмешкой лешаку:

— А вот ежели ты совецкий человек и не врешь — поцелуй тогда дуло.

— Зачем это я дуло целовать буду?— испугался лешак.— Вот я ещё дуло не целовал...

Пимом, короче, прикинулся.

— А затем,— разъясняет Митрич,— ежели ты правду сказал и не леший — ничего тебе не будет. А если соврал, тогда конечно... Наган как раз и самострельнет.

А лешака, кому не понятно, ни пуля, ни дробь, ни солдатская пуговица не берет. Только серьги с правого уха гулящей вдовы и боится нечистая сила.

Видит лешак — верная ему смерть. Бежать хотел, только в дверях козел стоит, рога выставил. Делать нечего — всё как есть и рассказал. Митрич прав оказался: эта нехорошая баба подбила нечистую силу на черное дело. Заманили Ерофеича во вдовий дом да в козла и оборотили. На обчественные деньги позарились.

Что с лешака возьмешь? Он со своей биографией под статьи уголовного кодекса не подходит. Опять же изобидели его новостаровцы, своего леса лишили. А шатун он и есть шатун.

Пощушукались Митрич с Тараро́й да приговор и вынесли: обороти, говорят этого козла очкастого в главбуха и ступай на все четыре стороны. "Мне,— говорит участковый,— не больно хочется статистику преступности портить всякими лешаковскими баловствами". А Митрич добавил: "Привет Амантаичу передай. Скажи, как снег сойдёт, попроведаю. А тебе советую в Неждановскую бригаду наведаться. Там, я слышал, в прошлом году лесозащитные полосы насадили. Акация, ирга да тополь. Место пока не занятое. Вот и займи. Хоть и редколесье, да свой угол. Посадки-то километров на пять тянутся — вот тебе баловаться с вдовой и недосуг будет."

Расторгался лешак, мохнатым кулаком с глаз слезинки смахнул, высморкался да и, как договорились, вернул Ерофеичу человеческий облик. Главбух себя всего обхлопал — все вроде бы на месте, даже лишние рога появились. Да не рогов ли? Ерофеич сразу к сейфу кинулся. Деньги пересчитал и успокоился: тут тебе и дебет, тут тебе и кредит. В общем опохмелились в тот день мужики.

Что касается рогов, то Ерофеич полагал, что они со временем отпадут. Однако не отпали. И каждую осень ему их приходится отпиливать. Ничего, привык.

А Машка с того случая гулять бросила. Видно, с перепугу. Немного погодя за Ерофея Ерофеича вышла. Он ведь, бедолага, тоже бобылём жил. К нему она и переехала жить. Ничего живут, дружно.

7. КАК МИТРИЧ ПРОТИВОЯДИЕ ОТ ЛЮБОВНОГО ЗЕЛЬЯ ИСКАЛ

То что Любка Толстопятова на помеле летала — так то брехня! Врут люди. Ни на каком она помеле не летала. На совковой лопате — это да, это было.

Да у них, у Толстопятовых, вся семья с нечистью якшается. Они и мясо сырое едят. Митрич как увидел их дом, так рот-то ладошкой и прикрыл.

— Так, так, так,— говорит,— всё ясно. Да кто же ворота на север ставит? Вот разная нечисть к ним и лезет.

Так вот, о Любке Толстопятовой. Девка, прямо скажем, косоглаза. Это бы ничего. Да ведь она к тому же ряба, картава, шепелява, косолапа и ни к месту смеётся. Без причины то есть.

И надо же такому случиться — полюбился ей племянник Митрича Васька. Парень совсем напротив и не в пример. Куды как крутой!

Захотелось Любке, чтобы Васька по ней сох. И пошла она к знакомой кикиморе. Так, мол, и так — рецепт нужен, чтобы присушить.

Кикимора на неё искоса посмотрела и головой покачала:

— Уж больно сильнодействующую присушку надыть, чтобы на таку дикошарую кто позарился. Ну да ладно, горемычная,— записывай. Утречком в день строителя выдь натощак в поле за свинобазой и сбери росу с семи трав: буряка, полыни, лопуха придорожного, белены, паслёна зеленого, татарника да ведьминых глазок. Собравши, обронни любовну слезу от сердечной печали с левого глазу. Мотри, не перепутай! Растолчи в ступе районну газету за

тринадцатое число. Разбавь смесь один к трём дождевой водой из копытца белого козлёнка. Добавь сиреневый цвет, пятилепестковый. Опусти в зелье обручально кольцо бабушки по материнской линии, поставь на ночь под звёздный свет...

Записала Любка рецепт и все сделала так, как велела кикимора. Да в колодец, в полночь-то и вылила питьё заговоренное.

Так ли ей кикимора посоветовала или сама насчет колодца догадалась — никто не знает. Но только настой шибко крепкий получился. Она же, бестия, вместо одной слезы две обронила...

А Шмычихин колодец на всю Новостаровку славился. До того вода в нём вкусна! Пьёшь — серебро на зубах оседает. Говорят, в нем лихой человек крадену серебряную утварь утопил, да не вернулся за добычей. Сгинул, поди. Может, так, а может врут люди. Не знаю. В колодец не лазал. Только думаю — сказки это. Скорее всего в Шмычихином колодце хороший колодезный водяной поселился, оттого и водица вкусна. Вся Новостаровка для питья воду из этого колодца черпает. Пьют, не нахвалятся.

Только проходит день-другой стали замечать: для всех новостаровских мужиков от шести до ста лет, кроме Любки, в деревне вроде бы и баб не стало. Страдает мужская половина и сохнет. Такую лютую люжбу проклятая девка на народ навела. Только Васьки да Митрича эта инфекция не коснулась. Они сырую воду сроду не пили. Митрич, кроме пива из дареной банки, ничего не признавал, а Васька все бывало парное молоко хлебал.

Несносное, однако, положение. Полные то есть кранты. У мужиков все из рук валится и больно по пальцам бьёт. Производительность до нуля упала, бессонница одолела. На ум ничего, кроме Любки Толстопятовой, не идет. На что уж передовик Ефим, а и то — сядет рацпредложение сочинять да заместо чертежа девку косоглазую рисует.

А на носу хлебоуборка! Что делать? Комбайны не ремонтированы, коровы не доены, бабы сердиты, мужики шальные... Главное, в чем дело не поймут.

Ну, послал директор совхоза за Митричем: одна надёжа на тебя, дорогой товарищ, разгадай этую злонамеренность, посоветуй, как мужика, особенно широкого профиля, в чувство привести, совсем от рук отбились раздолбаи новостаровские...

А чего разгадывать-то? Разве ж не видно, где мужики кобелятся?

Пошел Митрич прямиком к Любке да с порога и говорит:

Ты почто, дура лупоглазая, порчу на мужиков перед хлебоуборочной страдой напустила?

Любка перед зеркалом сидит, свой шнобель пудрит и говорит кокетливо:

Отвали, моя черешня! Я в эти суеверия не верю. А то мужики всю траву-муравy возле мово дома повытоптали, так это по причине моей неотразимой красоты.

Вот и возьми её за рубль двадцать.

Пособачился Митрич с Любкой, пособачился да домой ни фига не разгадавши и ушёл.

А дома кума Евдоха с женой Митрича Любку обсуждают.

– Да может быть, вовсе она и не ведьма,— сомневается жена.

А кума серчает:

– Вот ты всегда так, Матрёна! Все у тебя хорошие да славнецкие. А вот прибей ейную тень самокованным гвоздем к калитке, тогда и узнаешь — ведьма али не ведьма. Да я своими глазами видела, как она, бесстыжая, намедни волы, на которых дрова пилят, доила.

— Осподи! Да как это?

— А так, что воткнула нож да доила.

— А вкусно ли то молочко?

— Вот я еще ведьмина молочка не пила!— фыркнула, рассердившись на гнусное предположение, кума и продолжала изобличать Любку дальше.— А знаешь ли ты, что она нижне бельё наизнанку носит?

— Это ещё что за забава?

— Самая ведьмина забава и есть. А деньги считат как, слышала? "Одион плюс подон равняется лодон." Во как! Ведьма она и есть ведьма. А третьего дня не спалось мне. Домовой, проказник, душил. Вот я и вышла в сени водицы испить. Да будто кто надоумил меня, кума, в окошко выглянуть. И что ты думаешь? Стоит бесстыжая в одном исподнем у Шмычихина колодца, волосища свои в его нутро свесила и из подойника чего-то льёт. Ночь-то была месячна, струйка так и светится, ровно золотая...

"Так, так, так,— подумал Митрич,— как это я сразу не догадался. Через Шмычихин колодец, значит, она присуху на мужиков и напустила..."

Ну, колодец и очепили. Табличку прибили, мол, бактерия завелась. Цепь от греха подальше сняли. А Митрич сел на сруб и давай в штольню камешки кидать. Час ки-

дает, два... Вдруг вода дрогнула и вынырнул колодезный — вся башка в шишках.

— Делать нечего?— спрашивает.— Почто каменья швыряшь, воду мутишь?

— Прости, дедушка!— извиняется Митрич.— Беспокою тебя по великой нужде. Ежели не поможешь — хлеба под снег уйдут.

— Мне-то како дело?— отвечает водяной из колодца.— Я беспартийный, несознательный. Отыди от колодца!

И нырнул.

"А разве бывает бес партийный?"— удивился Митрич и опять камешки кидать начал. Тюк да тюк, тюк да тюк. И все по башке.

А камешки-то в крапинку. Такие боле всего колодезные не любят. Им, колодезным, сколько по башке ведром ни стучи — всё по фигу. Привычные. Или зимой сосульками, когда сруб ото льда отбивают. Так от лысины и отскакивает. Щекотно немножко — и все. Другое дело — мелкие камешки. Камешки не терпят. Особенно пёстрые.

Терпел, терпел водяной да не вытерпел. Выныривает, ладошками голову прикрывает. Вся лысина синяя.

— Заколебал!— говорит.— И чего же ты, обормот, не успокоишься? Чего надоть?

Другой разговор! Объяснил Митрич: уборка, мол, Любка, мол, мужики, зелье. А противоядия нет. Выручай, дедушко...

Водяной серебряную бороду на кулак намотал и отвечает гулким голосом из колодца:

— Было дело. Вылила дикошарая зелье в колодец. И до того сильно зелье приворотное, что сам уж какую ночь по срубу наверх карабкаюсь. Все, понимаешь, ногти пообломал. Хоть самому противоядие принимай. Только — беда какая!— нет от этой присушки противоядия.

— Что же делать, дедушко? Ой, уйдет хлеб под снег, ой, уйдет...

— Погоди причитать-то! Слушай, что скажу: до тех пор мужик новостаровский страдать будет, пока Васька на дикошарой не женится. Понятно изъясняю? Ну, Митрич, прощевай! И боле каменья-то не кидай.

С тем и нырнул окончательно.

"Уборка требует жертв,— подумал Митрич,— жалко племяша, а другого выхода нет. Надо жонить Ваську на Любке."

Ваську кто не знает? Все Ваську знают. Первый в районе футболист. Новостаровская команда через него уж который год никому не проигрывает. Приседалки у Васьки крепкие. Ляжки не обхватишь. По полю бежит — земля дрожит. На шее золотая цепочка болтается. Про него так и говорят: "Златая цепь на дубе том." Рожа у Васьки круглая, нос — картошкой, брови — белесые. Такие все больше девкам и нравятся. Бугай бугаём.

Митрич-то спервоначала просто думал: напоим Ваську сырой водой из Шмычихина колодца — вот он в Любку Толстопятову и втюрится. Однако сколько ни поили, он на всяку и шар не катит. То ли Любкино зелье из колодца повыветрилось, то ли склонность мяч попинать перевешивает. А может, кто ненароком от присушки заговорил.

Уборка между тем наотвратимо надвигается, а на лисапеде готовности ни одного комбайна.

Надо к Ваське с другого бока подойти. Митрич и подошёл.

Васька на тот момент парное молоко из трёхлитровой банки хлебал. Всё до капельки выдул да и говорит:

— Мама, вы мне ишо маненько налейте.

Ну, и в другораз трехлитровую банку приговорил.

Отдышался и соловьём засвистал.

Ему говорят, не свисти, мол, домового из избы высвистишь. А он к бутсам сорок шестого размера железные шипы прикручивает да знай себе насвистывает.

— И когда же ты, шалопаюшко, за ум возьмешься,— укоряет его Митрич.— Так до пенсии и будешь мяч-то гонять? Жонить тебя надо, жонить...

Васька вроде как в шутку и отвечает:

— Когда неждановским проиграем, тогда и жонюсь.

— А невеста-то у тебя есть? На ком жонишься-то?

— А на ком скажете, на том и жонюсь. Хоть бы на бабке Шмычихе.

Шутка шуткой, слово за слово, вот они с Митричем на полном сурьёзе по рукам и ударили. Ежели новостаровские неждановским проиграют — Ваську в тот же миг и оженят на Любке Толстопятовой.

Васька знай себе свистит, беды не чует. Не было такого случая, чтобы новостаровцы неждановцам проигрывали. И не будет, пока Новостаровка вверх трубами стоит.

А Митрич ладошки потёр, сел на лисапед и покатил к Нахимычу. На багажнике — долбленный бочонок с бражкой, на руле — авоська с закуской, в уме — коварный за-

мысел. К заветному месту подъехал, условный знак подал, Нахимыч и вылез из-под коряги. Обрадовался, конечно. Давненько не виделись, да и бражки отведать хотелось.

Сели на заповедную полянку в тугаях, под черемуховый куст, общих знакомых вспомнили, Амантаичу косточки перемыли, незаметно бочонок и опорожнили. Тут-то Митрич и поведал о новостаровской беде: хлеб, мол, Нахимыч, под снег уйдет, будь другом — выручай.

— Отчего не помочь? Помогу,— отвечает Нахимыч.— Ты покеда омут покарауль, а я на твоём лисапеде на Неждановский котлован смотаюсь, к черту Хареморычу. Есть у него аккурат двенадцать сопливых парнишек, охочих до всяких игр.

Сел на лисапед и повилял по косогору. И часу не прошло — возвращается. Без лисапеда.

Под глазом синяк, сзади орава чертенят. Галдят, пищат, колесом крутятся.

— С крутояру навернулся,— объясняет Нахимыч,— от твово лисапеда только скрып и остался. Я этот скрып Хареморычу и подарил.

— Хрен с ним, с лисапедом,— отвечает Митрич, хотя по голосу чувствуется — сожалеет.— С аванса новый куплю. Этот-то мне от деда достался. С надцатого году, а все как новый. Был.

И к чертенятам, значит, обращается:

— В футбол играть могёте, пацаны?

— Могём!— весело отвечают чертята с Неждановского котлована.— А чо это тако — хутбол?

Митрич на корточки присел, на песке футбольное поле начертил и правила игры объясняет.

Чертенята, хотя и шумливые, но понятливые оказались. Сразу скумекали, отчего апсай приключается, по какой причине пендаль бьют. Одно не смикитят: что такое есть хутбол и почто его руками нельзя трогать.

На следующую тренировку Митрич им мяч для наглядности и принёс.

То-то азарту было! То-то пылищи! Так копытами лепят — мяч ёкает и нутром гудит. Такое впечатление — двенадцать одичалых псов за одной кошкой гоняются. Визгу-то, шерсти!

Однако больно остры копытца у чертей — мяч и продырявили. Долго печалиться, правда, не стали. Самый маленький чертенок, шкода такая, мячом прикинулся — и пошла потеха...

Ну, определил Митрич, кто из них ловухой будет на воротах стоять, кто по краям бегать, кто по центру, кто в

нашите, а кто между ними, ни вашим ни нашим, болтать-ся. А самый младший мячом быть вызвался. Понравилось, видно-ко, шнырку мячом-то быть!

Копытца под бутсы полосками раскрасили, хвосты вокруг талий накрутили, рожки под патлами спрятали, семейны трусы по пупы натянули. Прямо — "Спартак" — чемпион! Ноги кривы, зубы белы, рожи чумазы, все косоглазы и псиной смердят. Красота!

А Васька, как соперника увидел, все губы от усмешки потрескались. Рот шире ушей сделался.

— Откеда,— спрашивает,— мелюзга кривоногая?

— Сборна Каратальского отделения Неждановского совхоза,— отвечает Митрич,— желают товарищеский матч сыграть. Ежели новостаровцы победят, оне яшшык вина марки "Самигнали" выставляют, а ежели наоборот — ты, Васька, на Любке Толстопятовой жониться будешь.

Васька лыбится. Робята ему по пояс не достают, в кости тонкие, деревня деревней. Чего бы задарма ящик вина не взять?

На столбы объявления расклеяли, по совхозному радио кликнули, шнурки у бутс погладили, да вечером на поле и выбежали.

Новостаровские костоломы как на подбор — по два метра с чубом. Ляжки жеребячьи, морды румяные. На деревенском молоке робята воспитаны. Стоят, руки за спину, мышцами подрагивают. Чертенята против них — тощие, непричесанные, вертлявые, коленки как шило, острые. Тьфу!

Бросили монету. Выпало ворота нежданов ским выбирать. Те и говорят:

— Мы ворота выбирать не будем, только — чур!— нашим мячом играть.

Новостаровцы подвоха не заметили. И пошла потеха.

Любка Толстопятова на первой скамейке сидела. Семечки, щербатая, лузгала. Васька, как на нее ненароком взглянет, так торопится поскорее гол забить.

Ан, не тут-то было!

Двенадцатый чертёнок, что мячом прикинулся, самый из братьев шалун был. Вот он над новостаровцами и повеселился!

Примерится кто из них, со всего размаха к мячу приложится, а чертенок — шмыг в сторону. Парни все ноги себе повывихнули. Так, слушай, за всю игру ни разу по мячу и не ударили. Ладно бы только увертывался, он еще, бесёнок, при этом разные неприличные звуки издавал. Вроде бы робята гороху объелись.

А стоит кому из чертят до мяча копытцем дотронуться, он уже прямоходом летит в новостаровские ворота, в самую девятку.

Мало сказать проиграли новостаровцы, опозорились: 100: 0 в пользу сопливых чертят.

Васька нос ниже колен свесил. В Любкину сторону взглянуть боится. А здря! Девку не узнать. Что твоя лебедь белая стала. Куда только косоглазие и рябомордие подевались. Вот она, любовь-то, что с ведьмами делает!

Женили Ваську на Любке Толстопятовой всем селом. А как оженили, так люжба с новостаровских мужиков и сошла. Опомнились, к технике кинулись. Ё-ма-ё! Ни сегодня-завтра в поле выезжать, а ни одного комбайна не отремонтировали. Однако постарались, управились: уборку первыми в районе завершили, больше всех с гектара зерна намолотили.

Передовикам по условиям — машины, да и Митрича не забыли. Ему от администрации лисапед подарили. Новенький, со звоночком. Правда, дамский.

9. БЕС ПАРТИЙНЫЙ, БЕС БЕСПАРТИЙНЫЙ — ОДИН БЕС

Митрич завсегда как думал: черти вне политики. Заблуждался, однако.

Так, скажем, сегодня перестройку объявили, а на завтра в Новостаровке бес партийный объявился. И ну давай смущать местную нечисть. Тота, говорит, литарность, империя, понимаешь ли, зла.

Ну, Митричу и доложили.

Митрич топор за пояс и под видом лесину вырубить в осинник и направился.

Бес партийный его увидел, оземь ударился и оборотился бесом беспартийным. Перекинулся.

— Эк, чума тебя побери!— перепугался Митрич.— Что за приблуда такая?

Ударился бес беспартийный оземь и стал бесом партийным. Вдругораз перекинулся.

— Анархисты мы,— говорит,— с монархическим уклоном.

Тут-то кленовое топорище у Митрича и треснуло. Бес в трещину и спрятался. Митрич вокруг себя вертится, где же эта досада лесная, дрёма свистатая?

Бес из топорища — бряк об землю. Ты посмотри на него! И минуты не прошло, а он в который раз оборотился.

Митрич смотрит — новая беда!— так это же я самолично стою! Как бы в зеркале. Только зеркала нет. Хуже нет приметы, чем своего двойника встретить. Всяких бесов Митрич видал, а такого перевертыша не доводилось. Полный угар!

— Вы, сударь, наши взгляды разделяете или глубоко заблуждаетесь?— спрашивает его приблуда залётная.

— Я,— отвечает Митрич,— ни хрена не понимаю.

— Тогда нам по пути. Идем в Гнилое урочище главного беса демократическим путём избирать.

А в Гнилом урочище натуральна буча. Кандидатуру Сортирыча обсуждают. Он, говорят, в застойно время боле всех вонял, его и в заглавные!

Хороводят-то всё больше навозники, занозники, ухозвоны — и всяка проча бесовска нечисть, что в мирно время по самым пакостным местам прячется. А порядочные бесы, навроде Нахимыча с Амантаичем, в сторонке обижаются. Им доверия нет. Оне в прошлы годы мало вреда делали. Ошибочно лес да реку от порчи берегли.

Митрич головой вертит, знакомым чертям кланяется, думает: кто такой этот Сортирыч, почему не знаю? А это, оказывается давешний перевертыш. Он раньше в сортире при доме культуры жил. Там и образование получил, разных передовых идей наслушался, прогрессивным духом напитался. И такая гибкая бестия получилась — просто беда. Какой из бесов крикнет, мол, у заглавного боле других рога должны быть, Сортирыч оземь бряк — на башке бивни мамонтовы торчат. Другой возразит: отнюдь, на то он и заглавный, чтобы лысина была ровной, без шероховатости, Сортирыч шмяк — на нем не то что рогов, а и головы вовсе нет. Такой услужливый, любое желание исполнит, наизнанку вывернется — такая охота заглавным бесом стать. Ниточкой обернется да в игольное ушко и пролезет.

Некоторые бесы загалдели: "Пущай неперед отчитатся на предмет продраммы."

Сортирыч скок на пень трухлявый и ну балоболить:

— Ежели,— говорит,— в жанре композиции, то разве же омонимы-то в сюжет?

— Не в сюжет!— хором соглашаются рогатые да хвостатые.

— Тогда какого же амфибрахия в ефтом мадригале?— напирает Сортирыч.— Хорей им в клаузулу!

Убедил, короче. Разжалобил бесовское отродье. Натерпелись, плачут, клады охраняючи, лопнула наша терпелка, желаем, бают, жить, как нечисть в забугорье живет.

С того поганого съезду бесы и забаловались.

На что у Митрича домовой ласковый был. Бывало, кот мышонка поймает и давай над малой животиной изголяться. Так хозяюшка у него тварь безобидну отнимет, к поломанной ножке спичку прибинтует, да в норку и отпустит. Всех домашних жалел. А тут — ополоумел. Взял да и прибил пестом от ступы всю обувку у порога. И сапоги Митрича, и онучи жены, и младшей дочки туфли на высоком каблуке. Причем озорник гвозди из погреба-то позагибал. Не отодрать. Гвоздища самые кровельные выбрал. Самым распоследним хулиганом стал. Для него поленницу развалить — в удовольствие, корову напужать, чтобы молоко скислось — в радость. Так и жди новую пакость — то ухваты, кочерги одной бечевкой свяжет, то сено распетрушит, то угару напустит.

Митрич со своим хозяином по-добру толковал. Только тот одну политику твердил: "Ноне суврените, ноне полна слобода. Боле не буду крутиться-вертеться, как хрен в рукомойнике".

— Оно, конечно, так,— соглашался Митрич,— супротив слободы не попрешь, только что же ты, нечистая сила, поленницу в который раз завалил?

Ну и пошел разор за недоглядом. Только и слышно: у одного новые полы прогнили, у другого стекла в тихую погоду потрескались. Такого огорода не было, чтобы плетни не завалились. Мало того — новая напасть: грунтовые воды подниматься начали. Прямой недогляд водяных да колодезных. Лешие тоже не без греха. Березовые леса без листочка, без травинки стоят. Голые, как мужики в общественной бане. Только жвак да хрумк стоит. Это какая-то новая зараза дерева под корой жрет. Болота повысыхали, хлебные поля заболотились. Ни ягод, ни грибов не уродилось. Митрич встретит кого из знакомой нечисти, начнет выговаривать, а те от него хари бесстыжи воротят: "Жабостовька у нас." Вот и возьми их за сбритый чуб.

А заглавный бес Сортирыч, получив полномочия, даром время не терял. Он из клубной уборной в контору перебрался. Самого директора охмурил. И давай они на пару совхоз пропивать. Бывало запрутся в директорском кабинете, водку хлещут из официального графина и между собой рассуждают: когда же мы это хозяйство пропьем? К ноябрьским праздникам успеем? К ноябрьским навряд ли, а к майским должны успеть.

Как-то по пьянке и предложил Сортирыч директору личинами поменяться. Другой бы задумался, а ностаровский стакан опрокинул, сводками занюхал и башкой махнул. Отчего бы такой личиной и не махнуться: морда

красная, губа ниже колен отвисла, руки трясутся, вместо голоса — один хрип. Все нутро пропил, одна личина и осталась.

Сортирыч только согласие получил — тут же директорскую личину и занял. Директор в зеркало смотрится — что за мерзкая рожа? Нос поросячий, рога бугаиные, глаза кроличьи, губы козлиные, уши не поймешь чьи. Ан, спохватился да назад ходу нет. Сортирыч в образ вошел, пинками сотоварища провожает: "Вон,— говорит,— с мово кабинета!"

С того разу новая мода и пошла — личинами меняться. Индо не поймешь, человек это или нечистая сила? По виду вроде бы и человек, а как отчебучит чего — черт и черт! Нечисть узнала, что ихний брат директором советского хозяйства устроился — со всей округи наползла. Недели не прошло — последнюю запчасть пропили. А от пьяного беса добра ли ждать? Один в теннисный шарик вселился и ну по улицам скакать, за бабами гоняться. У магазина очередь распугал, бабка Шмычиха такое чудо увидевши в колодец прыгнула. Хорошо, по справности своей, не протиснулась. Тому мало забавы, давай от окна к окну прыгать, по стеклам стучать, людей смущать. За околицу выскочил, а там стадо по домам возвращается. Так он, паскудник, всех коров по лесам и буеракам разогнал. Со временем, правда, малость остепенился. Днем под наседкой лежит, куриным яйцом прикидывается, а ночью пошаливает: в окна стучится.

Другой бесенок в малярную кисть оборотился — все заборы непотребно исписал. Совестно глаза поднять. Где был плакат, там черти что висит.

Не успели на это диво наохаться, как, здравствуйте вам, закарманники объявились. Заведется такая нечисть в семье — прощай денежки. Все карманы пообгрызет, они, денежки-то, в дыры и проваливаются. А бес сзади крадется да подбирает. Заразна болезнь оказалась. Эти закарманники вроде мышей по всем домам расползлись. Только в тех домах деньги и водились, где хозяева с чертями личинами по пьянке обменялись.

Люди злы сделались, неприветливы. День и ночь лаются. Захочешь по-человечески поговорить, а не с кем. Разве что с лешим Амантаичем да водяным Нахимычем. Тем только Митрич душу и спасал, что с добрыми чертями общался.

10. ПАРИК ДЛЯ ЧЕРТА ЛЫСОГО

В омуте за третьим бродом водяной околел. Нахимычем звался. Давно не здоровилось дедушке. Как выше Злокиряйска бетонную плотину построили — все чах, чах. А перестройка его и доконала. Не мог стерпеть, что Сортирыч в заглавные вышел. Бывало круглу ночь выпью выл, обижался. Всю долгу жизнь речку, берег, родники очищал, а Сортирыч назло ему повелел в Ишим навоз спихнуть, чисты воды замутить.

Собрались на поминки русалки, утопленники, какие на ту пору случились, Амантаич Лешего с Линевого пригласил ну и, конечно, Митрича по старой дружбе. Он с банкой-невыхлёбкой на дамском лисапеде приехал.

Ночь месячной выдалась, что твой день. Тризну на Каменном острове справляли. Кто пиво пил, кто росу с белены собранную. Шуметь не шумели, боялись, что Сортирычу донесут. Тихо сидели, хорошие слова о покойном говорили. Зорко дедушка речной рыб да раков стерег. На что уж Митричу, а и тому по знакомству больше ведра за раз вылавливать не давал. Опять же за берегом надзирал. Разобьёт какой шалопай бутылку или консервную банку выбросит, Нахимыч исхитрится и ему же втихаря этот хлам в рюкзак и сложит. А уж клёва у задрипанца не будет — это точно.

А сколько водяной сетей да бредней о коряги изорвал?! Любил старик над браконьерами позабавиться да за одним и реку очистить. Тянут, бывало, мужики бредень, кряхтят от натуги. Ну, думают, рыбы-то сколько отхватили, хоть в кузов сгружай. А это Нахимыч всякую ненужность со дна собрал да в мотню им и побросал. Вот они вытаскивают на берег баллоны от "Беларуся", самоловки заиленные, проволоку ржавую.

— А таперича за рекой недогляд образовался,— опечалился Амантаич.— Вся как есть камышом заросла.

Выпили, кто пиво, кто росу, и о своих бедах заговорили.

Леший с Линевого закручинился, на жизнь пожалился. Лес Сортирыч по самы корни опахать велел. Все вишарники извели, ягодные поляны под мусорные свалки определили. Дерева без спросу рубят кому не лень. Начнешь пужать, одни насмешки в ответ. А на днях, виданное ли дело, на хозяина облаву устроили. С тех пор в солнечное время вместе с сороками в боярышнике отсиживаться приходится.

Весь исцарапался, бороду о колючки истрепал.

Вдруг у кустов плюхнулось что-то.

Амантаич за сердце схватился:

- Что за чмокало такое? Уж не рубят ли чего?

- Должно быть, водяной ладошкой по воде плещет,— успокоил его Митрич и подивился.— Что за времена бедовые. Раньше люди нечистую силу пужались, а теперь нечистая сила всего боится.

— Эк, сказал — водяной,— укорил Митрича Амантаич, — а на чьих поминках мы пиво пьём, росой запиваем?

Последнее время леший Амантаич лысеть начал. Плешь, что твоя сковородка. От нервов, боле не от чего. Шибко казнился Амантаич за лешачью молодежь. Чтобы лес охранять — такой моды не стало. Все рыщут — клады ищут. Как найдут — так и пропьют. Станешь увещевать, они над стариком надсмехаются, Старпером обзываются. Жизня ноне, бают, круто переменилась, старорежимно лешачьё полну отставку получило. Ежели какому психу охота боры стеречь — пущай старый хрен прозябает в глухомани, а мы в Злокиряйск копыта направим, в компотерны бесы подадимся. Али в казину рулетку крутить наймёмси. Смазливы лешачихи-недороски туда же, в гостиничные путаны навострились. Всех иностранцев, грозят, опутам да в забугорье и слетим. Пущай местна русскоязычна нечисть от зависти захиреет. Тем боле, что мы ихний лес заезжему безмесмену наперед сторговали.

Амантаич к заглавному бесу кинулся: не допусти, Сортирыч, боры извести. У того рожа красна сделалась, как выпучит глаза, как щелкнет хвостом: "Изыди,— орёт,— старый хрен, с торной дороги прогрессу! Не засти пути бесенятам! Выди вон с кабинету, черт лысый!"

Амантаич от страха чуть копыта не отбросил. Хорошо случилось Митрич мимо проходил, обнял старика, успокоил, домой привел да чаем с мятой напоил. Крупна дрожь у Лешего и прошла, одна мелка осталась. Мелка-то не так страшна. Сидят, телевизор смотрят, пока не сгорел. Сгорит — не посмотришь. А новый при Сортирыче уже не купишь. Об ту пору по телевизору Кобзона показывали. Не так песни Амантаича тронули, как прическа. В точности,— говорит,— как у меня до перестройки". Митрич ему глаза и открой — не прическа, мол, а совсем напротив парик, жошка то есть. Амантаич и законючил: вынь да положь ему этакую жошку. "Зачем козе стеклянные рога,— отговаривает его Митрич,— не разобьёт, так потеряет". Другой бы согласился, только леший знает, как Митрича уломать. "Есть,— хвастает,—у меня заговоренная поляна, куда отродясь грибники не заглядывали. Боровиков, хоть косой коси. И ни одного червивого". Кто бы возражал против белого гриба, а Митрич спорить не стал: "Случится поехать в Злокиряйск,— обещает,— куплю тебе парик".

На поминках Нахимыча Амантаич деликатно напомнил Митричу про обещание: что жы ты, мол, хрен старый, за жошкой не управишься съездить, али ты свому слову не хозяин?

— Ну, допустим, поеду я в Злокиряйск,— рассуждает Митрич,— а как, скажи, я парик подбирать буду, коли я твоего размера не знаю, радиуса то есть твоей башки.

— По своему калгану и меряй,— отвечает Амантаич, самый ходовой лешевский размер и есть.

— А расцветка по моде или как? Знаю я вас, подкоряжников, купишь да не в масть.

— А то ты мою масть не знашь! Под мох болотный и выбирай.

— Дело, понимаешь, тонкое,— засомневался Митрич,— как бы разногляд не получился. Русалки засмеют.

— Обсмеют толстоляхие,— согласился леший.

Подумал-подумал, покряхтел, лысину поскрёб да волосок из бороды для образца и выдрал, чтобы, значит, полное соответствие волосяного покрова соблюсти.

— Только мотри,— предупредил,— волосок-то никому не отдай. Поди не маненький, знашь, что от этого бывat.

— Бывat и петух рожат,— успокоил Амантаича Митрич, да волос на левый мизинец кольцом и накрутил.

Знать бы что наперед будет, разве ж мы назад бы оглядывались?

Митрич повадки своих деревенских бесов хорошо знал, а с городскими считай что и не встречался.

Только с автобуса в Злокиряйске сошёл, они к нему и подвалили: один — в клеточку, другой — в линеечку.

— Здорово живёшь, дед! Али своих не признаёшь?

Митрич карман на булавку застегнутый ощупал да и говорит:

— А разве мы, граждане, прежде встречались? Чего-то не припомню. Уж я бы-таки приметны хари, робята, не забыл.

— Я ж говорил — не узнает,— печально сказал тот, что в клеточку, тому, что в линеечку, и спросил Митрича.— Ну как там Новостаровка? Все стоит вверх трубами?

Митрич как родную деревню услышал, так и подобрел. Невдомёк ему, что название красными буквами на автобусе написано.

— Уж не Едрёныча ли вы племяши?— гадает.

— А вот и не угадал,— говорит тот, что в линеечку, и из-за пазухи горлышко кажет,— идем-ка, дед, в сквер, побеседуем за родные места.

Митрич еще подумал: хорошее место сквером не назовут, скверное, поди, место. Однако обижать земляков не стал, уважил. Оказалось — садик. Каждое второе деревце обломано, под кустами — битое стекло, все урны перевернуты, а в центре — недоломанная скамейка, и молодежь сидит, курит. Сидит на спинке, ноги — на сиденье. Чистые воробьи!

Нашли поваленное дерево, присели. Тот, что в линеечку, иноземную водку из кармана достал, тот, что в клеточку, из штанов — пыльный стакан. Выпили за встречу. Митрич интеллигентно — из стакана, ребята по-простому из горлышка. Слово за слово — Митрич и раскажи про парик. Тут-то земляки и раскрыли свой облик: мы, говорят, как раз племяши Амантаича и есть, душевно рады услужить дяде, подыскать новую прическу. Только жошка нынче денег стоит. Митрич поинтересовался: сколько? А когда цену узнал, удивился:

— На такие деньги тёлку можно купить. Да еще на поллитра останется.

Не поверил. Свели они его в магазин. Оказалось, не врут. Не то что тёлку, а цельную дойну корову с обмывкой парик стоит. Инфляция...

Закручинился Митрич: и денег таких нет, и масть не та.

А полосатые и говорят:

— Не горюй! Пособим! Добудем Амантаичу нову прическу. Айда с нами!

И привели они его на железнодорожный вокзал. Вот где бесово заведенье! Гуд стоит, земля дрожит, по радио грюмкая ругань. Народу, как микробов! Все опаздывают, все бегут, толкаются, галдят, глаза квадратные...

— Ты, дед, не пужайся, а жошку гляди,— советует в клеточку и пальцем тычет.— Обрати внимание на даму в желтых штанах, вроде подходящая масть.

Глядит Митрич на даму, глядит на волосяное кольцо, сверяет — точно, подходящее. Рыжее до тошноты.

В каждой руке у дамочки по пузатому чемодану, на плечах сумки навешаны, в зубах — билет. Ноги у бедолаги подгибаются, кривит она крашеные губы — лицо обдувает. Запарилась.

— Ступай, дед, на автовокзал, покупай билет в обратный путь и нас дожидайся,— говорит земляк в линеечку,— мы у этой дамочки тем временем жошку сторгуем. Деньги давай!

— Сколько?

— Что деньги? Деньги — навоз, нынче нету, завтра — воз. Сколько есть, столько и давай.

Взяли они ассигнации и ввинтились в толпу, как дождевые черви в грязь. Были и нет.

Митрич, как условились, пришел на автовокзал, купил билет. Ждёт-пождёт, нет бесовых племяшей. Неужто объегорили?

Да вот же они! Спешат-спотыкаются. И жошку несут, и чемоданы. Тоже, видать, сторговали. К самой отправке управились.

— Уж и не знаю, ребята, как вас и отблагодарить,— растрогался и засморкался Митрич, принимая парик.

— Пустяки какие,— говорит племянник в клеточку,— ты нам дядин волосок на память подари — и все дела.

В другой раз Митрич бы и призадумался, но в тот момент думать было некогда: посадка заканчивалась. Снял он с пальца волосяное кольцо да и отдал полосатым...

* * *

Если с риском для жизни взобраться на Неждановский изрядно проржавевший ретранслятор, с высоты вороньего грая открывается раздольный вид на Новостаровку и ее окрестности.

По левую руку — Староозеро в кучерявых зарослях черёмухи и краснотала. Гуси гогочут, а где домашние, где дикие — не разберешь. Озеро большое и круглое. Почти до самого горизонта. А там, где воды его сливаются с небом, торчат две синие, словно озябшие, сопки.

Прямо внизу — деревня. Пустая, словно ветром ее выдуло. Только где-то мычит блудливая корова, где-то скрипит колодезный ворот, да в луже перед конторой который день буксует трактор.

По правую руку — дикое поле, окольные дороги, камышовые болотца, белые мхи. Шары перекати-поля неведомо куда катятся да попадают в глубокий овраг. Тянется эта земная трещина до самого горизонта, а там, кто ее знает, может быть, через всю планету. От оврага ответвляются буераки. Сверху кажется — отпечаток дерева. А между стволом и ветвями этого дерева-трещины — пни, пеньки да пенёчки. Все, что осталось от грибного, ягодного Бабаева бора, некогда полного зверья и нечистой силы.

У единственной, но очень высокой, разлапистой березы стоит почти трезвый русскоязычный лесник Митрич и печально справляет малую нужду.

В правом кармане у него бутылка с самогоном, заткнутая бумажной пробкой, под левой мышкой — рыжий парик.

Окончивши дело, садится Митрич на большой, как круглый стол, пень и не спеша скручивает из газеты "Мистер Х" большую самокрутку. Закуривает и хмурым оком оглядывает своё изведенное хозяйство.

Ох, ядрёна корень, за какие грехи?

Не надо было ведьмину тень самокованным гвоздём к шершавому столбу приколачивать. Не она ли в отместку все извела? Да как было не приколотить. Уж больно докучала, путана лесная.

А кто тебе велел, лапша деревенская, городским чертям волоски из лешевой бороды дарить?!

Казнит себя Митрич, расстраивается. Где же, думает, теперь мой друг Амантаич, душа дремучая? Лишили старика родных дебрей, бомжует, поди, по чужим урочищам. Ни тебе Нахимыча, ни тебе Амантаича. Тоска. Выпить-побеседовать не с кем.

Только глядит, чьи это пятки из березовой листвы выглядывают?

Вот ты где спрятался, друг сердешный, дедушко лесной!

Зря Митрич обрадовался. Пятки-то без опоры свисают и слегка по ветру раскачиваются. Не дождался леший парика. Так лысым и повесился.

1995





Похитители пухоморов

Сел как-то Небезбаксов в лифт. Нажал девятый этаж. Едет. Минуту едет, другую, пятую. Чего-то долго, думает, еду.

А лифт всё поднимается и поднимается.

Стал он разные кнопки нажимать и в дверь колотить.

Напрасно. Мчится лифт. Всё быстрее и быстрее. Только ровный гул стоит.

Час прошёл, другой, а лифт всё не останавливается.

Притомился Небезбаксов, отчаялся. Присел на корточки и — задремал.

Сколько он спал — неизвестно.

Просыпается — лифт стоит, двери настежь.

Выходит. И глазами захлопал в лёгком замешательстве. Что такое? Как понимать? Лесная поляна. Видать, после дождя. Ветерок такой — в меру свежий, приятный, пахнет неизвестными травами. Медовыми. Дикая вишня...

Вдруг слышит:

— С заду заходи, с заду!

По башке его долбани!

В зарослях послышался шорох и вот она — летит, крутясь и подпрыгивая,— здоровенная дубина. Еле-еле от нее увернулся Небезбаксов.

Поворачивается, чтобы в лифт бежать спасаться, глядь а лифта-то и нет.

Стоит на его месте дуб в три обхвата. Красавец! Залюбуешься.

Однако удивляться да охать времени нет. Бьют — беги.

И побежал Небезбаксов в кусты.

Что это были за кусты — то ли боярышник, то ли шиповник — не разобрался, а только изодрался весь и в какую-то паутину запутался. Да так, что ни ногой, ни рукой не пошевелить. Только и можно, что дышать, слегка подергиваться и громко материться.

Влип, короче.

Паутина спружинила, сомкнулась авоськой, в центре которой беспомощной мухой барахтался Небезбаксов.

— Чичико пичучико?

— Трямай! Трямай!

После этого короткого взволнованного диалога, донесшегося с небес, почувствовал Небезбаксов крепкий рывок и взлетел над лесом.

Внизу между деревьев увидел он с десяток чрезвычайно лохматых людей. Задравши звероподобные лица, они бежали, лавируя между стволами, размахивали дубинами и кричали:

— Безбуздырники! Ушехлопы! Брось добычу!

Время от времени один из преследователей, размахнувшись, швырял в проём между крон дубьё. К счастью, вскоре лохматые отстали.

Скосив глаза, пленник смотрел вниз, где проплывал невероятный в своей чистоте и дикости лес. Не было ни дорог, ни дымящих труб, ни свалок, ни чего-то другого, напоминающего родные края. Одна упругая, как густые клубы дыма, тайга с бирюзовыми провалами озер, в которых отражались птицы, несущие авоську с Небезбаксовым. Скользящая по тихим водам тень пугала рыб, и они тысячекратными бурунами и кругами морщинили бездонную гладь.

Порой говорящие птицы закладывали крутой вираж, облетая обрывистые, покрытые мхом скалы, каменные столбы, на которых не было ни одной надписи, ничего, что бы говорило о присутствии человека. Сетку в такие минуты круто относило в сторону так, что у Небезбаксова перехватывало дыхание.

Пока застигнутый врасплох, уносимый неведомо куда Небезбаксов оторопело таращит глаза на девственные красоты не растленной цивилизацией природы, быстренько нарисуем его портрет. Впрочем, в настоящий момент задача не так проста, как кажется: на Небезбаксове нет лица. И это понятно. Он и сам о себе ничего путного не скажет после такого потрясения, разве что назовет фамилию, которая нам уже известна. А спроси его, зачем он на девятый этаж попёрся, не ответит. Да за ерундой какой-нибудь. И все же мы нарисуем портрет героя. И уверяем вас, он понравится всем без исключения. Выглядит он аккурат как вы. Тютелька в тютельку. И нос такой же, и глаза. Короче, вылитый вы, если вы, конечно, мужчина. А если женщина — тут еще проще — Бельмондо в его лучшие годы. Ах, он вам не нравится. А кто вам нравится? Ну, вот так и выглядит наш Небезбаксов.

Разобрались — полетели дальше.

Однако в это время авоська зацепилась за ветвь дерева. Закричали внизу лохматые люди и с десяток дубин взлетело вверх. Вскрикнули гортанно птицы, уворачиваясь от увесистых бит, и выпустили авоську.

* * *

— Попалась, муха навозная!

Кто издал этот радостный клич удачливого охотника, Небезбаксов не видел, поскольку лежал лицом вниз на куче прелой листвы. Перед глазами лишь мельтешило множество чрезвычайно мускулистых толстопятых ног с коричневыми мозолистыми подошвами.

Сильные руки разорвали паутину, подняли, поставили Небезбаксова на ноги. Прямо перед собой он увидел стог шерсти, из которого выглядывали недоверчивые глаза и торчали конечности. Как бы мамонт, превратившийся в человека.

— Прогоните детей и женщин,— зарычал лохматый,— не видите — он в штанах!

Голые люди украдкой разглядывали его одежду, стыдливо отворачивались, осуждающе хмыкали и покачивали головами.

— Кто ты?— спросил Лохматый.

— Небезбаксов,— представился Небезбаксов с гордостью.

Окружавшая его толпа голых мужиков взорвалась громоподобным хохотом.

Ясно одно,— переждав смех, сделал вывод Лохматый, — он не дуплянин.

Все согласно закивали, искоса бросая презрительные взгляды на пленника.

В это время послышался шум борьбы, воинственные крики, круг косматых людей разорвался и в образовавшееся пространство новая толпа дуплян втолкнула косоглазого человека. Толчок был такой силы, что человек упал, а падая, выпустил из рук плетеный короб, из которого просыпались ярко-красные, как губная помада, мухоморы.

Один из приведших нового пленника объяснил гневно:

Он, бескоряжник, закорючка такая, шиш болотный, наши мухоморы крал и в короб складывал.

— Дупляне!— взревел Лохматый.— Что нам с ним делать?

— Пусть ест мухоморы!— дружно проорала толпа.

Несчастного схватили, и как тот ни дергался, ни мотал головой, ни вопил дурным голосом,— в рот ему напихали гнилки грибной трухи.

Похититель мухоморов лежал на спине. Глаза закатились под лоб. Из оскаленного рта торчал недожеванный гриб. Руки и ноги согнуты таким образом, что делали его совершенно похожим на отравленного таракана. Когда возбуждение косматых дуплян улеглось, Лохматый вновь обратил свой сумрачный взор на Небезбаксова.

— За мухоморами навострился?— яростно спросил он.

— Зачем мне ваши мухоморы?— удивился Небезбаксов.

Толпа захохотала пуще прежнего. Насмеявшись и утерев слезы веселья, Лохматый, осуждающе покачав головой, укорил:

— Пеньком прикидываешься, кочка болотная...

— Пусть мухоморы ест,— вразнобой зашумели вокруг, как бы подсказывая решение Лохматому.

Лохматый, не отрывая глаз от Небезбаксова, поднял руку:

— Дупляне! Кто видел, как гололицый крал мухоморы?

Молчание было ему ответом.

— Его ушехлопы обронили. Может быть, и не крал он мухоморов. Не можем мы его за намерения судить,— печально сказал Лохматый.— Отведите его в дупло для заблудших.

Все зашумели с сожалением, зароптали. Из толпы вышел рыжий и, яростно скребя нечесанные патлы, сказал рассудительно:

— Пусть штаны снимет. Не приведи коряга лесная женщины увидят его в штанах. Ишь, мерзость какая! Да и детишки бегают...

— Товарищи... Господа... Мужики,— заволновался Небезбаксов,— не надо снимать штаны. Что за вздор! Я вас прошу...

Но с него сняли не только штаны. Из всех примет цивилизации остались на нем только наручные часы.

* * *

Поддерживаемый под руки двумя дюжими голышами и прикрывая ладонями чресла, Небезбаксов брёл по тропинке, то и дело накалывая нежные подошвы о камни и сучки. Спереди и сзади него сотрясали почву слоноподобными ногами лесные люди, источая терпкий звериный запах.

Тропинка круто поднялась вверх и с высоты холма увидел Небезбаксов рощу дуплистых деревьев.

Не передать, до чего странными были эти деревья. Приземистые и пузатые, с морщинистой корой, густой и короткой, словно стриженной кроной. Корни змеями расползались по поверхности земли, образуя подобие плетеной мостовой. В каждом дереве чернели дупло-дверь и дупло-окно.

Из деревьев-хижин высыпали женщины и дети. При виде прекрасной половины дуплян Небезбаксов широко открыл рот: все они были нагие. Но тут же вспомнив об отобранных штанах, он засмущался и прикрыл то, что следовало прикрыть, руками.

— Не было ни шиша, так вот вам шиш!— торжественно молвил один из конвоиров.

Видимо, это была шутка, потому что все вокруг неудержимо расхохотались. Один Небезбаксов остался серьезным: смысл этой шутки до него не дошел.

Между тем подвели пленника к одному из деревьев-хижин. В отличие от других деревьев в нём было одно дупло, у самой земли. Да и то привалено камнем. Откатили голыши валун и с улюлюканьем впихнули Небезбаксова внутрь. Да так лихо и неосторожно — все бока поисцарапали.

— Шиш к шишу — два шиша,— опять пошутил веселый конвоир и бесштанная дружина вновь одобрила остроту оглушительным смехом.

* * *

Падая в прохладный сумрак дупла, Небезбаксов наткнулся на что-то живое — тёплое, волосатое и упругое. Но разглядеть ничего не успел. В ту же секунду камень с глухим стуком заткнул отверстие.

Кто здесь?— спросил он темноту.

Рука его наткнулась на туго заплетенную косичку и он пробормотал, смутившись:

Пардон, мадам!

На каковую любезность хриплый раскатистый бас пророкотал:

– Шиш я закордонный, а ты кто будешь?

Небезбаксов представился, но протянутая в пустоту рука не встретила ответного движения.

– Не слышал такого рода-племени, ялмезник. По грибы ходил?

– Да нет. На лифте ехал, да заблудился,— объяснил Небезбаксов и, чтобы избежать дальнейших расспросов, сам спросил.— А чем же вы, шиши, от дуплян отличаетесь?

— Как чем?— удивился шиш.— Мы бороды косичкой заплетаем и вообще — в люльках ночуем. Большая разница, что ты!

— В люльках?— переспросил Небезбаксов.

— Ну да! Что мы совы — в дуплах спать? Эка гадость в дуплах селиться! В люльках,— со вздохом грусти проговорил шиш,— совсем другое дело. Висит она на суку, ветерок её покачивает...

Шершавая ладонь между тем взяла "в пясть" лицо Небезбаксова и молвил, удивившись, шиш:

— Не встречал я безбородых в наших краях, кроме хябдорий. Тьфу на них!

— Да это я утром побрился,— объяснил Небезбаксов, отчего-то смутившись.

— Чего ты сделал?— не понял шиш.

— Ну, как сказать — волосы на лице срезал, скосил то есть.

— Ф-р-р-р! Пронеси, коряга лесная!— испугался собеседник и отодвинулся.— Как можно с голым лицом перед ялмезниками являться? Срам-то какой!

* * *

Час ли, два ли просидели они в молчании, прислушиваясь к глухому шуму извне.

Наконец больше от скуки, чем от свободолюбия, Небезбаксов стал придумывать способы побега.

Поковырял землю, пока не сломал ноготь. Немного поматерился. Постучал по деревянному чреву, выискивая трухлявое место, но не нашёл. Поднявшись, пребольно стукнулся о что-то головой. Снова поматерился. Уперся руками в камень, закрывающий вход в дупло, и толкнул его. Камень качнулся и встал на место.

— Пособи,— попросил он содупляника,— вдвоём мы его откатим.

— Как можно!— оскорбился шиш.— Мы же пленены!

— Что с того? Откатим — и убежим.

— Чур меня, коряга лесная!— взмолился шиш.— Кто ж из плена-то бегает? Разве что лябдории. Тьфу на них!

— Будешь сидеть и дожидаться, пока тебя мухоморами накормят?— рассердился Небезбаксов.

— Принять смерть от мухомора для шиша почетно,— с долей обиды, но достойно молвил шиш.— А бежать нельзя. Ни один шиш ведьмин круг изнутри не переступит.

— Что за круг?

— Мухоморы округ дерева видел? Он и есть — ведьмин круг. Камень откатить можно, а как ты его перешагнешь?— и шиш тяжело вздохнул.— Э-хе-хе! Ходи да оглядывайся. Не приведи, коряга лесная, вступить в него! Не вырвешься... Сколько уж наших уловлено так дуплянами. Вступит шиш не оглядевшись в круг, да и стоит, пока его не пленят.

— Вот еще предрассудки,— проворчал Небезбаксов и призадумался.

— Так и не надо тебе ведьмин круг перешагивать!— воскликнул он после долгого молчания.

— Это как?— насторожился шиш.

— Очень просто: я тебя на себе вынесу.

Шиш помолчал-помолчал и спросил с ужасом и уважением:

— А не страшно?

— Чего только ради шиша не сделаешь,— ответил Небезбаксов, дивясь простоте суеверного пленника.

* * *

Дождавшись ночи, Небезбаксов с шишом легко откатили валун. Надеясь на магическую силу ведьминого круга, дупляне не выставили стражу. Пленники приставили камень на место, чтобы их не сразу хватились, и Небезбак-

[illegible] беспрепятственно вынес нового знакомого за границы [illegible] рощи-деревни.

Поблагодарив за чудесное спасение лесную корягу, шиш поднял голову к небу и, найдя знакомую звезду, обрадовался ей, как родной.

Идем, голобородый!— приказал он и скоро зашагал по лесу, ярко освещенному луной.

Как в плен попал? Небось по мухоморы ходил?— спросил непоспевающий за быстроногим спутником Небезбаксов. Шел он, как по раскаленным углям, приседая и повизгивая на каждый шаг.

- Я, чтоб ты знал, по мухоморы не хожу,— ответил шиш оскорбившись и несколько надменно.— Я не просто шиш, а над шишами шиш. Ходили мы дуплян валтузить, да в суматохе я в ведьмин круг и вступил.

– За что дуплян-то валтузили?

- Так мухоморы сбирать не дают. Как их не валтузить?

— А мухоморы вам зачем?

Над шишами шиш даже остановился от неожиданности. Посмотрел на Небезбаксова долгим недоумевающим взглядом и разъяснил как малолетнему несмышленышу:

— Шишмарь для пентюхаев гнодим.

— А-а-а,— протянул Небезбаксов, ничего не поняв и стесняясь признаться в своём невежестве,— крепкий, поди, шишмарь-то?

У шиша чуть шары из орбит не вылезли:

— Взбеленился? Кто ж его знает? Шишмарь только пентюхаи и гдят.

— Значит, вы, шиши, не гдите, а пентюхаи гдят — и ничего?..

— Так они не только шишмарь гдят, они и шушмуру будурят.

— А шушмуру вы тоже из дуплянских мухоморов гнодите?

У шиша вновь глаза на лоб полезли.

— Думай, что говоришь!— вскричал он и хмыкнул саркастически.— Да если бы мы шушмуру из мухоморов гнодили, зачем нам тогда шишмарь бы сдался?

— Это, конечно,— согласился обалдевший Небезбаксов, так и не утолив своё любопытство.— А что — у вас мухоморы не растут? Отчего вы их у дуплян крадёте?

— Мухомор мухомору — рознь,— степенно объяснил всем шишам шиш,— с нашего мухомора какой шишмарь? Так — одна запупендзия. А с запупендзии что за навар?

На неё пентюхаи разве ж пуздырево обменяют? Да не в жизнь!

— Конечно, пуздырево на запупендзию нет никакого резона менять,— поддакнул хитрый Небезбаксов.— А отчего дупляне не позволяют вам, шишам, мухоморы рвать? Им-то какой прок?

— Так прямой прок,— объяснил над шишами шиш,— пентюхаи шишмаря нагдятся и забалдырь не будурят. А дуплянам куда забалдырь девать? Нам, шишам, он и напонюх не нужен. А дуплянам тоже пуздырево хочется. Можно, конечно, дрябязденью брать. Только зачем дрябяздень, если её на пуздырево не обменяешь.

— Ага!— сосредоточился Небезбаксов.— А из чего в таком разе дупляне забулдырь гнодят?

— Дык известно из чего — из наших мухоморов и гнодят свой забулдырь. Крадут, дырки дубовые, не уследишь.

— Отчего же вам ваши шишовские мухоморы на мухоморы дуплянские не обменять?!— вскричал потрясенный Небезбаксов.

— Смеешься?— в свою очередь удивился главный шиш.— Да если пентюхаи забулдыря набудурятся, зачем им тогда шишмарь гдеть?

— А почему бы вам из ваших мухоморов самим забулдырь не гнодить?— осенило Небезбаксова.

— Так,— развел руками шиш,— рецепта не знаем. Рецепт дупляне в секрете держат. Один Лохматый и знает рецепт-то. Да разве ж его поймаешь?

Небезбаксов по-лошадиному замотал головой, сделал губами "бр-р-р" и спросил, часто моргая:

— А как делать шишмарь из дуплянских мухоморов знают только шиши?

— Не шиши, а над шишами шиш. Я то есть,— поправил его собеседник.— Ты думаешь отчего они меня мухоморами не накормили? Секрет узнать хотели, дырки дубовые.

— Отчего бы вам в таком случае секретами не обменяться? — изумился простоте решения проблемы Небезбаксов.

— Фр-р-р!— брезгливо отпрянул шиш, подавив приступ рвоты.— Шишмарь да забулдырь — большая разница. Станут тебе шиши забулдырь гнодить! Свихнулся?

— А пуздырево для шишей и дуплян значит пентюхаи гнодят?

— Гнодят,— подтвердил главный шиш и добавил.— И для шишей, и для дуплян, и для трухалей, и даже для лябдорий. Тьфу на них!

А из чего они пуздырево гнодят?

Как из чего? Из мухоморов.

Из ваших или дуплянских?

Из своих, из пентюхаевских.

А кто у них мухоморы крадёт?

Чего их красть? Рецепт-то ни мы, шиши, ни дуплянс[illegible] ни трухали, ни лябдории (тьфу на них!) не знают,— печально вздохнул шишовский вождь.— Если бы знали, с чего бы нам с дуплянами друг у друга мухоморы красть и через то валтузить друг друга?

А от пуздырева нельзя отказаться?— осторожно спросил Небезбаксов.

Что ты!— подскочил шиш.— Кто ж от пуздырева, кроме пентюхаев, откажется?

И облизнулся.

* * *

Вот так среди шишей закордонных появился ялмезник из безбородого племени небезбаксов. Гостя, чудесным образом спасшего шиша и секрет шишмаря от враждебных дуплян, встретили хорошо — выделили одноместную люльку и подвесили её на дерево, где почивал вождь. Честь небывалая.

Ему даже предложили право на долю пуздырево, какое гость с благодарностью отклонил, чем вызвал нескалывное удивление и безграничное уважение остальных шишей.

В первый день поглазеть на странного ялмезника сбежались все шиши, шишихи и шишата. Немало дивились они белизне его кожи, худобе, но в особенности — щетине на лице гостя.

Жить без штанов Небезбаксов ещё не привык и слегка смущался. Но обычай местных женщин обходиться без платьев, а сказать полнее — вообще без ничего, ему понравился. Никаких ухищрений, никакого обмана — что есть, то и есть. Шишихи обходились без всяких украшательств и побрякушек, и, видимо, к счастью своему, не подозревали о существовании помад и кремов.

В начале Небезбаксов ослеп и окосел от изобилия красавиц. Однако, пообвыкнув, выделил из общей массы молоденькую шишиху, чья люлька висела на соседнем дереве, и стал усиленно думать, как бы сделать так, чтобы ей понравиться.

Как и все шиши и шишихи, была она изрядно косоглаза, но даже этот недостаток был ей к лицу.

Молодой шишихой Небезбаксов любовался украдкой и издали. Не было никакой возможности предстать перед ней в выгодном свете. Хорошие манеры и рыцарские поступки без штанов теряли всякий смысл. Дни напролёт качался в своей люльке Небезбаксов, стесняясь и переживая.

Но однажды к его удивлению и радости молоденькая шишиха сама подошла к нему и в первой же беседе Небезбаксов изъяснился в своём большом чувстве.

Шишиха не кичилась своей красотой. Скосив глаза на отсутствующие брюки поклонника, она сказала просто и ласково:

— Я давно это вижу.

Человеку без штанов трудно утаить большое чувство. Он становится искреннее и сердечнее.

Ободренный Небезбаксов подступился ближе, намереваясь заключить девицу в жаркие объятья, но та решительно отстранилась — опёрлась ладонями о его грудь и отпятилась.

— Не дозволено без родительского дозволения,— прошептала раскосая красавица, покрывшись румянцем желания.

Шиши, несмотря не отсутствие одежды, были весьма целомудрены.

— Зачем нам чьё-то дозволение?— повторил попытку Небезбаксов.

— Нашёл дуру,— сразу охладела шишиха,— узнают — без пуздырева оставят. А какая жизнь без пуздырева?

— Ради тебя,— сказал Небезбаксов с дрожью в голосе, честно глядя в её раскосые глаза,— я бы отказался даже от пуздырева.

Он не врал, поскольку не то что не пробовал, но даже не знал, что это такое — пуздырево. Но никогда, ни до ни после не видел он у женщин таких больших и таких благодарных глаз. Девица не то что была потрясена, она была раздавлена неслыханным среди шишей комплиментом. Долго, разомлев, смотрела она расфокусированными зрачками, на покорившего её чужеплеменника, но взяла в конце концов себя в руки и сказала нежно:

— Идём к родителю.

Родитель мельком взглянул на Небезбаксова, увидел, что чувство уже невозможно скрыть, подёргал-подёргал себя за бороду-косичку, вздохнул и вынес окончательное решение:

...две тюхтянки пуздырева — и по рукам. Хоти ты и ..., хоти у тебя в косичку заплетать нечего, а по все... ... парень ты ... того, завидный.

* * *

Оказалось, что две тюхтянки пуздырева — не такой ..., как представлялось Небезбаксову.

Над всеми шишами шиш, к которому по старой дружбе обратился за помощью влюбленный гость, только руками развел:

Мало ныне, понимаешь, шишмаря нагнодили. Шибко богат свои мухоморники дупляне. Так и кружат по лесу, так и кружат. Намедни десять шишей мухоморами обворожили. Какие шиши были! Всем шишам шиши. Да... А без шишмаря как пуздырево достанешь? На всех шишей одна тюхтянка наберётся.

Маялся, маялся Небезбаксов, чувствует — не жить ему без прекрасной, раскосой шишихи. И решил он по дупляновским мухоморы сходить.

Главный шиш его отговаривал, но видя решимость, а главным образом — большое чувство, самолично вручил плетеный короб под мухоморы и напутствовал, благословя: "Храни тебя коряга лесная".

Но уж если коряга лесная родных шишей не очень-то хранила, с чего ей особенно заботиться о шишовом госте?

Ушёл Небезбаксов в лес, да и заблудился. Идёт, короб на голову надев, о корневища спотыкается, думает: "Пуздырево, пуздырево... Что бы это такое значило — пуздырево?"

И вдруг видит — огненно-рыжая женщина стоит в просвете между деревьями. Как бы в солнечном столбе. Стоит и улыбается. Игриво покачала она бюстом и спряталась за дерево.

При виде бюста и всего такого прочего Небезбаксов память потерял. Он о молодой шишихе забыл. Встрепенулся и шагу прибавил.

Идёт красавица, оглядывается. Улыбается и бровями знаки делает, за собой манит.

Небезбаксова так в жар и бросило. Перешел он на лёгкий бег.

Лесная красавица тоже побежала. Но побежала особым образом, как бегают только женщины, которые не против чтобы их догнали. Что за чудо этот дамский бег! Эти

изящные, полные соблазна движения, эти подрагивания, грациозная неуклюжесть, рыжий факел волос...

Небезбаксов превратился в свихнувшегося от любовной лихорадки оленя. В фигуральном смысле, конечно. Отшвырнул он прочь короб, и, направляемый компасом страсти, побежал так, как никогда не бегал. Ничего он не видел, кроме родинки на правой лопатке беглянки, и ничего не слышал — только шорох листвы под её ногами. И когда оставалось протянуть руку — беглянка подпрыгнула лёгкой козочкой, а под Небезбаксовым разверзлась земля. В туче пыли и сора обрушился он на дно ямы, издав короткий, но громкий вопль. Коленку ушиб. Пыли наглотался. Едва орудие любви не сломал.

Вот он прочихался, проматерился, глаза протёр и видит — склонились по краям ямы около десяти красавиц, одна другой краше и рыжее. Молчат и смотрят на него с мрачным вожделением, иные облизываются.

"Хана,— подумал Небезбаксов,— к людоедкам попал. Сожрут, как пить дать сожрут".

* * *

С помощью жердины извлекли рыжие Небезбаксова из ямы-ловушки и торжественно повели в неизвестность. Именно о таком противнике, видимо, мечтал неизвестный поэт, некогда написавший "скорей б война да в плен податься".

Попытался было Небезбаксов затеять непринужденный разговор, мол, а скажите, милые дамы, водятся ли в ваших лесах мухоморы и не гнодят ли из них шишмарь, но суровые красавицы, тесно окружившие добычу, безмолвствовали, изредка подталкивая пленника в спину, предлагая ускорить шаг. Глухонемые, решил Небезбаксов, и стал крутить головой, присматриваясь к стражам. И отчего у человека всего два глаза! Такие формы, такие линии, не знаешь на чём и остановиться. В конце концов голова у Небезбаксова закружилась и разболелась.

Привели Небезбаксова в некое корзиночное селение. Сплетенные из ивовых прутьев дома-качалки заполняли большую поляну, лишь в центре оставалось пространство, посредине которого был врыт коричневый, отполированный до бликов столб.

Торчал этот столб вызывающе и чрезвычайно сексуально.

Появление Небезбаксова произвело в селении эффект землетрясения. Дома, заскрипев, закачались и из них высыпало несколько сот обитателей. Но среди них — ё-мае! не было ни одного мужика...

— Привет, девочки!— весело крикнул общительный Небезбаксов, смекнувший, что скорее всего жрать его не будут.

Возбужденные охотницы смотрели на него туманными взорами, широко раздували ноздри, но ни на улыбку, ни на слова не ответили.

Некая зловещая торжественность обряда просматривалась в смыкающемся круге обнаженных женщин.

Небезбаксова привязали спиной к столбу, едва не вывернув руки из плечевых суставов. Все эти приготовления заставляли с сочувствием вспоминать судьбу великомученика Себастьяна. Горящие взоры, сфокусировавшиеся на пленнике, казалось, были способны сжечь его слабо подверженное загару тело.

Но что больше всего тревожило Небезбаксова — ЖЕНЩИНЫ МОЛЧАЛИ. Столько женщин, собравшихся в одном месте, не могли так долго молчать. Но они молчали...

Из безмолвствующей толпы вышла высокая дама зрелых лет, одетая до пят в монашеский балахон собственных волос. Из рыжего водопада выглядывали острые, как заточенные карандаши, груди. В вытянутых перед собой руках она держала берестяной сосуд.

— Лябдории!— вскричала женщина грудным, срывающимся от волнения голосом.— Мы долго ждали этого дня. Давно в роще лябдорийской не пахло мухомордарием. Но помнит о нас дзюбенда лесная! О, лябдории! Взгляните на жертвенный дубиндай. Достоин ли он сока запупендзии?

— Достоин!— вспыхнув очами, в едином страстном порыве взвизгнули лябдории, одновременно дрогнув сотнями упругих грудей.

Женщина поднесла к губам Небезбаксова сосуд. Он взглянул в её исступленные очи, на порывисто трепетавшие крылья носа и не стал сопротивляться. Будь что будет, решил невезучий Небезбаксов и осушил до дна берестяную чашу.

Выпил он терпкий, пузырящийся напиток и почувствовал, как его немощное тело горожанина наполняется нечеловеческой силой. Просто неудержимо распирает его изнутри.

Минут десять прошло в напряженном молчании.

— Лябдории!— наконец возвестила одетая в собственные волосы жрица.— Дубиндай готов к жертве!

Раздался оглушительный визг.

Отталкивая друг друга и бранясь, женщины разом бросились к пленнику. Но первым познала его стоящая ближе других жрица.

* * *

Очнулся он от мягких ритмичных толчков и обнаружил себя перекинутым через богатырское плечо таким образом, что ноги его были обнимаемы под коленями, а голова свисала и покачивалась, ударяясь в такт шагов о мощные ягодицы — о левую, о правую, о левую, о правую...

— Кто ты?— спросил Небезбаксов, обращая вопрос к тому, что видел перед глазами.

Движения прекратились, и он был бережно положен на землю.

— Ты жив, о великий мухомордарий!— склонилась над ним громадная толстуха с такими женственно мощными формами и таким ярким и сочным ртом, что Небезбаксову сделалось дурно.

— Куда ты несешь меня?— спросил он, чувствуя во всем теле расплавленный свинец и ломоту. Попытался пошевелить пальцами — и не смог. Сил осталось только на то, чтобы поднимать веки и говорить — очень тихо и не слишком долго.

— Я несу тебя, о великий мухомордарий, на холм залюбленных отцов,— сказала толстуха, пораженная его жизнестойкостью,— тебя ждут лумпидарии.

— Зачем меня ждут лумпидарии?— струсил Небезбаксов, закрывая веки, чтобы не пугаться глаз толстухи, полных чудовищного вожделения.

— Чтобы съесть тебя,— объяснила, смутившись, гигантша.— Таков обычай. Мертвые отцы должны быть расклеваны лумпидариями.

— Но я жив,— слабо запротестовал Небезбаксов.

— Да,— согласилась харонша,— ты жив, о великий мухомордарий!

— А что со мной было?

— Пришел срок, лесная дзюбенда послала тебя в священную рощу и твой могучий дубиндай, о великий мухомордарий, был принесен в жертву лябдориям.

— Лябдориям? Кто такие?

— Лябдории — это мы, племя несчастных женщин,— печально вздохнула рыжая богатырша.— Тёмное про-

проклятье тяготеет над нами: лябдории рожают только девочек. Мужчины избегают наши рощи. Им не нужны женщины, не рожающие наследников.

- Но вы все-таки рожаете девочек?

О да, великий мухомордарий! В день святой дзюбенды самые красивые девушки из племени лябдорий выходят на охоту. Если им удаётся изловить мухомордария, они приводят его на поляну любви. Жертву поят священным напитком запупендзией и любят до смерти. Ты первый, кто пережил любовь брошенных женщин, изнуренных нерастраченной страстью. Быть может, на этот раз у нас появится хотя бы один мальчик.

— Сколько их было?— спросил Небезбаксов пересохшими губами, с ужасом вспоминая любовный кошмар.

— Тебя, о великий мухомордарий, успели полюбить девятьсот девяносто девять лябдорий, пять дней и ночей длилась любовь, пока не умер твой могучий дубиндай. Никто до тебя не переживал любви и ста лябдорий. Но я не успела к жертвенному столбу,— пожаловалась эта несчастная женщина, опоздавшая к пиру любви.

— О чудо!— вдруг вскричала она.— Твой дубиндай все еще жив!

В ту же секунду заскрипела, сжимаясь под тяжестью, грудная клетка Небезбаксова, и он потерял сознание.

Когда же очнулся, гигантша успела почти наполовину вдавить его тело в мягкую лесную почву.

— Я — тысячная,— прошептала она в порыве горячей благодарности и её жадные, ненасытные губы нанесли полураздавленному мухомордарию поцелуй чудовищной силы.

Мрак покрыл очи Небезбаксова, испытавшего любовь тысячи озверевших лябдорий.

* * *

— Смотри — урод какой. Борода в два пальца, а трухали не пробились. Ишь разметался, бедолага. Стыд-то ему рогожей прикрой,— сказал кто-то грубым голосом, полным соболезнования.

— А чего его накрывать-то,— проворчал его собеседник,— всё одно лумпидарии расклюют. Кышь, проклятые, кышь!

Небезбаксов открыл глаза и, испугавшись, снова закрыл, увидев то, чего нельзя было увидеть. Над ним склонились два мужика, одетые в мешки из рогожи. У каждого — борода до пупа, а на голове — роскошные

оленьи рога. Такие раскидистые, что живи они в городе, не ездить бы им в общественном транспорте. На рогах висят всякие предметы дорожного обихода: корзины из ивы, берестяные короба, деревянные ложки, мотки льна, связка грибов, нанизанных на прут, пучки источающих медовый запах трав, веники, яблоки наколоты...

— Смотри, смотри — глаза лупит,— обрадовался доброжелательный и поинтересовался участливо.— Откуля ты, беструхалевый?

— От лябдорий,— прошептал Небезбаксов.

Слишком много потратил он сил на поднятие тяжелых век, чтобы говорить долго.

Мужики сочувственно замотали головами. Висящие на рогах предметы зашуршали и застучали друг о друга.

— Надысь лябдории трухаля изловили,— поделился ворчливый своим горем и ткнул пальцем в лежащие у его ног рога,— дык только трухали и нашли. Как же ты, болезный, в рощу лябдорскую забрёл? Небось, пуздырева набудурился?

— Не будурил я пуздырево,— оправдывался Небезбаксов.— Я пуздырева вообще не будурю.

— Оно, конечно, если так,— с сомнением поддакнул доброжелательный трухаль и спросил вежливо, с долей опаски.— Уж не пентюхай ли ты?

— Да, вроде бы нет,— неуверенно ответил Небезбаксов.

— Идём-ка с нами, беструхалевый, мы тебя лузгомоном отпоим,— пригласил доброжелательный.— Лузгомон — от всякой порчи — средство верное. А здесь тебе нельзя оставаться. Здесь тебя лумпидарии в момент расклюют. Ишь, разгваркались! Кышь, проклятые, кышь!

— Не могу я идти,— пожаловался Небезбаксов,— и заснуть не могу. Глаза закрою — лябдории, лябдории. Одна другой рыжее. Стра-а-а-ашно... Забодали бы вы меня, мужики, чтобы не мерещились более эти проклятущие бабы.

— Тьфу на них!— дружно откликнулись трухали, изобразив на грубых лицах своих сердобольные гримасы.

А доброжелательный снял со своих рогов короб, наполненный мухоморами, и перевесил на рога товарища.

— Уж кому знать, как ни нам,— задушевно сказал он.

Нагнувши голову, он подгрёб Небезбаксова рогами и с кряхтением распрямился, ловко подбросив залюбленного вверх, так что тот оказался сидящим на макушке у трухаля, как бы в кресле.

Ох-хе-хе!— мудро вздохнул благодетель.— Кто знает, все под корягой лесной ходим. Набудуришься эдак пузырева и попадешь к лябдориям. Ишь, как над бесштанным поизмывались. Лёгкий, как пух.

Не говори, кум,— проворчал его напарник,— эти лябдории (тьфу на них!) хуже пуздырева.

Поднятый на рога Небезбаксов увидел печальный холм, густо усеяный костями залюбленных отцов. Частью обрушились в небе, а частью вперевалку расхаживались по земле грифы — мерзкие пожиратели мертвечины. Те и другие скандально кричали, недовольные трухалями, уносящими от них пищу.

Добряки-рогоносцы бодрой трусцой спустились вниз, в окружающую пустынный холм чащобу. Замшелые неприхотливые сосны источали целительный, густой аромат хвои, перебивающий кладбищенские унылые запахи. Сдирая с красновато-золотистых стволов комья янтарной смолы, трухали с видимым удовольствием жевали ее. Время от времени они на ходу обламывали хвойные ветки и запихивали себе в рот зеленые иглы. При этом по-верблюжьи выпячивали губы.

— Мужики, а вы из чего пуздырево гнодите, из мухоморов?— спросил через полчаса взбодренный тряской на рогах трухаля Небезбаксов.

— Известное дело,— поддакнул, сопя и чавкая, его спаситель,— из мухоморов. Только не пуздырево, а шушмару. А уж шушмару у пентюхаев на пуздырево меняем.

— А шушмару из своих мухоморов гнодите?

— Если бы!— откликнулся трухаль, увешанный дорожными снастями.— В лябдорийской роще крадём.

— Опасное дело,— посочувствовал Небезбаксов.

— А то! Сколько уж наших свои трухали сложили...

— А вы бы того — породнились с лябдориями,— беспечно посоветовал Небезбаксов.

— Забодаю хныря!— взревел рассвирепевший благодетель.

И в ту же секунду, стряхнутый с роскошных рогов, полетел Небезбаксов на землю, пребольно стукнувшись о корневище.

— Оставь его, кум,— защитил поверженного Небезбаксова от расправы ворчливый и добавил с обидой.— Мы к нему со всем добром, а он, вишь, хамит. Лузгомоном хотели хныря отпоить. Лузгомон на него ещё тратить! Да доставайся ты лябдориям. Тьфу на тебя!

И они ушли прочь, ворча и отплевываясь.

* * *

На следующее утро сквозь обморочный озноб услышал до конца недолюбленный Небезбаксов такие слова:

— Борода в косичку не заплетена, о приближенный к коряге! И трухали не растут. Толстопятости тоже не наблюдается. Не шиш закордонный, не трухаль, не дуплянин. Разве что лябдория?

— Где же ты видел лябдорию с бородой, о погонщик трухалей? А впрочем, переверни-ка его. Экий жалкий дубиндай! Однако не лябдория.

— По всему видать — пентюхай, о приближенный к коряге!

— Пуздыревом не пахнет?

— Нет.

— Отвезем его к трехглазому. Трехглазый разберется.

— Эй, бобыли лябдорские, грузите его.

Подхваченный сильными руками, Небезбаксов взлетел в воздух и был брошен на нечто мягкое, меховое.

Приоткрыв правый глаз, он обнаружил себя лежащим в повозке. Спиной к нему сидит златоглавый человек в белом балахоне. В руках у него длинный прут, которым время от времени он хлещет по рогам впряженных в повозку трухалей. Трухали мрачно оглядываются: не нравится им, когда по рогам бьют. Однако в пререкания не вступают, плетутся понуро.

— Эй, бобыли лябдорские!— весело кричит удалой возница.— На всех полтюхтянки пуздырева жертвую!

Трухали разом взбодрились и резво припустили, шурша дерюжными одеждами и дробно перестукиваясь рогами. Так возница то стимулируя трухалей прутом, то словесно подпуздыривая, заставлял их бежать всё быстрее и быстрее.

Небезбаксов закрыл правый глаз и открыл левый. Он увидел, что лежит в ногах у златоголового и златобородого человека. Венок, сплетенный из золотых стружек, окольцовывал его череп. Одет был человек также в белый балахон, но с капюшоном, да и материя была тоньше. Все выдавало в нем изнеженного баловня судьбы. Зеленые глаза венценосца с любопытством рассматривали Небезбаксова.

— Кто ты?— спросил он капризно и томно.

Опыт подсказывал Небезбаксову: не следует излишне откровенничать, называть свою фамилию и рассказывать о сбившемся с курса лифте. Лучше вообще помалкивать. Меньше риска быть выброшенным из повозки.

Я — пентюхай, приближенный к коряге,— не дождавшись ответа, представился златобородый, поправил венок и, полуотвернувшись, дал полюбоваться своим величественным, гордым профилем.

Небезбаксов не знал, что ожидал от него пентюхай, назвавшись столь пышным титулом, но по всему было видно — равнодушие пассажира глубоко разочаровало мужика.

Пуздырева хочешь?— скосил он на Небезбаксова игриво-коварные глаза.

"Опуздырело мне ваше пуздырево,— устало подумал Небезбаксов.— Шли бы вы со своим пуздыревом к лябдорям!" Но вслух ничего не сказал, а только отрицательно покачал головой.

Этот жест несказанно удивил и, кажется, даже обидел пентюхая. В недоумении отодвинулся он и отвернулся от немого невежи.

— Эй, бобыли лябдорские! Еще полтюхтянки жертвую, если к обеду поспеем,— лихо заорал возница, и немокшие трухали под разбойничий, хулиганский свист погонялы рванули, как на стометровку.

* * *

Истекая потом, хрипло дыша, разбрызгивая с губ пену, шурша рогожей и раскачивая рогами, трухали из последних сил, поплевывая да попукивая, втащили повозку на высокий холм, подножие мраморно-белой скалы с отвесными стенами. В её монолите подобием пчелиных сот было высечено множество окон, галерей, переходов и балконов. Строение было настолько величественно массивным, что у каждого разумного существа невольно при виде его возникали мысли о своей малости, бренности и, чего уж там, ничтожности.

С высоты холма просматривалась до горизонта просторно раскинувшаяся тайга. Синие пятна озер да редкие кряжистые скалы-останцы разнообразили её завораживающую дремучесть.

Остановившись у широкой лестницы, трухали дружно повернули головы к вознице, ожидая обещанной награды.

— Будет вам, будет пуздырево,— ласково пообещал возница и вдруг зло хлестнул по рогам пожилого трухаля.— А тебе, бобыль лябдорский, ничего не будет. Еле собственные трухали таскаешь.

— Как же, вашесть,— плаксиво сморщил лицо наказанный,— старался ить из последних сил.

Между тем по лестнице к экипажу сбегали легконогие шишихи. Двое несли деревянный чан, играющий бликами плещущейся воды, в руках другой пушилось и переливалось всеми цветами радуги опахало, остальные скакали налегке.

Небезбаксов стал свидетелем забавного ритуала, заключающегося в омовении ног пентюхая и несении его на руках молодыми шишихами по лестнице. Далее пентюхай шел самостоятельно, но путь перед ним тщательно подметался тем, что Небезбаксов принял за опахало.

Ткнув перстом в сторону повозки, пентюхай томно приказал:

— Возьмите его и отнесите к трёхглазому.

Поправив венок, он величественно исчез в прохладе отверстой двери, охраняемой слоноподобными дуплянами со здоровенными дубинами на косматых плечах.

Ноги Небезбаксову шишихи омывать не стали. Взвалив без излишних церемоний на плечи, как бревно, они внесли его в звучный сумрак дворцовых покоев. Белые своды, белые ступени, просторные залы, мощные колонны, круглые окна, тесные переходы замелькали перед глазами беспомощного Небезбаксова, утомляя обильной белизной. Долго шлепали босые ноги по мрамору. Наконец внесли шишихи Небезбаксова в просторное помещение, уложили его на некое подобие каменного надгробья, которое, впрочем, отчасти было похоже и на кушетку, стоящую в теплом пятне солнечного света.

Исполнив приказ венценосного пентюхая, шишихи удалились, матово поблескивая смуглыми ягодицами.

* * *

Небезбаксов лежал на теплом камне и прислушивался к разговору, доносившемуся из смежной комнаты. Беседовали двое. Один отчитывался:

— ...Шиши прислали тридцать коробов лесных орехов и пять шиших для обслуги. Дупляне, как и обещали, доставили синюю ягоду. Вот только трухали...

— Что трухали?— требовательно задребезжал нервный старческий голос.

— Ворчат. Жалуются на возниц: "Почто люто по трухалям без дела хлещут?"— передразнил трухалей докладывающий и продолжал озабоченно ябедничать.—

Оглядываются, сучья лесные, смену для трёх экипажей прислать. А старые экипажи еле ноги волочат, потому как от меры пуздырево хлещут. Шагу без пуздырева не ступят.

Пуздырево не давать. Старую смену не отпускать. По рогам хлестать пуще,— яростно зазвенел разбитый колокольчик.— Я им покажу, как трухалями махать! Стуголи!

Но спустя некоторое время совсем по-другому — любовно и слащаво — затрезвонил этот колокольчик с трещинкой:

Приветствую тебя, о приближенный к коряге! Разреши мне выслушать тебя...

Я был у лябдорий,— томно и капризно сказал давешний спутник Небезбаксова,— они клялись столбом любви, что никогда не приносили в жертву пентюхая. Но на обратном пути вблизи холма залюбленных отцов трухали, впряженные в мою повозку, заметили лежащего без чувств ялмезника. Он был изможден и не похож ни на пинка, ни на дуплянина. К тому же — безрогий и неопузыренный. Я решил, что это пентюхай. А так как никто из пентюхаев не пропадал, кроме,— говорящий снизил голос и произнёс в нос,— чумарого... Я думаю, что похотливые лябдории мне солгали.

— Не слышал я, о приближенный к коряге, чтобы кто-нибудь уходил от лябдорий живым,— недоверчиво пробормотал старец.

— Но тебе достаточно взглянуть на него, трехглазый, чтобы развеять свои и мои подозрения.

— Чумарый обязан прятать свое лицо от всех, кроме сидящего на коряге. Я могу сказать одно: ялмезник, которого ты привёз, худ, а чумарый был толст.

— Лябдории выпили его соки.

— Может быть, о приближенный к коряге, может быть. Нам нельзя ошибиться. Чумарый посвящен в главное таинство. Не приведи лесная коряга, если о нём узнает кто-нибудь...

— Что это за таинство, трёхглазый?

— Прости, о приближенный к коряге, я не могу посвятить тебя в него, пока ты не наречешься хрянтаем 122-м. Всего три пентюхая знают этот секрет: хрянтай, трёхглазый и чумарый. Вот почему никто не должен видеть лицо чумарого. Если привезенный тобою ялмезник — чумарый, всех, кто видел его...— и старец, не закончив фразы, выразительно щелкнул пальцами.

— Даже если его видел пентюхай?

— Да, о приближенный к коряге.

— Я тоже видел его, трёхглазый...

— Тебя не касается это правило: скоро ты будешь окоряжен и наречешься хрянтаем — 122-м. Дозволь мне спросить тебя, о приближенный к коряге.

— Спрашивай.

— Разговаривал ли с тобой найденный у холма залюбленных отцов ялмезник?

— Нет, трёхглазый. Он молчал. Крайне вызывающе и непочтительно.

— Это хорошо. Чумарый ни с кем, кроме хрянтая, не должен говорить. Какая досада, что именно сейчас хрянтай — 121-й готовится стать мухомором!

Наступила почтительная тишина.

— Если это не чумарый, то кто?— спросил без пяти минут сидящий на коряге.

И прошипел таинственный всёзнающий трехглазый:

— При-ш-шлец...

"Опять влип",— подумал невезучий Небезбаксов и твердо решил:— надо молчать. Молчать из всех сил."

Кто такой хрянтай — 121-й он не знал, но горячо и долго молился, чтобы сидящий на коряге поскорее стал мухомором.

* * *

Проснувшись, кандидат в чумарые ощутил на лице своем матерчатый кулёк с прорезями для глаз и рта. Две шишихи, заметив его пробуждение, присели с двух сторон по краям ложа. Третья зашла сзади и приподняла Небезбаксову голову.

Приготовления эти напомнили ему пережитый ужас коллективной любви. И если бы у него были силы, он попытался бы оказать сопротивление. Но сил у него не было.

К счастью, намерения шиших были куда как безобиднее. Одна из них кормила его с деревянной лопаточки некоей массой, по вкусу напоминающей крем с курагой и орехами. Пожалуй, что и с добавлением мёда. Другая, дождавшись, когда он прожуёт и проглотит пищу,утирала ему губы душистой тряпицей и поила из деревянного, пахнувшего сандалом, ковша подобием охлажденного клюквенного сока.

"Хорошо быть пентюхаем",— подумал насытившийся Небезбаксов и улыбнулся шишихам, вставшим с ложа.

Хочет ли чего-нибудь ещё подкоряжный?— спрос[illegible]ла шишиха, поившая его соком, как показалось Небезбаксову, со страхом.

Жечумарый, подивившись собственному титулу, отрицательно покачал головой. Жест этот отразился на лице шишихи лёгким недоумением.

Хочет ли чего-нибудь дубиндай молчащего?— уточнила она и зрачки её расплылись во все хрусталики.

Небезбаксов сделал страшные глаза, и три шишихи, получив раскосые очи, удалились, пятясь задом. Видимо, исполняя рутинный ритуал.

Каменная дверь за ними плотно захлопнулась, а характерный звук не оставлял сомнений — её заперли.

Одним движением глаз нью-пентюхай осмотрел вырубленное в белой скале помещение. Оно было значительно меньше предыдущего, а проемы для окон настолько узки, что в них бы не пролез и годовалый ребёнок. По тому, как обслуживали Небезбаксова, можно было предположить, что он, неожиданно для себя, совершил головокружительную карьеру. И в то же время помещение напоминало одиночную камеру.

Небезбаксов, слегка утомленный обильным обедом, закрыл глаза, сосредоточился и стал вспоминать подслушанную ненароком беседу трёхглазого с кандидатом в хрантаи.

По всему видно, чумарый занимал среди пентюхаев, или, как они сами себя называли, подкоряжных, особое место. Хранителем какой тайны был чумарый? Информация была настолько скудна, что вскоре Небезбаксов убедился в бесплодности умственных усилий, которые к тому же заметно угасли после потрясшего его свидания с тысячью алчащих любви лябдорий.

Ясно было одно: чтобы выжить, нужно молчать, молчать и еще раз молчать. Молчать изо всех сил, между тем всеми способами добывая информацию о самом себе, чумаром.

За окном, на галерее, окольцовывающей дворец-скалу, послышался шорох шагов. Небезбаксов закрыл глаза и весь обратился в слух.

Диалог, который он услышал, ничего не прояснил, но вселил некоторую надежду.

— Ступай опуздырься, шиш. Моя очередь пугалом стоять. Кого охраняем?

— Не ведаю, дуплянин.

— Отчего у пентюхая не спросил?

— Вопрошал. Обозлился пентюхай. Грозил без пуздырева оставить.

— Говорят,— прогундосил в нос пришедший,— запасы пуздырева того, кончаются...

— Пронеси, коряга лесная! Что ещё слышно?

— Говорят, хрянтай — 121-й вот-вот омухоморится. Уже трухали и древа для кострища сволакивают, и шишихи последнюю песнь поют.

— Один омухоморится, другой окоряжится — нам-то какая разница? Лишь бы пуздырева не лишили.

— А ты веришь, что из пепла хрянтая мухоморы рождаются?

— Тише, дуплянин, услышит пентюхай — пожизненно от пуздырева отлучат. Пентюхаи к коряге ближе, им видней. Пошёл я. Авось, опуздырят за службу.

— Смотри, чтобы косичка на расплелась.

— Чтоб у тебя язык не узел завязался, толстопятый!

Кажется, начинает везти, не столько обрадовался, сколько удивился Небезбаксов. Из всего слышанного можно было сделать только один вывод: некто хрянтай — 121-й, единственный пентюхай, которому позволено лицезреть чумарого и говорить с ним, очень скоро омухоморится, а его пепел в качестве грибной рассады рассеют по окрестным лесам.

* * *

За траурными хлопотами о Небезбаксове забыли.

Трижды в день входили к нему кормилицы-шишихи, приносили яства. Торжественно и благоговейно выносили художественно исполненный сосуд с переработанной узником-повелителем вчерашней трапезой. Настойчиво интересовались: не появилось ли каких желаний?

Небезбаксов делал страшные глаза, и шишихи удалялись, потупив раскосые очи.

Восемь раз в сутки под окнами менялась стража.

Сколько бы глубоким не был сон Небезбаксова, заслышав шаги свежего караульного, он тотчас же просыпался.

Чутко прислушиваясь к разговорам стражников, он узнавал последние новости в непонятном для себя мире.

Забузили трухали. Но были быстро усмирены. Посидев самую малость без пуздырева, склонили свои рогатые головы и теперь с ещё большим усердием возят пентюхаев, которым нельзя ступать по земле вне дворца.

Лябдории попытались охотиться за мухомордариями вне своих рощ, но получили достойный отпор от трухалей, шишей и дуплян.

Дупляне вторглись во владения шишей, изрядно отвалтузили их, или, как выразился страж-дуплянин, расплели им косички на бородах, и захватили столько мухоморов, что едва донесли.

Эти короткие беседы при смене караула кое-что прояснили. Небезбаксов понял-таки причину ярости доброго трухаля, едва не проткнувшего его рогами. Оказывается, невинный совет породниться с лябдориями был для рогатого племени страшным оскорблением. Чтобы сделать свирепым самого тихого трухаля, достаточно было назвать его лябдорийским бобылём. Давным давно, когда край этот не знал пуздырева, а мухомор не был священным грибом, предки трухалей не были рогаты. В те времена они не просто дружили с предками лябдорий, но составляли с ними одно целое — племя мухомордариев. Как и отчего случился раскол из коротких насмешливых реплик стражей трудно было понять. Может быть, это было историческое предание. Может быть, миф. Может быть, анекдот. Во всяком случае трухали были рогаты и неосторожное упоминание о далеком мухомордарском прошлом превращало эти рога в грозное оружие.

Из отрывочных сведений Небезбаксов составил неполное представление о странном сообществе враждебных племен. Постоянно и нещадно валтузя друг друга, дупляне и шиши, лябдории и трухали удивительно преданно служили нынешним пентюхаям, надменному племени повелителей, заключившим некий контракт с местным божеством лесной корягой.

Даже лябдории, при одном упоминании о которых плевались все ялмезники, включая и Небезбаксова, не охотились на пентюхаев.

Секрет такого почитания, как понял Небезбаксов, заключался не столько в благосклонности и покровительстве коряги, сколько в тайне приготовления загадочного пуздырева. Без него не мог обойтись никто — ни шиши, ни дупляне, ни трухали, ни (тьфу на них!) лябдории.

В этой тайне — сила и могущество высокомерного племени золотобородых, не ступающих по голой земле, но омывающих свои ступни при входе в белую скалу.

Чем больше размышлял Небезбаксов о странных обычаях и загадочных отношениях ялмезников, тем больше склонялся к мысли, что тайна пуздырева и тайна чумарого составляют единое целое. Не зря же лицезреть чумарого

дозволялось лишь могущественному хрянтаю, самый прах которого рождает мухоморы. Да, возможно, чумарый велик и могущественен, если даже лицо его составляет государственную тайну, но что делать Небезбаксову? Во-первых, решил он, если я хочу жить, надо стать чумарым. Во-вторых, чтобы не выдать себя, надо не просто стать чумарым. Надо стать чумарым, потерявшим память. Чумарый, который не помнит, как он исчез из дворца, что с ним было, даже не помнит, что он — чумарый. Прикинуться пеньком — и прислушиваться, приглядываться. Главное — не суетиться. Уставиться, эдак, отвлеченно в пространство и не совершать лишних движений.

Старец с голосом-колокольчиком — вот кто поможет ему восстановить память. Главное, чтобы он поверил и не рассказывал сказки о пришлецах. Если очень захочется жить, можно надуть любого пентюхая. Даже трехглазого.

Хрянтай-таки омухоморился. По этому случаю стражники предрекали большой урожай грибов.

* * *

У трехглазого оказался всего один глаз.

Это был маленький, совершенно лысый старичок-лилипут с такой большой бородой, что ему постоянно приходилось держать конец её намотанной на кулак, иначе и шагу не пройти, не споткнувшись. Так женщины придерживают подол вечернего платья, поднимаясь по ступеням.

Титулы редко совпадают с внешностью титулованных. Много ли великих среди тех, кого зовут великими?

Но старичок брал не количеством, а качеством. Его единственный глаз был пронзительно проницателен и очень-очень недоверчив.

"Правильнее было бы назвать его четырёхглазым,— подумал Небезбаксов:— три глаза из титула и один свой."

Небезбаксов не выказал никакого отношения к явлению старичка, только проследил пустым взором, как тот с трудом перевалил через порог, прошелся вперевалочку к его изголовью и, по-петушиному полуотклонив голову, уставился немигающим глазом — зеленым, кошачьим.

— Поднимайся,— насмотревшись, прозвенел старичок будильником, нас ждёт хрянтай — 122-й.

Повернулся величественно и пошёл вон, переваливаясь уткой.

Сохраняя в глазах безмятежность и расплывчатость контуженного и повторяя про себя: "Я потерял память, я

потерял память,"— лжечумарый поплелся следом апатичным привидением.

Путь был долог и тяжек.

Ступени поднимались вверх, закручиваясь винтом, расширялись, кружили по запутанному лабиринту. То и дело маленький мудрый старичок с бородой великана подгонял своего вялого спутника, нетерпеливо постегивая себя концом бороды, сверля тихохода злым, подозревающим взором.

Хрянтай — 122-й оказался золотобородым пентюхаем, подобравшим Небезбаксова на лесной поляне. Но вместо венца голову его украшало сложное и, видимо, очень тяжелое сооружение, напоминающее клубок окаменевших змей. Впрочем, ее можно было принять и за корягу. В руках хрянтай держал преогромный мухомор из драгоценных камней. Корягоносец величественно восседал на корявой, напоминающей ползала, до блеска отполированной задами сто двадцати одного предшественника, коряге.

– Слава сидящему на коряге!— торжественно прозвенел старичок и, поднявши ногу, застыл в странной позе, имитируя то ли цаплю, то ли гриб, при этом одну ноздрю он закупорил большим пальцем.

Хрянтай — 122-й, дав подданным время полюбоваться своим профилем, развернулся анфас и нахмурился.

— Трёхглазый,— закапризничал он,— почему этот ялмезник стоит на двух ногах? Вели накормить его мухоморами.

— Чумарый, о корягоголовый, имеет привилегию в присутствии хрянтая не только стоять на двух ногах, но и дышать в две ноздри,— почтительно разъяснил старичок дребезжащим, гнусавым голосом.— Эту привилегию даровал чумарым великий хрянтай — 85-й за изобретение пузырева.

Нога его тряслась и подгибалась от напряжения.

Хрянтай — 122-й заелозил на коряге. Видимо, затекло седалище. Поелозил, поелозил и порывисто встал.

Трёхглазый скорчил плаксивую гримасу и принялся скакать на одно ноге.

— Ах, я забыл, трёхглазый,— спохватился хрянтай — 122-й и, тяжело вздохнув, вновь опустился на жесткую корягу.

— Прошу тебя, о корягоголовый,— умоляюще задребезжал запыхавшийся трёхглазый,— не вставай с коряги, ибо я стар и немощен, мне трудно блюсти церемониал. Дозволь распластаться перед корягой.

— Дозволяю!— милостиво разрешил хрянтай.

И старичок с видимым облегчением улегся дворовой собачонкой у его ног.

— Говори!— приказал хрянтай — 122-й Небезбаксову.— Я хочу знать главную тайну.

Небезбаксов молчал, ибо не знал, что сказать.

Прерывисто дыша и глотая окончания, старичок пробормотал:

— Дозволь, о сидящий на коряге, ознакомить тебя с церемониалом общения.

— Дозволяю,— хмуро разрешил хрянтай-стажёр.

— Надобно говорить: "О молчащий, я отверзаю твои уста," и молчащий ответит: "Спрашивай."

Хрянтай — 122-й отверз уста Небезбаксову, но тот, несмотря на подсказку трёхглазого, молчал. Только дурак мог бы поверить подсказкам такого хитроглазого типа.

— Да уж чумарый ли ты?— засомневался хрянтай — 122-й, пренебрегая церемониалом.

— Не помню,— ответил Небезбаксов голосом разбуженного среди ночи дебила.

— А что же ты помнишь?

— Рыжих женщин. Много рыжих женщин.

— Лябдории!— воскликнул хрянтай — 122-й, довольный своей проницательностью.— Что я говорил! Рыжие бабы обманули меня! Они выкрали самого разливальщика пуздырева! Неслыханная дерзость!

Распалившись, он вскочил на ноги и стал быстро ходить вокруг обширной коряги, взволнованно бормоча проклятия и обещая страшное возмездие лживому племени одиноких женщин.

Бедный знаток дворцового церемониала, кряхтя, поднялся с пола и как молодой запрыгал на одной ноге, закинув от греха подальше бороду за плечо.

— Ах, я забыл, трёхглазый,— плюхнулся неостывший хрянтай — 122-й на корягу,— дозволяю тебе распластаться.

— О благодарю тебя, корягоголовый!— задыхаясь и обливаясь потом, трёхглазый рухнул на пол.

— Мне надоел церемониал,— закапризничал хрянтай и нетерпеливо приказал трёхглазому,— я дозволяю немедленно посвятить меня в тайну пуздырева!

— О сидящий на коряге, я знаю только порядок, но лишь чумарый знает меру,— почтительно разъяснил распластанный старичок.— В час, когда солнце заглянет в большую дыру, чумарый посвятит тебя в главную тайну лесной коряги.

Но он потерял память!— ужаснулся хрянтай-новопосвященный.

Чумарый может забыть все. Но, если он чумарый, с ним лесная коряга, пуздырня воскресит его память.

А если не воскресит?

Коряга лесная не допустит этой беды!— воскликнул в наступлении трёхглазый.

"Хрен там поможет вам лесная коряга, — подумал Небезбаксов обреченно.— Интересно, какой вкус у здешних мухоморов? Горькие, наверно."

* * *

Если коряга помещалась в самом верху скалы, то пуздырня, судя по долгому спуску, напротив, в самом низу, в каменном погребе.

Впереди, зажав по обыкновению в кулак бороду, ретиво семенил посвященный во все пентюхаевские тайны лилипут. За ним понуро плёлся укрытый балахоном чумарый. Замыкал шествие свежеокоряженный хрянтай — 122-й, величественную походку которого несколько портила тяжелая корона.

Стражи при виде процессии стеклянели глазами и переставали дышать.

Ступени кончились, уткнувшись в гладкую белую стену. Старик подал знак, и стража распласталась на полу, закрыв ладонями глаза. Подозрительно оглядев их, — уж не подглядывают ли?— он протянул Небезбаксову некий предмет, отдаленно напоминающий кочергу. То, что это был ключ, Небезбаксов догадался, но он никак не мог найти замочную скважину. Стена была абсолютно ровной, без выемки, без щербинки. И сколько ни бегал по ней глазами, ничего не нашёл. Ни царапины. Взвесив в руке кочергу, Небезбаксов задумался: кого первого ошарашить по темечку? Хрянтая? Коряга на башке — не прошибешь. Карлика? Или вначале стражу, лежащую на полу, оглушить? Ну, перебьёт он их, а что дальше?

Уронил в отчаянии Небезбаксов голову на грудь: придется, видно, попробовать мухоморы. И вдруг видит: отверстие! На полу, между его ногами. Фу! Хорошо, что лица под капюшоном не видно!

Пуздырня представляла собой круглое и очень высокое помещение без окон. Как бы чум, вырубленный в скале. С отверстием-колодцем в центре сферического потолка.

Над этой шахтой-стволом стояло солнце, и столб света падал на почерневший от времени деревянный чан — по грудь Небезбаксову. Выдолблен он был из гигантского пня.

Справа от чана стояло пять порожних, выдолбленных также из дерева ёмкостей. На каждом тавро, отличительный знак. Слева — пять ёмкостей, наполненных жидкостью, источающей угарные запахи. С такими же знаками: волнистая линия, круг, ветка, переплетение трёх линий, прямая вертикальная черта.

Небезбаксов, положил ладонь на край чана, медленно обошел его вокруг. Движения, возможно, выглядели бесцельными, но в них не было неуверенности.

Чан был пуст.

Такая же пустота была и в голове Небезбаксова.

Старичок не прыгал на одной ноге, не распластывался ниц. Видимо, упражнения эти адресовались не столько хрянтаю, сколько священной коряге. Не отвлекаемый более физзарядкой, он внимательно следил кошачьим глазом за Небезбаксовым между тем, как лжечумарый кружил возле чана заторможенным лунатиком, мозг его лихорадочно работал.

Чан. Пять пустых и пять полных ёмкостей. С этими предметами нужно произвести какие-то действия. Он искал глазами нечто, что должно было подсказать — какие.

Знаки на пустых и полных ёмкостях зеркально повторяли друг друга. Так, так, так...

Боковым зрением он видел трёхглазого и хрянтая. Они молча следили за его кружением.

Карлик хлопнул в ладоши. Небезбаксов вздрогнул. Что бы могло это означать? Давал ли он чумарому знак к началу действия, или призывал стражу принести мухоморы?

— Меру даров дуплян!— торжественно прозвенел миницикло.

Именно в эту секунду увидел Небезбаксов деталь, подсказавшую ему, что он должен делать. На внутренней стенке порожнего сосуда была нанесена крохотная метка.

Медленно повернулся Небезбаксов к полным емкостям, соображая, в какой из них дары дуплян. С краю? С какого? Какой знак может обозначать это племя? Дупляне. Мохнатые люди, живущие в дуплах деревьев. Дупло... Отверстие! Круг! Небезбаксов поднял ёмкость, помеченную кругом, и, подойдя к порожнему сосуду с тем же знаком, отлил в него жидкость — до риски.

Выплеснуть ли отмеренную дозу в чан или сначала поставить полуопорожненный сосуд на место? Он медлил, дожидаясь подсказки трёхглазого.

Старик хлопнул в ладоши:

— Мера даров шишей закордонных!

Небезбаксов пробежал глазами по ряду оставшихся ёмкостей: ветка? волнистая линия? черточка? Конечно же, косичка! Косичка — вот что обозначают три переплетенные линии.

Третьими были дары от трухалей,— и Небезбаксов догадался, что означает ветка. Конечно, рога!

— Мера даров жердяев!— объявил старик.

Оп-ля! Небезбаксов заволновался. Он не знал, кто такие жердяи, а потому не мог определить их знак. Разве что взять наугад? Всего-то и осталось — две ёмкости. Пятьдесят на пятьдесят. Постой, постой! Вероятно, в одной из них — дар от лябдорий. Лябдории, лябдории (тьфу на них!), какой знак мог бы обозначать охотниц за мухоморами? Извилистая линия — змея, уже совсем было решил Небезбаксов, как вдруг вспомнил столб, жертвенный столб, застывший в чудовищной, вечной эрекции, мечте похотливых лябдорий. Знак незнакомых Небезбаксову жердяев — извилистая линия. И лжечубарый мысленно поблагодарил за подсказку лябдорий (тьфу на них!)

Перелив последними дары лябдорий, Небезбаксов замер у отмеренных порций, пытаясь изобразить согбенной спиной потерю памяти и транс. Будет ли трёхглазый и дальше диктовать ритуал или пора действовать самому? Главное — не торопиться. Лучше ничего не делать, чем делать не то. Однако и медлить опасно.

Пауза затягивалась, как петля на шее.

И когда Небезбаксов решил, что идут последние секунды его невезучей жизни, старец протренькал:

— Дар от дуплян — не пуздырево.

Небезбаксов выплеснул в чан жидкость из ёмкости, помеченной кругом.

— Дар от шишей — не пуздырево... Дар от трухалей — не пуздырево... Дар от жердяев — не пуздырево... Дар от лябдорий — не пуздырево,— торжественно руководил процессом смешивания даров старец.

И когда чумарый, которому пуздырня воскресила память, выплеснул в чан дар от лябдорий, смесь зашипела, вспузырилась, розовый туман устремился в потолочное отверстие. Пуздырня наполнилась невыносимой вонью.

— Дары дуплян, шишей, трухалей, жердяев и лябдорий — вот пуздырево!— подвел черту секретной технологии трёхглазый.

— И это все?— удивился хрянтай — 122-й.

— О да, сидящий на коряге,— смиренно подтвердил хранитель главной государственной тайны.

Посвященный в таинство хрянтай — 122-й расхохотался. Раскаты смеха гулко метались по кругу грубо сколотых каменных стен, дробясь, схлестываясь и усиливаясь, словно несколько хрянтаев веселились вперегонки.

* * *

Обязанности безликого, молчащего чумарого были хотя и священны, но не обременительны. Небезбаксов влачил жалкую жизнь дворцового привидения. Один раз в двенадцать дней он спускался в пуздырню и смешивал ядовитые соки мухоморов, украденных друг у друга дуплянами, шишами, трухалями, лябдориями и неизвестными ему жердями. Все остальное время был он заперт в келье, лежал на каменной кровати и удивлялся, каким образом удалось его предшественнику удрать из этой райской тюрьмы. Из пуздырни не сбежишь. А по дороге от кельи до пуздырни и обратно его сопровождали преисполненные суеверного уважения слоноподобные стражи с увесистыми дубинами на плечах.

Все свободное время... Собственно, всё время Небезбаксова было свободно и поэтому правильнее сказать — всё время он посвящал размышлениям о побеге.

Прекрасный способ — притвориться мёртвым! Но кто знает, что делают пентюхаи с усопшими чумарыми? Может быть, их сжигают, как хрянтаев, а пеплом удобряют мухоморы. Честь великая, но...

Ба! Можно нарядить одну из шиших в свой балахон, а самому замаскироваться под шишиху. Но как под нее замаскируешься, если шишихи вообще не признают одежды? Шишихи неподражаемы и неповторимы.

Хорошо, если бы в пуздырню через отверстие в потолке кто-нибудь спустил веревку. Только где взять двести метров веревки и кто её спустит?

Среди десятков способов побега, увы, не было ни одного, которым можно было бы воспользоваться.

Видно, у исчезнувшего пуздыревочерпия были большие послабления. Впрочем, для пентюхаев он и есть тот самый блудливый чумарый. Понятно, что надзирают за ним с удвоенным усердием.

* * *

Тридцать раз спускался в пуздырню Небезбаксов. За весь год он не сказал ни слова, никому не показал своё лицо.

Посвященный в государственную тайну пентюхаев, он сам стал государственной тайной.

Жизнь живого божества или, точнее сказать, откармливаемого орехами к праздничному столу индюка была невыносима.

Чтобы не умереть от ожирения, Небезбаксов, оставаясь один, приседал и отжимался от пола. Причем добился больших успехов. Поставил целью присесть тысячу раз подряд — и добился своего. Почему именно тысячу? Выверты подсознания, должно быть. Со временем ужас лябдорских приключений воспринимался как великий мужской подвиг и тешил самолюбие. Это вам не тысячу раз присесть. Титул великого мухомордария льстил Небезбаксову больше, чем священное звание чумарого.

К концу этого долгого и скучного, как волчий вой, срока в размеренной жизни Небезбаксова случилось нечто, всколыхнувшее его душу.

Однажды отворилась дверь царственной тюрьмы и среди шиших, принесших пищу, Небезбаксов увидел красавицу, заставившую его вздрогнуть. Это была та самая шишиха, ради которой пошёл он воровской тропой по дуплянские мухоморы и попал к свирепым лябдориям.

Старое чувство, как старое вино, всколыхнуло его ожиревшую душу и впервые вопрос шиших, не хочет ли он чего-либо помимо пищи, имел какие-то основания. Впервые Небезбаксов не стал делать страшные глаза, а напротив восстал со своего ложа и, подойдя к новенькой, провел ладонями по ее щекам, шее и плечам.

От этой ласки шишиха побледнела, а её напарница потупила глаза и прошептала, видимо, нарушая запрет:

— Твоя избранница, молчаливый, будет ослеплена.

Небезбаксов отдернул руки от прекрасной шишихи и, жестко схватив говорившую за плечи, встряхнул её, принуждая говорить дальше.

— Каждые двенадцать дней прежний молчаливый выбирал новую шишиху. Все они были ослеплены,— пролепетала она в страхе.— Пожалей мою младшую сестру, молчаливый, выбери меня.

Небезбаксов в смятении указал всем троим на дверь.

Конечно, его потрясло неслыханное сластолюбие и жестокость чумарого, но удивило другое: оказывается всё это

время раскосые шишихи знали то, о чем мог только догадываться даже всезнающий, никому не доверяющий трёхглазый. Шишиха сказала, и он это ясно слышал: "прежний молчаливый"...

Кажется, он нашел разгадку побега чумарого.

Да, не хотел бы он быть на месте раскосых красавиц после двенадцатого дня. С каким ужасом, должно быть, входили они к этому козлу в балахоне, гадая, кому из них вечером выколют глаза и бросят на ложе молчащего, безликого чудовища. Сам ли чумарый ослеплял шишиху или поручал подругам лишить её зрения?

Долго терпели, наверное, лесные красавицы, снятые из своих люлек прямо с ветвей деревьев, как сочные плоды, доставляемые партиями в белоскальный дворец для услаждения пресыщенных пентюхаев. Но однажды терпение лопнуло. Сговорились ли три обреченные на слепоту красавицы заранее или все произошло спонтанно, но, вероятно, в самом начале двенадцатидневного цикла чумарый был задушен нежными пальцами ласковых шиших. Возможно, чтобы отвести подозрения, одной из них пришлось пожертвовать зрением.

Каждый день они вносили к мертвецу пищу, спрятав в ней какой-то режущий инструмент. Каждый день выносили сосуд с отбросами...

Да-да, чумарый совершил побег по частям. Сначала, наверное, убежала голова. Потом ноги. Руки. И всё остальное.

Нет, это не тот способ, которым хотелось бы воспользоваться!

Восстановив в воображении чудовищную картину убийства и многодневного расчленения трупа, Небезбаксов не только не опечалился, но напротив — повеселел.

Впервые за долгое пребывание в райской тюрьме он почувствовал надежду. Свежий сквознячок свободы проник в щели каменного мешка.

* * *

Когда после вопроса, заданного проформы ради, хочет ли чего-нибудь ещё подкоряжный, тот ответил хриплым от долгого молчания голосом: "Да!",— у шиших от удивления прошло косоглазие.

Усадив растерявшихся красавиц рядом с собой, Небезбаксов откашлялся и прошептал:

— Мне нужна ваша помощь.

— Спасибо тебе, лесная коряга!— просияла шишиха, предостерегшая Небезбаксова о печальных последствиях любви чумарого для девушек.

— За что спасибо?— не понял Небезбаксов.

— Разве ты не знаешь примету? Когда шишихи перестанут косить, лябдории родят сыновей, а у трухалей отвалятся рога? Когда заговорит молчащий!

— Нет,— честно ответил Небезбаксов,— я знаю другую примету: когда рак на горе свистнет.

— Рак уже свистел!— радостно сообщила шишиха, придвинувшись ближе.— Чем мы можем помочь тебе?

Не верящий в предрассудки Небезбаксов взглянул на лица красавиц и обомлел: придававшая особый шарм шишихам раскосость бесследно исчезла.

— Девочки,— сказал он попросту, отринув высокий штиль, на коем изъяснялись обитатели дворца,— я бы хотел удрать отсюда.

Шишихи опечалились.

— Отсюда нельзя удрать,— пригорюнилась шишиха, в обязанность которой входило поддержание Небезбаксова за голову во время кормления.

— Можно!— бодро утешил шиших и себя Небезбаксов: Обняв всех троих, он приблизил их головы к своим губам.— Можно, если вы сделаете так, чтобы в двенадцатый день, когда солнце будет в зените, в колодец над пуздырней спустилась веревка.

— Дай время подумать, о молчавший, но заговоривший.

— Подумайте,— разрешил Небезбаксов,— но прошу вас, думайте не долго и, ради лесной коряги, косите, косите глаза, когда будете смотреть на пентюхаев.

На следующий день во время кормления шишихи сообщили результаты своих раздумий:

— Мы согласны помочь тебе, о молчавший, но заговоривший, если ты подаришь нам четыре тюфтянки пуздырева.

— Четыре тюфтянки!?— переспросил, едва не подавившись, Небезбаксов.

— Четыре,— подтвердили корыстные шишихи.

— Но вас трое.

— Одну мы обещали дуплянину, который спустит веревку.

— Хорошо,— не стал торговаться Небезбаксов,— будет вам три тюфтянки. А дуплянину передайте, что он получит свою долю, когда вытащит меня наверх. Где ваши тюфтянки?

Красавицы запустили руки в роскошные гривы, откуда и извлекли четыре бычьих пузыря, свернутые в трубочки, с горлышками, перевязанными сухожилиями.

Размеры их смутили Небезбаксова. Из пуздырни под балахоном можно было исхитриться пронести лишь до половины наполненную тюфтянку. Итого, шесть на двенадцать — семьдесят два, да плюс еще двенадцать — восемьдесят четыре...

* * *

Через восемьдесят четыре дня одновременно с лучами солнца в колодец над пуздырней спустилась веревка. К концу ее предусмотрительные дупляне привязали с десяток тюфтянок. Наполнив их свежим пуздыревом из чана, Небезбаксов связал петлю, вставил в неё ногу и подергал канат.

Со скоростью отечественного лифта — метр в секунду — беглец взмыл вверх. Подъём продолжался минуты три. Большая часть пути приходилась на грубо вырубленную в скале узкую шахту. И как ни старался Небезбаксов, а от многочисленных ссадин не уберегся.

Три мускулистых дуплянина вытащили его наверх, словно ведро с водой. Беглец не вызвал у них особого интереса, чего нельзя было сказать о тюфтянках с пуздыревом, при дележе которого случился небольшой скандал. Однако до потасовки дело не дошло: самый широкоплечий дуплянин решил всё по справедливости, забрав нечётную тюфтянку себе. После этого толстопятые отвели Небезбаксова на западную сторону скалы-небоскреба и на той же веревке спустили вниз, но уже не так осторожно.

Сразу у основания скалы начинался лес, густо покрывший покатый склон холма. Небезбаксов не заметил выскочивших из-за кустов дуплян. Он просто приземлился на плечи одного из них,— они побежали вниз, глухо топая огромными, как ласты, ступнями.

* * *

Лохматый, радушно улыбаясь, вышел навстречу, ведя за руку стеснительную толстопятую девицу.

— О, знающий тайну пуздырева!— высокопарно приветствовал Небезбаксова вождь воинственного племени.— Дупляне жаждут породниться с тобой. Возьми мою дочь.

Дупло её еще не обжито. Взойди в древодом, о тайнолюбивый!

Красавица при этих словах засмущалась пуще прежнего. Но смутили её не слова папаши, а вид укрытого с макушки до пят мужчины. Ничего более неприличного за свои юные лета она ещё не видела.

— Однако, успеется. Дупло её от тебя не убежит,— с напористой грубоватостью старого воина пробасил Лохматый и требовательно взмахнул рукой.

Тотчас же из-за мохнатых деревьев выбежало десяток дуплян с коробами на плечах и через несколько секунд у ног Небезбаксова выросла гора мухоморов. Между тем другая партия дуплян, кряхтя и поругиваясь, выкатила на поляну некое подобие стиральной машины и самовара. Размером с паровоз. Установив сооружение рядом с сырьем, они, не мешкая, развели огонь. Едва заструился дым, как со стороны озера показалась вереница толстопятых и крутобёдрых дуплянок. Они резво семенили, держа на головах выдолбленные из дерева ушаты. При этом всё у них раскачивалось, тряслось и подрагивало, но вода из ушатов не расплескивалась.

— Собраны в пентюхаевских лесах,— указав перстом на гору мухоморов, объяснил под шум выливаемой в котел воды Лохматый, охваченный всеобщим нервическим энтузиазмом.— Ты можешь приступать к гнодению пуздырева.

И вождь толстопятых разомлел от предвкушения.

Но Небезбаксов скрестил на груди руки, отставил одну ногу и гордо поднял голову.

— Понятно,— догадался Лохматый,— мы все закроем глаза. Приступай. Мы уже закрыли глаза.

Но не все, видимо, закрыли глаза плотно. Послышался разочарованный ропот.

— Понятно,— опешил Лохматый и, поколебавшись, подтолкнул к Небезбаксову толстопятую дочь.— Быстренько проверь сохранность дупла и приступай.

Кудлатые дупляне встали в круг и, склонив головы набок, раскрыли в ожидании рты.

У каждого племени свои причуды, но о таком странном обычае Небезбаксову слышать не приходилось.

— О, знающий тайну пуздырева, я не понимаю тебя,— подождав для приличия минут пять, сказал дрожащим от обиды голосом Лохматый и закончил со смутной угрозой.— Уж не хочешь ли ты сказать, что отказываешься от дочери вождя дуплян?

Толпа возмущенно зароптала. Послышались подстрекания: "Мухоморами за это мало накормить! Ишь, развы-

пендривался!", "Возьми её, не то хуже будет!", "Да у него, поди, и дубиндая нет"...

Лохматый стоял, закрыв глаза, и поскрипывал зубами. Переживал страшное оскорбление. Наконец, грубое сердце воина побороло эмоции, и сказал вождь ледяным голосом:

— Хорошо, о тайноликий, я отдам тебе младшую дочь.

Толпа в восхищении зачмокала и взволнованно загудела.

И лишь Небезбаксов не соблазнился.

— О толстопятые!— воззвал он к народу, пленившему его по второму кругу.— Даже если вы отдадите всех дочерей ваших, я не буду гнодить пуздырево.

Жуткая тишина повисла над поляной. Лишь слышно было, как трещит костёр, да капают из глаз отверженной девицы слёзы.

Из недр ошарашенной толпы вывалился молодец с дубиной наизготовке и обратился к вождю:

— Лохматый, этот пентюхай отверг твою дочь и обозвал нас толстопятыми. Позволь мне размозжить ему череп?

Мудрый вождь рокировал зареванную девицу себе за спину и властно поднял руки. Шум разом смолк, и даже костёр стал потрескивать тише.

— Почему, о тайноликий?— спросил Лохматый в недоумении.

Но в это время послышался топот многих ног.

В деревню галопом ворвалось стадо возбужденных трухалей. Выставив рога и утробно взревев, они грянули живым тараном на дуплян и в одночасье разметали их. Не позарившись на груду мухоморов и толпу визжащих, но не убегающих женщин, трухали подняли на рога Небезбаксова и помчались прочь.

* * *

Перелетая с рог на рога, знающий тайну пуздырева стремительно уносился похитителями в девственную чащобу леса. Его балахон развевался, как знамя, и белые клочья его то и дело оставались на сучьях деревьев.

Выносливые трухали, дружно сопя, не снижали темпа весь день и всю ночь.

А на заре познавший на беду свою тайну пуздырева Небезбаксов увидел поляну, запруженную трухалихами и трухалятами.

Его опустили на землю, дав наконец отдых посиневшим от жестких рогов ягодицам.

Навстречу прихрамывающему на обе ноги гостю старый трухаль вывел молоденькую трухалиху. Рога у него были такие огромные, что ими он мог бы разом забодать целый взвод дуплян, у нее же рожки были маленькие и изящные, а из-под мини-рогожи выглядывали точеные коленки.

— Мы, этого-ватого, народ простой,— изъяснился трухаль, переминаясь с ноги на ногу и раскачивая раскидистой кроной рогов,— этикетов не знам. Вот тебе дочка моя. Красавица. Бери с добром. Породниться хотим.

Море рогов всколыхнулось, дробный перестук пошёл по лесу. Растроганные речью вожака трухали, перетаптываясь на месте, скрывали свои чувства.

С некоторым угрызением взглянул на рогатую красавицу Небезбаксов, вспомнив ненароком тысячу рыжих женщин, пять суток марафонской любви, и с грустным сочувствием подумал: и на этот раз подгадили трухалям лябдории.

— У нас, тако дело, обычай — за трухалёнку бодаться, понимашь,— продолжал с трудом изъясняться вожак.— Но раз беда така, не дала тебе коряга лесная трухалей — бери, не бодаясь. Потому как уважам.

От такого проникновенного, задушевного толковища многие трухали украдкой прослезились.

Нравились Небезбаксову рогатые мужики своей основательностью и добротой, да и юная трухалиха не оставила его равнодушным.

— Мужики!— обратился растроганный Небезбаксов к трухалям, прижимая руку к сердцу.— Огромное вам, мужики, мерси, и особенно вам, папаша, за добрые слова. Народ вы простой. Я тоже парень простой и скажу попросту...

Рогачи со сдержанным одобрением загудели, застучали рогами.

— ... Я готов породниться с вами!

Оглушительный стук рогов был ему признательным ответом.

— А рога,— продолжал Небезбаксов, промокая тканью капюшона набежавшую вдруг слезу умиления,— что рога? Рога — дело наживное.

И на этот раз, судя по поощрительному гулу и заалевшим щекам дочери вожака, комплимент попал в цель.

— ... Но пуздырево для вас я гнодить не могу,— куце закончил свою пламенную речь Небезбаксов.

Трухалей словно цементом облили и на солнце высушили. Стоят в полном замешательстве, лупят глаза и улыбаются по инерции.

Переглядываются: ослышались что ли? Тихо стало. Слышно лишь, как овод бзыкает.

— Поймите меня правильно, мужики,— испугавшись этой тишины, принялся отчаянно разъяснять свою позицию Небезбаксов,— не только для вас, но и для дуплян, для шишей не буду гнодить пуздырево. Не говоря уже о лябдориях...

— Тьфу на них!— хором взревело рогатое племя.

— Почто так?— спросил рассудительный вожак, пряча за спину красавицу-невесту.

— Папаша, соберите все племена вместе — и я скажу почему.

— Забодаю бетрухалевого!— протрубил молодой и горячий рогач, решивший воспользоваться ситуацией и покончить с соперником. Но десятки крепких рук вцепились в его рога.

Небезбаксов вскинул вверх руки с открытыми ладонями, демонстрируя добрые намерения.

— Не будем поддаваться эмоциям, мужики!— прокричал он.— Не будем уподобляться лябдориям!

— Тьфу на них!— вновь взревели трухали и успокоились.

Долго длился этот митинг. Долго размахивали рогами тугодумы-трухали. Не однажды призывал их Небезбаксов быть благороднее лябдорий, пока стадо не пришло к единому мнению. И тотчас же четыре самых резвых юноши, закинув за спину рога, помчались с вестью во все стороны света.

* * *

Для встречи лесные народы выбрали Голый холм, первую пролысину цивилизации в девственных лесах Ялмеза. Глядя на истоптанную землю, Небезбаксов с грустью подумал, что, возможно, через несколько поколений весь Ялмез станет одним голым холмом.

Начало встречи не предвещало ничего хорошего. В кои веки собравшийся вместе разноплеменный люд косился друг на друга, припоминая старые и свежие обиды. Кто-то кого-то нечаянно, а может быть, и с умыслом толкнул. Кто-то кого-то обозвал, задирая. Полетели взаимные оскорбления. "Эй, толстопятые!— кричали шиши.— Сейчас

мы вам пятки-то почешем." "А вот мы вам руки-ноги в косички-то заплетем!"— обещали, не стерпев, дупляне. Слышались выкрики: "Бобыли лябдорские!", "Рыжие потаскухи!"

И вскоре разразился первый для этих мест мировой мордобой.

Пыхтя и яростно сквернословя, лесные народы вдохновенно валтузили друг друга.

И лишь сидящие в экипажах представители пентюхаевской знати не принимали участия ни в скандалах, ни в драке, только снисходительно посмеивались в золотые бороды.

— А знаете ли вы, из чего пентюхаи пуздырево гнодят?!— закричал что было сил белым привидением взбежавший на вершину холма Небезбаксов.

Кулаки застыли в замахе. Рога повисли в пустоте. Выбитые зубы замерли в воздухе, не долетев до земли. Только что лупившие друг друга шиши, дупляне, трухали и лябдории делали друг другу страшные глаза и прижимали пальцы к разбитым губам, призывая к тишине.

И лишь трёхглазый, потиравший во время свары руки, не очаровался этой фразой. В абсолютной тишине до самых небес взлетел его негодующий визг:

— Изыди, пришлец! Ябеду катишь, бадун неялмезный! Обкормите его мухомором, ибо беду несёт он вам, ялмезники! Обнажите лик его — нет в нем золотобородости! Бей самохвала!

Но впряженные в повозку трухали зашикали на него и, схватив за бороду, осадили.

Дождавшись, пока оппонента утихомирили, Небезбаксов задушевно продолжал:

— Ялмезняне! Вот вы валтузите друг друга, дерёте бороды и космы, а того не знаете, что трухалям не обойтись без дуплян, дуплянам без шишей, шишам без лябдорий. Но все вы можете обойтись без пентюхаев.

— А кто будет пуздырево гнодить?— перебил его недоверчивый шиш.

— Так знайте же: пентюхаи не гнодят пуздырево из своих мухоморов!

— Лжа пришлая!— пронзительно завопил, прерывая разоблачительную речь Небезбаксова, трехглазый.— Не верьте ему, он не чумарый! Да он напуздырился! Напуздырился и бороды вам плетет. Не внемлите пришлецу!

Трёхглазого вновь грубо осадили собственные пристяжные, а коренник покачал рогами. Не то что с укоризной, но и с угрозой.

— Из чего же пентюхаи гнодят пуздырево?— перекрывая рокот пересуда, заорал, свирепо кося очами, главный шиш.

Небезбаксов молчал, дожидаясь полной тишины, и, когда она наступила, сказал, изобличающе ткнув перстом в сторону пентюхаев:

— Пуздырево — есть смесь шишмаря, шушмары, забулдыря, запупендзии и иже с ними. А пентюхаевские мухоморы вообще ни для чего не гожи. Весь пентюхаевский секрет в том, что никакого секрета нет! Нужно лишь знать пропорции, в коих смешивать полуфабрикаты!

Стоящему на вершине холма Небезбаксову показалось, что он в кратере вулкана, так зашумел круг лесных народов. Но стоило ему поднять руки, вулкан потух.

— Пентюхаям выгодно держать вас во вражде и валтузии, травить вас пуздырём...

Трёхглазый и другие пентюхаи при этих словах сделали попытку покинуть сход, но их крепко держали трухали-тяжеловозы, намотав бороды на кулаки.

— ... Пентюхаи не будурят и не гдят ни шишмарь, ни шушмару, ни забулдырь, ни даже запупендзию!— раскрывал тайну за тайной Небезбаксов.— И пуздырево они тоже не гдят, ибо вредно!

— Лжа пришлая!— взвизгнул в бессильной ярости трёхглазый.

Лесные народы обратили сумрачные взоры на золотобородого карлика, и Лохматый выразил их общее чаяние:

— Дайте ему пуздырева!— рявкнул он. Трёхглазый побледнел и забился в истерике. К нему подступили с тюфтянкой. Протестующий визг закалываемого поросенка огласил окрестности Голого холма. Забадурив пуздыря, карлик задергался в конвульсиях и вскоре отошёл, сложив ручки и ножки тараканьими лапками.

— Омухоморился с непривычки,— заговорили окрест сочувственно,— не любят пентюхаи пуздырева...

— Отчего у трухалей рога повырастали?!— гневно возвысив голос, продолжал антипентюхаевскую, обличительную речь Небезбаксов.

Толпа откликнулась, но странным образом: все загоготали, а трухали, обидевшись, заворчали. Не оскорбляйте, мол, национальных чувств, рога — свято оберегаемое племенное достояние, а достались они им, если уж на то пошло, от отца-оленя.

Реплики с мест слегка смутили Небезбаксова, но он продолжал:

— Отчего у дуплян толстопятие?

— От отца-медведя,— ответили хором воинственные дупляне, с хмурым подозрением оглядывая соседей — уж не смеются ли?

— Отчего у шишей косоглазие?

Шиши понуро молчали, не найдя среди звериного мира достойного прародителя. Не скажешь же принародно — от отца-зайца.

— Отчего у лябдорий не рождаются сыновья?

Это был сильный вопрос. Рыжее племя одиноких женщин всхлипнуло и горестно заголосило.

Долгая, как полёт пушинки с неба, повисла над Голым холмом пауза. И, когда стало слышно, как скребутся под корой жучки-древоточцы за версту от оратора, Небезбаксов разом ответил на все вопросы:

— Все ваши беды — от пуздырева!

— Валтузь пентюхаев!— раздался воинственный клич шишей.

— Пентюхаям — пентюхаево!— подхватили дупляне, вскидывая на плечи дубины.

— Бодай их!— затрубили сыновья оленя.

Но Небезбаксов поднял руки, и лесные народы умерили пыл.

— Это суровая кара,— в общем-то одобрил он их намерения,— но есть наказание пострашнее.

Шиши, дупляне, трухали и лябдории раскрыли рты, недоумевая, что может быть страшнее самой смерти?

— Надо женить пентюхаев на лябдориях!— мстительно вскричал Небезбаксов.

Восторженный визг рыжих женщин стал восклицательным знаком этого ужасного приговора.

Мужская часть ялмезян сочувственно посматривала на пентюхаев. Трухали в нерешительности чесали рога, дупляне — пятки, шиши задумчиво дергали себя за бородыкосички. Это был как раз тот случай, который грешно пожелать и врагу.

— Те, кто согласен с этим решением, поднимите руки,— направил стихию народного гнева в демократическое русло Небезбаксов.

В едином порыве вскочили лябдории, жалея, что дзюбенда лесная дала им всего две руки.

Тяжело вздыхая, шиши, дупляне и трухали сначала опускали головы, а уж потом медленно поднимали руки.

Господству золотобородых пентюхаев пришел конец.

* * *

Взволнованный этим единением враждующих народов, стоял Небезбаксов на вершине холма, как на острове посреди штормящего моря, и чувствовал себя статуей свободы. Глаза его застилали слёзы умиления. Он был счастлив как никогда.

Внизу ликующий прибой лесных народов яростно приветствовал его и что-то кричал вразнобой.

"Дети мои!"— хотел Небезбаксов обратиться к этим звероликим, но в общем-то славным бородачам, однако судорога восторга сковала уставшее горло.

Но что же они кричат?

Небезбаксов не поверил своим ушам.

Бред какой-то!

Из хаоса звуков все яснее и четче вырисовывалось одно и то же слово. Наконец, приноровившись друг к другу, дупляне, шиши, трухали и лябдории все громче и дружнее скандировали:

— Пуз-ды-ре-ва! Пуз-ды-ре-ва!

Жаждущие лица устремлены с мольбой на Небезбаксова, просящие руки тянутся к нему:

— Пуз-ды-ре-ва!

Изумленный триумфатор поднял руки, но так и не дождавшись полной тишины, прокричал, срывая натруженный голос:

— Разве вы не поняли меня? Пуздырево — яд! От пуздырева все ваши уродства, беды и вражда! Я не буду гнодить для вас пуздырево, я не буду травить вас!

— У-у-у-у,— пронесся над толпой гул разочарованья.

Трухали изготовили к бою рога, лябдории разом облизнулись, взвизгнув: "Отдайте нам его!", дупляне взвалили на крутые плечи дубины. Взбежав на вершину холма, всем шишам шиш взял в пясть закрытое капюшоном лицо хранителя главной тайны и мрачно пообещал:

— Умухоморим!

— Коряга с вами!— невнятно промямлил из-под цепкой ладони шиша скорее обиженный и удивленный, чем испуганный освободитель лесных народов.— Напуздырю вам пуздырева, хоть запуздырьтесь, пуздырники!

Буря восторга, извергающийся вулкан одобрения были ответом на эту короткую, но понятную всем речь.

И вновь в хаосе звуков рождалось общее слово:

— О-ко-ря-жить! О-ко-ря-жить!— все мощнее, величавее звучала единая воля освобожденных, благодарных племен.

Небезбаксова подняли, как знамя, и снесли на руках с холма, усадили в позолоченный экипаж трёхглазого, предварительно выбросив из него опуздыренного и, видимо, омухоморившегося с непривычки хозяина.

Впряженные в экипаж трухали сшибли и забодали возницу, самостоятельно покатили кандидата в хрянтаи. Никогда прежде не обнаруживали они столько прыти.

Свобода, думали трухали, это когда ты тащишь воз без прута. Впрочем, они были непротив, чтобы освободитель слегка подхлестнул их. Какая обида, что вы! Они даже готовы подсказать, как подстегнуть побольнее, профессиональнее.

Небезбаксов оглянулся. Радостная толпа перемешавшихся племен бежала следом за его повозкой. Рядом с оленьими рогами трухаля рыжим пламенем развивались космы лябдории, лохматая борода дуплянина мирно тряслась возле аккуратной косички шиша. Общее желание, общая жажда сплотила, побратала навечно ненавидящие друг друга племена. Они бежали в ногу, как солдаты в строю, выкрикивая по слогу на каждый шаг:

— Пуз-ды-ре-во! О-ко-ря-жить! О-ко-ря-жить!

* * *

Повозка взлетела на холм, и Небезбаксов зажмурил глаза. Круг замкнулся. Перед ним ослепительно белели каменные соты дворца пентюхаев.

Душераздирающий, нарастающий крик сопроводил полет выброшенного сверху пентюхая. Это летел и вопил хрянтай — 122-й, а вслед ему из окна верхнего этажа смотрели бородатые стражники-дупляне. Когда выброшенный с сочным звуком чавкнулся о каменные плиты, сделав их розовыми, верные охранники удовлетворенно покивали друг другу головами и исчезли. Вскоре они выбежали на крыльцо и передали Лохматому корону-корягу.

Вождь дуплян под ликующие крики лесных народов без излишних церемоний напялил корягу на голову Небезбаксову, прямо поверх капюшона, скрывающего лицо нового повелителя Ялмеза. При этом сквозь невообразимый гвалт он прокричал в самое ухо безликого господина, что его племя воинов будет верно и преданно служить хрянтаю — 123-му, а если окоряженная особа желает породниться с дуплянами, то отчего же и не породниться.

По ступеням крыльца сбегали легконогие шишихи, неся ритуальный таз для омывания царственных ног и разно-

цветную радугу-метлу для сметания пыли с мраморных ступеней.

Вокруг окоряженного Небезбаксова кружился сумасшедший хоровод опьяневших от праздника свободы ялмезнян.

Жадноглазые лябдории, рассыпавшись по закоулкам дворца, выискивали и расхватывали изнеженных, растерявшихся пентюхаев. Ухватив несчастных за мягкие от страха дубиндаи, они уводили их в полон. Особо ненасытные держали по дубиндаю в каждой руке, а глазами так и рыскали по сторонам, жалея, что дзюбенда лесная не дала им ещё хотя бы одну руку.

Больше всех эти сцены забавляли рогатых трухалей. "Дайте дорогу женихам лябдорий!"— кричали они, хохоча до слёз и мелко тряся пантами. Увидев же пентюхая-возницу, тут же впрягали его в повозку и, усевшись в неё всем коллективом, в десять и более хлыстов погоняли беднягу. Когда же тот, загнанный и исхлестанный, падал без сил на землю, тут же выскакивала откуда ни возьмись лябдория и уволакивала добычу в ближайшие кусты.

Неслыханному надругательству подвергли пентюхаев шиши. Под смех и советы со всех сторон, они заплетали им бороды в косички с бантиком, уверяя, что именно так должны выглядеть женихи лябдорий. При этом достоянием гласности стала ещё одна пентюхаевская тайна. "Крашеные, крашеные!"— доносилось отовсюду. Великолепные, вызывающие восхищение и зависть золотые бороды пентюхаев, оказались подделкой.

Что происходило дальше на празднике освобожденных народов, Небезбаксов не видел. Только что окоряженного хрянтая — 123-го толстопятые стражники повлекли в пуздырню.

В этот исторический, счастливый для лесных народов день, ему пришлось приготовить пять чанов пуздырева.

И так напуздырились его подданные, что не заметили, как потеряли самое дорогое, что у них было, а именно — только что окоряженного хрянтая — 123-го.

* * *

Впрочем, недолго пустовала коряга, как и каждое святое место.

Принесли утром стражи Лохматому найденную на крыльце корону. И как-то так само собой случилось, что уже к обеду коряга оказалась на косматой голове вождя

дуплян. Дупляне возликовали и нарекли его хрянтаем — 124-м.

Хрянтай — 124-й удержался на коряге два дня. На третий его нашли в обществе двух шиших и трёх лябдорий, без короны, с изрядно подерганной головой, совершенно опуздыренным.

Хватились дупляне, да поздно: на коряге уже восседал главный шиш, хрянтай — 125-й.

Предпринятая попытка сшибить шиша-самозванца с коряги успеха не имела. Косоглазые задружились с трухалями и те острыми, как вилы, рогами отстояли трон.

Однако, отстояв, позавидовали шишам и решили: довольно те поцарствовали — целых три дня, пора и трухалям посидеть на коряге. К тому же, едва окоряженный всем шишам шиш, повелел лесным народам непременно заплетать бороды в косички и по возможности косить глаза.

Сковырнули шиша скорехонько, да вот незадача вышла — невозможно окоряжить трухаля. Долго советовались, как быть. Ломать или не ломать рога? Не обломав рога, не окоряжишь. Но что такое трухаль без рогов? Это вроде бы и не трухаль. Одна насмешка над главным национальным достоянием.

Посудили, порядили и решили поставить вожака трухалей рогами на корягу-трон, а корягой-короной прикрыть то, что окажется наверху.

Так и сделали.

Да разве простоишь долго на рогах? Ну, день, ну, два, а потом и помрешь.

Пока хрянтая — 126-го жгли на костре, а потом развеивали пепел его по лесам, долго печалились и заливали горе пуздыревом, глядь, а на коряге сидит лябдорская жрица, хрянтайка — 127/1-я.

— Тьфу на неё!— дружно плюнули лесные народы, узнав, что хрянтайка повелела всем бородатым ялмезникам раз в год приходить к столбу любви.

Тьфу-то, конечно, тьфу, да что дальше делать?

И началась великая валтузия.

А как иначе решить, кто будет хрянтаем — 128-м?

Шишам казалось, что шиш. Дупляне больше склонялись к мысли, что коряги достоин дуплянин. Трухали хотя и не претендовали на трон, но бодались яростно. А лябдории вдруг решили, что кандидатом на корягу должен быть непременно пентюхай. Впрочем, внутри лябдорского племени по этому поводу разразилась жестокая свара. Каж-

дой лябдорке казалось, что именно из её и только из её супруга получится хрянтай — 128-й.

Вопрос о власти стал дыбом. Коряга была пуста. Валтузии вспыхивали по малейшему поводу. Производство шишмаря, шушмары, забулдыря, зупупендзии резко сократилось, что крайне отрицательно повлияло на выход основного продукта. К тому же пуздырь получался некачественным. То слишком слабым, а то убойным. То ли составы не в том порядке смешивали, то ли дозировка была не той. Участились странные аномалии. Вдруг у шиша ни с того ни с сего вырастал на лбу рог, а у трухаля объявлялось толстопятие. Косоглазие же у дуплян стало явлением рядовым. Нет-нет да приходили печальные известия — то в одном, то в другом племени после упыздыривания с десяток-другой ялмезников омухоморивались.

Без хрянтая прожить можно, но как прожить без хорошего пуздырева?

Собрались народы во второй раз на Голый холм.

Побузили, побузили и пришли к выводу: зря они погорячились с хрянтаем — 122-м. Не надо было выбрасывать его из окна. Да и пентюхаев не надо было женить на лябдориях. Рыжие, конечно, малость успокоились, но теперь от пентюхаек никому прохода нет. Но что сделано, то сделано. И нет иного выхода, как найти сбежавшего хрянтая — 123-го и, хочет он этого или не хочет, посадить на корягу. Будь трижды проклят этот пришлец! Прав был трехглазый: не надо было слушать пришлеца. Как славно жилось им при пентюхаях! Этим поздним раскаянием и закончился второй сход лесных народов. Разослали во все концы молодых шишей, дуплян да трухалей, наказав заглянуть под каждую травинку, но разыскать безликого. С тем и разошлись.

А немного времени спустя случилось страшное знамение: треснула осиротевшая коряга. Эта трещина прошла через суеверные души всех ялмезников, ввергнув их в великое уныние.

* * *

Экс-хрянтай стоял за стволом замшелой сосны и украдкой разглядывал странные существа.

На давно упавшем, но не сгнившем, а как бы окостеневшем дереве сидела женщина с зеленой, топорщащейся ёжиком прической, в зеленой же одежде. Смокинг не смокинг — некий жесткий на вид костюм с раздваивающимися

ласточкиным хвостом полами. На руках женщина покачивала ребенка, одетого в такого же фасона и цвета костюмчик.

— Лабадай сяпочку о трямочке хрямой,— произнес ребенок.

— Лабаду, лабаду,— ответила женщина и, раскачиваясь в такт непонятным словам, напевно заговорила:

— Сики-насики тарух с табарухой. Сика у ниха трямочка хрямая. Чучико трямочка пичко. Но не будявое, а дюбое.

Тарух дуб — не додуб.

Табаруха дуба — не додуба.

Сечка шлындала, хлюстиком стюпнула — пичко бубнулось и дубнулось.

Слюпчут марух с табарухой. А трямочка хрямая лабадит: "Не слюпчте тарух с табарухой. Чучику кобое пичко. Но не дзюбое, а будявое".

Малыш заревел.

Женщина покачала его и спросила ласково:

— Сему мизя слюпчит?

— Пичко дзюбое жвалко,— ответил он, растирая кулаком глаза.

"Иностранцы!"— с уважением подумал, выглядывая из-за дерева Небезбаксов.

Женщина поднялась и, успокаивая малыша, стала подбрасывать его вверх.

Раз подбросила и поймала, приговаривая: "Трямай, трямай, трямок дзюбой!", второй раз подбросила — поймала, третий раз подбросила и...

У Небезбаксова, привыкшего ко всему, непроизвольно открылся рот.

То, что он считал костюмчиком, с треском раскрылось, превратившись в крылья, и малыш, захлопав ими, как жаворонок взлетел вертикально вверх. Сопроводив полет сына умиленным взглядом, мамаша расправила крылья и — ф-р-р! ф-р-р!— тугой ветер с колючими хвоинками ударил в лицо Небезбаксову. Легко отделилась женщина от земли, певуче окликая ребёнка.

Ничего прекраснее этой взлетающей женщины, шелеста её просвечиваемых солнцем крыльев не видеть, не слышать Небезбаксову не приходилось. Как околдованный, стоял он, запрокинув лицо вверх.

И вдруг услышал: "Бум!"

Это кто-то, подкравшись сзади, ударил его чем-то тяжелым по затылку.

Из глаз посыпались дзюбые искры. Небезбаксов, улыбаясь, упал.

* * *

Открыв глаза, Небезбаксов увидел склонившегося над ним трехглазого.

— Где я?— спросил экс-хрянтай.

— Где, где — в гнезде!— ответил одноглазый карлик неприязненно, с долей злорадства.

Небезбаксов осмотрелся. Действительно, они с трёхглазым находились в огромном гнезде, сплетенном из толстых ветвей, с дном, устланным травой.

— Как я сюда попал?

— Не надо было мухоморы сеять, где попало,— проворчал с ехидцей трёхглазый.

— Не сеял я мухоморы,— отпёрся Небезбаксов, нежно поглаживая шишку на затылке,— очень мне нужно сеять мухоморы.

— Это ты друздям расскажи.

— Друздям? Кто такие друзди?

— Летуны, гнездовики, с высоты плевуны. Беспуздырники!

— А! Это у них не крылья. Это у них уши такие большие. Они на ушах летают,— объяснил нехотя всезнающий пентюхай.

— Отчего же у них такие большие уши?— не мог утолить своего любопытства Небезбаксов.

Но трёхглазый посмотрел вверх и сказал отстраненно:

— Ишь, лопоухие! Сюда летят. Сейчас узнаешь, отчего,— и с этими словами, полными хмурых намеков, закрыл ладонями собственные уши.

Пока друзди бесшумными дельтопланами кружились над гнездом, Небезбаксов внимательно рассмотрел их.

Действительно — крылья начинались от ушей, мочки которых крепились, видимо, к ягодицам. По форме они и вправду напоминали уши и, если бы не были покрыты разноцветными перьями, сходство было бы полным. Расцветки крылья были самой разнообразной: черные, как квадрат Малевича, белые, как одежды праведников, зеленые, красные, желтые, радужно-полосатые, пятнистые, в крапинку. Словно флаги всех государств слетелись повыпендриваться друг перед другом. Руки и ноги у друздей в полёте свисали, делая их похожими на огромных мух.

Насмотревшись на воздушный хоровод, Небезбаксов обратил свой взор вниз, выглянув из гнезда. У него перехватило дыхание. Истома страха сковала холодом все члены. Гнездо крепилось на вершине скалы, на самом краю отвесной, если не с отрицательным наклоном, стены. Причем так высоко, что лес казался травой. Выломленный из гнезда и брошенный вниз сук падал долго, ни разу не задев скалы. Небезбаксов досчитал до тридцати и потерял его из виду. Стука от падения он, как ни напрягал слух, не услышал.

Скала представляла собой гигантский каменный столб с ровно срезанной вершиной и боками, изрытыми вертикальными бороздами. Проплывающие облака создавали иллюзию медленного падения этой громадины, отчего закружилась голова и защемило внизу живота.

Когда человек попадает в безвыходную ситуацию, к нему возвращается мужество. Правда, на короткое время. И мужество это слегка истерично.

С треском выломал Небезбаксов из гнезда увесистый сук, взвалил его на плечо и встал былинным богатырем на широко расставленных ногах в центре гнезда, приготовившись к обороне.

— Брось палку, пришлец!— протренькал в ужасе свернувшийся калачиком, изо всех сил сжимающий руками уши трёхглазый.— Брось, пока ушемахи нас камнями не забросали.

— Не дрейфь, дед,— бодро сказал Небезбаксов, пытаясь унять дрожь в коленках и в голосе,— сейчас мы им перышки пообщипаем, сейчас мы им уши-то в трубочки свернём!

Накружившись над пленниками, друзди один за другим опустились на плоскую вершину скалы в некотором отдалении от гнезда. Сложив уши-крылья, сгрудились пестрой стайкой и о чем-то заворковали, напоминая фракцию парламентариев в перерыве между заседаниями. Разноцветные хохолки топорщились и подрагивали, мочки ушей, приросших к ягодицам, торчали фалдами. Вид у них был чрезвычайно задирист и в то же время чопорен.

Трёхглазый отнял руки от ушей и, притулившись к стенке гнезда, внимательно прислушивался к беседе.

Вдруг друзди как по команде смолкли, разом растопырили уши-крылья и дружно повернулись в одну сторону. Прослушав коллективно абсолютную тишину, загалдели и один за другим попрыгали со скалы. Вытянувшись цепочкой и грустно перекликаясь, они полетели к соседней скале.

— Домахался, пришлец,— укорил Небезбаксова трёхглазый.

— А что такое?— испугался Небезбаксов, с тревогой посмотрев вслед улетающим ушемахам.

— Не надо было дубиной махать,— вместо ответа еще раз укорил его карлик и опечалился.

* * *

Друзди прилетели на рассвете.

Руки их отягощали охапки прутьев и ветвей. Уши поскрипывали от натуги.

Небезбаксов и трёхглазый смотрели на них сквозь щели в переплетенье сучьев. Ожидая бомбардировки, Небезбаксов принял меры — перевернул гнездо вверх дном. Получилось подобие юрты.

Но друзди бомбить пленников не стали. Ссыпали груз рядом с гнездом и улетели.

А один, с белым хохолком и черными крыльями, подошел к гнезду, ударил по нему стопой, сказавши при этом пискляво, но властно:

— Дисро тнёзга леспи, золпуны!

Сказал и тоже улетел.

— Чего ему было надо?— спросил Небезбаксов.

— Гнёзда строить заставляет,— ответил трёхглазый, закручинившись.

— А у них что — рук нет?— запротестовал Небезбаксов.

— Нельзя им гнёзда самим плести. Не в обычай. Вот и ловят заблудших, беспуздырники: не ходи по чужим лесам, не сей мухоморы...

— Я не сеял мухоморы...

— А кто сеял? Давно уж никто не сеет. Кому охота друздям гнёзда плести? Так они, с высоты плевуны, теперь в чужих лесах воруют ялмезников. Эти ушехлопы хуже лябдорий.

— Тьфу на них!— возмутился Небезбаксов.— Не буду я им гнезда строить.

— Не будем гнёзда строить — голодом уморят,— уныло прокомментировал решение товарища по несчастью трёхглазый.

— А, так они за работу платить будут!— сделавши простодушное лицо, сказал Небезбаксов.— Это другой разговор.

Выбравшись из-под гнезда, он стал задумчиво ходить вокруг кучи хвороста. Карлик, обмотав бороду шарфом вокруг горла, хныкал, жалуясь на слабое здоровье.

— Хорошо, дед— бодро сказал Небезбаксов,— я буду строить гнёзда, а ты — драть лыко.

— Чего драть?— насторожился одноглазый трёхглазый.

Небезбаксов вытянул из вороха прут и показал, как надо сдирать с него длинной лентой кору.

* * *

Гнезда Небезбаксову строить не приходилось. Но зато он умел плести корзины.

Ивовые ветви были гибки и упруги. Руки от долгого безделья изнывали без работы. Поэтому первое гнездо получилось не только просторным и крепким, но и красивым. Очищенные от коры прутья плотно прилегали друг к другу, края гнезда оплетены "косичкой".

Прилетевшие с новой порцией стройматериала друзди, шумно заворковали, рассматривая дело рук Небезбаксова. Несомненно, это было новое слово в гнездостроении, и это слово понравилось друздям. В следующий прилет в сложенных лодочками ладонях они принесли орехи и ягоды. Небезбаксов подивился непрактичности ушелётов и сплел им аккуратную и очень вместительную корзину. Это маленькое гнездо с ручкой очень понравилось друздям и на Небезбаксова посыпались заказы.

Трёхглазый между тем со скорбным выражением на лице драл лыко, складывал кору в кучу и ворчал: "Торопиться не надо. Не надо торопиться."

В свободное от плетения гнезд и корзин время Небезбаксов присаживался к этой куче, плел из коры косу и скручивал ее в тугие круги, надежно привязав конец за выступ скалы.

— Слушай, дед, отчего ты меня пришлецом обзываешь,— время от времени пытался завязать он доверительный разговор с мудрым лилипутом.

— А то не знаешь,— бурчал собеседник и сверлил его нехорошим глазом.— Оттого и называю пришлецом, что ты и есть пришлец.

Между тем слух о мастерстве пленного гнездоплета в буквальном смысле облетел племя ушемахов. Полюбоваться на его работу и заказать корзину в обмен на лесные яства прилетали целыми стаями. Причем не только друзди, но и друздихи с друздятами. Строящееся гнездовье напо-

минало птичий базар, столько слеталось сюда иной раз крылатого народа. Особое внимание качеству гнезд уделяли молодые друздиные парочки — будущие новосёлы. Они пробовали плетенье на прочность, раскачивая гнезда, смотрели, какой вид открывается из них. Молодая друздиха с сиреневыми крыльями и такого же цвета глазами сказала своему спутнику, коричневому в желтую горошину друздю, глядя на Небезбаксова:

— Жвалко у золпуна тен трямлей.

На что, насупив брови и подняв хохолок, тот отвечал надменно:

— Лобдивой ровоге гоб ровго не лад.

Небезбаксов не понял слов, но уловил интонации. Друздиха говорила с сожалением, друздь — со злорадством. Посмотрел пленный гнездоплет на летунью, сделавшую ему глазки, и подумал: плохо быть бескрылым. Надоело ему жить на этой скале.

Больше других нравилось друздям огромное лыковое гнездо. Они с восхищением рассматривали моток лыкового каната, скрученого в тугие кольца. Порой среди будущих новоселов возникали раздоры. Не единожды в спорах именно за это гнездо суровый друздь вороной масти драл за хохол жениха в желтую крапинку.

* * *

— Завтра друзди заселяться будут,— сказал печально трёхглазый.— С нами прощаться будут.

— Как прощаться?

— Известно как — со скалы столкнут. Обычай у них такой — тех, кто гнезда строил, со скалы сбрасывать.

— Как же так,— опешил Небезбаксов,— мы им, можно сказать, целую деревню по ключ сдали, а они вместо спасибо — со скалы?

— Обычай,— пояснил трёхглазый смиренно.— Обычай нарушать нельзя. А отблагодарить отблагодарят. Они же нас не казнят, а отпустят. "Спасибо,— скажут,— лети!" И толкнут. А то, что ты летать не умеешь, разве ж они виноваты?

— Ах, они спасибо скажут! Ну, это другое дело,— согласился с мудрым карликом Небезбаксов, но, малость подумав, добавил:— Однако это друздям свои обычаи нельзя нарушать, а нам отчего бы их и не нарушить?

Как только стемнело, Небезбаксов принялся разматывать лыковый клубок, стравливая канат со скалы. Трёх-

глазый молча наблюдал за ним, не мешая, но и не помогая. Его борода, обмотанная чалмой вокруг головы, казалась в лунном свете сотканной из серебряных нитей.

Спустив лыковую веревку вниз и испытав, надежно ли она закреплена, Небезбаксов заглянул за край скалы, пытаясь узнать — хватило ли её. Но ничего не увидел.

— Ну, что, дед, поехали?— предложил он.

— А хуже не будет?— перетрусил трёхглазый.

— Хуже не будет: завтра так и так сбросят отсюда,— успокоил его Небезбаксов.— Ну-ка, прыгай мне на спину и дай-ка свою бороду.

Раздвоив длинную бороду карлика и используя её как лямки рюкзака, он прочно привязал к себе старика. Сказавши любимую пословицу авантюристов: "Эх, была не была — все равно умерла",— подошёл к краю обрыва, обхватил руками и ногами плетеный канат и заскользил вниз. Если бы все изделия проверялись подобным образом, думал он, не надо было бы бороться за высокое качество работ.

Между тем луна спряталась за тучу, и мир погрузился в непроницаемый мрак. Карлик за спиной скулил бездомной собачонкой и, несмотря на то, что был насмерть привязан к Небезбаксову бородой, душил его слабыми лапками за шею. Не было видно ни звёзд, ни самой скалы, только шершавый, толстый канат обжигал ладони.

Долго спускался Небезбаксов, словно паук с облаков. Руки становились все слабее, а старик за спиной — всё тяжелее. Живой рюкзак скулил всё тише и тише, но гораздо злобнее.

И вдруг канат кончился, и ноги заболтались в пустоте. Посмотрел Небезбаксов вниз — ничего, кроме черноты, не видно. Сколько еще до земли — метр, десять, сто?

Собраться с духом и рискнуть? Прыгнуть — и была не была... Однако судорожно скрюченные пальцы не разжимались. Напрягая остаток сил, поднялся Небезбаксов чуть выше и вновь оплел ногами канат.

— Почто остановились?— спросил жалобно старичок-рюкзачок.

Небезбаксов разъяснил ситуацию. Комариный писк отчаяния был ему ответом. Луна все не появлялась. И не было под рукой ничего такого, что можно было бы сбросить вниз, чтобы на слух определить высоту. Разве что трехглазого?

Вонзив пальцы левой руки в туго сплетенную из коры косу, правой Небезбаксов схватил конец каната и обкрутил им ноги подобием петли. Можно было перевести дух и

слегка расслабиться. Так провисели они всю ночь. Ноги затекли, болела спина, не смолкая скулил напарник. И к тому же дрожал. В довершение ко всему пошел дождь.

Когда рассвело, Небезбаксов увидел, что до земли не более двух метров. Это его и обрадовало и рассердило одновременно.

* * *

На вершине скалы, широко растопырив коричневые в желтый горошек уши-крылья, стоял друздь.

Вид его был жалок. От пёстрого хохолка после новоселья почти ничего не осталось. Зато появилась большая лиловая шишка на лбу, а под глазом — синяк.

Друздей-женихов всегда больше чем гнёзд, и по обычаю молодые самцы по знаку старейшины летели вперегонки к новому гнездовью занимать жилье. Пегенький не был столь быстр на крылья. Да и драчун из него был никудышний. Конечно, он попытался выселить кое-кого из приятелей, но... Короче, он оказался единственным лишним на этой скале.

Молодые друзди нетерпеливо всматривались в небо, ожидая прилета невест, а побитый пегенький одиноко торчал на краю скалы, растягивая уши.

Да, он был слаб на крылья. Но хитёр.

Никто, кроме него, в пылу гонки, распределения гнезд, драк и ссор, не обратил внимания на исчезновение гнездоплётов. Более того, исчезло одно гнездо! Обследовав канат, по которому спустились беглецы, пегенький и растопырил уши, вслушиваясь в тишину утреннего леса. Малейший шорох, треск, стук на многие километры ловили его крылатые уши, или, точнее сказать, ушастые крылья. Он стоял, закрыв глаза, и медленно поворачивался вокруг своей оси, как сверхчуткий живой радар.

И он услышал то, что хотел услышать.

* * *

Небезбаксову приснилось, что он летит. Ногами по воздуху перебирает — и летит. Давно ему не снились такие сны. Пожалуй, с тех пор, как лябдории его к столбу привязали.

Проснулся Небезбаксов, смотрит,— а это вовсе и не сон.

Обдувая мощными взмахами крыльев, обхватив туловище ногами и пребольно вцепившись в уши, желто-коричневый друздь уносит его в неизвестном направлении. Чуть сбоку и немного сзади сиреневая невеста друздя таким же образом транспортирует трёхглазого. Седая борода карлика развевается следом реактивного самолета. Уж если и нельзя избежать плена, подумал Небезбаксов, то хотелось хотя бы поменяться местами с коротышкой. Ишь, как она его ногами-то обхватила.

Однако, так и уши можно оборвать! Но сопротивляться и даже перечить друздю как-то не хотелось. Не то что бесполезно, а просто глупо сопротивляться на такой высоте.

Зря они, конечно, устроили привал. Надо было как можно дальше уходить от скалы. Но уж очень хотелось спать. А тут еще трехглазый: не в обычай, видите ли, ему по земле ступать...

— Куда они нас несут, дед? Со скалы сбрасывать?— спросил он повизгивающего от страха высоты карлика.

— На другую скалу несут — новое гнездовье строить,— протренькал сквозь шорох крыльев старичок.— Раз они нас с земли взяли, значит мы у них снова мухоморы сеяли. А за такое по обычаю полагается гнезда плести.

Сиреневая друздиха, сжав гладкими ногами тщедушное тельце карлика так, что тот пискнул, улыбнулась из-под крыла Небезбаксову и проворковала грудным голосом жениху-неудачнику:

— А свё-кати жвалко, оч у золпуна тен трямлей.

Пегокрылый фыркнул в ответ:

— Му трямли, ак ровоге делсо.

И пребольно вцепился в уши.

На этот раз Небезбаксов с помощью трехглазого понял, о чем идет речь. И, конечно, ему было приятно услышать, что сиреневая друздиха опечалена его бескрылостью. Но лучше бы ее ревнивый жених не слышал подобных двусмысленностей. Иначе к концу полета он выдерет ему уши с корнем.

Пара друздей с добычей приближалась к высокой скале, вершина которой выглядывала из облака, как голова великана из кружевного воротника. Склоны у скалы были такими крутыми, что их и склонами-то нельзя было назвать. Просто каменный столб — мечта лябдорий.

* * *

— Ох и хитрый народ эти летуны,— грустно сказал трёхглазый, обдирая кору с ивовых прутьев.— Видят же

ушехлопы, как я лыко деру, а молчат. Теперь мы всю жизнь со скалы на скалу перелетать будем.

— Да,— согласился Небезбаксов, сплетая полоски коры в канат,— вот построим гнездовье, удерём, а они нас снова поймают — и на новую скалу. Чем лучше будем работать — тем дольше будет длиться плен.

— Зато и жизнь длиннее,— резонно вставил трёхглазый.

— Как бы их перехитрить?— задумался Небезбаксов.

— Не перехитришь,— уныло вздохнул трёхглазый.— Со скалы спуститься позволят, а потом растопырят уши — даже если дышать не будешь, услышат как в животе бурчит.

— Что же нам ждать пока у самих уши вырастут?— спросил Небезбаксов и призадумался.

Сиреневокрылая друздиха стояла поодаль и завороженно смотрела на руки Небезбаксова. Ритм ли плетенья околдовал ее, мечты ли о своём гнезде, только взгляд был рассеян, а на губах играла лёгкая улыбка.

— Спроси её, дед, хочет ли она, чтобы я построил ей трехкомнатное гнездо,— попросил Небезбаксов трёхглазого.

Предложил этакую услугу он не только потому, что захотелось красивой летунье приятное сделать, или попросту сподхалимничать, но для того, чтобы лыко побольше надрать. Не хотелось ему при очередном побеге всю ночь между небом и землёй болтаться. Друздиха от таковой любезности вся зарумянилась, засветилась очами и подступила поближе. Трехкомнатное? Конечно! И если можно — в двух уровнях. А в детской хорошо бы встроить несколько маленьких раздельных гнездышек. А нельзя ли сплести откидную крышку, чтобы на случай отлучки накрывать ею будущих друздят. Сколько уж их, бескрылых, повыпадало из гнезд — прямо беда!

Трёхглазый обязанности толмача выполнял прилежно и даже более того — добавлял от себя всякого рода ласковые обращения, как то: "О, румяноликая дева, прекраснейшая из друздих", если переводил слова Небезбаксова, и "О, лучший из гнездополётов", если переводил слова друздихи. Не мудрено, что к концу разговора, гнездоплёт и друздиха улыбались друг другу нежнее, чем это принято между деловыми партнерами.

Вдохновленный комплиментом хитроглазого напарника, Небезбаксов плел семейное гнездышко для сиреневокрылой с особым тщанием, встраивая в него ажурно исполненные кресла, диваны, столы, этажерки, кушетки и цветочницы.

Даже ревнивый друздь с ушами в крапинку был чрезвычайно доволен ходом работ. На этот раз ему как пленившему сеятелей мухоморов полагалось гнездо на выбор, без всякой борьбы и состязаний. Похаживая вокруг строящегося жилища, он гордо топорщил ощипанный хохолок и напевал вполголоса:

Егоч бете жебо тай трямлей не вад,
Ыт ялмез кокинул тай в боне влютад...

Полюбоваться плетеньем нового чудесного гнезда слеталось так много друздей, что казалось скала не выдержит их тяжести. А у подножья каменного столба днем и ночью дежурили безгнездые летуны, нетерпеливо ожидая день побега, готовые, как только пленники ступят на землю, схватить и унести их снова в поднебесье.

А между тем, распаляемые вольными переводами коварного карлика, Небезбаксов и сиреневокрылая друздиха всё более и более проникались взаимной симпатией. Все друзди баловали пленников щедрыми дарами леса, но орехи, приносимые ею, были куда как крупнее, ягоды — слаще, а яблоки — румянее прочих. И так она смотрела на ловкорукого гнездоплёта, так смотрела...

* * *

Лунной тёплой ночью безмятежно спал Небезбаксов в недоплетенном гнезде, обдуваемый легким высотным ветерком, как вдруг большая птица подхватила его и унесла к звёздам.

И задохнулся он от жаркого удушья, неудержимого томленья пронзительной сладости во всем теле. Хлопали и шуршали двумя веерами крылья, нагоняя прохладу, жарко дышала и нежно ворковала в лицо небесная женщина. Растворился пленник без остатка в этом безрассудном, синесеребряном мире.

Порой, замерев в невыносимом наслаждении, с долгим стоном падали, падали, падали они в бездну, забыв обо всём, даже о близкой смерти, но у самой земли его сладострастная похитительница судорожно выходила из пике и, медленно взмахивая крыльями, постанывая от наслаждения и чрезмерных усилий, поднималась вверх. А потом с высоты звезд долго планировали они в бесконечном поцелуе, стремительно скользили по пологой воздушной горе, которая заканчивалась мертвой петлей содрогания и изнеможения.

Всю ли ночь длился этот высший пилотаж любви, был он сном или явью, очнувшись утром, Небезбаксов не мог сказать точно. Однако, первое, на что он обратил внимание, было сиреневое пёрышко на его реснице.

Возле кучи надранной коры сидел трехглазый и крохотными лапками плел маленький лапоток. При этом он сердито сопел, гримасничал и высовывал язык.

— А что сделают друзди, если у них родится бескрылый ребенок?— спросил Небезбаксов напарника.

— Известно что,— ответил тот, не оборачиваясь,— они его со скалы сбросят.

— Какая жестокость!— возмутился Небезбаксов.

Но старик его успокоил:

— Они всех детей со скалы сталкивают. У кого есть крылья — летят, у кого нет — падают.

Трёхглазый повертел в руках лапоток, рассматривая его со всех сторон. Но с какой стороны не смотри — всё кривой да корявый. Рассердился неумёка и бросил лапоток вон со скалы. Небезбаксов по пояс высунулся из гнезда и долго смотрел на его падение, внутренне содрогаясь.

А лилипут обмотал бороду кушаком вокруг пояса, завязал узлом, чтобы не растрепалась, и, прикосолапив к гнезду, вкрадчиво прогундосил:

— Ты бы попросил у своей друздихи какашку.

— ?— онемел от удивления Небезбаксов и головой затряс, полагая, что подобные просьбы можно услышать лишь во сне.

— Попроси, попроси — она для тебя какашки не пожалеет,— уламывал его вполголоса коварный старик.

— А зачем тебе друздева какашка?— Убедившись, что старик ему не снится, спросил растерявшийся Небезбаксов.

— Тише!— зашипел тот и оглянулся по сторонам: не подслушивает ли кто.— А затем, что друздевы какашки со временем отвердеют и превратятся в бесценный камень какандырь. Вот они и прячут свои какашки на неизвестной горе. Никто не знает, где та гора. Самый большой друздевый секрет. Умрут, а не скажут. А кто изыщет какандырь — самым богатым и могущественным ялмезником станет.

— Могущественнее хрянтая?— перебил длиннобородого Небезбаксов.

— У хрянтая нет какандыря,— уклончиво ответил знаток волшебных минералов и размечтался, зарумянившись.— Вот бы узнать место заветное...

— А в чем же могущество этого какандыря?— заинтересовался Небезбаксов.

Тщательно осмотрев единственным, но зорким глазом небеса, трёхглазый сложил ладошки трубочкой и зашептал в самое ухо напарнику. Да так тихо, что ничего, кроме "порча", Небезбаксов не расслышал.

— И зачем нам могущество, коли нам отсюда не выбраться?— засомневался Небезбаксов.— И так уж силен камень какандырь, если его никто в глаза не видел?

— Я видел,— скорбно молвил мудрый лилипут,— от того и окривел на один глаз.

Об обстоятельствах членовредительства он распространяться не стал, однако рассудил так:

— Может быть, мы отсюда убежим, может быть, не убежим. Только такого случая завладеть какандырём больше не будет. Очень тебя прошу — порадей.

— Нет, не порадею.

— Почему?— удивился старичок.

— А потому, что этот камень в тайне хранят. Должно быть, большая гадость. Хорошее какой смысл в секрете держать? Хватит с меня и пуздырева.

— Недоума ты пришлая,— обиделся товарищ по несчастью и, неутерпев, добавил с намёком.— Обойдемся и без друздевых ухажоров.

* * *

На следующий день прилетел с инспекцией коричневый в желтую крапинку друздь. Трёхглазый поманил его на противоположный край скалы и долго о чем-то шептал.

Желтый хохолок летуна то и дело вставал дыбом, ерошился и потрескивал сухим электричеством.

Доверительное воркование время от времени прерывалось орлиным клёкотом ушемаха, после чего он зловеще поглядывал в сторону Небезбаксова.

Сомнений не было: поднатаревший в дворцовых интригах трёхглазый ценой предательства выторговывает себе свободу.

Крайне взволнованный друздь улетел, задумчиво размахивая ушами. Чрезвычайно довольный трёхглазый величественно приблизился к Небезбаксову и долго покровительственно рассматривал его. Насмотревшись, вздохнул с вицемерным смирением:

— Не порадел ты мне, пришлец, не спросил у друздихи камень какандырь, а я за тебя у друздя порадел. Завтра ушехлопы нас на Белую скалу снесут.

— Вроде бы не в обычай?— не поверил Небезбаксов.

— Снесут, снесут,— заверил его трёхглазый.

— И что для этого нужно сделать?— не унимался недоверчивый Небезбаксов.

— А ничего не надо делать,— успокоил его старичок, хитро сверкнув петушиным глазом.— Меня слушаться надо.

* * *

С утра прилетел главный друздь. Белый, как снег, с розовым хохолком на темечке. Сопровождали его десять черных ушехлопов, траурный круг, охраняющий сверкающее величие. Коричневый в жёлтую крапинку бабочкой порхал чуть в стороне.

При виде царственной особы трехглазый, соблюдая церемониал, прикрыл ладошками единственное око. Небезбаксов, уважая чужие обычаи, последовал его примеру. Правда, изрядно растопырив пальцы.

Переговоры были скоротечны. Белоснежный друздь, милостиво выслушав чириканье трехглазого, согласно кивнул головой и молвил: "Чико почико". После чего с треском растопырившись холодные уши, сиганул со скалы. Шесть черномастных друздей последовали за ним, четыре вплотную подступили к пленникам.

— Выбирай, пришлец,— сказал трехглазый,— либо тебя со скалы летать отпустят, либо со мной на Белую скалу снесут.

— А чего выбирать бескрылому? Полетели на скалу. Хотя хрен редьки не слаще,— ответил Небезбаксов равнодушно.

— А как прилетим на Белую скалу, ты меня и отблагодаришь,— вкрадчиво пропел старичок, потупивши око,— окоряжиться поможешь. Боле как мне некому хрянтаем быть.

Поднял личико и подмигнул. Хотя кто их поймет, одноглазых, подмигивают они или просто мигают.

— Почему бы и не окоряжить? Окоряжим,— пообещал Небезбаксов.

— А уж как окоряжусь, тут-то ты мне и откроешь чумаровский секрет,— размечтался кандидат в хрянтаи.— В каких мерах то есть дары смешивать, чтобы пуздырево получить.

— Да хоть сейчас,— с готовностью согласился Небезбаксов.

Однако торопиться не стал, а напротив стал размышлять о своей выгоде. Вот, мол, я тебя окоряжу, очумарю, а ты меня и отблагодаришь — пустишь мухоморам на удобрение.

— Что ты, что ты!— в возмущении замахал на Небезбаксова ручками старичок.— Хочешь — чумарым оставайся, а хочешь — отпущу. Слово хрянтая — крепче какандыря!

— Это ж куда ты меня отпустишь?— насторожился Небезбаксов.

— А туда, откуда пришел,— туманно ответил трехглазый и что-то прочирикал ушехлопам.

Подхватили их черные вороны и понесли над райскими просторами Алмеза. Двое — с ношей, двое — налегке. Как устанут носильщики, так и отпускают груз, а уж запасные налету подхватывают досрочно освобожденных. Прямо дух захватывает! Старичок легкий, у него через час пересадка, а Небезбаксова каждые десять минут меняют. Падает он и всякий раз думает: а вдруг не поймают. Однако человек ко всему привыкает. А как привыкнет, так и начинает скучать. А от скуки лучшее средство — беседа. Вот и спрашивает Небезбаксов попутчика, за что им от друздей такая милость выпала, за примерное ли поведение, за красивые ли глаза? Или как?

— А мы с Белым друздём договор заключили,— отвечает без пяти минут хрянтай,— вот как окоряжусь, буду ему шишей на барщину отсылать. Для гнездоплётства. Друздям прямая выгода — им за бескрылыми охотиться не надо. Опасное занятие. А меня, глядишь, и какандырём наградят.

* * *

Как бы долго и куда бы ни шла история, она всегда, будто слепой ослик, возвращается на круги своя.

Однако лично Небезбаксову направлять иглу истории в старую борозду доводилось впервые.

Он снова стоял на вершине Голого холма, держа мудрого карлика за руку, как ребёнка. Ладонь кандидата в хрянтаи была крошечная и от волнения влажная.

Густым сивушным смрадом разил круг лесных народов. Красными, больными от плохого пуздырева глазами пытались ялмезники держать в фокусе стоящих на вершине. Все они до единого были тяжело, хронически хмельны ненавистной свободой.

Массовый бодун смутил Небезбаксова. Он подумал: не так-то просто уговорить обретшие независимость народы на добровольное иго, вполне могут и поколотить, вполне. Однако ни особого красноречия, ни весомых, аргументов не потребовалось. Легкость, с которой лесные народы согласились окоряжить трёхглазого, смутила и даже обидела экс-хрянтая.

Уловив настроение схода, карлик взволнованным колокольчиком возвестил свою программу. Вкратце она сводилась к следующему: всё будет, как было до пришлеца-баламута. Изможденных лябдориями пентюхаев вернут в Белую скалу и окрасят золотом бороды. Шиши вернутся в люльки, дупляне — в дупла, трухали впрягутся в пентюхаевские повозки. Лябдориям выдадут лицензии на отлов женихов. Как в старые добрые времена каждое племя в набегах на закордонные поляны будет храбро добывать свои мухоморы и гнодить из них суверенный продукт для обмена на кристально чистое пуздырево.

Голый холм содрогнулся от рёва. Истосковавшиеся по настоящему пуздыреву, осипшие от суррогата глотки разверзлись в ликующем восторге. Пронзительно визжали огненно-рыжие лябдории, оглушительно стучали замшелыми рогами трухали, орали буйно лохматые дупляне, истерично выли косоглазые шиши. Не до конца залюбленные, но все-таки очень потускневшие пентюхаи попадали в коллективный обморок.

Пусть будет все, как было! Долгий рёв одобрения перешел в очистительное всеобщее рыдание. Рухнули на колени перед окоряженным карликом рогатые и толстопятые, косоглазые и блудливые, в раскаянии и благодарности вскинули раскрытые ладони, демонстрируя покорность и прося защиты у великого хрянтая — 128-го. И поклялись они душой и телом принадлежать своему властелину.

И поднял крошечную ручку хрянтай—128-й, и наступила такая тишина, какой еще никогда не было на Ялмезе. Долго говорил величайший из пентюхаев, изъявляя свою волю, и на все его условия согласились лесные народы. Правда, шиши вяло зароптали, не желая приносить в жертву ушехлопам своих соплеменников, однако, услышав, что жертва сия будет щедро возмещена пуздыревом, тут же и покорились.

Никто не пожалел шишей. Кроме Небезбаксова.

Ликующая толпа вознесла над собой нового вождя и неудержимой лавой покатилась к пентюхаевской скале. Карлик величественно восседал на мягком троне из верно-

подданнических ладоней, длинную бороду его, чтобы, не приведи коряга лесная, не коснулась земли, нежно поддерживали томные шишихи и истеричные лябдории.

* * *

Хранитель важных государственных тайн не может чувствовать себя в полной безопасности. Однако те, кто желал бы узнать его секреты, оберегут от случайной смерти.

Если вы легкомысленно раскрыли все свои тайны — никто не поручится за вашу жизнь.

Круг зловеще сужался.

Медленно подступали дупляне, слегка постукивая сучковатыми дубинами по мозолистым пяткам. Мрачно теребя бороды-косички, подкрадывались шиши. Страшно раскачивали рогами трухали. Крайне истощенные пентюхаи гневно щурили глаза.

Несмотря на молчание, намерения лесных народов были ясны.

И только лябдории жалостливо поглядывали на пришлеца. Но их робкие просьбы нежно залюбить обреченного до смерти не находили отклика в жестоких сердцах мстителей.

Медленно пятился Небезбаксов к центру поляны, пока не споткнулся о кучу мухоморов.

Плотный круг пуздыревоглотов застыл в ожидании.

Предвкушением мщения горели глаза лесных народов. Они хотели вдосталь насладиться смертью пришлеца, покусившегося на самое святое — на пуздырево.

Поковырялся Небезбаксов в грибной куче, выбрал мухомор поменьше, понюхал. Запах прели и забвения нашатырём прочистил голову.

"Вот, блин два уха,— подумал он,— зря я хрянтаю — 128-му риски в чанах показал, жил бы да жил себе чумарым. А теперь вот сырые грибы приходится есть."

И только надкусил Небезбаксов шляпку мухомора, как вдруг зашелестело над его головой, разметало ветром грибы и вознесло. Летит Небезбаксов, рассеянно жуёт мухомор, и только сиреневое мерцание по бокам — ф-р-р, ф-р-р!

Уносит его друздиха от Белой скалы, от рассвирепевших пуздыревоглотов в неведомую даль, прямо к солнцу, и воркует о чём-то.

О чем может ворковать влюбленная друздиха?

Спрячет, поди, на одиноко стоящую скалу, думает Небезбаксов, и будет по ночам тайно орехами кормить, пока не состарюсь. Представил он, как сидит год за годом на скале, грызет в одиночестве орехи и смотрит на прекрасные, но до смерти надоевшие пейзажи Ялмеза. Представил да и проглотил мухомор.

Вдруг чувствует — заволновалась друздиха: заклекотала, резко курс сменила и крыльями замахала быстрее.

Так и есть — коричневый в крапинку догоняет.

Хохолок, блин, ежиком топорщится.

Летит ястребком, матерится по-птичьи.

Догнал и закатил сцену ревности.

Расчирикался!

Однако опасное это для бескрылого дело — скандалы на высоте.

Смотрит Небезбаксов вниз и видит черное, прокопченное жерло, проще говоря, дыру. Дыру видит, а дно — нет. Бездна. Без дна.

А ссора между тем не на шутку разгорается. Коричневый ушехлоп верещит, как поросенок в истерике, ушами друздиху хлещет, вот-вот перья полетят. Ну, так и есть. Пощечина.

Кто кому её влепил Небезбаксов не понял. Только чувствует — обронила его друздиха. Хотела на лету подхватить, но ревнивый друздь не позволил.

Падает Небезбаксов. Ветер в ушах свистит. Все громче и громче. Одно облако пробил, второе. Вот-вот о землю, как арбуз об асфальт треснется. Глаза закрыл, а с закрытыми глазами, блин, ещё хуже падать.

Пора, думает, уже и разбиться. Один глаз открыл: ну, ясно! Он в дыру попал. И в этой дыре летит. Сажей пахнет, будто в печной трубе, и прохладно, как в колодце. Падает Небезбаксов и, понятное дело, кувыркается: ноги — голова, ноги — голова... Все ориентиры потерял. Не поймет: то ли вниз летит, то ли вверх, то ли вообще куда-то вбок.

Падает минуту, другую, час.

Уже и страх прошел.

Привык падать-то.

Летит, короче, скучает.

Вот и ночь наступила.

Хотя кто разберет в глубокой дыре: ночь там или день.

Зевал, зевал, да и заснул от скуки.

* * *

Проснулся Небезбаксов от знакомого заунывного звука.

Сидит он в уголку лифта. Ноги руками обхватил, голова на коленях, в глазах тоска. Через край плещется. Чувствует себя Небезбаксов оцинкованным ведром на колодезной цепи.

Раздвигается гильотина дверей и входит в лифт дебелая, пышная дама в строгом официальном наряде. Посмотрела на Небезбаксова сквозь хрустальные очки родниковым взглядом и сказала как бы в мироздание:

— Совсем озверели, уже на лифте голыми разъезжают.

Небезбаксов хотел брюки одернуть. А брюк-то и нет.

— Какая разница,— говорит,— под одеждой все голые.

Фыркнула дама, но, не найдя чем возразить, отвернулась.

Двери раскрылись, и она растворилась в сумраке гулкого коридора, сердитым стуком каблуков, переполошив сонное эхо.

Сомкнулись створки, и лифт загудел, замигал красными цифрами — 3587, 3586... Это он этажи отсчитывает.

Может быть, час, а может быть, сутки прошли. Наконец цифра "9" загорелась. Лифт содрогнулся, тросы заскрипели. Приехали.

Дверцы, как крышка гроба, открылись. Из коридора живыми запахами потянуло. Человеком запахло. Народ толпится. Ждет, пока Небезбаксов выйдет. Просят на черную кнопку нажать, чтобы лифт не уехал.

А эдак чуть в сторонке нечесанный мужик стоит. По виду не дурак выпить-закусить на халяву. Стоит и делает глазами знаки: мол, отойдем, разговор есть.

Небезбаксов ладошками прикрылся и вышел из лифта.

Незнакомый мужик по коридору семенит, за собой манит.

Завел в туалет, к писуару примостился для конспирации и спрашивает в нос:

— Пуздырево привез?

Отрицательно покачал головой Небезбаксов.

Мужик удивился и загундосил растерянно:

— А запупендзию?

И снова Небезбаксов его разочаровал.

— Да ты хотя бы мухоморы прихватил?— рассердился нечесанный.

Сплюнул он в сердцах и быстро-быстро вышел вон, сказавши напоследок с угрозой:

— Слушай сюда, чмо! Поостерегись по вторникам на лифте кататься. Рога пообломаю!

Какие рога, подумал Небезбаксов, и подошел к зеркалу, что криво висело над раковиной. Было оно мутным и пыльным, в звездочках отставшего серебра, из центра расходилась паутина трещин. То ли кто-то равновесие не удержал, то ли кому-то собственное лицо не понравилось.

Не узнал себя Небезбаксов. Изображение дробилось. Хотя касательно рогов, действительно — из кудлатой копны волос просматривались не большие, но крепкие рожки. В своё косоглазие он вначале не поверил. Должно быть, утешает себя, из-за трещин почудилось. Так повернётся, эдак — косят, блин, гляделки.

Тряхнул он головой, пытаясь избавиться от наваждения, а уши — шлёп, шлёп по щекам.

Мать моя женщина!

Переступил Небезбаксов в нерешительности толстопятыми ступнями, задумался: видать, зря мухомор надкусил. А сам машинально бороду в косичку заплетает.

И что-то ему мешает, какое-то неудобство чувствует в правой руке.

Смотрит, в кулаке у него — священный камень какандырь.

Пальцы разжал, любуется.

Алмаз с гусиное яйцо. Грани острые, холодные, а отсвечивают тёплой радугой. Тяжесть такая приятная. Будто женскую грудь на весу поддерживаешь. Только еще приятнее. И, главное, холодный, как лёд, только не тает. А на ощупь — не передать. Нет такого, с чем бы сравнить можно.

Ну, допустим, увидел ты в небе луну. Такой, понимаешь, голубой шар. Руку протянул и сжал его в кулаке. Вот с чем бы ты это сравнил? И пришло бы тебе в голову с чем-то это сравнивать?

У Небезбаксова сердце от радости по швам трещит.

Вот, блин, думает, привалило! Вот, блин, думает, надо же! Ну, думает, вообще!

Плевать, что рога, начхать, что косой! Не говоря о том, что толстопятый. Да с этим камнем умнее и красивее меня не только что в нашей конторе, а и в целом свете никого нет. В крайнем случае куплю остров в теплом море.

Только — что такое, в чем дело?!— камень какандырь вроде бы слегка мутнеет и блеск теряет.

Не может быть, в отчаяньи думает Небезбаксов, а сам, несмотря на тяжелое косоглазие, видит: может...

Желтеет камень прямо на глазах.

И твёрдость теряет.

Грани расплываются.

Не алмаз, а ком коричневого пластелина держит в руке Небезбаксов.

Да уж пластелин ли это?

Вроде бы чем-то другим попахивает?

Неудобно, мужики, в высокохудожественном произведении об этом говорить, но куда против правды попрешь?

Не алмаз держит в руке Небезбаксов, а банальнейшую какашку.

* * *

С тех пор и зарёкся Небезбаксов по вторникам в лифте ездить. А на девятый этаж вообще никогда не выходит. Если не случалась непременная надобность, от которой ну никак не отвертеться, он на десятый этаж поднимался, а уж оттуда пешком по лестнице спускался на девятый.

Старые приятели его с трудом узнают. Долго приглядываются, рожи корчат. А узнавши, спрашивают ошарашенные: "Ты чо, старик, имич чо ли сменил?"

Впрочем, у женщин Небезбаксов пользуется неизменным успехом.

— И чего вы в нем нашли?— удивляются старые приятели.

На что женщины, посмотревши куда-то слегка вверх и слегка в бок, отвечают:

— Он такой необычный, такой ни как все.





Дети тумана, или Кентавр неподкованный

В одном из прозябающих в крайней независимости осколков некогда великого государства, а именно в деревне Бессадовой, в дому без ограды жил Гришка-пропойца.

Окна газетами занавешены.

Второй год зарплату не получал, а ни одного дня тверд не был.

Поминки по усопшей стране справлял.

Беду пил, горем похмелялся. И не закусывал.

Всё из дому вынес, вплоть до рукомойника.

Последнюю корову на мешок сахара променял и весь до соринки на самогон извёл.

А как своё горючее кончилось, стал по срамным местам шататься.

— Ты же, Григорий, скоро самого себя пропьёшь— осуждала через плетень правильная соседка.— Одни глаза остались.

— Твоя правда, Пафнутьевна,— винился и разводил руками Григорий.— Только как не пить? От такой жизни

пьющему одна путя — в бучило. Где это видано, чтобы человек работал как лошадь, а и хрена с мелочью не получал?

— Так-то оно так,— нехотя соглашалась соседка и, не найдя аргументов и фактов возразить по глобальному вопросу, указывала на отдельные недостатки.— Чего это у тебя колун второй месяц на земле валяется? Одна ржа осталась.

Григорий минуту-другую рассеянно смотрел на инструмент и думал: "Может быть, какой старушке дрова поколоть приспичило? Глядишь на бутылку и обломится."

И, прихватив ржавый колун, уходил с необнесенного двора в туман безбрежных бессадовских луж.

Такой привычки — двери запирать — не имел.

* * *

Случилось ему в банный день без меры надраться самогона у одной вдовицы.

Имя называть не будем.

Надраться надрался, а расплатиться не смог. То, что должно гордо, как памятник перед райадминистрацией стоять, валялось, будто тряпка какая у порога.

Сроду такого конфуза с Григорием не случалось.

Обиделась баба да и выпихнула алкаша в ночь за дверь. Да ещё и коромыслом по башке раз несколько тюкнула в сердцах.

Огорчилась, должно быть.

И пошёл Григорий, дороги не разбирая, по лужам, по кочкам да канавам в темень кромешную. От электричества Бессадовую избавили, чтобы не соврать, на третью годовщину развала. Другими словами, свободы.

А дело было осенью. Лужи вот-вот ледком схватит.

Чавкал он чавкал дырявыми сапогами по грязи, обо что-то споткнулся да и свалился.

Брызги во все стороны.

А как только свалился, так и заснул, недоматерясь.

Спит себе, мирно вмерзает в лужу.

Всё бы ничего, да вот, здравствуйте вам, где только люди солярку достают, трактор грустно тарахтит.

Это Васька, забыл фамилию, ворованные дрова из лесу на продажу везет. Аки тать в нощи.

Едет, надо признаться, на приличной кочерге. Туман перед глазами: то ли от луж, то ли внутреннее испарение.

Видит — вроде бы бревно в луже. Хотел объехать, да поленился. Много чести каждое бревно объезжать.

Хрустнуло бревно и заорало, а трактор дальше потарахтел.

Стало быть, хана главному герою, а вместе с ним и художественному произведению?

Но в это время над Григорием в кромешной мгле искорка засветилась. Будто кто в небе цигарку закурил. Затяжки три сделал и, словно на салазках, вниз катится.

Вспыхнула искорка фонариком и сверху чистым лучом осеннюю мерзость обшаривает. Грязь раздольную, деревья обломанные, дорогу гусеницами изорванную и в луже утопленную.

Человека посредине лужи лежащего.

Голова на кочке.

Приятно зашелестело. С неба шар приспустился, над лужей завис.

Выпрыгнули из него двое в белом и по луже к Григорию зашагали.

Чавк-чавк,— а грязь к ногам не пристаёт.

Подошли, склонились. Один и говорит на местном наречии:

— Ишь как перегаром смердит. Плохой экземпляр. Испорченный. Смотри-ка — его трактором по тазу переехало. Не жилец.

А другой возражает:

— Такой и нужен. Потому что кому он нужен? Кто его хватится?

Взяли за руки-ноги и понесли, как мешок с отрубями, в шар.

А как только занесли, снова приятно зашуршало. Шар столбом в небо поднялся. Искорка погасла. Будто кто на окурок плюнул.

И такая чернота сделалась: смотри не смотри — ничего не видать.

Сплошной квадрат Малевича.

* * *

А полгода спустя слух прошёл: вроде бы в лесах под Бессадовой мужик-конь объявился.

Кентавра по-научному.

Отбил, будто бы, от табуна молодую белую кобылицу, увел в Тишкин бор и покрыл под черемуховым кустом.

Жеребец поначалу забеспокоился. Свои права предъявлять стал. Кентавра возьми и хрясни его берёзовой жердью поперек хребта. Но вожак не успокоился. Проявлял буйную ревность диким ржанием и вставанием на дыбы. Правда, далеко в стороне.

Пастуху тоже какой смысл без ружья вмешиваться? Ему кобыла не родная. Тоже издали из-за копны наблюдал.

Кентавр кобылицу раскачивает, а сам горстями с черемухи ягоду срывает и — в рот.

Вместе с косточками.

Только хруст стоит.

Да ещё пастуху время от времени жердью грозит.

Так между делом всю черёмуху и обломал. А куст приличный был.

Пастуху в деревне не поверили.

Пил, скотина, сильно.

* * *

Пока все эти события в Бессадовой происходили, Тим в пединституте на факультете физического воспитания учился.

Хотя вру. К тому времени педик в университет переименовали. Точно. Как только кандидаты и доктора разбежались от безденежья — кто в коммерсанты, кто на историческую родину — так и переименовали. Как бы даже не в академию?

Тим как Тим. Тимофей полностью. Чего рассказывать. Без особых примет: руки, ноги, голова,

К слову сказать, на руках такая мышечная масса, что иному хиляку с математическим уклоном вполне бы и на ноги хватило. По румянцу и походке сразу видно: человек воспитан в заповедном краю, где не знают пестицидов и вредных привычек.

Если деревенского человека сознательно самогоном и агрохимикатами не травить, такие экземпляры очень даже запросто получаются.

Особым спортсменом Тим никогда не был. Для этого не только много здоровья надо иметь, но еще больше тщеславия. На физвос же поступил по совету комбата. После того как на дивизионных соревнованиях гранату за пределы видимости запулил.

Гранату долго искали, но так и не нашли.

Но дело не в гранате. Дело в комдиве.

Неимоверной силы был мужик. Даже неприличной для генерала.

И очень любил комдив руки подчиненным перед строем пожимать.

Да так, что аж кости трещали.

Не хочешь, а присядешь. Да еще и взвизгнешь.

Пустяк? Это для гражданских пустяк. А для человека военного очень даже напротив — полный конфуз.

Служи потом всю жизнь Родине без авторитета.

И вот, настал час награждений. Все офицеры с нетерпением стали ждать, когда же комдив Тима с победой поздравлять будет.

Это великое рукопожатие, по свидетельству очевидцев, длилось около пяти минут.

На первой минуте генерал перестал улыбаться. На второй покраснел, как стоп-сигнал. Затем стал рычать сквозь зубы:

— Трое суток ареста... Пять суток... Десять суток... Отпуск на родину...

В конце концов комдив по-поросячьи взвизгнул, присел на корточки и жалобно рявкнул:

— Отставить!

Еще никто так хорошо не сидел на губе, как Тим. Не то чтобы там зубной щёткой, скажем, туалет чистить либо плац подметать, его даже на поверку не тревожили. Спал на пределе человеческих возможностей. Проснувшись, лопал всякую вкусность из офицерской столовой. Вплоть до пирожных.

Отдохнув на губе, он еще и в отпуск на родину съездил. И была у него с этого момента не служба, а одна романтика.

Что же касается внутреннего мира Тима, то тут разговор не на час-два.

В душе каждого человека живет бог, это раз, чёрт, это два, и собственно человек.

В ком чего больше.

В душе Тима всего было в равных долях. Иной раз пугаешься — чёрт и черт! Часа не прошло — хоть на небо забирай. Какая часть души возобладает под влиянием минуты, так и поступал. Иногда ипостаси души смешивались в столь чудный коктейль, что и вовсе ни на что не похоже. Последнюю рубашку последнему подлецу отдаст да ещё и повинится. Только и остаётся вытаращить глаза на манер правильных иностранцев и вздохнуть: загадочная, блин, русская душа. Хрен в ней разберешься.

Ну, вот. Жил себе человек и жил. Качал мышцы. Швырял копьё, метал диск, толкал ядро, спал на лекциях. А в остальное время думал о еде. Наевшись, скучал до ломоты челюсти.

Одно время пробовал стихи писать. Но дальше строчки "шевели шевелюрой, Петлюра" дело не пошло. Строчка неплохая, хотя малопонятная.

Нельзя сказать, чтобы духовной жизни у человека совсем не было. Были развлечения.

Допустим, с четвертого этажа общежития презерватив сбрасывал.

С водой.

До десяти литров в один входило.

И вот эта гигантская капля — блям!— об асфальт под ноги, скажем, прохожим.

Кому-то шутка нравилась, кому-то нет. У каждого свое чувство юмора.

Но однажды эта водяная бомба — блям!— в знаменитого профессора Мутантова угодила. Профессор в провинциальный университет лекции по общей физиологии человека и животных приехал читать. Не разглядел Тим с четвертого этажа, над кем шутить собрался.

Профессору Мутантову шутка не понравилась.

Тима и попёрли с четвертого, что обидно, курса.

Вот тебе и безопасный секс. Человек ни за что ни про что пострадал. Да и профессор заикаться стал. При чём так сильно, что лекции пришлось отменить.

* * *

И поехал Тим в деревню Бессадовую.

Мог бы куда и подальше. Но так случилось, что родители его оказались, сами того не заметив, в совершенно другой стране. В полном, откровенно говоря, суверенитете. Хотя и не в дальнем, но и не в очень ближнем зарубежье. Скажем так — в довольно среднем. Но без визы не попадешь. Да и билеты даром не дают.

Была возможность остаться в городе. Но город, бывают такие чудаки, Тим не любил. Столько людей, а все чужие. Сколько домов, а все серые. Столько девок, а захочешь жениться — и выбрать не из чего. Одни шалавы.

А работа наклёвывалась не пыльная. Тебе, пацан, говорят, и делать ничего особенного не надо. Знай себе руки, кому скажем, пожимай. За каждый сломанный палец —

сто баксов. Главное — никакого криминала. Какой криминал с человеком поздороваться? По рукам, братан?

Базара нет — по рукам!

Четыре пальца у работодателя так и треснули. Как куриные косточки в собачьей пасти.

Короче, совсем было договорились, но тут Митька, двумя курсами старше, тоже физвосник, директор Бессадовской совершенно средней школы, подвернулся. "Ну, говорит, Тим, теперь тебе башку точно отвернут. Поедем-ка ко мне. У нас, правда, глушь и учитель физкультуры уже есть. Но ничего. У нас учителя русского языка и литературы скоро не будет. В родные, понимаешь, палестины засобиралась. А ты не чужд словесности, стишками, помню, баловался. Пока место не освободится — по лесам пошатаешься. Один хрен зарплату седьмой месяц не платят. А грибов нынче море уродилось."

* * *

Тим берестяной короб сплёл. У Митьки велосипед одолжил. Тот всё равно на нём не ездил с тех пор, как директором стал. А то какой авторитет, если директор на велике ездит.

Брючина бельевой прищепкой прищеплена.

А в заднем колесе — восьмёрка.

Может быть, и есть занятие лучше, чем по грибным лесам бродить, только Тим о таком не слышал.

К лесу нужно с подветреной стороны подкатывать. И эдак ноздрей повести: есть ли в нем, допустим, грузди. Запах груздей даже курящий учует. У Тима же обоняние ни алкоголем, ни никотином не отравлено. Волчий нюх. Запросто различал — какие именно грузди — сухие или сырые. А это что такое? Вроде бы лисички?

Сладковатая прель старого леса. Голова как во хмелю кружится.

Лес надо выбирать такой, чтобы рядом дорога не проходила, чтобы синел он в отдалении, как неоткрытый остров среди пашни.

Чтобы человечьим духом не пахло.

Тим такие колки-островки предпочитал придорожным лесам.

Плечо под раму — и пешком по мягкой пахоте.

А в леса при дороге заглядывать не то что бесполезно, а неприятно.

Новорожденная страна только что объявила энергетическую независимость. Независимость есть, а энергия кончилась. Ни тебе угля, ни тебе электричества. Вот народ и кинулся лес рубить. Только пилы визжат. Свалят березу в чаще и волокут к дороге, сдирая грибницу, ломая подлесок, топча костянику.

Не то чтобы в таких лесах вовсе грибов не было. Однако же противно. Будто квартиру обворовали.

Впрочем, были такие леса, что и под корень извели.

Одни пни, как гнилые зубы, торчат. А на них — опята. Ну, опята — старушечьи грибы. Только старушки в них толк и понимают. Тим же ни опят, ни коровники, ни сыроежки не жаловал. Одни благородные грибы собирал.

В поисках нетронутого леса все дальше и дальше удалялся он от Бессадовой, пока к Тишкиному бору не подобрался.

Энергетический кризис, принуждая грабить ближайшие леса, заставлял в то же время думать об экономии горючего. В далеком Тишкином бору было тихо. Ни лесорубов, ни грибников. Благодать!

Тим — грибник культурный. Это он в городе в кого ни попадя презервативы швырял, а в лесу вёл себя пристойно.

Мухоморы не пинал.

Червивые обабки на суки нанизывал, чтобы споры ветром по лесу разносило.

Если срежет груздь, а он с червоточинкой, то на срез аккуратно его и поставит.

Не без тайного злорадства, конечно.

У каждого свой почерк.

Грибницу для Тима нарушить — все равно, что, допустим, в колодец плюнуть.

Есть ведь грибники, что свиньи. Вытаращит такой шары от жадности, всю грибницу соскребет, всю листву переворошит, пока последний — со шляпку гвоздя — груздочек не отыщет.

Тьфу, а не люди.

И видит Тим с огорчением, что один такой в Тишкином бору завёлся.

Не грибник, а скотина какая-то. Где ни пройдет — там черные плешины. Все переломано, перетоптано.

С граблями он что ли в лес ходит?

"Поймаю,— думает Тим,— обязательно руки узелком завяжу. С петелькой."

* * *

Поселили Тима в общежитии.

Выбирай, говорят, любую комнату, где стекла более-менее целы. Всё равно пустуют. Наше СМУ всем составом в Тюмень укатило. Там, веришь нет, за работу еще деньги платят.

Видит Тим — барак. Огорожен черным от влаги и сильно поломанным штакетником. Шифер еще не весь растащили. Однако рам маловато осталось.

Стоит барак посредине лужи. Как бы на острове. Лужа такая большая и, предупреждают, глубокая, хоть карасей разводи. Пробраться к бараку можно по камушкам со стороны брошенных сараев из горбыля. Со стороны кладбища, советуют, не ходи: утонешь.

У крыльца — зверски изломанный куст акации. О него, видать, сапоги от грязи очищали.

В луже пьяные столбы без проводов. Цемент на пасынках искрошился, арматура торчит скелетом.

Есть такие населенные пункты, мимо которых нужно проезжать, не задерживаясь, а по возможности и зажмурив глаза. Они излучают смертельную дозу тоски. И странным кажется, как это в них живут люди.

* * *

Тиму сказали, что в бараке никто не живет.

Это была неправда.

В бараке жили крысы.

Их было так много и они были так голодны, что в первую ночь Тим испытал не то чтобы страх, но опасения за свою жизнь.

На следующий вечер Тим изловил худого бездомного кота, черного, как совесть негодяя. С одним, но чрезвычайно злобным глазом.

Держа кота за шкирку, перенес его через лужу, ограждавшую крыс от естественных врагов, подкрался к окну и швырнул животное в форточку, как гранату в амбразуру фашистского дота.

От душераздирающего писка содрогнулась не только забытая богом и реформаторами деревня Бессадовая, но и далекие звезды.

В том числе и еще не открытые.

Когда спустя некоторое время Тим осветил комнату тщедушным светом керосиновой лампы, взору его предстала жуткая, мерзкая картина массового убийства.

Профилактическая зачистка общаги повторялась ежевечерне.

Одноглазый быстро разжирел и душил крыс больше из спортивного интереса.

Душил и складывал в штабеля.

Свой долг он исполнял добросовестно, но крыс не убывало.

Особо упитанные экземпляры Одноглазый бросал в кастрюлю, в которой Тим варил на примусе груздянку.

Видимо, в подарок.

А может быть, шутил.

Тиму такие шутки не нравились.

Однажды, обнаружив в кастрюле свежезадушенную крысу, схватил он, что первое подвернулось под руку, с намерением прибить скотину безмозглую, сколько можно посуду мыть, действительно! А под руку ему подвернулась единственная книга его библиотеки — "Легкая атлетика".

Кот — в окно.

Тим и швырни в него книгу.

Швырнул и пожалел.

Мало того, что стекло разбил, книга, блин, в луже утонет. А книга, не в пример другим, нужная, ценная, редкая.

Прошелестела "Легкая атлетика" страницами в темноте, а плеска не слышно.

Будто в воздухе повисла.

Свет от керосинки только фрагмент штакетниковой ограды освещает, лужу не видно.

И слышит Тим суровый голос из темноты:

— Почто экземпляром кидашь?

— Да вот кот, животное, крысу в груздянку бросил,— объяснил поступок неведомо кому Тим.

— Животное — оно тоже существо,— осудил его голос из ночи.— Он, может, не со зла. Он, может, от сердца. А ты его — экземпляром.

И после этих горьких слов в окно, как тысячекрылая бабочка, впорхнула книга.

Поймал её Тим, поблагодарил темноту и пригласил:

— Заходи, поговорим.

— Дык швыряться будешь...

— Да с чего?

— Ты животных не любишь,— грустно укорил из черноты неизвестный и добавил печально.— А животные — тоже люди.

— Как хочешь,— слегка обиделся Тим и стал по хозяйству хлопотать: книгу на подоконник положил, крысу в

окно вместе с груздянкой выплеснул, остатки стекла из рамы пообломал. Управился и стал слушать, как урчит от голода собственный живот.

Слышит: вроде бы и ударные вступили. А это не в животе, это по коридору словно взвод солдат подкованными сапогами забряцал.

Дверь приоткрылась и в просвет мужик туловище по пупок просунул. Лохматый, нечесанный. На теле, кроме татуировки "Нет в жизни счастья", ничего, ни рваной майки даже. Зато в руках — бутыль с мутностью.

Мужик хмуро осмотрел комнату и объяснил:

— Дом проведал. На дрова раскатали.

Помолчал и посоветовал:

— Ты бы окно чем ни есть занавесил. Живешь, как манекена на витрине.

Что Тима удивило, так это рост мужика. Голова выше косяка. А кожа — дубленая, в рыжей шерсти.

Матёрый такой мужик, природный.

Занавесил Тим окно плащом-дождевиком, а голый мужик всё медлит. Не то чтобы стесняется входить, а сомневается.

— Так значит не любишь котов?— спрашивает с подозрением.— А как, к примеру, к лошадям относишься?

— К лошадям я не отношусь,— гордо ответил Тим, а сам подумал: "Вот, блин, псих навязался".

Гость решительно распахнул дверь и шагнул в комнату.

До пояса — мужик, а ниже пупка — конь в яблоках, со всеми причиндалами.

Существо, короче.

Между задних ног милицейская дубинка болтается.

Ввалился — полкомнаты занял, затылком в потолок упёрся и, протянув жилистую руку, представился:

— Грыгорий. Без стола, гляжу, живёшь. Стаканы есть?

После первого тоста — за знакомство — Тим едва-едва пришел в себя. Правда, глаза пучить не перестал, но дар речи к нему вернулся.

— Что это?— ткнул он кружкой в жеребячий круп.

— Да я бы к тебе не зашёл,— помрачнел, оправдываясь конь-мужик.— Дождь, понимашь, собирается. Тучи. А там,— махнул рукой на запад,— звёздочка загорелась. Знам мы эти звездочки. Укрыться мне надо. А где спрячешься? В лесу? Сверху просветят — все грыбы видать...

После этих слов он затрепетал ноздрями, вытащил из берестяного короба сухой груздь и, не обтирая, сожрал.

Мировой закусон,— порекомендовал,— попробуй.

Тим раскрыл складешок, отрезал у груздя ножку, очистил ее.

По вкусу — кочерыжка от кочана капусты. Только хрупкая и не такая сочная.

В Тишкином бору собирал?— спросил проницательный кентавр Григорий.— В Тишкином бору грыб слаще. Где-там какой-то завёлся. Червивы грыбя листом прикрывал, обманку строит.

Так это ты всю грибницу порушил,— догадался Тим и, не сдержавши чувств, добавил.— Размахался копытами, конь ты с причиндалами!

Григорий помрачнел. Брови насупил. По крупу дрожь прошла. Как саданёт копытом в дверной косяк — щепки полетели и общага сотряслась.

— Не зли меня, Тимохфей,— предупредил,— не зли. Убягаю!

— А чего я такого сказал?— удивился Тим.— Я имею в виду — родную природу надо беречь. Не согласен?

Григорий лицо сморщил, свободной от бутыли лапой глаза утёр и пожаловался, задушевно шмыгая носом:

— Мне, может, самому не в нрав, что у меня ниже пупа. А что делать? Что пришито — не отрежешь. Хотя, рассуди, и вреда нет. Я бы, блин горячий, к примеру, пахучом мог бы работать. За одни харчи. У меня, блин из теста, ни одна кобыла непокрытой не осталась бы,— грустно размечтался он.— Давай, Тимохфей, выпьем за дружбу!

... Ночь была долгая, беседа — откровенная.

А о чем говорили, Тим после шестого стакана смутно помнил.

Вроде бы песню, обнявшись, пели: "За окном черемуха колышется..."

Хорошая песня. Слова душевные.

Бутыль приговорили — настроение кончилось.

— Так я у тебя заночую?— спросил разрешение интеллигентный от хмеля кентавр Григорий.

— Базара нет,— великодушно разрешил Тим,— выбирай любую комнату. Только, беда такая, окна без стекол. От лужи сырость.

— Мне без разницы. Лишь бы крыша была.

И пошли они выбирать комнату.

А керосинку не взяли: к тому часу дождь прошел, небо очистилось и на черном его полотнище пиратским черепом засияла полная луна.

Хоть грибы в лесу собирай.

— Осторожно, Григорий,— предупредил хозяин, выходя в кодидор,— доска гнилая. Так копыто и обломаешь.

— Где доска?

— Да я уже провалился.

* * *

Только они вышли, как в стене отогнулся кусок обоев и на раскладушку выпрыгнула бесхвостая крыса. Повела острым носом и призывно пискнула.

Тотчас же из всех щелей полез тощий крысиный народ и, ссорясь, стал демократично делить скудные остатки трапезы, лежащие на скатерти из районной газеты, прославляющей мудрость местного руководства.

В разгар незаконной приватизации в форточке появился опальный охотник — кот. Сверкнул корыстным глазом и с душераздирающим визгом ринулся вниз на крысиную мафию.

В случившейся панике был опрокинут единственный предмет мебели — антикварный табурет о трех ножках, на коем стояла керосиновая лампа.

* * *

Ах, как красивы деревенские пожары в лунную ночь!

Горящая общага эмигрировавшего СМУ отражалась в луже и казалось, будто в невесомости парила широко известная метафорическая свеча, подожженная с двух концов.

Искры обильно сыпались вверх и вниз. Красными змеями расплывались по воде блики. Крысы с горящими хвостами в панике бросались в лужу. Шифер лопался и крутящиеся осколки его разлетались во все стороны.

Но жители Бессадовой эту красоту проигнорировали.

Должно быть, какая хозяйка и пихнула безработного муженька в бок: мол, глянь-ко — горит чой-то на отшибе, не то ХПП, не то АТП. На что тот, зевая, уж верно, отвечал: "Ну и хрен с ним. Тебе-то какое дело?"

Так что редко кто из бессадовцев видел, как из горящего барака выскочил, шатаясь, пьяный жеребец в яблоках о человеческой голове, держа на руках в усмерть пьяного погорельца.

На плохо гнущихся ногах конь-мужик зашлёпал по луже прочь из села, в сторону кладбища, освещая себе дорогу факелом собственных волос. Он мотал головой и

страшно матюгался. Собутыльник же громко пел о черемухе, которая, распуская свои лепестки, колышется под ветром.

Спина у Григория костистая, бока ребристые. Посидеть на нём без седла. Не говоря о том, чтобы поперек лежать — руки-ноги по сторонам. Башка у Тима, как кочан капусты, болтается. А в башке — дык-дык! дык-дык!— копыта стучат. То комья грязи летят, то брызги, то ветви хлещут, то седока наизнанку выворачивает.

Растрясло Тима. У человека сознательность пробудилась.

Т-п-р-ру, Григорий!— кричит.— Надо вернуться. Велосипед Митькин сгорит!

Разгон с Тишкиного бора,— отвечает ему не без ехидства Григорий.— Ни хрена твому лисапеду не сделается. Он железный.

Точно — железный,— успокоился Тим и свалился с Григория.

Был бы трезвый — обязательно чего-нибудь сломал.

— Никак убился?— заволновался Григорий, склонясь над ним.

Тим сел на раскачивающийся земной шар, потер ушибленный затылок и спросил:

— Григорий, а ты когда-нибудь верхом ездил?

И не дождавшись ответа, упал и заснул.

* * *

Очнулся Тим под утро. От холода.

Лежит он в копне соломы. Ноги на стерне. На одной ноге резиновый сапог, на другой — рваный носок.

Считай, босая.

Паленными волосами пахнет и свежим конским навозом.

Туман по-над землей стелется. Березовые комли видны да вершины, а посередине — облако.

У куста боярышника лошадиные ноги колготятся, а из тумана мужичья голова выглядывает. Мужик ягоду вместе с косточками жуёт. Только хруст стоит.

Посмотрела голова на Тима сонным глазом и говорит:

— Не надо было нам керосинку без догляду оставлять.

Тим себя украдкой за губу укусил, но не проснулся.

— Ты мой сапог на видел?— спрашивает, смутно припоминая вчерашнее.

Григорий из облака по-петушиному голову вытянул, на Тимкины ноги покосился и говорит рассудительно:

— Где ж ты его посеял, чудо в перьях?

Тим сел. Снял сапог с левой ноги и на правую надел.

Внимательно оглядел часть не закрытого туманом пейзажа, но знакомых примет на обнаружил.

— Григорий, ты бы отвез меня домой,— скучным похмельным голосом попросил он.

— Домой,— передразнил его, чавкая и хрустя, кентавр.— От твово дома одне головешки остались.

— Простужусь,— объяснил Тим,— видишь — уже и сопли потекли.

— Большая беда — сопли,— проворчал Григорий.— Я тебе что — такси бесплатная? Хочешь, чтоб деревенски собаки мне ноги порвали? Собаки что. От собак отбрыкаться можно. От людей не отбрыкашься. Сторожа Федула знашь? Вот и хорошо, что не знашь. Море самогона с козлом старым за дружбу выпили, а как меня увидел, так и пальнул из своей кривостволки. А я ж ему, помню, кричал: "Своих не узнаешь?" Веришь нет — весь день шипом боярышника дробь из задницы ковырял. Решето, а не задница. После того случая, чтоб ты знал, днём в лесах скрываюсь. Как партизан.

Вышел Григорий из тумана, бодро помахивая хвостом, и говорит:

— Ладно. Садись. Отвезу к горячим ключам.

Вскарабкался Тим на спину Григория, обнял за грудную клетку, и тот, разя перегаром, углубился в лес.

* * *

Солнце еще не взошло, но уже чувствовалось. В тумане голубые тени берез проявлялись. У Тима голова как раз на уровне верхней границы облака болталась — то вынырнет, то погрузится в туман. Как поплавок.

Чудная картина: березы на облаке пляшут!

Туман розовел и потихоньку делался прозрачным.

Продрались они сквозь сырой осинник, вышли к болотцу.

Навстречу мужик с клюкой идет. Сапоги стоптаны. Шапка без одного уха. Под мышкой газета в трубочку свернута.

— Козу не видели?— спрашивает.— Белая. С колокольчиком. На роге красна лента.

Нет,— отвечает Григорий, пофыркивая,— не видал. Что там в газетах врут?

А хрен их знает,— обстоятельно отвечает мужик,— газеты те прошлогодня.

Оторвал от органа районной администрации клочок и из кисета цигарку скрутил, пожаловался:

Вот беда! Где ее, дуру такую, искать? Говорят в Гнилом бору рысь объявилась. Вроде как из тайги забрела. Типа заблудилась. Брешут, наверно?

Закурил и пошёл своей дорогой, растворяясь в тумане, покачивая головой и попыхивая дымом.

И ни разу не оглянулся.

Чего это он?— удивился Тим бесстрастности мужика.

Козу потерял. Вот и переживат,— объяснил Григорий, не заметивший в поведении мужика странностей.

* * *

— Может, мне сойти?— забеспокоился Тим, принюхиваясь к болотному духу.

— Сиди уж. Твово шагу не хватит с кочки на кочку перепрыгнуть.

— Обязательно что ли — в болото?

— По-другому к горячим ключам не пройдёшь.

Вытащил Григорий из грязи вешку и, тыкая ею перед собой, побрел по колено в зловонной жидкости, время от времени для верности простукивая путь передними копытами. Шел он не по прямой, а зигзагами, ориентируясь по одному ему ведомым приметам.

— Месяц тому назад охотник за мной увязался. Крадучись шёл. Чего уж хотел — не знаю. Должно быть, за мной охотился. Как по лесу шли — все за деревьями прятался. А уж по болоту где спрячешься. Вот здесь,— ткнул Григорий жердью в трясину,— он с тропы и сошёл. Оступился.

— И что?

— Что что? Ничего. Должно быть, здесь и лежит. Куда ему деться?— и обругал пролетевшую цаплю.— Расскрипелась, телега не смазана!

— Седло бы тебе надо, Григорий,— сказал Тим, ёрзая.

— А хрен тебе с маслом поперек морды не надо?— вспылил человек-конь.— Сначала ему седло, потом уздечку. Так и до кнута дойдёт. Вот сброшу тебя сейчас в болото...

— Ой-ой, уж и пошутить нельзя,— заволновался Тим.— Я что сказать хотел — спина у тебя больно жесткая. А ты что подумал?

* * *

Остров в болоте начинался сплошной полосой боярышника, природной колючей проволокой в кровавых гроздьях ягод. Не продраться.

Видно, здесь была сорочья столица. Такое стрекотанье поднялось, что, если закрыть глаза, можно было подумать — фейерверк.

— Разболтались болтушки,— добродушно проворчал Григорий и успокоил.— Свои.

Тим, прихрамывая, брёл за кентавром, уставившись на перекатывающийся крутыми волнами круп, похожий на пульсирующее, большое любвеобильное сердце.

В яблоках.

Шли они минут десять под осуждающий стрёкот сорок, пока не кончился боярышник с красной ягодой и начался боярышник с янтарной. Между двумя сортами сплошной колючей стены был узкий просвет.

За боярышником шла полоса шиповника, вся в брызгах кровавых ягод.

Одежда Тима затрещала на острых шипах, а Григорий так яростно заругался, что замолчали болтливые сороки.

Кончился шиповник — здравствуйте вам!— началась крапива в лошадиный рост. Берегись не берегись — все равно ошпарит.

За крапивой — черёмуха, за черемухой — осинник. Такой густой, что только боком и протиснешься. У Григория то и дело мощный круп заклинивало и он, кряхтя и матерясь, изгибался, раздвигал руками капкан зеленых стволов.

Кончились осины!

— Фу ты, блин! А это еще что?

— А это, Тимохфей, второе кольцо. Болото незнаемо. Прыгай на спину.

После второго кольца болот с торчащими из трясины скелетами мертвых деревьев повторились круги лесного ада: чернотал, переплетенный ежевикой и пыльным хмелем, боярышник, заросли шиповника и крапивы, густорослый черемушник, осиновая молодь.

О комарах уж и разговора нет.

И только у Тима лопнуло терпение, как открылась чистая поляна, с ровной, словно подстриженной травой, посредине которой стояла одинокая роскошная береза. Береста белая, как ватман. Без веснушек. Из такой березы только туески и делать. Рука у Тима сама в карман за складешком полезла. Подошел он поближе и от удивления глаза у него не полопались.

Ветки березы сгибались под тяжестью яблок.

Шутки этой он не понял. Нагнул ветвь, оборвал яблоко. Ты смотри: не привязано. Понюхал — яблоко. Обернулся к Григорию:

Вкусное?

А ты у него спроси,— кивнул Григорий на труп ворона.

Прямо глазам не веришь,— тупо уставившись на яблоко поделился впечатлением Тим.— Как думаешь, что это?

А чо думать? Береза с яблоками.

Не могут яблоки на березе расти!

А может человек конём быть?— резонно возразил Григорий.

- Если бы на физвосе не учился — чокнулся бы,— поскреб Тим затылок, формой своей напоминающий кувалду.

Призадумался Тим. Да так глубоко призадумался, что машинально яблоко и съел.

— Ну что? Вкусное?— спросил Григорий, выждав некоторое время.

Не дождавшись ответа, сорвал яблоко покрупнее и сожрал, хрумкая и чавкая на весь лес.

Сожравши, топнул труп ворона и подумал вслух:

— Должно быть, не от яблока исдох. Должно быть, от старости.

* * *

На тёплых ключах Григорий с Тимом жили до тех пор, пока все яблоки с березы не оборвали.

Если бы не болотные комары да мошкара — лучше курорта не придумать.

Теплую лужу ниже источника углубили, обложили камнями.

Тим в этой луже и спал.

Тепло, как в бане.

Проснется до рассвета — яблоко ли в воду шлёпнется, птица ночная крикнет,— а звезды, как кошачьи глаза, светятся.

Будто в космосе плывёт.

Хорошо.

Григорий под яблоней — березой конной статуей белеет.

Привычка у него такая — стоя спать.

Голову на грудь свесил и бормочет во сне. Хвостом по бокам похлестывает.

А в дождь Тиму еще лучше. В дождь в теплой луже только и скрываться.

Он как в первый день одежду в дупло спрятал, так без нее и обходился.

А почему в дождь лучше — комаров нет.

В первый день Григорий и поведал свою горестную и непонятную историю.

Лежал в теплой луже. Поливал из ковшика ладоней целебной водой изодранный шипами круп и вспоминал.

Только мало что помнил.

Как вдовушка коромыслом по башке воспитывала — это да, это помнил. Было такое дело — в кромешной тьме по грязи шлёпал. А потом проснулся, хотел пятку почесать, а вместо пятки — мать моя женщина!— копыто...

У другого тут же бы в башке короткое замыкание случилось. Но Григорию и раньше черти являлись. Так и подумал: знакомое дело — белая горячка. Тем более всё вокруг белое. Лежит как в облаке, копыто скребет, заре кается: "Всё — край. Надо завязывать. Вот похмелюсь — и завяжу".

— Иной раз мозоль на пятке так зачешется — веришь нет, Тимохфей,— спасу нет. А глянешь — не то что мозоля, а и пятки нет. Одно копыто. И так тошно сделается: кругом чужое тело. Вот, думаешь, захошь хвостом помахать, а он и не пошевелится. Вспотеешь. Когда глядишь — нет, шевелится.

— А мне, правду сказать, твоя фигура нравится,— сказал Тим, прицениваясь взглядом музейного знатока.— Ты посмотри, сколько в тебе здоровья. Машина машиной.

— Оно так. Здоровье есть,— согласился Григорий.— Только иной раз — веришь нет — хочется босиком по горячей гальке пройтись. Или по стерне, когда траву только что скосишь. Да и к людям тянет.

— Чего в них хорошего, в людях-то?

Ну, допустим, выпить-поговорить. Как без этого? Опять же такой вопрос, как бабы. Оно, конечно, кому и кобыла баба. Только с кобылой разве поговоришь?

Не знаю,— засомневался Тим,— я бы из лесу вообще не выходил. Чего там хорошего. Особенно в городе. Снуют как тараканы по щелям. И от щели к щели снуют: дом — работа — дом — работа... А сейчас и работы нет. Бегают без смысла туда-сюда, челночат. У меня окно в общаге как раз на базар выходило. Смотришь, с четвертого этажа, как они с кошельками да колясками между рядов ползают, принюхиваются, добычу ищут. Чистые тараканы. Туда — сюда, туда — сюда. А потом забьются по щелям и от зависти друг к другу корчатся. Как бы обсудить соображают. От зависти и страну развалили.

— Однако и жеребцом быть не сладко,— прервал тяжелым вздохом грубоватое утешение Григорий.

— Да уж лучше жеребцом,— не сдавался Тим и пояснил.— Жеребцы телевизор не смотрят. Извини, перебил.

— Короче, удрал я. Через трубу. Веришь нет — метров сто пронырнул. Думал: каюк, захлебнусь. Тут труба и кончилась.

— Метров сто? Рисковал однако.

— Ещё бы не рисковать! Полгода маковой росинки во рту не было. Рискнешь. На утро не похмелишься — башка трещит. А тут полгода. У тебя башка трещит?

— Трещит.

Беседовали они не только о прошлом, но и о будущем размышляли.

— А вот, допустим, зима настанет, что тогда?— интересовался судьбой Григория Тим.

— А это хрен его знат,— хмурился кентавр и обстоятельно размышлял.— Тому, что ниже пупа, мороз без разницы. А за остальное не скажу. Беспокоюсь. Да ничего! Какой-никакой тулупчик добуду, шапчонку. Перезимую!

И Григорий жалобно запел:

Дуся, дуся, чо мы будем делать,
Када настанут зимни холода?
У тебя калоши прохудились,
У меня нет зимнего пальта.

Отведя в песне душу, закончил мысль:

— Мне к людям путя закрыта. Они меня на опыты ученым сдадут. Или, того лучше, в зоопарк на потеху. А скорее всего каменьями забьют. А по нынешней голодухе, скажешь нет, на бесбармак определить могут.

— Интересно,— задумался не по теме Тим,— как думаешь, сколько общага стоит? В долларах?

— В долларах не знаю. А года три, думаю, дадут,— утешил Тима Григорий.

— Яблоки на березе кончаются,— пожаловался невпопад Тим,— комары загрызли.

— Загостились на тёплых ключах,— согласился кентавр.

* * *

Кентавр Григорий, как в кресле, сидел в копне и, прикусив язык, усердно плел из ивняка самоловку.

— Тимохфей,— пихнул он локтём сено,— хватит дрыхнуть. Поди нарежь еще прутьев.

Копна зашевелилась. Из сена показалась кудлатая голова, с волосами, утыканными травинками, и, пуча глаза, недоуменно обозрела пологий склон, речную пойму, множество стариц, заросли краснотала и черемухи.

— Блин, на самом интересном месте разбудил,— сориентировавшись в пространстве, выговорил Тим Григорию.

— Что снилось-то?— поинтересовался кентавр, зорко следя за кружением овода.

— Будто бы курицу у бабы Груши стащил, ощипал её и на костре поджариваю. Только хотел попробывать — готова или нет,— а тут ты пихаться начал.

Кентавр смачно шлепнул ладонью по крупу, высказав злорадное удовлетворение:

— Долетался, шило с крыльями!— а Тиму примирительно.— Тут недалеко на кордоне лесничиха живёт. В урочище. У неё там этих курей, к слову сказать, несчитано. Однако и волкодав без привязи. Что за мода така пошла собаку без цепи держать,— возмутился Григорий и, сделав круглые глаза, обрисовал габариты пса,— морда — во, зубы — во!

Тим потянулся, прогоняя из тела остатки сонной истомы, зевнул. Снял сапог с левой ноги, обул на правую. Скатился со стога и пошёл, отряхиваясь на ходу, вниз по косогору.

Вернулся через час с охапкой прутьев. Сел рядом с Григорием и, раскрывши нож, стал мастерить крестовину под днище корзины.

— А у тебя, смотрю, получатся,— похвалил кентавр Тима.

Да уж руки у меня — не только при ходьбе размахивать,— со скромным достоинством отвечал Тим.

И долго-долго они сосредоточенно сгибали прутья, наматывая под нос, время от времени без суда и следствия убивали слепней и комаров.

Говоришь лесничиха?— прервал молчание Тим и поинтересовался.— А куры у неё какой масти — белые или рябые?

* * *

Вот она,— указал кентавр Григорий, выглядывая из-за корявого ствола столетней березы и сделавши соломами глаза,— та самая лесничиха.

— Это я понимаю — женщина,— восхитился Тим,— бедра шире коромысла. Есть на что приятно посмотреть.

— К роднику пошла,— объяснил Григорий бархатным голосом,— прямо как лодочка.

Вздохнул и задним копытом землю взрыл.

— Приятна женщина. Пятого мужа похоронила. Хилый мужик пошел. Радиаца должно.

— Да,— согласился Тим, в восхищении разглядывая естественно-мощные формы лесничихи,— много здоровья надо на такой женщине жениться. Я бы всем пяти мужьям посмертно звание героя присвоил. Никакого шанса выжить. Здесь тебе, Григорий, нет альтернатив.

— Скажешь,— заволновался кентавр,— она на такого урода и смотреть не будет. Не то что бы что еще.

— Вот что я тебе, Гриша, скажу: не знаешь ты женщин,— утешил его Тим.

Григорий печально вздохнул, но спорить не стал. А напротив того — размечтался:

— Я бы хозяйство-то поднял. Прикинь: огород вспахать, дрова-сено привезти — ни коня, ни трактора не надо. Впрягусь — только пыль столбом. Ты, может, не знашь,— похвастался,— плотник я. Не руки — чисто золото. Такой бы ей теремок срубил. Вишь лесу-то сколько дармового. Вся сопка в сосне. Ограда, глянь, завалилась. Плетень и то сплести некому.

— Я и говорю, поддакнул Тим,— нет тебе альтернативы. Давай я тебя разом и посватаю.

— Сосва-а-атаю! Разбежался в одном сапоге. Кто же сватает на босу ногу? Вышел из лесу, рожа не бритая. Кто тебя знает — может, ты человека зарезал, может, ты уголовник беглый. Может, хлеще того, у тебя хвост в штанах

спрятан. Скажешь-то что? Есть у меня жених на примете, не мужик, а конь с хвостом...

— Да ладно тебе, разволновался. Не хочешь жениться, давай кур воровать. Твоя задача волкодава со двора выманить и подальше в лес увести. А я, пока лесничиха с полными ведрами на бугор будет подниматься, с курями разберусь. Встретимся у той сосны, что молния сожгла.

Женщина тем временем спустилась к роднику и нагнулась, зачерпывая воду. Глаза у Григория от такой красоты потеплели и слегка окосели.

— Эх,— вздохнул он,— кабы у меня ниже пояса все как у нормального мужика было...

— Да кому бы ты нужен был, если бы у тебя там нормально было,— укорил его Тим.— Не ценишь ты, Григорий своих достоинств, не ценишь. Однако любовь — хорошо, а жареные куры лучше. Займись волкодавом.

* * *

Только разобрался Тим в курином переполохе, только выхватил из бурана перьев курочку за жирную ножку, как вдруг — БУМ!

Это его поленом по затылку стукнули.

Сарай сделал мёртвую петлю. Тим, не выпуская из рук горластую, хлопающую крыльями добычу, растянулся на куриных удобрениях.

И слышит он, теряя сознание, ехидный старческий голос:

— Ку-курочку захотелось, мы-молодой че-ловек?

Знакомый голос. А где его раньше слышал, Тим вспомнить не успел — отключился.

* * *

В сумерках вернул Тима к жизни запах жареного куриного мяса.

Открыл глаза, видит — обморочные пятна плывут. Одни — светлые с желтизной, а другие темные. Перемешались они между собой и обнаружились внутренности деревенской избы в приятном полумраке. Прямо над Тимом — палати циклопических размеров, слева — печь белеет, справа по гладкой бревенчатой стене и гирляндам лука снуют уютные тени. Слышится мирный, задушевный разговор.

Вроде бы, по-русски говорят, а слов не разобрать.

В голове шумит.

Рядом кто-то лежит. Тёплый. Большой. Сопит и чавкает.

Тим глаза скосил. Волкодав, оказывается. Башка перебинтована. Печальный глаз на Тима косит. Не доверяет. Хотел зарычать, да только жалобно заскулил.

А кто там беседует, нет никакой возможности узнать. В ту сторону голова не поворачивается.

Сосредоточился Тим и странную слышит речь.

— Ну, как ты не понимешь, Вы-Варвара! Чтобы стать сы-счастливым, сы-свободным человеком, не надо никаких ры-революций, кроме революции тела,— горячо и задушевно щебечет старичок, стукнувший Тима поленом по затылку.— Кому нужна эта кы-классовая борьба, если у человека будет сы-совершенное, обладающее множеством сы-степеней свободы тело. Именно телесная форма существа обуславливает его отношения с пы-природой...

— Ты по-простому, босая голова, по-простому,— прервала старичка волнующим грудным голосом женщина.— Знаю я вашего брата, профессоров. "Налей выпить" по-людски не скажете, а такого тумана напустите, что и не поймешь, чего надо.

Тиму-таки удалось развернуть голову в нужную сторону. Сквозь кроватную решетку увидел он сидящего за столом спиной к нему профессора Мутантова. По левую руку от профессора, в профиль, пышная румяная лесничиха с недоумением во взоре, по правую — прямо на полу — кентавр Григорий. По виду — стесняется. Уж больно скромно ест. А может быть, уже наелся. Керосиновая лампа освещает алмазный блеск граненых стопок, рассыпчатые, вкусные даже на цвет, картофелины, спелые помидоры, стебли лука, бело-золотую яичницу и то, что своим ароматом вернуло Тима из небытия — куриные окорочка в янтарной корочке.

— Можно и по пы-простому,— весело сказал профессор и надолго замолчал, почесывая до неприличия огромный лоб. Видимо, проще уже не получалось.

— Наше хилое тело — наши цепи. Мы страдаем от холода и жары в то время как другие сы-существа эти температурные перепады пы-просто не замечают,— вскинул голову Мутантов, отчего лысина его вспыхнула золотым отражением света керосинки.— Это не организм, а сы-стеклянный фужер какой-то. Пы-поленом его не стукни. Несколько мы-метров высоты — и разбился. Две минуты под водой — и сы-смерть. Человек вынужден тратить все свои силы на защиту хрупкого тела от внешней сы-среды.

Ускоренный поиск совершенного тела для человека — задача архи-важная, архи-неотложная.

В голове у Тима гудело, как в пустой бочке. Каждое слово профессора било по ней поленом. Старичок стрекотал и стрекотал весёлой сорокой.

— Всё многообразие форм нужно сплавить в одно сы-совершенное тело, достойное высшего сы-существа. Тело, которое было бы пы-предельно жизнеспособно: пы-позволяло плавать, как рыба, летать, как пы-птица, без ущерба для здоровья спать в сы-снегах, существовать без ры-риска во всех земных сферах. Вплоть до абсолютной, фантастической сы-свободы — существования в космическом пространстве...

— Чур меня!— сделала круглые глаза лесничиха.— Что же у него и крылья, и хвост рыбий и копыта лошадиные будут? Это ваше совершенное существо, не при Григории будет сказано, вовсе и не человек, а совершенная скотина.

— Твоя бы-беда, Варвара,— не можешь ты абстрагировать себя от человеческого ры-рода, не можешь признать, что, может быть, что-то сы-совершеннее человеческого тела. Если бы червяк обладал сы-сознанием, мы бы казались ему мерзкими чудовищами. Существа, обладающие сы-совершенным телом, будут говорить: мы произошли от человека, как мы сы-сегодня говорим: мы произошли от обезьяны...

— Да по-божески ли это — так увечить человека?— ужаснулась сердобольная Варвара.

— Имеет ли пы-право на такой эксперимент человек? Имеет ли он право быть Богом? Я в Бога не верю. Но есть Бог, нет Бога — ничего не меняет. Человек — часть пы-природы. Природа давно творит себя через человека. Если есть Бог, значит Бог творит человека через человека. Поиск совершенной формы для достижения максимально возможной сы-свободы — божеское дело. Полезно и красиво все, что служит сы-свободе. Человек с совершенным телом будет свободен как Бог. Он избавится от такого необходимого зы-зла, как одежда, жилища, машины, и связанные с этими вещами пы-производства, истощающие природные ры-ресурсы. Зачем тебе электрический свет, если ты видишь в ночи, как днем? Зачем тебе сы-самолет, если ты летаешь, как гы-гусь? Зачем тебе подводная лодка, если ты ныряешь лучше кы-кита? Зачем шуба из меха котиков, если ты спишь в снегу, как в лебяжьем пы-пуху?

— Так это, не знаю как назвать, крылато-хвостато совсем обленится,— не сдавалась консервативная лесничиха.— Раз ничего не надо, оно и не будет ничего делать.

— Пы-понимаю,— усмехнулся профессор,— ты опасаешься, что совершенное ты-тело станет причиной деградации человека, вернет его в мир животных?

При этих словах Григорий заелозил копытом по полу, нервно хлестнул себя хвостом по мускулистому заду и, подняв стопку, произнёс тост:

— Ну, будем!

Мутантов тост охотно поддержал, но нить мысли не потерял:

— Человек с совершенным ты-телом создаст совершенную цивилизацию, которая не будет противостоять пы-природе, а напротив того — сольётся с ней в единое целое. Бы-богатство, бы-бедность, власть — понятия эти потеряют всякий сы-смысл. Значение будет иметь только тело — здоровое, совершенное ты-тело. Это будет прекрасный мы-мир без оружия, отходов, гы-гадящих машин. Все развитие цивилизации пойдет через дальнейшее совершенствование человеческого тела...

Голова у Тима гудела, как печная труба. Думать было больно. Но он сосредоточился и подумал: "Должно быть, профессор Григория сватает. Прямо мартовским котом поёт. И заикаться, вроде меньше стал."

* * *

— Вот бабы!— пожаловался Григорий, поглаживая собственный круп.— Чуть что — сразу коромыслом.

— Осерчала?— посочувствовал Тим.

— Не то слово. Чуть не убила.

— Да ты, поди, сразу копыта и распустил?

— Ничего я не распускал,— виновато оправдывался Григорий, распустивши хвост.— Ну, прижал, конечно, слегка к косяку.

— Прижал,— передразнил его Тим.— Не кобыла все ж-таки. Женщина. Сколько раз повторять: не надо руки распускать, надо слова говорить.

— Слова?— удивился кентавр.— Какие слова?

— Ладно — записывай,— бодро сказал Тим и задумался, поскрёбывая шишку на затылке.— Да ври напропалую. Бабам чем больше врешь, тем больше верят. Ну, скажи, мол, коса у тебя туда-сюда, глаза у тебя — туда-сюда, губы — туда-сюда...

— Иди ты сам туда-сюда!— разочаровался Григорий.

— Да погоди, я еще про брови ничего не сказал,— обиделся Тим.— Мол, брови у тебя — туда-сюда — как коромысла.

— Уйди — залягаю!— рассвирепел Григорий.

— Да ты не переживай. Подумаешь — коромыслом его стукнули. Неженка какая! Кого коромыслом не били?

— Ничего у нас с Варварой не получится,— расстроился Григорий.— А если получится, то что получится? Я, к примеру, дитя имею в виду,— и отвернулся, скрывая крупные лошадиные слёзы.

— Ну, я уж и не знаю, чем твоя фигура плоха,— в недоумении пожал плечами Тим, похлопывая Григория по лошадиной спине.— В спорте тебе бы вообще равных не было. Скажем, на длинных дистанциях. Что касается дитя — хуже тебя не будет. Мне, если честно, вообще кентаврята нравятся. Такой, блин, ребёнок-жеребенок, шалун, понимаешь. Скачет себе вокруг тебя. Чего плохого? Ничего плохого не вижу. А этих женщин, ты извини, я вообще не понимаю. Чего им ещё надо? А ты что в чулане-то делал?

— Бредень хотел взять. Думал: сходим с тобой на Линевое, забредём раз несколько. Когда гляжу — Варвара из ларя муку набират. Ну, и не стерпел. Уж больно нравится мне, как она из ларя муку набират.

— Ладно. Не переживай. Постой здесь, а я за бреднем сбегаю. Карасей, действительно, принесем, вот Варвара и подобреет.

— Ты только, того,— крадче,— предупредил Григорий,— как бы старикашка за нами не увязался. Все уши прожужжал, слепень плешивый. Так и увивается возле лесничихи, так и просится на грех. Так бы и саданул копытом по лысине.

Посмотрел Тим, как яростно хлещет себя товарищ хвостом по крупу, и удивился:

— Ревнуешь что ли? Он же старик!

— Если к человеку можно полконя пришить, отчего к старикашке не пришить чего помельче,— поделился мрачными подозрениями Григорий.— Ты, допустим, где спишь? На сеновале. Я вообще на воле. А этот прохфессор кислых щей из хаты не вылазит. Не знашь ты, Тимохфей, этих очкариков. Не доверяю я очкастым. Где-то видел я его раньше. А где — не вспомню. Видать, с большого бодуна был.

* * *

Размотали бредень.

Григорий по глубокой воде пошёл.

Тим, снявши одежду,— по-над берегом, вдоль травы. Из прозрачной мели белыми ягодицами сверкает. А кого стесняться? Это раньше от весёлой жизни народ толпами по лесам шатался. Отдыхать уставал. А чего не шататься, если транспорт общественный, считай даровой. Да и бензин смешные копейки стоил. Не жизнь — один сплошной беззаботный праздник. Только стал отдыхающий народ задумываться: говорят, за бугром люди еще шибче отдыхают и не хрена не делают. Очень позавидовал наш народ ихнему. Стал себя до слез жалеть, шуметь и не хрена не делать. Друг на друга орать. Тут развал и случился. Кончилось баловство. Ни электричества, ни работы. Одна светлая мечта буржуем стать, чтобы соседа через плетень кондрашка от зависти хватила. Затосковал народ и леса с озерами до лучших времен в покое оставил. Нет худа без добра. Такое безлюдье, словно на всей планете двое и остались — Тим да Григорий, не считая стрекоз с комарами и прочей живности. Все рыбачьи просеки на Линевом ежевикой и смородиной заросли, хмелем переплелись. На за сто лет вытоптанных тропинках тальниковые прутики проросли. Вот так встретишь незнакомого человека в глухомани и спросишь, опешив от неожиданности: "Ну, как там дела, на Земле?"

Меньше народу — больше свободы.

— Заводи к прогалине!— командует Тим.

Григорий, громко фыркая, выходит с ускорением на берег, волну перед собой гонит. У прогалины ил вязкий и холодный, как снег. Должно быть, серебряные ключи бьют.

Вытащили бегом бредень на берег. В мотне живое золото ворошится. Линьки с карасями. Черноспинные, бока жаркой медью отливаются. Вытряхнули — почти полкорзины.

— Что это за рыбалка,— выбирая из улова гальянов и прочую мелочь пузатую, жалуется Тим.— Не люблю я эту браконьерскую снасть. Гребешь рыбу, как деньги лопатой. Раз-два — и конец ловле.

Повыбрасывал мелюзгу в озеро и советуется с Григорием: — Еще раз что ли забрести?

Забрели.

Стали выходить — бредень за что-то зацепили — и ни с места.

Видать, корягу поймали, а то и остов трактора. Сколько их по веснам под лёд ушло. Как бы сетку не порвать. Добро-то чужое.

Остановились.

А бредень из рук вырывается, на глубину тянет.

Щука!

Повозились и поорали в удовольствие, пока вытащили.

Не щука — крокодил в тине!

Донная, черноспинная, мохом поросла. Глаза, как два будильника. Один с бельмом. Хвост, что твоя лопата-грабарка. Как хлестанет поддых — Тим и сел. А сама — к воде. Григорий видит такое дело — копытом по щучьему черепу и припечатал.

Успокоилась, родимая.

Без малого два метра. И весом, поди, не меньше центнера.

Ничего не скажешь — красавица желтобрюхая. Только тиной воняет.

Соорудили волокушу. Впрягся в нее Григорий и попёр улов по бездорожью. Только шелест стоит.

— Нет, что ни говори, а нравится мне твоя фигура, Гриша,— высказал одобрение Тим.— Что бы мы делали, если бы у тебя такой фигуры не было?

— Нравится, говоришь?— с подозрением покосился на него кентавр; насмешки не обнаружил, но все-таки не поверил:— Может, сам таку фигуру заиметь желашь? Так я тебе подскажу, где таки фигуры мастерят.

Однако сердиться не стал.

— Садись,— пригласил,— чего даром ноги бьёшь.

* * *

Положили щуку на козлы — бревно бревном! Хвост до земли свисает, пасть расшиперила — смотреть страшно.

У волкодава шерсть дыбом, охрип, лаючи.

Профессор Мутантов, одевши очки и рукава закатавши, вспорол рыбину десантным ножом, оставшимся у Варвары в память об одном из усопших мужей.

Брюхо и разверзлось. Выпоротки так и посыпались.

Чего только не наглоталась разбойница. Щука без малого в пуд. Селезень. Болотная курочка. Три куличка. Ондатра. Всякой белой рыбы не в счет.

А это что такое?

Оббили об полено, оттёрли травой — ё-моё!— золотой портсигар с царским гербом на крышке.

Открыли — папирос нет.

Григорий на портсигар жилистую лапу и наложил.

Повертел, повертел, а куда сунешь? Кругом одно голое тело.

Вот он засмущался и говорит:

— Это вам, Варвара Парамоновна, от всего обчества,— и пояснил, потупившись.— За хлопоты и беспокойство.

— Да я ж, вроде, и не курю,— игриво возразила для приличия лесничиха.

Однако подарок приняла.

Мутантов плотничьим метром, оставшимся от другого мужа Варвары, научные измерения сделал и в блокнотик для памяти записал, пожалев, что среди супругов лесничихи не оказалось ни одного фотографа. Как бы сейчас аппарат сгодился!

Щуку на чурки распилили, мелко топором изрубили и на корм курам да свиньям употребили.

Волкодав свою долю жрать не стал.

Побрезговал.

Щучью голову профессор себе забрал. "Чи-чучело,— говорит,— сделаю и в кабинете на стену повешу. А в пасть красную лампочку вставлю. Такого светильника ни у кого нет. Буду гостям хвастаться. Скажу — на бы-блесну поймал."

* * *

Славно жили Тим с кентавром Григорием на кордоне, в хозяйстве забытой начальством лесничихи.

Пилили, кололи дрова и в поленницы складывали. Зимы на три впрок топлива заготовили.

Тим косил, а Григорий, впрягшись в телегу, сено поближе к дому подвозил и в копну сметывал. Столько заготовили — иному колхозу бы хватило.

Плетень свежей талой обновили.

Жили как в раю.

А, пожалуй, что и лучше.

Вряд ли в раю к столу парное молоко подают или, скажем, маринованные маслята, жарёху из белых грибов, не говоря о карасях в сметане. Уже молчу о самогоне из березового сока в банный день. Ангельский напиток.

Стопочку приговоришь и на вилку малосольный груздочек подцепишь. Размером с советский пятачок. Занюхать.

Выпил после парной, закусил и вот они — открываются небесные врата.

Одна досада — профессор Мутантов под ногами путается. Заколебал своей новой цивилизацией. Как сядет за стол, так и предаётся умственному блуду. Аппетит разгоняет.

Тим пищу угрюмо жуёт, а сам думает: "Вроде бы и заикаться меньше стал? Мало я, видать, в тот раз воды в презерватив налил. Надо было бы больше."

А Григорий — простая душа — вообще к словам не прислушивается. Он к профессору, как к радио относится. Кто к нему прислушивается? Болтает себе — ну и пусть болтает. Будто ветер в трубе шумит или дождь по крыше барабанит. Какое дело Григорию до новой цивилизации и полного слияния с природой? Он всё больше украдкой глаза на лесничиху косит и внутренне вздыхает от изобилия женской красоты. И этот подавленный вздох ознобом содрогает его мускулистое тело. Вроде как мухи ему досаждают.

Одна Варвара с ужасом внемлет безбожным речам профессора. Терпение её порой лопается и, вспыхнув густым румянцем, начинает она ему перечить. Причём столь яростно, что кажется вот-вот и в ход пойдёт последний аргумент сельской женщины — кленовое коромысло.

— Да как можно из людей-то скотов делать!— в ужасе схватившись за соблазнительную грудь недоумевает лесничиха и при этом пытается томным взглядом испепелить профессора.— Злодейство какое!

— Добро, зло,— дирижируя собственной интонации вилкой с наколотым грибком, размышляет нараспев Мутантов и с сатанинской ухмылкой высказывает мнение, заставившее онеметь лесничиху.— Добро, любезная Варвара Парамоновна, оно и есть зы-зло. А зло — ничто иное как ды-добро. Это нечто целое и его не распилить, не расколоть на добро и зло в чистом вы-виде.

— Да что вы такое говорите, господь с вами!— восклицает лесничиха в возмущении.— Прямо аппетит потеряла! Как можно такое говорить!

Что есть, то и говорю. Уж не обессудьте. Назовите, хотя бы одно ды-доброе дело, которое рано или поздно для кого-то не обернулось злом. Не трудитесь, мы-матушка. Нет такого добра, чтобы не было злом.

Да не волнуйтесь вы так ради бы-бога. Это же очень хорошо, что добро есть зло и зло есть добро. Если бы они существовали раздельно — вот когда надо было бы волноваться. Как это почему? Они непременно вступили бы в схватку и кто-то кого-то бы одолел. Скажем, зло. А если бы и добро — тоже радости мало. Добро без зла — зло. Вот в чём ужас. А в нашем случае — полное, неистребимое ры-равновесие. Победило зы-зло — победило и ды-добро. Всё в порядке. Ничего не изменилось. Какая разница, кто победил! Ни зло, ни добро неистребимо. Нет такого злодейства, которое не обернулось бы добром. И думать надо не о том, чтобы добро победило зло, а лишь о том и исключительно о том, чтобы не нарушить ры-равновесие доброзла и злодобра.

Вот почему сы-совершенное тело — это совершенное равновесие добра и зла, ангела и бы-бестии,— вернулся к излюбленной теме Мутантов.

— Как же вы говорите, что добро это зло,— всплеснула полными руками красавица-лесничиха,— а рай,— перекрестилась,— тоже зло?

— Рай, коммунизм — это, голубушка, сказочные категории. Такие совершенные отношения человечеству не грозят. По той же причине, почему коммунизм не возможен среди тараканов.

— Ой, не любите вы людей, ой, не любите,— с ужасом и осуждением покачала головой Варвара.

— А за что их любить, сы-солнышко? Что такое нынешние люди? Вирусы. Планетная бы-болезнь. И ничего более. Давайте сегодня мы не будем говорить о жы-женщинах. Женщин мы обязаны любить, лелеять и плести всякий ры-романтический вздор. Давайте поговорим о мы-мужиках. Вот сравните: Тимофей и Григорий. Тимофей — царь природы...

Тим перестал жевать и выпучил глаза.

— ... не самый худший экземпляр. Довольно развитое для современного человека ты-тело. С него только скульптуры лы-лепить и выставлять в мы-музеи. Крутой лы-лоб. Мыслитель! И чем вы думаете занимался этот гы-гумано-

ид?— мгновенно загоревшись гневом, спросил Мутантов и, крайне опечалившись, смиренно ответил.— Он сбрасывал на гы-головы пы-прохожим пы-презервативы, наполненные вы-водой. Вот вам ваш человек...

А теперь возьмём Гы-Григория.

Тим, с облегчением вздохнув, вернулся к прерванному занятию, мрачно зачавкал. Настало время Григорию прервать ужин и выпучить глаза.

— Разве способен Григорий сбрасывать на прохожих пы-презервативы с четвертого этажа?— спросил Мутантов таким тоном, что ответ был очевиден.— Нет, нет и нет! Дикую, страстную, бы-благородную душу самой природы не могло испортить даже пы-прошлое Григория. Мне остаётся только надеяться, что общение с ним пы-положительно повлияет на Тимофея. Хотя, признаться, лично я с трудом в это верю. Наблюдения за взаимоотношениями этих индивидуумов дают богатую пищу для размышлений. Вы заметили, Варвара Парамоновна, как они ведут себя в пы-процессе совместного труда? Григорий — простая душа — работает, как кы-конь. Простите, Григорий, я хотел сказать, что вы берете на себя большую и самую тяжёлую часть работы. А что же Ты-Тимофей?

При этих словах кентавр с подозрением посмотрел на товарища и весь превратился во внимание.

— Если они кладут на козлы бы-бревно, Тимофей заходит к тонкому концу, оставляя Григорию кы-комель. Все комлеватые и сы-сучковатые чурки колет тоже Григорий. А когда Григорий тянет воз сена на косогор в Журавлиной бы-балке, Тимофей цепляется за телегу. Вы думаете, чтобы подтолкнуть?

Григорий обернулся к Тиму и с укором посмотрел на коварного друга. Тим пожал плечами и сделал непроницаемое лицо; выражение, про которое в народе говорят: "морда лопатой".

— Я уже молчу о том, что Тимофей ни разу не попытался пы-помочь вам, Варвара Парамоновна, в то время как Григорий сы-скачет сломя голову, чтобы взять у вас пы-полные ведра воды. Это ли не пы-природное бы-благородство! А случай с Полканом? Да, он ударил его, грубо говоря, кы-копытом. Но он и не бы-бросил умирать животное в лесу. Григорий принес раненое животное на руках и пы-повинился в содеянном. Отмечу, что это была простая

ы самооборона без оружия. Он пришёл сюда, рискуя многим, потому что не мог бы-бросить друга в бы-беде. А друг его в бы-беде бросил. Он и не подумал сы-спасать его от ры-разъяренного пса, а напротив того, цинично воспользовавшись случаем, проник в кы-курятник. Вот вам, Варвара Парамоновна, пы-повод порассуждать на тему, как влияет более совершенное тело на нравственность человека. Или вы со мной не согласны, Тимофей?

— Я чо? Я ничо,— ответил с присущим ему красноречием опальный царь природы.— Григорий, согласен, мужик надежный. Будь я, не дай Бог, женщиной, и думать бы долго не стал. Плюс ко всему он ещё и плотник. Я уж не говорю об остáльном. На кордоне лучше мужика и не надо.

— Коварная человеческая натура,— прокомментировал профессор Мутантов искренние слова.— Хвалит Григория, чтобы от сы-себя упрёки отвести.

"Вот, блин, привязался,— обиделся Тим и сунул в рот огромный кусок пирога.— Подпустить бы твоего Григория к кобыле, вот тогда бы и посмотрел на его благородство."

— Дык,— вмешался в разговор Григорий,— Тимохфей за тонкий конец не из хитрости хватат, а потому как я завсегда за толстый берусь. Потому — сильнее. И за телегу тоже — большое дело!— мне не чувствительно.

Однако про сучковатые чурки ничего не сказал. Затаил обиду.

* * *

— Что это Полкан брешет? Никак к нам гости?

Лесничиха раздвинула шторки и, сделав ладони лодочкой, приникла к ночному окну.

Григорий порывисто встал из-за стола и, бряцая копытами по полу вышел вон из избы.

— Людей бы-боится,— пояснил очевидное профессор.— Думаю нет пы-причин говорить кому бы то ни было о Григории.

— Козе понятно,— согласился Тим.

Между тем собачий лай сорвался на нервное повизгивание.

— Чур меня! Чур!— вскричала лесничиха, отпрянув от окна.— Петрович! Сходи-ка в чулан за ружьём.

Тим подошёл к окну.

Над лесом стояла голубая пирамида света. В ее основании золотились вершины деревьев. Перепуганная стая боровых голубей металась в луче, как чаинки в стакане.

— Должно быть, вертолет,— сказал спокойно профессор, вернувшись из чулана с двустволкой и патронташем.

— Что-то не видел я до сих пор бесшумных вертолетов,— засомневался Тим.— Дайте-ка ружьё, профессор.

Мутантов ружьё отдал, но патронташ из рук не выпустил.

Вдруг неподвижный до этого луч резко метнулся в сторону, на мгновение ослепив смотрящих в окно.

В огромном световом пятне, будто на арене цирка иноходью бежал кентавр Григорий. Его тело было ослепительно белым, с серебряным отливом, а рыжие волосы — красными.

Тим вырвал из рук профессора патронташ и выбежал на воздух.

Световая пирамида удалялась от избы со скоростью лошадиного галопа.

Тим побежал за светом, но уже через минуту понял всю тщетность погони. Тогда он сделал еще более бесполезное: бабахнул дуплетом по вершине голубой пирамиды, до которой было с версту.

Долго бежал Тим за бесшумным светом через лес, прикрываясь рукой от хлещущих по лицу веток и спотыкаясь о корневища. На пути встретилось озеро и он с разбега бросился в его черные воды. Запутался в траве и едва не утопил ружьё. Когда же вскарабкался на противоположный берег, увидел обыкновенное звёздное небо без каких-либо странностей. Два спутника блеснили небо на пересекающихся курсах — и больше никакого движения.

* * *

В такую ночь разве заснешь?

Полкан всё никак не мог успокоиться. Голос давно сорвал и сипло выл, задрав морду к ночному небу.

Ходики торопились, как перед концом света.

Профессор Мутантов странно улыбался. Протирал носовым платком стекла очков, смотрел через них на огонь керосиновой лампы и снова протирал.

Переодетый в галифе и гимнастерку одного из мужей Варвары, Тим шлепал босыми ногами по половицам, вышагивая от печи до окна и обратно, всякий раз обходя хо-

шйку, сидящую посреди избы на табурете с ружьём на коленях.

— Налила бы ты нам, сестрица, самогоночки,— нарушил молчание профессор.

Выпив стопку, подумал вслух:

— Ясно одно: они прилетали за Григорием.

— Бедный мужик,— пожалела кентавра Варвара.— Мало того, что изуродовали, так и жить спокойно не дают, ироды. Кому он мешал? Жил бы да жил себе на кордоне, безобидное созданье.

— Пы-прерванный эксперимент,— объяснил, зловеще сверкая очками, Мутантов.— Сбежавшая ты-тайна. С клеймом "Совершенно сы-секретно". Вот что такое Григорий. Мы с этой тайной общались, пили сы-самогон, беседовали. Мы все в опасности. Поэтому — чок-чок, зубы на крючок. Мы ничего не видели, ничего не сы-слышали.

— Напугал бабку замужеством,— ответила Варвара дрогнувшим голосом.— А чего мы знаем? Ничего не знаем. Да кому и рассказать — не поверят. Я сама себе не верю.

* * *

Прошло три дня.

Григорий не возвращался.

На четвертый день Тим сказал лесничихе:

— Пойду я, Варвара Парамоновна, Григория искать.

— Да где ж ты его искать будешь?

— Поди не иголка. Личность приметная. Я сапоги ваши возьму?

— Босиком я тебя отпущу что ли? У меня этих сапог еще четыре пары. А то бы остался?

Собрала она ему рюкзак. Фуфайку одного из усопших мужей заштопала и, провожая, сказала:

— А не найдешь — возвращайся. Кому мы там нужны? Радио слушать тошно, что творится.

Профессор Мутантов пессимизма подпустил:

— Бесполезная затея, Тимофей. Люди, судя по техническому оснащению, сы-серьезные. С такими лучше не связываться. Да и люди ли это? Вы-вопрос. Вы хоть пы-приблизительно знаете, где искать?

Приблизительно Тим знал.

Но он также знал, что язык — не помело и не ботало. Да и с чего ему было с профессором Мутантовым откровенничать? Ишь, глазки хитрые сделал, старый хрыч.

— Знал бы прикуп, можно не работать,— туманно ответил Тим. Профессор тоже был старым преферансистом и только вздохнул в ответ с лицемерной печалью.

Кто его знает почему, но пошел Тим в противоположную предполагаемому направлению сторону.

На всякий случай.

Волкодав проводил его через березняк, а у лесопосадок остановился. Хвостом на прощание не махал. То ли привычки такой не имел, то ли не уважал незваного гостя.

* * *

На третьи сутки, едва не утонув в трясине, в клочья изорвав о шипы боярышника фуфайку, Тим дошёл до теплых ключей. Погрузил уставшие ноги в парные воды и стал ждать долгого ночного дождя. Именно в обложной дождь, как объяснял с похмелья Григорий, к НИМ можно подкрасться незаметно. Но, как назло, стояла ясная погода. Дни проходили за днями, рюкзак опустел. В конце концов Тим решил не только ночного дождя, но и самой ночи не ждать. Вырезал шест из молодой осины и с кочки на кочку запрыгал всё дальше от твёрдой земли в уходящее за горизонт болото по дороге, которой никто не ходил.

Уже через час вся планета представлялась ему одним болотом. Куда ни посмотри — одна и та же грязь, с торчащими из нее верблюжьими горбами кочек. Через два часа он провалился в трясину. Выкарабкался, но оставил в вязкой хляби сапоги покойного мужа лесничихи.

Мысль вернуться пришла именно тогда, когда он понял, что потерял все ориентиры и не знает, куда собственно идет. Зарядил нудный дождь. Ночами он спал прямо в грязи, обняв кочку.

Тим превратился в ком грязи, утерял счет дням и ночам. Больше того, он утерял смысл своего движения.

Голод, мучивший его несколько дней, пропал и настало великое спокойствие. Ему было наплевать на этот дождь, на это болото и на самого себя. Мозги словно заледенели. Он не осознавал ужаса бессмысленного движения.

Просто шёл по грязи, а когда уставал — спал в грязи. Проваливаясь в засасывающее месиво, неторопливо выворачивался из него винтом и снова прыгал с кочки на кочку, не поднимая глаз, оцепенев от однообразия. Когда хотел пить, зачерпывал кепкой ржавую воду и подставлял рот под отцеженную тканью струйку.

Однажды Тим обнаружил, что почва под ним не пружинит. И именно от этого его здорово покачивало.

Он поднял голову и увидел стену тумана.

Белый забор до самых облаков. От горизонта до горизонта.

Сначала это был просто туман — белый, прохладный пар. Но чем дальше Тим в него погружался, тем непроглядnее становилось облако, делалось густым, вязким, пока не достигло консистенции клея. Тим проткнул этот клей рукой — пальцы его встретились с плотностью стеклобетона.

Кислород быстро сгорал в крови, и Тим заспешил назад из этой белой трясины.

Выйдя из облака, он побрел по границе тумана. Босые ноги его покалывала колючая, растущая пучками трава. Встречный ветер продувал насквозь, но и клочка не отрывал от белой стены.

* * *

Труба, о которой рассказывал Григорий, была обыкновенной бетонной трубой в рост человека, какие ставят в грейдере для водослива. Она была затоплена небольшим озерцом, уткнувшимся в стену тумана.

Видимо, раньше здесь проходила насыпь грейдера или какого другого технического сооружения, а при возведении великой туманной стены на трубу не обратили внимания. Хотя, может быть, труба обслуживала какую-то надобность затуманья.

Тим встал на колени и долго по-звериному пил воду, пока не утолил многодневную жажду. Потом он скинул фуфайку и вошёл в воду, оставляя за собой ржавый след болотной грязи.

Если что-то делать, то делать сразу, с первой попытки, пока в тебе не проснулся трус.

Дойдя до трубы, Тим набрал в лёгкие воздух. Так много, что ещё чуть-чуть — и затрещат рёбра. Погрузился

с головой в воду и, с силой оттолкнувшись от коряги, нырнул в трубу.

Сотни окуней заметались перед ним в тесном пространстве. После секундной паузы они выстроились в плотное стадо и зеленой змеёй заскользили к далёкому отверстию, за которым угадывалось солнце.

Тим умел бегать по дну. Техника эта намного эффективнее всех других способов ныряния. Сложившись крылом, так что голова едва не касалась дна, а встречный поток, ударяя в спину, не давал распрямиться, он не часто, но с силой отталкивался от покрытого водорослями бетона. В этом положении Тим смутно различал и входное и выходное отверстия трубы, что позволяло при необходимости вернуться.

Чем дальше он погружался в трубу, тем холоднее становилась вода. Его бег сопровождался гулким дребезжаньем. Единственной его заботой было не сбиться с ритма.

Когда входное и выходное отверстия сравнялись в диаметре, он понял, что миновал точку возврата. Сердце лупило по ушным перепонкам. Роистое тело рыбьей змеи закрыло выход, лишив горизонтальный колодец скудного света. И в эту секунду Тим наступил на скользкое тело налима. И Тим и налим одновременно испытали ужас. Метровая рыба чёрной тенью метнулась по трубе, ударяясь о стенки. Тим чуть изменил положение головы, но этого было достаточно, чтобы водяная струя ударила его в грудь. Стукнувшись затылком о потолок, он выпустил остатки воздуха.

Но страх вплеснул в кровь новые силы. Тим согнулся и, теряя сознание, выпучив глаза, побежал.

Он не помнил, как преодолел остаток пути: плыл ли Ихтиандром, отталкивался ли поочередно ногами от дна или содрогался в судорожных движениях — он вынырнул за десятую долю секунду до того, как потерять сознание.

Воздух был вкусен. Его можно было пить, как холодный квас в жару. Чем больше пьёшь, тем сильнее хочется. Его можно было есть, глотая непрожеванными кусками и давясь. Тим ни с кем не собирался делиться этим воздухом. Он убил бы любого, кто посягнул бы на его воздух.

* * *

Надышавшись, Тим открыл глаза и увидел залитый солнцем запретный мир.

Чистое озеро, в меру заросшее камышом. По одну сторону — белые, по другую — жёлтые кувшинки. Крутые берега, по которым ярусами поднимается обычная растительность. Краснотал навис над водой. По запаху чувствуется — много в нем ежевики и смородины. Чуть выше — черемуха и волчья ягода, черные и красные дробинки ягод. Хмель. А на самом верху — разлапистые, с ослепительно белой корой березы.

Ни одного поруба, ни одной сломанной ветки.

Рай.

Рай, понял Тим, это место, где нет человека.

Рано, однако, обрадовался. За первым же мыском увидел он аккуратную просеку, заканчивающуюся бревенчатым настилом на четырех сваях у границы чистой воды.

На настиле, подстелив под себя охапку сена, сидел старичок и, то ли разомлев от хорошей погоды, то ли просто от настроения болтал бесцельно ногами. Соломенная шляпа с дырявым верхом. На стёклах очков зайчики посвёркивают. За спиной старичка со скучающим видом лежат на бревнышках старый пёс жалкого вида и котёнок со слезящимися глазами. На самом кончике телескопического удилища покачивается воробьишка. Нашел Луна-парк.

— Ишь пы-пристроился,— говорит старичок Тиму, показывая глазами на воробья, а сам радушно улыбается.

Если бы Тим на месте профессора Мутантова увидел чёрта с рогами, он бы не так перепугался.

— Что за дела!— только и сказал он, размышляя, не повернуть ли снова к трубе.

— К осине вы-выплывай,— указал Мутантов на дерево слева от себя,— да не плещись так — рыбу пы-перепугаешь.

Странное впечатление производил этот почти незатоптанный людьми мир: будто закрыл от метели глаза, а открыл — зимой и не пахнет. По ту сторону трубы ветер рябил воду, а здесь она была гладкой, как в бассейне. Там, за туманом, не росло ни одного деревца и до самого горизонта тянулись болота, здесь же все зеленело, благоухало и щебетало.

— Ишь как ты-тебя колотит. Замёрз?— участливо спросил профессор и пожурил негостеприимную собачку.— Мы-молчать. Тявка, свои!

Благостно зевнул и стал неспеша собирать удочку, вкладывая коленце в коленце, объяснив:

— Ы-кончился клёв.

Поднял из воды садок, который в ту же секунду зашелестел изнутри и вспыхнул радугой брызг. Порылся рукой в живом серебре и, выбрав рыбку, бросил её котёнку. Воспитанный пёсик не стал отбирать пищу у слабого, а свесил голову набок и застучал хвостом о настил, дожидаясь своей доли. Ам!— и проглотил не жуя рыбешку на лету. Та, наверное, еще долго трепыхалась в собачьем желудке.

— Возьми-ка,— протянул профессор Тиму улов и, кряхтя, поднялся на плохо гнущиеся ноги, с тоской посмотрев на тропинку, бежавшую круто вверх.

Поднявшись на берег, они пошли наискосок по ковыльному косогору, между одиночных, невероятно кряжистых берез. Впереди — Мутантов, за ним — котёнок, за котёнком — Тим. Замыкал цепочку пёс, потерявший интерес к жизни. Ветра не было, но травы раскачивали кузнечики, сотнями перепрыгивающие тропинку по пути следования вереницы.

— Что-то плохо клевало сегодня,— пожаловался профессор и, распахнув дверь, врезанную в косогор среди кустов дикого вишарника, предположил.— Должно быть, ды-давление. Не зря с утра гы-голова кружилась.

Тим вошёл в нору и застеснялся мокрой одежды и грязных босых ног. Пол землянки покрыт бежевым ковроланом, на стенах — матерчатые обои. Огромный стол отражает светящийся потолок. Стильные кресла. Невидимый жужжит кондиционер.

— Мадина, гы-голубушка,— лаского кликнул профессор пустоту,— принеси нашему гостю одежду.

В стене бесшумно открылся проём.

С ленивой грацией пантеры вошла смуглая женщина.

В одной руке она держала рубашку, в другой — брюки, в третьей — тапки, в четвертой...

К тому, что держала в четвертой руке женщина, Тим потерял интерес. Он стал считать руки и насчитал их шесть.

Пы-поухаживай за молодым человеком,— ласково приказал Мадине профессор, светясь добродушием.

Шестирукая Мадина с покорностью рабыни прошла через холл и разверзла стену напротив. В проеме вспыхнул свет, обнаружив матовое сияние сиреневого кафеля и рассыпчатый блеск никелированной сантехники.

Развешав чистые одежды, Мадина в шесть рук в доли секунд сняла с Тима пропитанное болотом тряпьё.

— Пы-прекрасный экземпляр, пы-прекрасный!— откинувшись назад и прищурив один глаз, оценил Мутантов телосложение Тима.

От этой похвалы Тим почувствовал себя ежом, у которого колючки растут внутрь. "Возьмёт и разберёт на запчасти,— подумал он,— Или, того лучше, свою башку к моему телу пришьёт, а скажет — так и было. Злопамятный старикан!"

Тем временем бесстрастная Мадина одной рукой открыла холодную воду, другой — горячую, третьей измерила температуру смешанной струи, четвертой высыпала в пузырящуюся воду хвойный экстракт, пятой поправила собственную причёску, шестой пригласила Тима пожаловать в ванну. И все это практически одновременно. Прикрывшись по возможности руками, Тим погрузился в ванну, которую правильнее было бы назвать маленьким бассейном. Но несмотря на размеры, заполнилась она почти мгновенно. Как из водопада.

То ли от долгого голодания, то ли от новых впечатлений Тим пребывал в глубоком оцепенении. Не сопротивляясь, позволил он всем шести рукам Мадины вспенить свалявшиеся в колтун волосы и омыть пропитанное болотом тело. "Должно быть положено,— подумал он обреченно,— перед операцией". Не без сожаления покинул Тим пряные воды и тут же насухо был вытерт мохнатым полотенцем. На этом смуглянка не остановилась и с паучьей сноровкой, которой бы остался доволен самый зловредный прапорщик, облачила его в мягкие прохладные одежды.

— Это что такое?— спросил Тим, когда Мадина, выслушав распоряжения профессора, пересекла холл и была поглощена стеной.

— Сы-секретарша,— пояснил Мутантов и, встретившись глазами с незваным гостем, развел руки.— Не спорю

— не совсем удачный эксперимент. Хотя как пы-посмотреть...

— Как можно?— не то возмутился, не то удивился Тим.

— В принципе, мой мы-молодой друг,— бодро сверкнул очками профессор,— человеческое тело можно совместить даже с ры-растением. Скажем — с бы-березой. Вы хотите совместиться с бы-берёзой? Шучу. Уж если и совмещаться, то с сы-секвойей, мы-мамонтовым деревом. Живи себе ты-тысячу лет. А, может быть, и больше.

— С ума сойти!— испугался Тим.

— Вам это не гы-грозит,— успокоил его Мутантов, ехидно прищурившись.— Пы-понимаете — не с чего сходить.

"Вот уродище!— обиделся про себя Тим.— Знать бы раньше, чем он занимается, я бы на него штангу с четвертого этажа сбросил."

Вслух же сказал громко, но не совсем уверенно:

— Со мной эти шутки не пройдут!

— Какие шы-шутки?— удивился профессор Мутантов.

— Ну, там — полчеловека — полконя,— объяснил Тим,— шесть рук, шесть ног, посредине рожки...

— Не хотите обзавестись сы-совершенным телом?— пуще прежнего удивился профессор.— Тогда ради чего, гы-голубчик, вы к нам пожаловали?

— Сами знаете — Григория искал,— раскаялся Тим, застыдившись душевного порыва.

— Должен вас ры-разочаровать: этой бестии здесь нет.

— Как нет, если за ним прилетали. Я сам видел.

— Ушёл. Растаял в нощи аки тать. Глупейшее, между нами, существо ваш ды-друг. Слышал я о людях, которых прогоняли из ры-рая, но чтобы променять рай на ад — это выше моего ры-разумения.

— Рая нет,— сказал Тим хмуро,— и ада нет.

— Это пы-почему?— удивился профессор.

— Вы же сами говорили: нет добра и нет зла, а есть доброзло,— уел его Тим.

— Сы-соображаете,— польщенный цитатой, подобрел профессор,— хы-хороший бы из вас кы-кентавр получился!

"Ох, и отыграется на мне старикашка за невинную шутку..."

Как бы подтверждая самые мрачные предположения Тима, профессор в порыве вдохновения энергично закружил вокруг стола, азартно рассуждая:

— А что, мы-молодой человек, если совместить мужскую особь с женской? Облагородить гы-грубое мужское начало? Совместить бы вас, допустим, с самкой горного козла? Бы-благородное животное! Здесь есть мысль. Есть!

* * *

Тим проснулся в абсолютной темноте.

Потянулся.

И с ужасом захлопал себя по телу. Ага, руки — вот они. Ноги на месте. Хвоста нет? Нет! Ни рогов, ни копыт...

— Уф!

Обшарив темноту, спустил ноги с лежанки. Встал на ноги. Тотчас же вспыхнул свет. Из черноты возникла комната. Кровать, стол, стул, книжные полки. Стены без намека на дверь.

"Замуровал, старик Хоттабыч!"— подумал Тим и помянул профессора нехорошим словом.

Натянул на себя тесные одежды и подошел к стене — ощупать что к чему.

Стена под ладонью возьми и распахнись.

"Нет Григория — и мне здесь делать нечего,— размышлял Тим, покидая профессорский блиндаж и озираясь по сторонам.— Главное — до трубы добраться. На планете места еще много. Заберусь в такую глушь — никакой луч не высветит. Ишь ты мудрозвон какой: с самкой горного козла я еще не совмещался!"

Без всплеска вошел Тим в воду и тихо поплыл вдоль камышей к стене-облаку.

Отверстие трубы было перекрыто свежесваренной решеткой.

Арматура толщиной в человеческую руку.

Из нержавеющей стали.

Тим лег на спину и стал разглядывать уходящую до самых облаков стену тумана. Пробить её невозможно, вскарабкаться по ней нельзя.

Рядом плюхнулась утка и добродушно раскрякалась, приняв Тима за безобидного представителя животного мира.

В траве, раскачивая тростинки и чмокая, кормились караси.

Утро было прекрасное, вода теплая, а настроение — ни к черту.

"Не удрать,— подумал Тим с тоской.— Разве что попросить профессора крылья приделать? "Летят перелетные птицы..." Надо бы вдоль тумана прогуляться: может быть, где-нибудь какая-то щелочка и отыщется"...

Рядом маленькой подводной лодкой всплыл зеркальный карп.

"Свинья свиньёй,— уважительно подумал о нём Тим и продолжал размышлять о свободе.— А если не отыщу новую трубу — где-нибудь здесь же и спрячусь. Большая радость, если профессор мою башку к этому карпу привинтит!"

С правого берега, отвлекая от мыслей, потянуло вкусным дымком костра, на котором готовят пищу.

Завороженный запахом, Тим тихо поплыл на чуть слышные человеческие голоса.

* * *

Тим осторожно раздвинул камыш.

У костра сидело густошерстное существо. Со спины его нельзя было отличить от медведя. Когда же оно отворачивалось от дыма, обнаруживалось вполне человеческое, хотя и довольно грубое лицо. Существо поджаривало на вертеле из свежеобломанного тальникового прута тушку птицы. Вместо когтистых передних лап из бурой шерсти словно из вывернутой наизнанку шубы, выглядывали кисти рук с короткими волосатыми пальцами.

Профессор Мутантов — ноги калачиком — сидел на песочке и зеленой тростинкой чертил перед собой геометрические фигурки, улыбаясь приятным мыслям.

С наветренной от костра стороны стоял человек-лось и кушал конский щавель. Когда слабый ветерок менял направление и дымок с запахом жареного мяса достигал его ноздрей, он с омерзением отворачивался и рукой разгонял воздух перед носом.

— Будь моя воля,— сказал человек-лось с гримасой осуждения,— я бы запретил сращивание с плотоядными животными.

— Согласен, коллега,— добродушно проворчал человек-медведь.— Более того — я бы не стал использовать и травоядных. Я бы предпочёл исключительно всеядных. Это универсально.

— Нельзя пожирать мыслящие существа. Это противоестественно,— не принял шутку человек-лось.

— Отчего же вы решили, что эта утка мы-мыслящее существо?— встрепенулся Мутантов.

— Профессор не читал Дарвина и Бергсона?— удивился человек-лось.

Может быть, чуточку чересчур удивился. В вопросе послышалась не только ирония, но и надменность. Мутантов поджал губы и сухо сказал:

— Профессор читал Дарвина и Бергсона. Ему бы хотелось услышать ваше мнение, Христофор.

Человек-лось скрестил руки, склонил голову на грудь и оттопырил губы, сосредоточившись.

— Я думаю,— важно сказал он после некоторого молчания, машинально ковыряя песок передним копытом,— у вас не вызовет возражения утверждение, что животные обладают интуицией. А что такое интуиция? Я долго размышлял и пришёл к выводу: интуиция — это мышление без слов.

— Мы-мышление без слов?— переспросил профессор, обводя геометрические фигурки рамкой.— Как это вы себе представляете — мы-мышление без слов?

— Профессор играл в детстве в футбол? Переходил речку, перепрыгивая с камня на камень? Дрался со сверстниками? Представьте себе: боксер каждое свое действие в поединке обдумывает словами. Это невозможно! Слова просто не поспеют за движениями и действиями ни самого боксёра, ни его соперника. И тем не менее боксер думает даже в самые динамические моменты. Он думает без слов, интуитивно.

— Скорее — инстинктивно, машинально, рефлексивно...

— Нет! Машинально — значит по заданной программе, не отступая от неё ни на шаг. Боксёр же по ходу поединка

корректирует свои действия, принимает неожиданные решения, обманывает соперника — и всё это без слов.

Если принять моё определение интуиции как мышление без слов, ни у кого не вызовет сомнения следующее утверждение: животные — разумные, мыслящие существа.

Человек в свете моего открытия выглядит очень неприлично,— Христофор метнул уничтожающий взгляд в сторону человека-медведя.— Он пожирает мыслящие существа! А когда он с пеной у рта доказывает: животные лишены разума, это биологические машины — разве озабочен он поиском правды? Нет, нет и нет! Он просто защищает своё право на пищу...

— Друг мой,— прищурился от дыма человек-медведь, переворачивая скворчащую тушку сырым боком к огню,— могу ли я предположить, что в первой жизни вы были вегетарианцем?

— Увы! Я был мерзким мясоедом,— смиренно раскаялся человек-лось и, усилием воли предолев тошноту, сознался в самом тяжком грехе.— Однажды я ел лосятину. Я пожирал собственную плоть! Этот кошмар преследует меня неотвязно. Мне снится мясной ряд. Трупы животных подвешены на крюках. И я, торгуясь, покупаю самого себя, чтобы тут же сожрать, давясь от жадности и чавкая. Я рву зубамы собственную плоть, перемалываю зубами живое, сочащееся кровью мясо, чтобы насытить неутолимый голод. И просыпаюсь от боли. Невыносимо болит шрам, соединяющий две моих ипостаси. Грех поедания животных нельзя замолить или оправдать. Этот акт ничем не отличается от канибализма.— Христофор тяжело дышал, глаза его горели пророческим огнем, на голом черепе выступили крупные капли пота, он гневно погрозил кому-то пальцем и подвел итог своих рассуждений:— В будущем сообществе животноводческие комплексы, фермы, птицефабрики будут расценены как преступление, не меньшее, чем создание концлагерей!

— Я не уверен, Христофор, что ваше определение интуиции применительно к бессловесным существам бы-бесспорно,— сказал профессор примирительно, стирая ладонью рисунок на песке.— Но ваши ры-размышления вызывают уважение. Хотя человечество вряд ли откажется от мясного ры-рациона.

— Со мной нельзя не согласиться,— вспыхнул с новой силой Христофор.— Моё доказательство — я сам. Если бы мои утверждения о разумности животных были ложны, я, нынешний, был бы невозможен. Вдумайтесь: мой мозг одинаково успешно управляет не только тем, что осталось от человека, но и телом лося. Тело животного подчиняется человеческому разуму. Можно ли найти более убедительное доказательство его разумности? Во мне слились не только материя, но и сознание двух существ. Я скажу больше — сознание везде, где есть материя.

Профессор пожевал тростинку и крикнул:

— Ну что вы прячетесь в ку-камышах, как гусь лапчатый? Для вашего ху-хилого тела долгое пребывание в воде чревато пу-простудой.

И когда Тим вышел на берег, трясясь в мелком ознобе, Мутантов спросил с ехидцей:

— Трубу пу-проведовали?— и понимая, что есть вопросы, которые лучше оставить без ответа, пригласил.— Подсаживайтесь, мы-молодой человек, к огню. Что у вас за мода такая — в одежде ку-купаться?

— Вот кто нас рассудит,— пробасил человек-медведь, отломил птичью ножку и протянул её Тиму,— кто из нас прав — сохатый или я?

Тим, засмущавшись, отвернулся от человека-лося и без лишних слов впился зубами в сочную, горячую и невыразимо вкусную мякоть. Челюсть свела судорога наслаждения.

Обгладав косточки дочиста, он повернулся к Христофору, с ужасом и сожалением наблюдавшему мерзкий акт канибализма, и сказал, разведя руки:

— Против природы не попрешь.

То ли медведя поддержал, то ли перед лосем повинился.

* * *

Пейзаж, открывшийся Тиму, был совершенно неприличен, но очень красив.

Чередование сопок, ложбин, озер и перелесков составляло фигуру лежащей на спине женщины.

Это была такая гигантша, что оживи она и топни ногой — пожалуй, земной шар сошёл бы с орбиты.

Тим стоял на согнутой в колене левой ноге и смотрел вниз на затопленное прозрачной водой и окаймленное густой черемухой лоно-озеро.

Левое колено было высшей точкой окруженного туманом мира.

На эту пирамидальную сопку Тим взобрался, чтобы высмотреть убежище, где можно было бы укрыться от профессора Мутантова.

Мир был не так уж и мал.

В нем вполне мог разместиться миллионный город.

Но нигде не было и намека на человеческое жильё.

И это радовало.

Хотя Тим уже знал о комфортабельной норе профессора.

Стоя на левом колене спящей женщины, Тим намечал маршрут. Сначала он спустится вниз и обследует район пупка, где, судя по насыщенной зелени, бьют ключи. Пересечет наискосок сосновый бор, покрывающий живот, и поднимется на правую грудь. Осмотрит причудливые каменные обнажения. А там уж решит, разглядев местность поближе,— спуститься ли по шее вниз к озеру-подкове, обрамляющему голову, или пройти по абрису лица. Но, пожалуй, лучше места, чем правая грудь не найти. Расстояние не позволяло судить наверняка, но, кажется, там можно было найти пещерки.

Ветер шуршал в волосах Тима.

Его глаза жадно пожирали незагаженную человеком природу.

Пока что лучшего места на земле, кроме, конечно, родного села в детстве, видеть ему не приходилось.

И бежать отсюда расхотелось.

— Туда не ходи,— услышал он за спиной печальный голос.

Оглянулся — стоит врубелевский пан. Только без свирели. В одной руке сучковатая дубина, в другой — корзина с дикой вишней. Вишня тёмная, чуть подвяленная. Перезрела. Дед косматый, как черт. Особенно ниже пояса. Штанов не надо. Копыто треснуто. В глазах такая тоска, будто зубы болят.

— Почему?— набычился Тим.

Не любил, когда ему указывают.

— Нельзя,— ответил пан и, ткнув дубиной в сторону каменной груди, пояснил.— Там снежники живут. Не любят, когда их тревожат. Могут и каменьями закидать. Что с них взять? Считай — обезьяны.

— А куда можно?— спросил Тим с некоторым вызовом.

Косматый подумал-подумал и ответил:

— Никуда нельзя. Пойдешь, скажем, к Кривому озеру — оленевики затопчут. У них сейчас самый гон. На север, за Белый провал тоже не советую. Тигровики обитают. Не знаю верить нет, но, говорят, и сожрать могут. В прошлом году ланевичка пропала. На них грешат. Разве что за ольшанник? Хотя кто их, верблюдей, поймёт? Про мелкосопочник не придумаю, что и сказать. Кто туда уходит — без возврата. Разное говорят. Оттуда шар и поднимается.

— Много же у вас национальностей,— подивился Тим.

А пан потоптался, потоптался и говорит негостеприимно:

— Шёл бы ты отсюда.

— А здесь кто живёт?— спросил Тим, насторожившись.

— Я здесь живу,— ответил пан.

Корзину на землю поставил. Дубину в две руки взял.

И так он это убедительно сделал, что не знаешь, чего и возразить.

— Извините, дедушка, я не местный,— вежливо раскланялся Тим и попятился вниз по склону, то разводя руки, то прижимая их к сердцу, растягивая уголки губ до зубов мудрости.

— То-то, я смотрю, странный ты какой-то. Половинчатый,— то ли осудил, то ли пожалел Тима пан.

Дубину на плечо вскинул и копыта шире плеч расставил. Так и стоял пугалом, пока нарушитель не покинул пределы его территории.

* * *

Девушка стояла по грудь в воде и плела венок из кувшинок. Кувшинка белая, кувшинка жёлтая... Вокруг неё кружились синекрылые стрекозы. Может быть, их привлекало тяжёлое, влажное золото волос, может быть,— спе-

лая замляника губ. Но скорее всего стрекоз ввело в заблуждение порханье длинных ресниц над синими хрусталиками глаз.

Зрелище намного приятнее мохнатоногого грубияна пана.

Тим подумал: "Неймётся же этому профессору — вот и русалку смастерил. Что же она зимой подо льдом живёт? Кто бы из самого Мутантова паука сделал. С большим бы удовольствием посмотрел."

Девушка одела цветочную корону и залюбовалась своим отражением. Насмотревшись, плавно разгребая руками перед собой воду, пошла к берегу.

Превращаясь в стройную лошадку. Белоснежную.

Хвост заплетён в косичку.

"Эта точно после Григория здесь появилась,— подумал сильно обалдевший Тим.— Я бы на его месте фиг отсюда сбежал, если бы такое чудо увидел."

Когда она вышла из воды вся, Тим понял, что никогда не видел таких красивых — ни девушек, ни лошадей.

Последний дурак будет, если не познакомится.

Вышел он из-за куста черёмухи и сказал бархатным, удивившим его самого, голосом:

— А что вода — тёплая?

Кентаврица вздрогнула и — с места в карьер — взлетела на крутояр. Венок обронила.

Схватилась за маленькую грудь:

— Ой, как ты меня напугал!

Тим проворно за венком сбегал, от песчинок обдул.

Выхватила она венок из его рук и отпрыгнула.

Опасается.

Тим себя за бороду потеребил и говорит:

— Ты не бойся. Это — чтобы комары не кусались.

Кентаврица подальше отбежала. Головой замотала — волосы сушит. Радуга над ней так и вспыхнула.

Нет, ничего более красивого в своей жизни Тим не видел. И что-то ему подсказывало — никогда не увидит.

— А я вот за грибами собрался,— сказал он, улыбаясь и демонстрируя пустую корзину.

— Тебе лучше за озеро,— посоветовала кентаврица, отжимая волосы, и указала глазами на противоположный берег.— Там под каждой берёзой подберёзовик. А в низине

сырые грузди встречаются. Если хочешь лисички, то они дальше — в осиннике. Хочешь — на тот берег перевезу?

— Вот еще я на девушках не катался,— засмущался Тим,— я уж сам обойду.

— Как хочешь,— сказала она, надевая венок на голову,— только в обход далеко.

Тим спустился к воде, разделся до плавок и одежду сложил в корзину. Вошел в воду с корзиной на голове и засмеялся.

— Ты чего?— спросила кентаврица.

— Мелюзга пятки щекочет, а я щекотки боюсь,— ответил он и спросил.— А ты грибы любишь собирать? А то пошли?

Кентаврица рассмеялась и, дробно стуча копытцами, умчалась прочь, растворилась среди белых берёзовых стволов.

Тим проводил ее глазами, до краёв наполненных восхищением и печалью. Очень бы ему хотелось бежать сейчас рядом с ней. Только куда ему на своих двоих! Не угнаться...

Вздохнул и поплыл на боку, подняв руку с корзиной над водой.

Вышел на берег, оглянулся. Где же это веселое озеро? Такая тоска! Почему так бывает: всё то же — и все не так. Ускакала белобрысая и настроение унесла.

В первый раз Тиму грибы собирать расхотелось. Нет, одному на всей планете остаться — плохо. Вдвоём — в самый раз.

Не заметив посторонних глаз, Тим стал плавки выжимать.

То ли ветер прошуршул в вершинах, то ли камешек с сопки скатился? Или смеётся кто?

Из-за березового ствола кентаврица рукой машет.

Солнце в два раза ярче засияло. Весело стало на озере.

— Ты что — озеро перепрыгнула?

— Зачем прыгать? За мыском песчаная перемычка есть,— ответила она и звонко захохотала, довольная розыгрышем.

Тим на нее не обиделся.

Кто обижается на красивых девушек?

"Погоди,— думает радостно,— вот оденусь, поймаю, тогда узнаешь, какие бывают шутки".

Только где там! Разве её догонишь?

Только перестук копыт раздробился о стволы да смех колокольчиком рассыпался в чаще.

Снова растворилась кентаврица в светлой березовой роще.

А Тим даже как звать её не спросил.

Солнце за тучу зашло. Листья зашумели про осень. Пусто не душе стало.

* * *

Христофор траву косил. Сено для себя на зиму заготавливал.

Проводил тёплым взглядом проскакавшую мимо кентаврицу, однако работы не прервал. Только подумал с легкой завистью о беззаботной юности и своих преклонных годах. Хорошо бы подружиться с этой дикаркой...

Предмет для размышлений был приятный. Но в это время в сектор его обзора попалась молодая осинка, бедной родственницей притулившаяся к березняку.

Велико было искушение, но философ сдержал первый порыв, вспомнив ворчание Андропа, человека-медведя: "Опять этот сохатый всю кору на осине обглодал. Чего он в ней нашёл? Горечь ведь голимая. А взять мёд. Чего лучше? А не любит."

Когда человек-лось вспоминал о медведе, настроение его портилось. Странное существо! Разве можно судить по себе об остальном мире? Нельзя очеловечивать или омедвеживать природу. Любишь ты мёд? Вот и люби, если зубы не жалко. Приятного аппетита! Тебя же за это никто не корит.

Разволновался лосевик и косу в землю вогнал.

Досада какая!

Выдернул сталь из дёрна, отёр пучком травы и под предлогом оббить, подточить — бочком-бочком — подкрался к осине.

"Ну почему я должен есть мёд, если мне нравится кора осины?— размышлял он, кося глазом на сладкое дерево.— Этот грубиян Андроп впадает в противоречие, даже не замечая того: с одной стороны осина для него — сорное дерево, потому что он не может её есть, с другой стороны, видите ли, я гублю природу, лакомясь этим лесным сорня-

вом. Что делать, если природа так чудно устроена? Спросил бы пчёл, что они думают о его вкусах. А почему я должен стесняться своих вкусов?"

Христофор в недоумении пожал плечами, обнял зеленый ствол и с хрустом впился зубами в горькую кору.

За этим занятием и застал его Тим:

— Привет, дядя Христофор!

За густым стрекотанием насекомых и хрустом разгрызаемой коры лосевик не расслышал шагов Тима. Застигнутый врасплох, он чуть не умер от испуга. Отпрянул, схватился за сердце:

— Чтоб тебя!— выразился неинтеллигентно и, смутившись, извинился тоном:— Привет, Тим. Что здесь делаешь?

— За грибами хотел сходить,— продемонстрировал пустую корзину Тим.

— За грибами нужно на ту сторону. Там самые грибные места. Под каждой осиной — подосиновик.

— А мне сюда посоветовали.

— Так это тебя, наверное, Люська направила сюда?— догадался Христофор.— Ей только бы резвиться. Вот смотри,— показал он дугообразный шрам на собственном лбу,— её работа.

— За что она тебя так, дядя Христофор?

— Да так. Шутила,— туманно ответил лосевик.

Кто же станет рассказывать даже хорошему знакомому о неудачной попытке найти взаимность?

— Ну, а вообще чем занимаешься?— поспешил Христофор сменить тему разговора.

— Да чем здесь заниматься? Скучаю.

— Скучаешь?— удивился человек-лось и, оглядевшись по сторонам, прошептал, делая страшные глаза.— Никогда никому не говори "скучаю".

— Почему?

— Этим самым ты признаешься: я боюсь остаться наедине с собой, я сам себе неинтересен, я — полный болван.

— Как же не скучать, если и поговорить не с кем?

— Как это не с кем?— всплеснул руками в полном недоумении Христофор.— У тебя всегда есть собеседник, с которым можно поговорить о чем угодно, без всяких недомолвок, совершенно искренне.

Тим вопросительно указал глазами на небо.

— Этот человек — ты сам!— удивляясь его недогадливости, вскричал Христофор.— Мыслящему человеку всегда интересно поговорить с самим собой. Мыслящий человек предпочтет одиночество общению с таким пошляком и грубияном, как Андроп.

— Хочешь сказать, дядя Христофор, что никогда не скучаешь?— не поверил ему Тим.

— Никогда!— возгордился человек-лось.— У меня нет причин скучать. Всё своё я ношу не с собой, а в себе. Я доволен своим характером, способностями, своими мыслями. Больше мне ничего не надо. Ну, разве что немного пищи и много книг.

— И ты никогда не скучал?— продолжал сомневаться Тим.

— Раньше. Давно,— сознался лосевек.— Когда я был только человеком. Жалким человеком. Все моё время поглощала надоевшая работа. Я вынужден был терпеть общество самодовольных глупых людей. Я очень скучал. В конце концов ненавистной стала сама жизнь и однажды я не уступил дорогу трамваю. Номер четыре. Это чудовище постоянно сотрясало мой дом. Не давало заснуть, избавиться от скуки. Днём и ночью, днем и ночью. И звонок у него был такой тоскливый, будто звал на скучный урок. Будто напоминал: и завтра будет то же самое, и послезавтра, и всегда.

— Так ты себя — того? Не фига себе!

— Разрезало прямо по пупку, как бритвой,— похвастался Христофор,— зато сейчас я счастлив. И почему бы мне не быть счастливым? Я получил крепкое тело, которое избавило меня от душных помещений. Мне не страшны ни жара, ни холод. Мой дом теперь,— он развёл руки,— всё, что я вижу. Ты когда-нибудь спал зимой в лесу? Снег падает, укрывает тебя. Зимой мне даже больше нравится. Летом тоже хорошо. А осенью? Что ты! Не говоря уже о весне. Другими словами, мне без разницы. Дождь — хорошо, снег — хорошо. Слякоть? Еще лучше. Самое главное — я избавлен от изнурительной работы по добыванию богатства и славы. Мне ничего не надо, кроме свободы, хороших книг. Разве что немного осиновой коры.

— Тебе бы, дядь Христофор, стихи сочинять. Прямо Есенин!

— Стихи?— переспросил лосевек с долей презрения.— Зачем мне сочинять стихи, если я сам сплошная поэзия? Уж лучше я потрачу время на беседу с великим мертвецом.

— С мертвецом?— насторожился Тим.

Христофор хлопнул ладонью по холщевой сумке, висящей у него на поясе:

— У профессора отличная философская библиотека. Топливо для костра мыслей,— пояснил он иносказание и, подвел итог беседы.— Нет, с тех пор как получил вторую жизнь, я никогда не скучаю. Но иногда тоскую. Я тоскую по совершенству. Ты меня понимешь? Я тоскую, как врубелевский пан, отыгравший на свирели, и оставшийся один на один с вечностью. Но это уже другой разговор

Христофор склонил голову на грудь и задумался, забыв о госте.

— Ну, я пошёл?— сказал Тим.

— Пока,— ответил человек-лось без выражения, а когда Тим исчез за деревьями, крикнул ему вслед:

— Будет скучно, приходи к костру. Мы с Андропом спорить будем. Скучно не покажется.

* * *

— Человек не только всё дальше удаляется от природы. Это полбеды. Беда в том, что он создаёт мир, в котором нет места природе. Это не тупик. Это обрыв. В новом мире, созданном человеком, не будет места и для человека...

— Рыбу ты тоже не ешь,— прервал размышления Христофора человек-медведь.— Многого себя лишаешь. Запах-то какой!

— Да ты меня не слушаешь!— обиделся человек-лось и повернув красное от света ночного костра лицо к Тиму, пожаловался.— Как можно в чем-то убедить это существо, если оно тебя не слушает?

— Отчего же не слушаю. Слушаю,— миролюбиво сказал Андроп, помешивая деревянной ложкой уху и щурясь от дыма.— Человек в заботах о собственном комфорте готовит самоуничтожение. Не вижу предмета для спора. Я сам на мине подорвался. Одни незначительные фрагменты остались.

— Ты не уловил самого главного: с пути самоуничтожения у человека нет возраста. Поезд прогресса мчится к пропасти. Без расписания, без остановок. Без тормозов! И скорость всё увеличивается.

— Ну, мужики, вас послушать, так и жить не стоит,— не выдержал Тим, поворачиваясь к огню спиной и подставляя раскаленное лицо холоду ночи.— Так уж и пропасть? Так уж и без тормозов?

— Именно!— вспыхнул с новой силой человек-лось, встретив сопротивление.— Выбор у человека не между жизнью и хорошей жизнью, а между мерзкой жизнью и нежизнью. Выход один — выпрыгнуть из этого чертового поезда, пока позволяет скорость. Боюсь, что поздно...

— Как выпрыгнуть? Куда выпрыгнуть?— встрепенулся Тим.

— По-настоящему у человека два выбора,— вмешался в разговор человек-медведь,— или слиться с машиной, или слиться с природой.

— Да, кентавризм в любом случае неизбежен,— мрачно согласился возвышающийся над костром красной конной статуей Христофор,— или стать частью мёртвой машины, или слиться с живым природным существом в более совершенное тело. Что бы ты выбрал, Тимофей,— бензопилу с мозгами или кентавра?

— Нет,— испугался Тим,— бензопилой я быть не хочу. Я бы с Люськой слился.

— Какой же ты легкомысленный человек, Тимофей,— обиделся человек-лось,— с тобой совершенно невозможно говорить о серьёзных вещах.

— Да нет. Я серьезно,— печально сказал Тим и, отключившись от научного спора, уставился на сине-серебряный экран Луны. Стал думать о молодой кентаврице.

И чем дальше он думал, тем приятнее были мысли. А приятные мысли как-то незаметно превращаются в мечты.

Сначала Тим увидел, как по экватору Луны проскакала Люська, вызванивая копытцами веселую мелодию.

Проскакала и скрылась на темной стороне.

Снова она появилась уже с молодым кентавром. Тим слегка испугался, узнав в этом жеребце себя. Но потом подумал: а почему бы и нет?

И вот они уже не просто скачут, а скачут, взявшись за руки. Смотрят в глаза друг другу и ждут не дождутся,

когда же доскачут до невидимой для посторонних глаз стороны Луны.

Тим протяжно вздохнул и закрыл глаза.

Когда же он их открыл, все та же счастливая пара сотрясала копытами маленькую серебряную планету, а следом скакали кентаврята. Два мальчика и одна девочка.

И в это время человек-лось свирепо закричал:

— Толпа не может совершить революцию! Она может только учинить бунт. Настоящая революция совершается лишь в одной отдельно взятой душе!

Счастливое семейство исчезло с экрана Луны, а Тим услышал миролюбивое ворчанье Андропа:

— Знаешь, Христофор, отчего ты такой злой?— и отведав с деревянной ложки уху, сказал,— соли маловато. Ты такой злой, Христофор, потому что вегетарианец.

— Почему?— крайне изумился человек-лось, потеряв нить рассуждения.

— Потому что я — кровожадный мясоед и рыбоед, а душа у меня добрая. Никого не ругаю, ни с кем не спорю. Философские системы не опровергаю.

— Странная логика!— скривил губы в недоумении человек-лось.

— Диалектика!— уточнил человек-медведь.— На-ка, возьми.

— Что это?— не поверил своим глазам Христофор.

— А то не видишь. Кора осиновая, душа твоя травоядная.

Наступил великий, умилительный момент примирения двух противоположностей.

Но в это время в ночи раздалась нарастающая дробь копыт. Из темноты белой молнией вылетела кентаврица Люська и, перепрыгнув костёр, растворилась в космосе. Только смех, как звездный звон, рассыпался над миром.

А кусок осиновой коры — бултых!— в уху.

Конечно, переполох случился. Андроп давай уху с костра снимать, пищу от горечи спасать. Второпях едва огонь не залил. Уху спас частично, а кору нет. Пропиталась кора рыбьим жиром.

Но Христофор на Люську не рассердился, а напротив того прокомментировал событие подходящей к случаю цитатой:

— Всё прекрасное — свободно и дико!

* * *

— Профессор,— обратился Тим к Мутантову, насаживая на крючок червяка,— я тут думал-думал и вот что надумал. Кентавром хочу стать.

— Мы-мудрое решение,— ответил профессор, не отрывая глаз от пляшущего поплавка,— только, мы-молодой человек, ни чем не могу помочь.

Он подсек. Телескопическое удилище согнулось колесом. В тёмной воде тяжело ворохнулось золото. Тим положил свою удочку на настил и взял наизготовку подсак. Есть дела важные, но что может быть серьёзнее рыбалки? Какие тут разговоры! Профессор слабину леске не даёт, но и тащить рыбину из глубины не торопится. Измором берёт. А как притомил, так и подтащил, на бок уложил и к подсаку подвел. Тим линя с крючка снял, выпустил в садок и только тогда спросил:

— Почему?

— По нескольким пы-причинам,— ответил довольный трофеем Мутантов,— во-первых, для подобных экспериментов мы берём людей, получивших ты-травмы, несовместимые с жизнью,— он плюнул на червя и забросил удочку поближе к траве,— мы не экспериментируем на жизнеспособном организме. Хотя кое-кто считает нас чичудовищами. Одно дело вы-воскрешать мёртвых, другое — видоизменять живой организм. Кы-кроме того проблемы с ры-родственниками. Пы-пы-пы-подсекайте! Проворонили! Вторая причина — мы-материального характера. Финансирование проекта, видите ли, свёрнуто. И более того. Исследования, сами понимете, носят сы-секретный характер. Волею истории после развала мы оказались на территории чужого гы-государства. Так случилось, оно о нас и не пыподозревает. Да и ры-родное основательно подзабыло. Кому сейчас нужна наука? Обуза! До нас никому нет дела. И слава бы Богу! Никакого вмешательства, никакого надзора. Именно с этого момента мы стали экспериментировать не только на белых крысах. Мы вступили в фазу управления эволюцией человека.

Но сы-средства кончились. Нет никакого смысла обнаруживаться перед новыми вы-властями: люди в городах пищу на кы-кострах готовят. Мы вынуждены перейти на худший вид автономии: жить в режиме окруженной кы-

крепости. Сотрудников рекрутируем из пы-пациентов. Мы сводим концы с концами, но не имеем права ты-тратиться на повторение удавшихся экспериментов. У вас кы-клюёт, а вы зы-зеваете. Пы-подсекайте! Ну, что же вы так ды-ергаете?

Ты-третья причина в вашем случае особенно вы-весомая, — радостно сообщил профессор.— Нам не нужно еще одно животное с человеческой головой. Наша цель — мы-мудрец с совершенным телом. Взять вашего дружка Григория. Разве дело, когда по сы-суверенному государству бегает задравши хвост мы-мифологическое существо?! Хорошо — разруха. До таких пустяков дела никому нет. Всяк думает, где бы чего пы-приватизировать. А как заинтересуются? Почему по нашим лесам рыскает этот сукин сын? Откуда это чудо? Что за сы-секретный объект? Почему не нашем? И всё! Конец поиску совершенного тела. Опять зы-зеваете!

- Да хрен с ней, с рыбой. Всю не переловишь,— сказал Тим с философским спокойствием.— Я как раз и хотел поговорить с вами, профессор, как одним разом двух зайцев поймать.

- За двумя зайцами погонишься — ни одного не пы-поймаешь,— напомнил Мутантов.

— Можно поймать,— опроверг народную мудрость Тим,— если зайцы этого захотят.

* * *

Осенним туманным днём господин Недокованный разбирал в своём кабинете небогатую почту. Господин — не в насмешку сказано, а потому как на двери написано: "Директор Бессадовского историко-краеведческого музея господин Недокованный Д. А." Сидел, мурлыкал романс про всё былое, как вдруг без стука растворилась дверь и в кабинет, не обскрёбши грязь с сапог, ввалился скотник из села Кривощеково.

Шапка задом наперед.

Высморкался он на пол и пожаловался:

— Едрит твою, расчертит твою! Жизнь пошла — хуже крепостного права. Ни тебе электричества, ни тебе автобуса. Радио с мая не фурычит, телефон год как отключили.

За каждой надобностью запрягай Серого и тащись по грязи, как червяк на рыбалку...

— Что случилось, Игнат?— прервал посетителя Недокованный, делая интеллигентное лицо: лоб гармошкой, губы трубочкой.

— А такой случай, Додон Андонович, что и слов не подберешь. Собирайся, сам этот случай смотреть будешь. Случай — умом повернуться можно. Как раз для музея случай. Такой случай, что кобыла, считай, человека родила.

— Похмелялся ли ты сегодня, Игнат?— поинтересовался директор музея.

— Как телеграфный столб!— поклялся Игнат.— Бери, Андонович, свой аппарат и поехали, а то до темна не управимся. Все колдобины раскисли. Не дорога — каша.

Пока Серый тащит кошевку облезшими лесами по грязи, познакомимся поближе с Додоном Андоновичем Недокованным — последним патриотом здешних мест. Все остальные патриоты либо выехали из Бессадовой, плюнув в сердцах на верстовой столб с "добром пожаловать", либо спились по причине глубокой обиды за отчизну. Или на отчизну.

Додон Андонович не мог позволить себе ни того, ни другого, будучи директором местного, им же самим созданного музея, призванного прививать именно любовь к родине. Хотя, чего скрывать, очень хотелось порой — и то, и другое.

Если с грейдера, не доезжая пивзавода, свернуть в Овражный переулок, как раз напротив заваленного всяким хламом колодца стоит развалюха с плакатом: "Люби и знай свой край". Это и есть бессадовский музей. Каждый день приходит сюда господин Недокованный и самозабвенно предаётся научной работе, неутомимо выискивая земляков, в той или иной степени внесших вклад в развитие человечества. На свои личные сбережения он ведет обширную переписку с расползшимися по всему свету бессадовцами. Надо ли говорить, что труд его совершенно бескорыстен?

Письма Додон Андонович пишет на фирменных бланках, оставшихся с лучших времен, от руки поправляя устаревшую символику. В них он кратко информирует земляков о последних событиях, случившихся в их общем

гнездовье, и спрашивает: а не совершил ли адресат за истекшее время каких-либо подвигов, достойных быть увековеченными в бессадовском музее? И если совершил, то нижайшая просьба: выслать фото — десять на двенадцать — а также по возможности копию свидетельства свершенного. Бывает, что заведомо известно — бессадовец так себе и ничего героического от него ждать не приходится. Однако Недокованный всё равно отправляет ему письмо, в котором интересуется: а не слышал ли пребывающий в полной банальности земляк о более достойных бессадовцах?

Надо признать, что скудная бессадовская земля щедро рождала таланты. В музее не было и квадратного сантиметра, не заполненного славой земляков.

Среди желтых фотографий ярко выделялся самописанный портрет известного среди бессадовцев художника Дядищева. Имя свое он обессмертил созданием коньячной этикетки. Правда, выяснилось, что оная этикетка принадлежала кисти великого Эдуарда Саманного, Дядищев же попросту украл этот шедевр.

Но этот факт не отменял достижения земляком вершины славы.

Среди взошедших на оную была и известная пианистка, автор и исполнитель симфонии то ли "Ля минор", то ли "Ля ля фа" Фёкла Двуглазова. Не композитор и не исполнитель? Да кто его разберет, поди и нот от той симфонии не сохранилось. Однако точно было установлено, что во время первого исполнения симфонии Фёкла действительно переворачивала ноты. К тому же была она редкой красавицей и уже за одно это её стоило поместить в экспозицию.

Рядом с портретом Фёклы хорошо смотрелся господин с бабочкой и толстой сигарой в зубах. Он ничего не создал и ничем не осчастливил человечество Но каждый бессадовец гордился им, ибо замляк жил ни где-нибудь, а в самой Америке. "Посмотри, посмотри,— в восхищении толкали бессадовцы в бок друг друга,— морду-то какую хитрую скорчил."

Особо почетное место занимал портрет в золоченой рамочке, на котором был запечатлен депутат — выходец из Бессадовой. Прославился он тем, что во время прямой трансляции заседания парламента с боем прорвался к мик-

рофону, но ничего не сказал, а только громко пукнул. Пук его услышала вся в ту пору еще обширная страна, докатился он и до малой родины депутата как веяние новых времен.

Славу депутата мог затмить только знаменитый маньяк Дубило. О нем до сих пор вспоминают газеты, забывая упомянуть самое главное, что родился он почти что в Бессадовой. Но местное руководство, не смотри что демократы, погрозило пальцем и приказало убрать портрет куда подальше.

Трясясь в телеге без рессор по разбитой дороге, глядя в низкое печальное небо родины, продрогший на сыром ветру Додон Андонович переосмысливал свою жизнь. Как он был неправ, обратя взор свой за околицу, выискивая бессадовскую славу в далеких городах! Если бы не Игнат, простая душа, мог бы проморгать главное событие, главную бессадовскую гордость. Поближе надо к родным плетням, поближе!

Великий художник Дядищев размешивает, должно быть, сейчас свои краски, готовясь создать новую этикетку, вдохновенно пишет поправки к закону депутат. А между тем никому не известная кобыла Звездочка в забытом богом Кривощекове родила всего-навсего жеребенка. Но этот жеребенок, еще ничего не сделав, затмит своей славой всех земляков, от великого Дядищева до выдающегося депутата. А, пожалуй, что и маньяка. Весь мир узнает о Бессадовой.

Как жаль, что не придется насладиться этим триумфом, поскольку отлучили Бессадовую от электричества. А телевизор без электричества — все равно что пианино, на котором никто не играет.

Въехали в Кривощеково.

— Трах их в тарарах! Село обезымянили,— удивился Игнат,— утром еще столб стоял с заглавием — Кривощеково. То ли кто на дрова упёр, то ли переименовали?

Избы, стоя на чёрной грязи, от сырости озябли, скукожились. Крыши по самые ставни натянули. Снег в тоске ожидают. Такого плетня нет, чтобы не покосился. Блудливая корова посреди дороги мычит, где-то побитая собака скулит. У конторы половина окон горбылём забита. Мужик в телогрейке ограду подпирает. Словно его из гипса вылепили. Только и движения, что дым изо рта.

Сердце у Недокованного зашлось от жалости к сиротской доле родного края.

— Тяжело в деревне без бутылки,— пожаловался Игнат,— да и с бутылкой тоже тяжело.

— Чего это конь встал?

— Скотине, Андоныч, в душу не заглянешь. Должно быть, в родне ишак был. Завёл, подлец, такую манеру — возле сельмага тормозиться.

Крякнул Додон Андонович на непредвиденные расходы, только с животным не поспоришь. Спрыгнул с брички — чуть в грязи не утонул.

— Ты, Андоныч, по-над забором, по-над забором,— посоветовал Игнат,— там земля твёрже.

— Вот жизнь пошла!— весело вознегодовал скотник, принимая из рук директора музея иностранную бутылку,— этикетки всё красивше, а водка — нет того хуже, что жижа из лужи.

Проехали впадающую в спячку деревню, свернули в подлесок.

Конь снова проявил ишачий характер: встал посредине лужи как вкопанный и башкой замотал.

— Из горла не побрезгуешь, Андоныч? Зря. Лично я на такие вещи трезвым глазом опасаюсь смотреть, чокнуться боюсь. Выше пупка — ребенок, ниже — жеребёнок. Ученую экспертизу надо произвести. На предмет отца. Беда, если деревенские узнают. А кто, спросят, при этой Звездочке приставлен? То-то! Деревня! Что с них взять.

— Так ты, Игнат никому не говорил про мутанта?

— Что ты, Андоныч!— сделал скотник страшные глаза и головой во все стороны завертел: не видно ли кого.— До смерти засмеют! Какой уж день в закутке прячу, что делать не придумаю. Пей первым, Андоныч.

Недокованный, сделавши интеллигентное лицо, отпил на треть из иностранной бутылки, чтобы Игната не обидеть. Глаза закрыл, всем телом вздрогнул, но не поморщился. Игнат остатки приговорил и такую мерзкую рожу скорчил — только и осталось, что помереть. Но не умер, выдравши из-под себя клок прелой соломы, занюхал впечатление и сказал умиротворенно:

— Ну вот, вроде и небо светлее, и грязь роднее.

Как ни был готов к встрече с мутантом Додон Андонович, а первый снимок испортил: ни диафрагмы, ни выдержки. Да и крышку с объектива забыл снять.

Кентавренок, выпущенный из тёмного закутка, кружил по загону, скользя копытцами по влажной земле, и жалобно верещал.

— Стой, чудо с хвостом!— ругался и бегал за ним, растопыря руки, Игнат.

Поймал, поднял на руки и, выпучив глаза, заорал:

— Снимай, Андоныч, снимай быстрей! Брыкается, чертёнок, и царапается.

— Отпусти его, Игнат, пусть успокоится.

— Разорался, будто его режут. Ну, беги. Не знаешь, чем и кормить бестию, когда у Звездочки молоко кончится. Как думаешь, Андоныч, сено он жрать будет? Ты посмотри, как он мне харю расцарапал! Ну, погоди! Вот я тебе ногти-то обстригу по самы локти!

"Сказал тоже: сено! Глупый человек,— думал между тем опьяненный завтрашней славой Недокованный,— он, простая душа, и представить себе не может планетарный характер события. Это же, это же..."

Но додумать до конца эту приятную мысль не успел.

— Берегись, Андоныч! Кажись, папаша объявился, дико вскричал Игнат и бросился со всех ног за копну.

Потом объяснял: вроде как за вилами.

Однако Додон Андонович не поберегся, а дрожащими руками взвел затвор старенького фотоаппарата.

Шумно расплёскивая воду по луже, к загону скакал матерый кентавр, грозя кулаком и недобрым словом поминая родственников Игната и господина Недокованного. С ходу перемахнул он ограду, лихо развернулся мясистым задом и взбрыкнул.

Комья грязи во все стороны.

Копытом, как печатью, в лоб...

Упал Додон Андонович на спину и смотрит не мигая, как высоко-высоко в небе летит его старенький аппарат марки "ФЭД". Полетал, полетал и повис на самой вершине березы, переполошив стаю ворон.

И вороны красные, и береза красная, а небо почему-то — зеленое.

* * *

В первый снег мир создаётся заново.

Первый снег, словно ластик, стирает грязь, заботы, дрязги, чепуху.

Остается белый лист.

Хочешь — заново сочиняй свою жизнь.

Снег под копытами хрустел, как яблоко на зубах. Кентавр Григорий тянул за собой широкие сани. Время переползало пограничную полосу между ночью и утром. За заснеженным лесом обнаруживался легкий намёк на солнце.

Дорога пошла под уклон. Григорий, проскользив на копытах, остановился. Вывернул оглобли. Толкая сани перед собой, как тачку, разогнался и запрыгнул в них. Покатился вниз по косогору, присев на задние ноги. Только ветер засвистел в оглоблях. "А-а-а-а!"— закричал во весь голос Григорий, давая волю душе.

Припорошенные снегом деревья проносились мимо, свежий морозный воздух трепал волосы.

Хорошо!

Ни одного человеческого следа на пороше!

Остального зверья, густо наследившего на первоснежье, Григорий не боялся. Дай коню человеческий разум, да ещё и пару рук, а в руки вилы — какие волки его задерут?

В заснеженном поле запахло июньскими травами.

У стога сена Григорий развернул сани оглоблями к дороге, поплевал на ладони и поудобнее перехватил черенок вил.

Крякнул и поглубже вонзил рожки в копну.

Стог заворошился, закряхтел, протяжно застонал и заматерился.

На чисто русском языке.

Григорий всеми четырьмя копытами разом отпрыгнул от матерящегося сена и взял вилы наперевес.

Стог разверзся, и из него вывалился воющий человек.

— Ну, блин, Тимохфей, ты даешь!— сердито обрадовался Григорий.— Я ж тебя чуть не проткнул!

— Он меня чуть не проткнул,— держась обеими руками за ягодицы и сделавши страдальческое лицо, передразнил его со скорбным смирением Тим.— В том-то и дело, что проткнул.

— А я ещё посмотрел — следов нету,— оправдывался Григорий.

— Я с вечера до снега залёг, объяснил Тим, нежно ощупывая колотые раны.

— Больно, небось?

— Сам скоро узнаешь,— туманно пригрозил Тим,— меня калечишь — себя калечишь, себя калечишь — меня калечишь.

— Оно, конечно, так,— согласился Григорий, ничего не поняв.

— Ладно,— великодушно простил его Тим,— от такой раны ещё никто не умирал. Здорово, Григорий!

Григорий воткнул вилы в снег и обнял друга.

— А я ведь знал, что тебя, жеребца, у Варвары нужно искать,— растрогался Тим, смахивая слезу. То ли от умиления она выкатилась, то ли от ран в ягодице:— Дай-ка вилы погреться, а то, блин, кровь заледенела.

Весело было Григорию в первоснежье, а стало еще веселее. Везет на кордон сено и друга. Душа сама поёт: "Бродяга Байкал перепрыгнул, а лодку засунул в карман..."

Допели песню, разговорились душевно.

— Как Варвара поживает, какие у вас отношения?

— Отношения у нас, Тимохфей, сложные,— опечалился кентавр.

Остановился, обстоятельно высморкался и раскрыл душу, как окно в сад:

— Можно женщину понять. Кому охота за коня замуж? Узнают — ославят. Люди, сам знашь, какие бывают. Вот, мол, с конём живёт. Кому понравится? Да и в церковь как венчаться пойдешь? Мода така пошла,— объяснил,— в церкви венчаться. Плачет, слышь. В кои веки, говорит, стоящего мужика встретила и эдакая незадача. Иной раз и в дом не пущат. В сарае ночую. С коровой. Круглы сутки жуёт, жуёт. Сена не напасешься.

— Понимаю,— посочувствовал Тим.

— Нет, Тимохфей,— вздохнул Григорий,— этого понять ты не могёшь.

— Очень даже ошибаешься, Григорий,— печально возразил Тим,— лучше меня тебя никто не поймёт.

Остаток пути Григорий молча тащил воз на гору, а его раненый товарищ лежал на стогу, смотрел в небо и ловил ртом снежинки, вспоминая неземную красоту кентаврицы Люськи.

* * *

Варвара гостя встретила радушно.
Даже всплакнула от избытка чувств.
Сразу — за стол и рюмку налила.

А Григорию стакан не поставила. Объяснила радостно:

— Гриша у нас не пьёт.

— Ага, завязал я, Тимохфей,— грустно подтвердил ужасную новость Григорий и жалобно посмотрел на Варвару.

Но не разжалобил.

Сидел тихо, как на поминках, и с нежностью смотрел на солнечную искорку, бликующую в чистом напитке.

А когда хозяйка вышла из избы хлопотать по хозяйству, раскрыл душу до самого дна:

— Ещё одна беда у меня, Тимохфей,— дитё у меня объявилось. Пацан. Валеркой звать.

— Иди ты! От Варвары?

— Да нет,— засмущался Григорий и, потупив глаза, молвил,— от кобылы. Был грех.

— Варвара, поди, ревнует?— посочувствовал Тим, округлив глаза.

— Ревноват. Как без этого,— согласился Григорий.— Да это бы полбеды. Беду от ученых жду. Так и рыщут вокруг да около. Их, вишь, любопытство раздират: как мудант произошел...

— Мутант,— поправил Тим озабоченно.

— Вот-вот, он самый. Ищут муданта-то. И отца его ищут. Найдут — обоим экспертизу учинят,— и Григорий безнадежно рукой махнул, словно по струнам балалайки ударил.

— А где же пацан?

— Знамо где. Разве ж можно было его для опытов оставлять? Дитё как-никак. Хоть и мудант. На кордоне и прячем. Варвара куда думашь пошла? Молоком поить. Время обеденно.

— Усыновила что ли?

— Добра душа,— с толикой гордости, но и с немалой долей печали подтвердил Григорий.— Только меня наотрез не подпущат. Обиделась, должно быть. Таки дела, Тимохфей. Хоть в бучило головой.

Заскрипел Григорий зубами, замотал буйной головой и рукой отчаянно махнул: исповедоваться — так до конца:

— Ученого я, слышь, лягнул, когда Валерку выручал. Ага, погорячился. Прямо в лоб, как сейчас помню, правым копытом. На всю жизнь улику оставил. Накануне, вишь, подковался...

— Убил?— ужаснулся Тим.

— Насмерть зашиб,— покаянно уронил голову на грудь Григорий,— еле-еле в больнице отходили. Ходит, глаза таращит, как себя звать-величать не знат.

— Вот что я тебе скажу, Гриша, дела твои как у того быка на бойне,— успокоил его Тим.— Только на все твои беды есть у меня одно средство. Хочу с тобой поменяться.

— Это как?— насторожился кентавр.— Чем это поменяться?

Тим подозрительно посмотрел на таракана, выглядывающего из-за портрета президента суверенной страны, и, привстав из-за стола, зашептал на ухо Григорию. И чем дольше он шептал, тем круглее становились глаза Григория. И когда казалось — чуть-чуть и они лопнут от удивления — Тим громко закончил секретную речь:

— А ты спрашиваешь чем. Что у тебя еще есть? Ну, как — махнем не глядя?

— Надсмехаешься?— не поверил и обиделся Григорий.

Хотя в глазах загорелась крошечная надежда.

Тим еще раз недоверчиво взглянул на любопытного таракана и снова приник к уху Григория.

— Ишь как тебя допекло,— время от времени отзывался кентавр на шёпот друга.— Как не понять... Это точно... Вот и я говорю... Не подпущат, говоришь... А вдруг заманит да обманит?.. А хорошо ли подумал?... Ой, смотри... Не часами обменяться...

Нашептавшись, Тим сказал с веселым ржанием:

— А как ты его мог, допустим, копытом лягнуть, когда у тебя копыта-то нет?

Григорий подумал-подумал и тоже заржал.

* * *

Ранним морозным утром, когда инеем покрылись не только деревья, но и небеса да и сами души людей, три белых существа остановились перед стеной тумана.

Кентавр с кентавренком и человек в ватнике.

Пимы подшитые, лыжная шапочка на уши натянута.

Три промерзшие соринки жизни на хрустящем снегу перед завесой тайны.

Пар от дыхания шелестит и мелкими снежинками оседает.

День, по всему видать, актированный.

Отдышались и пошли цепочкой вдоль тумана.

Белый снег. Белый туман. Белое небо. Весь мир, как пещера в снегу. Уютно, когда пообвыкнешь.

Никаких примет.

Сплошной белый квадрат Малевича.

А это кто такой белый?

А это, если не ошибаюсь, снеговик стоит, рукой-веткой в туман утыкается.

Ударил его человек ногой — он и рассыпался.

— Знаю я этот туман,— засомневался взрослый кентавр простуженным голосом,— не проскочим.

— Знаешь, да не все,— ободрил его человек хрипло,— заборов без щелей не бывает.

И с этими словами он исчез в тумане.

Чуть погодя из тумана варежка высунулась.

Вздохнул кентавр, взял за руку кентавренка, ухватился за варежку и бросил прощальный взгляд на белый мир.

Пусто стало на планете. Только испуганное ржанье кентавренка нарушало морозную тишину. А когда он умолк, обнаружилось такое сиротство, что появись здесь человек — тут же бы и умер от тоски.

* * *

Безлюдье было нарушено на исходе зимы.

Вышел из тумана человек. Постоял перед завесой и крикнул: "Прощай, Тимохфей!" Может быть, услышали его, может быть, нет — только ответа он не дождался. Должно быть, сквозь туман и слову не пробиться.

Утёр человек глаза, высморкался и пошел прочь.

И чем дальше отходил от белой стены, тем все шибче ускорял шаг, пока не перешел на бег.

* * *

Вот, скажут, художественное произведение. Брехня!

Обижаете!

Какое же это художественное произведение, если я неделю назад как из Бессадовой вернулся? И с господином Недокованным встречался. Беседовали. Он, правда, слова в предложения еще не составляет, однако вовсю мычит и пальцами шевелит.

Рубец на лбу от подковы — все приметы сходятся.

Да я и снимок видел.

Стоит у плетня Игнат. Сзади на колышке трехлитровая банка сушится. При чем здесь банка? Да так, ни при чем. Просто в кадр попала. Стоит, значит Игнат — глаза выпучил и что-то в руках держит. Что — сразу не сообразишь. Изображение смазано. Однако, если прищуриться, прямо в дрожь бросает. Не знаешь, что и подумать. Четыре копытца, две ручонки и чуть ли не крылышко. Личико, врать не буду, разглядеть трудно. Но одно ухо ясно просматривается.

Некоторые так называемые эксперты говорят, что тени от плетня, Игната и кентаврёнка в три разные стороны расходятся. Намекают: уж не три ли солнца над Бессадовским районом светят?

Вот уж действительно тень на плетень наводят завистники!

В тот день вообще солнца не было. Тени куда хотели туда и падали.

Скажу по секрету: Недокованный, перед тем как копытом в лоб получить, успел и папашу кентаврёнка сфотографировать.

Лошадиный зад — шире объектива. Чей это зад — сказать трудно. Однако же таких задов ни у одного из кривощековских жеребцов нет.

О чем-то это говорит?

Случится вам в тех местах побывать, не поленитесь до Тишкиного кардона добраться.

Лесника Григорием зовут, лесничиху Варварой.

Привет от меня передавайте.

Не буду новый дом, что Григорий срубил, описывать. Сами увидите. Но узнаете от меня, что хозяин, небывалое дело среди лесников, водку не пьёт. Опять кто-нибудь скажет: брехня, художественная литература!

А вот вы заедьте. Да скажите, мол, с Тимом в армии служили. Все, что в дому есть на стол выложат. Папироской из золотого портсигара угостят.

Обратите внимание: с царским орлом!

А заночуете, мужики, на том кордоне, скажем, зимой под субботу, Григорий вас непременно в баню пригласит.

Не баня — романтика.

На каменку настоем из трав плеснет. Двумя вениками по всей науке отхлещет. Сначала березовым, потом сосно-

вым. Сосна в тех местах реликтовая, лечебная. После парной квас выпьешь — умирать не захочешь.

Но, мужики, предупреждаю: не приведи вас черт, спросить Григория, что это, мол, у тебя за шрам ниже пупка по всему пузу? Вроде как рубец по всей окружности? Или врачи аппендицит искали, или чего? Швы крестиком. Аккурат где ремень подпоясывать.

И что особенно странно: тело выше пупка сплошь рыжее все в веснушках, а ниже — напротив того, смугловатое.

Еще раз предупреждаю, мужики: молчите, как партизан на допросе. Не то узнаете, что случилось на базаре с любопытной Варварой.

— А ну,— скажет Григорий, фыркнув по-жеребячьи,— давай-ка таперича в сугробе повалямся, али к роднику сбегам, серебряной водичкой ульёмся.

А ты говоришь — художественная литература.

Как в прорубь с головой окунешься, там и поймешь — брехня или не брехня.

А ты думал, что непьющий человек так перед тобой душу и раскроет: да, мол, был такой грех, довелось пожеребячиться...

* * *

Что с Тимом и кентавренком Валеркой стало, поди, и Григорий только догадывается. Мутантов последнюю лазейку в тумане законопатил. Полный суверенитет и независимость обрёл. От планеты самоотделился.

Остается надеяться, что нашли они там, за туманом, своё кентавриное счастье.

"Тьфу!— скажет какой-нибудь затюканный жизнью читатель,— какая мне разница, что они там нашли. Они по ту сторону тумана, я по эту".

Не хочу, мужик, пугать тебя, но правда дороже: очень это даже нас касается!

Панику, конечно, поднимать не надо, но предупреждаю: туманный забор потихоньку расползается. Вроде как грибница мухомора. Или, понятнее говоря, ведьмин круг.

Григорий как-то затосковал. Дай, думает, трубу проведаю. Дитё все-таки не чужое, да и от Тимофея во мне,

считай, половина. Пришел, а трубы-то и нет. По ту сторону тумана труба оказалась...

Лет через сто и Бессадовое в круг попадет. А людям куда деться? Через туман не перепрыгнешь.

А там глядишь — через пару тысяч лет это ведьмино кольцо по всей Земле расползётся.

Ну, и где тогда наши люди? Ау! Не дозовешься. Всё человечество туманом окружено и с каждым днем туман этот сжимается.

А по планете одни кентавры бегают.



СОДЕРЖАНИЕ

Повести

Жертвенный осел 3
Ностальгин для синеглазых 40
Подзаборные боги 92
Страна без негодяев 154
Грибной дождь в Новостаровке 223
Парик для черта лысого 252
Похитители мухоморов 286
Дети тумана, или Кентавр неподкованный 356

Веревочкин Николай Николаевич

СТРАНА БЕЗ НЕГОДЯЕВ

Повести

Редактор А. Швыдко
Художник Н. Веревочкин
Художественый редактор Б. Серикбаев
Технический редактор Н. Сайфуллина

ИБ № 5909

Сдано в набор 09.06.98. Подписано в печать 26.10.98. Формат 84x108 1/32. Бумага Тип № 1. Гарнитура "Тип Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр. отт. 23,1. Уч изд. л 24,06. Тираж. 1000 экз. Заказ № 1873. Цена договорная.

Издательство "Жазушы" Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, 480009, г. Алматы, пр. Абая, 143.

Республиканское производственное объединение "Кітап" Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан. 480009, г. Алматы, пр. Гагарина, 93.